

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ
ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Под ред. акад. С. Д. Сказкина

Часть первая

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Москва 1969

9 (и) I
К 53

ОТ АВТОРОВ

Второе издание нашей «Книги для чтения по истории средних веков», несколько сокращенное по сравнению с первым (два тома вместо трех), значительно переработано и включает ряд новых статей.

Авторы ставили перед собой цель познакомить школьников с важнейшими событиями и наиболее известными деятелями средневековья, о которых учебник может рассказать только очень немного. Между тем, в этот период всемирной истории, период феодализма, который часто называют «темными веками», жили люди, своим трудом и борьбой подготовившие наше настоящее. Нельзя не знать об этом и не вспоминать с благодарностью борцов и ученых, сложивших свои головы за лучшее будущее всего человечества.

Эта книга, которую мы стремились сделать интересной и доступной для учащихся восьмилетней школы, поможет им более углубленно познать прошлое, ибо все очерки и рассказы написаны на основании строго проверенных документов и научных сочинений по истории средневековья.

Над книгой работал коллектив ученых-историков и писателей, возглавляемый академиком С. Д. Сказкиным. Кроме него участие в подготовке книги и ее редактировании принимали В. Е. Степанова, А. Д. Эпштейн и Н. И. Запорожец.

ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ

В те далекие времена, когда на побережье Средиземного моря раскинулась огромная Римская империя, на широких просторах Северной и Восточной Европы жили многочисленные племена кельтов, германцев, славян, литовцев и финнов.

Греки и римляне, гордые своей древней культурой, называли варварами всех чужеземных обитателей Европы, а так как эти чужеземцы казались им дикарями, слово «варвар» стало обозначать некультурного, необразованного человека.

Греки и римляне жили у ласкового Средиземного моря. Привыкнув к горячему солнцу и изобилию плодоносного юга, они считали природу Северной Европы такой же суровой и неприветливой, как и ее обитателей. До поры до времени они мало интересовались своими северными соседями.

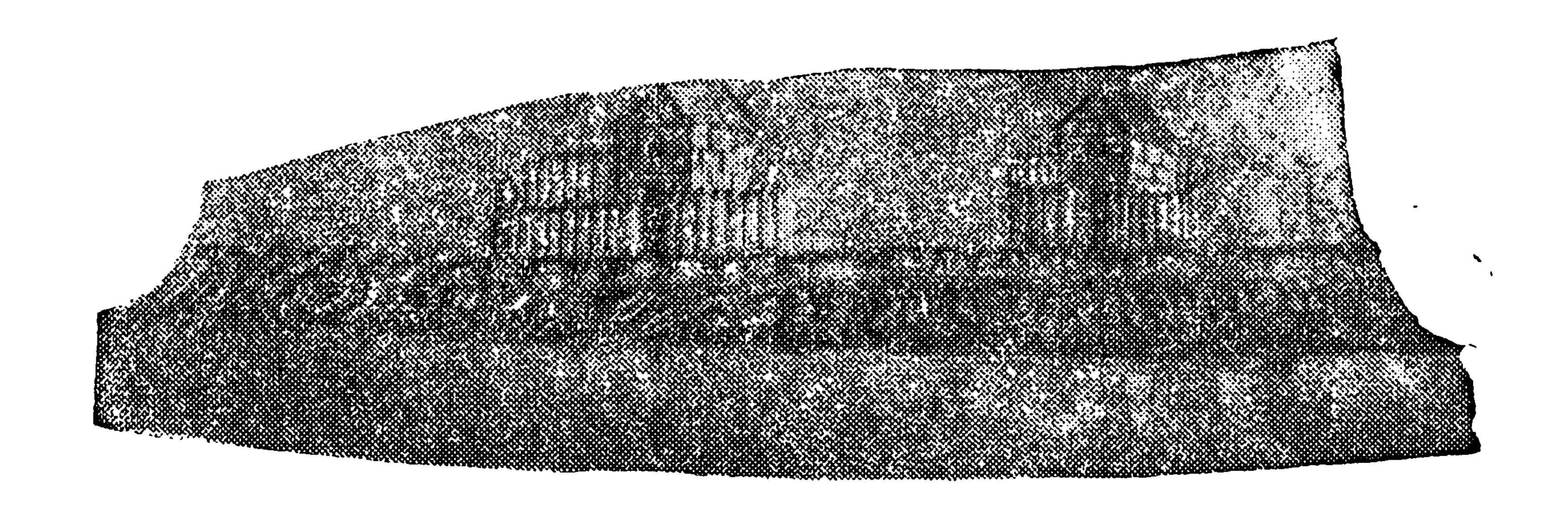
Но на рубеже II и I веков до н. э. римлянам пришлось лицом к лицу столкнуться со своими недругами. Два германских племенных союза — кимвры и тевтоны хлынули грозными потоками в пределы империи.

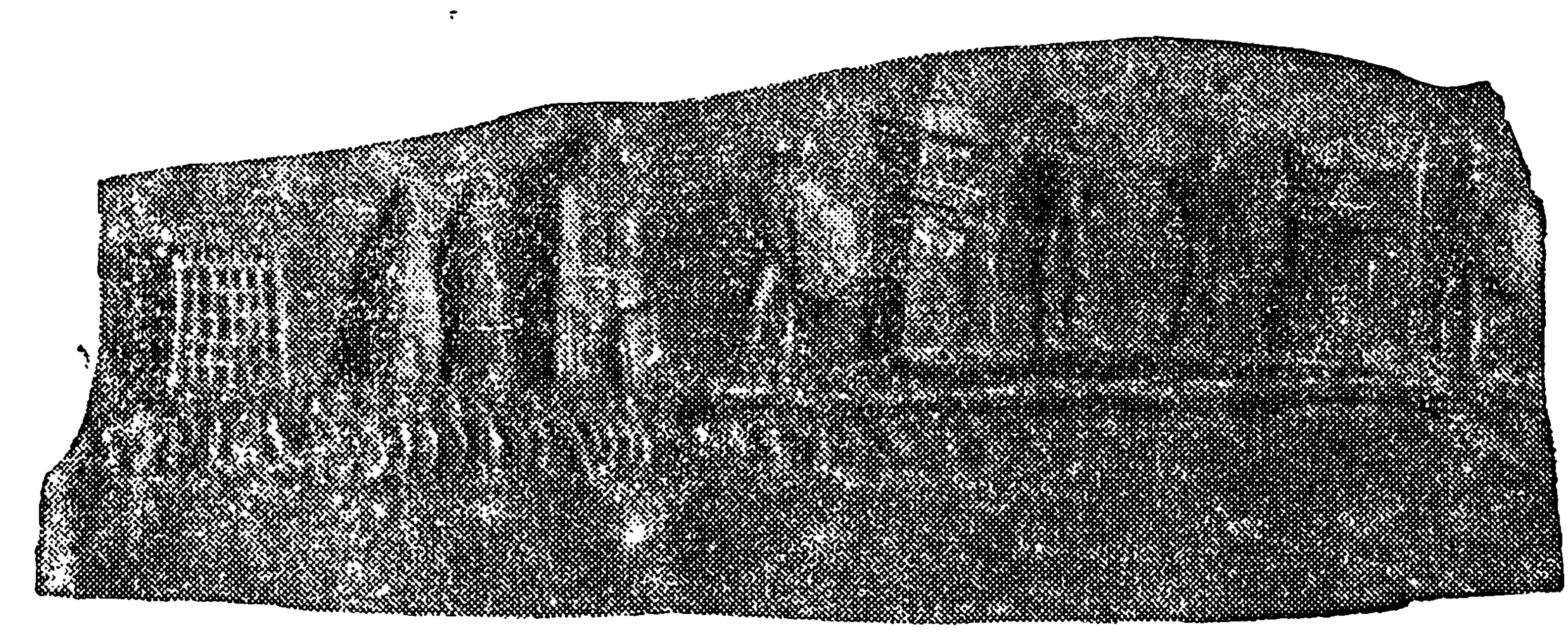
Римский военачальник Гай Марий в двух сокрушительных битвах разбил нестройные скопища воинственных пришельцев, двигавшихся вперемежку со своими стадами и сражавшихся рядом с повозками, откуда неслись то испуганные, то ободряющие возгласы женщин, детей и стариков. Не знавшие военного строя, кимвры и тевтоны были опрокинуты согласованным натиском хорошо обученных и дисциплинированных римских легионов.

И хотя опасность была отражена, в Италии не смолкали тревожные толки о многолюдных и воинственных германских племенах, готовых прорваться в глубь римских владений.

Близко познакомиться с германскими племенами довелось прославленному римскому полководцу Гаю Юлию Цезарю, за полвека до новой эры предпринявшему завоевание Галлии (нынешней Франции). На равнинах этой страны Цезарь встретил стойких противников не только в лице покоряемых галлов. Он столкнулся здесь с германским племенным союзом свевов, которые, придя с севера, в свою очередь стремились овладеть Галлией.

Вступив в вооруженную борьбу с германцами-свевами, Цезарь победил их, вытеснил из Галлии, завоеванной римлянами.





Укрепление Римского вала.

В «Записках о галльской войне» Цезарь подробно рассказывает о своих походах и битвах, о переговорах и временных перемириях, а также о тех способах и приемах ведения войны, к которым прибегали его противники — свевы. Рассказы Цезаря о войне с галлами и германцами, раскрывают интересные страницы военной истории и военного искусства древности.

Но еще больший интерес для нас представляют замечания Цезаря о природе той страны, где жили древние германцы, об их быте и занятиях.

Цезарь был не только грозным противником германцев, но и умным, внимательным очевидцем, наблюдения которого до сих пор сохраняют неоценимое значение.

Не мудрено, что многие поколения историков снова и снова обращаются к Цезарю, к его «Запискам», ставшим для них как бы окном, через которое открывается неповторимая картина далекого детства германского народа, самая ранняя пора его исторической жизни.

Цезарь со своими легионами, вслед за оттесненными свевами, перешел Рейн и на отвоеванной зарейнской земле основал новую римскую провинцию, которую назвал Германией.

Природу древней Германии Цезарь знал не по чужим рассказам. Вместе с легионерами ему приходилось перебираться через Рейн и другие полноводные реки, проходить по узким лесным тропам, остерегаясь засады, притаившейся в густой чаще. Надо бы-

ло не раз осторожно обходить многочисленные болота и трясины, вместе с солдатами терпеть стужу среди снегов, которых никогда прежде не видывали ни Цезарь, ни его бывалые воины.

Но более всего римского полководца поражали совсем не похожие на всегда зеленые рощи его родины бескрайние германские леса.

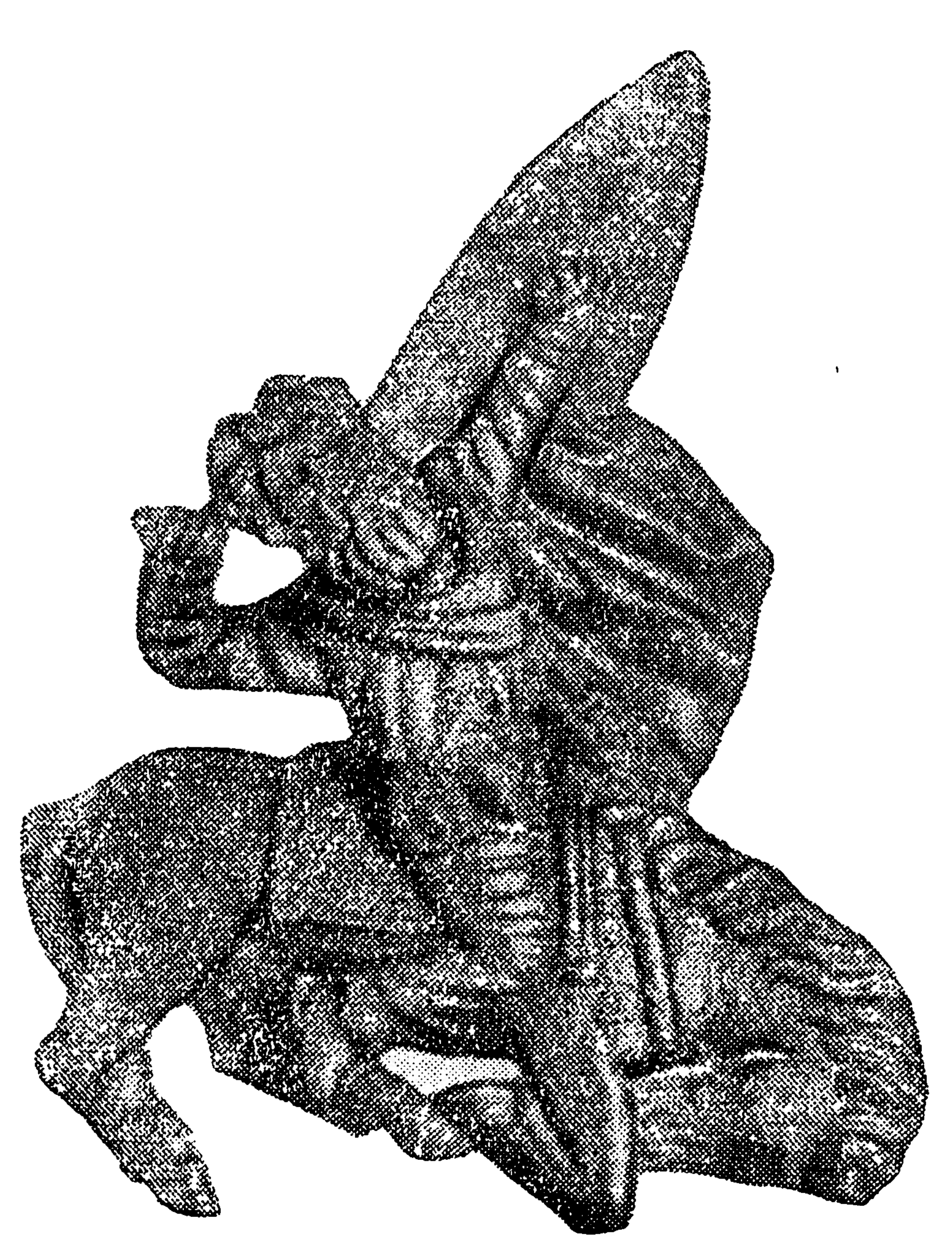
Мы находим у Цезаря описание огромного Герцинского леса, который начинался у сближавшихся друг с другом истоков Рейна и Дуная, а кончался где-то в неведомой дали среднедунайских равнин.

По словам Цезаря, в этом лесу обитает бык-единорог, похожий на большого оленя. Посреди лба, между ушами у него большой рог, от верхушки которого, подобно пальцам человеческой ладони, расходились ветви. Но гораздо чаще в Герцинском лесу встречались лоси. Преследуя их, германцы прибегали к хитрой охотничьей уловке. Упавшие лоси уже не могут подняться. Поэтому во время сна они не ложатся на землю, а наклонившись, боком прислоняются к дереву и в таком положении дремлют. И вот, проследив, куда лоси удаляются на отдых, германцы подкапывают корни и подрубают стволы деревьев. Затем прикрывают подкоп мохом и листьями так, чтобы дерево сохраняло свой прежний вид. Когда лоси прислонятся к такому дереву, оно, как бы внезапно подкошенное, рушится, а вместе с ним падает и лось. Так он попадает в руки охотников.

Цезарю довелось слышать и о зубрах. Сам он не видел этих редких и диковинных зверей, поэтому его рассказ содержит преувеличения. Зубры будто бы своим размером лишь немного уступают слону, а по виду, строению и окраске похожи на быков. Их отличает большая сила и быстрота. Увидев человека или животное, они не дают им пощады.



Разгром римлянами германской деревни.



Сраженный германский всадник.

Но, несмотря на всю опасность встречи с могучим и свирепым зубром, германцы усердно охотятся на него, ловят его с помощью глубоких ям. Тот, кто убьет много зубров, похваляется их рогами и заслуживает одобрение своих родичей и соплеменников. Привыкнуть к человеку зубры не могут, даже если их ловят маленькими. Рога их, замечает Цезарь, по виду и величине своей во многом отличаются от рогов римских быков. Германцы отделывают рога этих животных серебром, а на праздничных пирах рог зубра служит им вместо кубка.

Германские юноши увлекались охотой на зубров. И так как подобная охота таила смертельную опасность, соплеменники считали ее необходимым испытанием для юношей, лучшим способом доказать свою отвагу, ловкость, выносливость, — именно те качества, которые племя требовало от каждого своего члена, обязанного прежде всего быть храбрым воином.

Во времена Цезаря земли, лежавшие за Рейном и Дунаем, представляли собой дикую и малозаселенную страну. Всюду простирались дремучие, непроходимые леса и тянулись непролазные болота. Пасти скот или посеять ячмень, просо либо овес можно было лишь на прибрежных лугах да там, где расступившийся лес оставлял место тесным проталинам и опушкам.

Цезарю бросалось в глаза то, что германцы питались не столько хлебом, сколько молоком, сыром и мясом. Стало быть, главной их пищей были не продукты земледелия, а припасы, добываемые охотником и пастухом. Это означает, что в ту пору обитатели диких лесов и болот были преимущественно охотниками и скотоводами и лишь отчасти земледельцами.

Чтобы пасти скот, были нужны луга и пастбища, а охота требовала обширных пространств, в особенности таких, где водилась непуганая дичь и обитал непотревоженный преследованием лесной зверь. Стремясь овладеть как можно бо́льшим пространством лесов и болот, богатых пернатой дичью, каждое племя пыталось оттеснить другие племена, чтобы стать единственным и полно-

властным хозяином захваченных земель. Не мудрено, что германские племена оспаривали друг у друга речные луга, тесные лесные поляны и пригодные для выпаса равнины.

«Величайшей славой, — говорит Цезарь, — у германцев пользуется то племя, которое, разорив соседние области, окружает себя как можно более обширными пустырями...» Члены племени похвалялись широким поясом безлюдных лесов, заслоном ограждавшим места их обитания. Они гордились тем, что в этой запретной полосе не дерзали появляться люди другого племени. Так, год за годом длилась борьба за пастбища и охотничьи просторы. Сражения и набеги, угон стад чужого племени привели к захвату пленников.

С нескрываемым изумлением писал Цезарь о том, что германцам нельзя оставаться на одном и том же месте более года. С неменьшим удивлением он замечал, что, не в пример трудолюбивым хлебопашцам и виноградарям Римской империи, германцы почему-то «не усердствуют в земледелии».

Зоркий глаз Цезаря заприметил и другую странность, не объяснимую для римлянина. У себя на родине он знал и владельцев жалких клочков земли и гордых обладателей обширных поместий. И хотя первые гнули спину на своих участках, а вторые помыкали сотнями тружеников, как те, так и другие крайне дорожили земельной собственностью, мечтали ее расширить.

Германцы, напротив, каждый год без всякого сожаления расставались со своими нивами. Они никогда не делили землю на отдельные участки, а разрыхляли, засевали ее и снимали урожай сообща — силами целого рода. Общий, дружный труд и равное пользование совместно добытыми продуктами поражали Цезаря так же, как и отсутствие оседлости. С величайшим интересом писал он о том, что имущественное равенство, отсутствие бедных и богатых создают необычайную сплоченность всех членов германского племени.



Сраженный германец.

Засеяв весной свободные от леса клочки земли, германцы осенью снимали скромный урожай, а затем спешили перебраться на новые места. К непрестанным передвижениям древних германцев толкали поиски пастбищ

и охотничьих просторов, обещавших им основные, важнейшие предметы пропитания, ценимые куда больше, чем незначительное количество зерна, собираемое там, где чуть-чуть расступался неподатливый, буйно растущий лес.

При ежегодных переселениях на новые места не могло быть и речи о постоянном пользовании одними и теми же участками, не было и заботы о покидаемой земле, которую незачем было удобрять. Совместная обработка нивы, равное право на общий урожай появились вовсе не потому, что древние германцы сознательно предпочитали равенство неравенству... Они и не могли поступать иначе, подчиняясь требованиям природы своего края.

Именно суровая природа побуждала многолюдный род к трудовой и хозяйственной сплоченности. И опасное соседство хищного лесного зверя, и утомительные многодневные охоты, и борьба с другими племенами были по плечу только большому содружеству объединившихся родичей. Еще бо́льших усилий требовало тогдашнее земледелие. Редкое племя имело кое-какие металлические орудия труда, деревянные орудия были примитивны, и это заставляло вести расчистку почвы, посев и сбор урожая лишь общими силами большого рода.

Полтора столетия отделяют от Цезаря другого автора — римского историка Тацита. В отличие от Цезаря, он не сталкивался с германцами сам, а собирал сведения о них у современных ему географов, военачальников, расспрашивал купцов, беседовал с пленными германцами в Риме. Но, изображая германцев как ученый-историк, Тацит считал возможным говорить о них в своем замечательном труде «Германия» лишь то, что считал правильным.

За тот полуторавековой промежуток, который простирался между «Записками о галльской войне» Цезаря и «Германией» Тацита, многое изменилось в жизни древних германцев. Сравнивая два свидетельства римских авторов, мы имеем возможность оценить тот путь, который германцы прошли в своем историческом развитии за полтораста лет.

Автор «Германии» предназначал свой труд не для отдаленных поколений. Он адресовал его вовсе не будущим историкам, а своим соотечественникам, о которых больше всего думал и беспокоился. Тацита очень тревожили бросавшиеся в глаза признаки упадка тогдашней римской знати: увлечение роскошью, изнеженность, бездеятельность и безучастность к судьбам родины.

Потому-то Тацит и не упускал возможности при всяком удобном случае ставить в пример римлянам их германских соседей. Каждый раз он настойчиво подчеркивал здоровую простоту близких к природе варваров, умеренность их потребностей, присущую им отвагу и воинственность и, в особенности, деятельное соучастие рядовых германцев в военных и государственных делах.

И хотя Тацит всячески пытается подчеркнуть простоту нравов

изображаемых им германцев, нам все же удается разглядеть в них новые черты, не свойственные временам Цезаря.

«Одеждой для всех, — говорит Тацит,— служит короткий плащ, застегнутый пряжкой или, за ее отсутствием, колючкой. Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. У самых зажиточных одежда состоит из холщовых рубах и штанов. Остальные же носят звериные шкуры». Особенно поражали Тацита одежды племен, живших на морском или океанском побережье, искусно составленные из мехов оленей, медведей и морских животных, сочетание которых создавало причудливые узоры. В назидание заносчивым римским матронам (знатным дамам) Тацит напоминает, что и женская одежда такая же простая, как и у мужчин, с той только разницей, что они носят покрывала из холста, который расцвечивают пурпурной краской.

Как и во времена Цезаря, германцы времен Тацита довольствовались продуктами своего хозяйства и лишь в редких случаях сбывали накопившиеся излишки. Поэтому им были не нужны деньги и германцы редко ими пользовались.

«В золоте и серебре боги им отказали, — рассказывает Тацит, — не знаю уж, — по благосклонности ли к ним или же потому, что разгневались на них. Да германцы и не одержимы такой страстью к обладанию драгоценными металлами и пользованию ими, как другие народы. У них можно видеть подаренные их послам и старейшинам серебряные сосуды, в не меньшем пренебрежении, чем глиняные. Впрочем, ближайшие к Рейну и Дунаю племена ценят золото и серебро для употребления их при торговле. Живущие же внутри страны пользуются более простой и древней формой торговли, а именно меновой».

Таким образом, к торговле с Римом успели приобщиться лишь пограничные племена, тогда как племена, жившие в глубине страны, еще не знали постоянной торговли и лишь время от времени обменивались друг с другом излишками тех или иных продуктов.

Тацит с большим одобрением писал о том, что, в отличие от детей знатных римлян, в германских селениях детей никто специально не воспитывает. Предоставленные самим себе, они «в каждом доме растут голые и грязные» и, резвясь на лоне природы, вырастают с мощным телосложением. При этом Тацит замечает, что дети господ и дети рабов по внешнему виду друг от друга ничем не отличаются. Они вместе растут на той же земле, среди того же скота, участвуют в одних и тех же играх и забавах, и только с наступлением юношеского возраста свободные обособляются от рабов.

Рисуя жизнь варваров, столь не похожую на жизнь римлян, подчеркивая присущую им простоту и неприхотливость, Тацит словно мимоходом упоминает о различии в одежде зажиточных и рядовых германцев. Говоря о детях свободных и рабов, он как бы вскользь замечает, что пути и судьбы тех и других расходятся с наступлением юношеского возраста. Стало быть, многое успело измениться

со времен Цезаря. Чтобы понять, как первоначальное равенство сменилось неравенством, присмотримся к жизни германцев тацитовской эпохи, к их труду и быту.

Если Цезарь рассказывал о ежегодных переселениях древних германцев, то Тацит писал о другом.

Хотя обмазанные глиной, побеленные или покрытые голубой краской хижины германцев разбросаны в причудливом беспорядке и, по словам Тацита, ничем не напоминали римскую деревню с вытянутыми в одну нитку улицами, все же речь шла уже о существовании постоянных германских селений, об оседлости германцев тацитовской поры.

По-прежнему земля считалась общим достоянием всех поселенцев или всей общины. Все односельчане сообща пользовались лугами, выпасами и лесом. Но пахотная земля отныне делилась на наделы, отводимые всем семьям. Главная забота общины заключалась в том, чтобы все ее члены имели равную долю этой земли. Никто не должен был жаловаться на то, что полученная им пашня меньше либо хуже, чем у соседа.

Старательно избегая подобных нареканий, германцы ежегодно размечали свои поля, каждое из которых засевали определенной культурой. Отдельная семья обязательно получала по полоске в каждом поле: и в более плодородном, и в менее плодородном, и в близком к селению, и в удаленном от него. Таким путем все семьи ставились в совершенно одинаковые условия. Все они располагали равными наделами пахотной земли, состоявшими из одинаковых по размеру и качеству полос, лежавших в разных полях: и в том, где было посеяно просо, и в том, где колосился ячмень.

Во времена Тацита населения было не так уж много и недостатка в земле еще не ощущалось. Поэтому после снятия урожая земле давали несколько лет отдохнуть, и, прежде чем возвратиться на прежнее место, пашня на протяжении этих лет ежегодно переносилась на новое место. Тем временем не занятые под пашню земли заростали травами и служили всем односельчанам общим пастбищем. Каждый год общинники снова и снова старательно делили будущие поля на одинаковые полоски по числу семейств, получавших пахотные наделы.

И все же, несмотря на то что германцы хорошо продумали и твердо соблюдали свою справедливую систему землепользования, несмотря на то что они стремились поставить все семьи в совершенно одинаковые условия, равенство постепенно уступало место неравенству.

Тацит недаром замечает, что германцы делили между собой поля «сообразно достоинству». Каким же образом появились в древнегерманских селениях люди, которых стали считать более «достойными»? Ведь для того чтобы обработать полученный надел, каждая семья прежде всего нуждалась в рабочих руках, в рабочем скоте, в семенах...

В те времена продолжались и даже учащались войны между племенами, о которых писал еще Цезарь.

В буйных набегах, в попытках угнать чужой скот и овладеть добычей нередко складывали головы и юноши и зрелые отцы семейств. Если из опасного набега не возвращались взрослые сыновья или сам глава семьи, то осиротевшие семьи лишались своих кормильцев. И они уже не могли сполна использовать пахотные наделы, которые оставались либо вовсе невозделанными, либо лишь частично обработанными.

Если же удачливые участники разбойного набега возвращались в родные селения невредимыми, если на их пути клубилась пыль под ногами захваченных коней и быков, если под охраной возвращавшихся победителей плелись со связанными руками пленники, это предвещало большие перемены.

Отныне тот, кто имел лишний рабочий скот, кто превращал захваченных в плен членов чужого племени в своих рабов, мог использовать не только свой прежний пахотный участок, но и просить общину, чтобы ему отвели дополнительные наделы. А получив такие добавочные наделы, удачливый воин передавал их своим рабам. Каждый раб был обязан обрабатывать порученный ему надел и отдавать господину часть добытых продуктов, сохраняя остальные продукты для пропитания своей семьи.

Таким путем в древнегерманских селениях стали появляться люди, жившие трудом чужих рук. Тацит недаром замечал, что «самые сильные и воинственные» из германцев считают для себя зазорным личный труд и в мирное время перекладывают все заботы о доме и хозяйстве на домочадцев, а сами пребывают в безделии. «Удивительное противоречие,— восклицает Тацит,— когда одни и те же люди так любят бездействие и так ненавидят покой!»

Гнушаясь земледельческого труда, такие обогащенные войной германцы с нетерпением ждали новых набегов, насилий и добычи и спешили сменить праздное бездействие грабительским походом.

Бывалый и опытный воин нередко собирал дружину, в которую вступали юноши, готовые сражаться под его водительством, принося ему присягу верности. «Дружинники, — говорит Тацит, — от щедрот своего вождя ждут себе и боевого коня и обагренное кровью победоносное копье, а вместо жалованья для них устраиваются пиры, правда, не изысканные, но обильные. Средства для такой щедрости доставляют грабеж и война».

Если Цезарь упоминал о возникавших время от времени дружинах, то Тацит говорит о дружине как о постоянном явлении в жизни германцев.

Соседние племена, устрашенные грозной славой дружины, страшась ее разбойничьих набегов, приносили вождю дружины почетные дары, которыми он делился со своими воинами.

Подобно прославленным воинам, и молодые дружинники проникались презрением к мирному труду и считали войну самой на-

дежной дорогой к богатству. Поэтому Тацит и говорил, что этих людей «легче убедишь вызывать на бой врага и получать раны, чем пахать землю и выжидать урожая; более того: они считают леностью и малодушием приобретать пóтом то, что можно добыть кровью».

Пытаясь выразить взгляды германцев, Тацит писал, что если какое-либо племя «коснеет в мире», то юноши данного племени покидают его и переходят в другое племя, которое ведет войну. Жажда немедленной добычи, алчность оказывались, как видно, сильнее привязанности к родным очагам.

Немудрено, если юношам с ранних лет внушали мысль о преклонении перед войной и всячески воспитывали в них готовность к вооруженному насилию. Этому раньше всего способствовали опасные охотничьи предприятия, о которых мы уже слышали от Цезаря. Той же цели служил особый праздник, на котором юноши, достигшие определенного возраста, доказывали свое мужество и сноровку. Обнаженные, они плясали меж воткнутых в землю мечей и копий, рискуя наткнуться на их острие.

Прошедшие такое испытание юноши получали на народном собрании из рук старейшин копье, которое отныне становилось не только личным оружием взрослого воина, но и было также отличием полноправного свободного германца от безоружного раба. «До этого, — писал Тацит, — юноша считался членом семьи, теперь он становился членом государства». Недаром на собрание племени каждый его участник являлся со своим копьем как признаком свободы и полноправия.

Людей, выдвинувшихся своим влиянием и богатством, Тацит называл «первыми людьми племени». Бывает, писал он, что положение одного из «первых людей племени» достается молодому, ничем себя не проявившему человеку, унаследовавшему это звание от родителей.

«Вождей,— говорил Тацит,— германцы выбирают по доблести, а королей — по знатности». И, как бы спохватившись, Тацит добавляет, что те, кого называют королями, не имеют права ни казнить, ни заключать в оковы, ни подвергать провинившихся телесному наказанию. Если военного предводителя избирали по его личным качествам — по боевому опыту, то правители, руководившие племенем в мирные дни, выдвигались отнюдь не по личным заслугам, а по «знатности», то есть по положению и происхождению. Их власть еще была ограниченной, и Тацит называл их королями только потому, что не мог найти в своем родном языке другого наименования.

Вожди и так называемые короли самостоятельно решали все второстепенные дела, но самые важные дела племени решало общеплеменное собрание.

«Свои народные собрания,— рассказывал Тацит,— веча — они созывают в новолуние и полнолуние, так как верят, что эти дни



Совет старейшин германского племени.

являются самыми счастливыми для начала дела». И счет времени, добавляет он, «они ведут не по дням, как мы, а по ночам, ибо думают, что ночь ведет за собой день».

Медленно собирались германцы на племенное собрание, главным образом, потому, что жили в разных, удаленных друг от друга поселениях, откуда к месту сборища приходилось пробираться через леса и болота.

Молчание на племенном народном собрании водворяли жрецы, которые в этом случае имели право наказывать нарушителей порядка. Рядовые германцы рассаживались широким кругом, в середине которого становились вожди, «короли» и первые люди племени. Кто-либо из этих лиц выступал и выдвигал предложения, выносимые на обсуждение народного собрания. Если предложение не нравилось, его отвергали шумными возгласами, а если нравилось, то одобряли громким стуком оружия. «Восхвалять оружием,— замечал Тацит,— у них самый почетный способ одобрения».

В народном собрании не только решались важные дела, но и происходил суд. Наказания виновных бывали различны, смотря по преступлению. Предателей и перебежчиков вешали на деревьях, трусов и изменников топили в болоте и заваливали их погрузившиеся в трясину тела хворостом. За более легкие проступки уплачивались штрафы лошадьми и рогатым скотом.

Суровая природа дикой и лесистой страны вызывала у древних германцев представление о могучих и грозных божествах, от которых зависело все: смена дня и ночи, плодородие земли, дожди и ветры, бури и наводнения.

Когда бушевали весенние грозы и небо прорезала молния, германцы считали, что в просветах туч мелькает огненно-рыжая борода бога Тонара. Они уверяли, что этот бог бросает свой каменный молоток, который, прокатившись по небу, снова возвращается

в руки бога и снова падает, вызывая повторные раскаты грома. На грохочущей колеснице сам Тонар разъезжает по тучам, и небо сотрясается при этом от грозного гула.

Когда через равнины проносился сильный порыв ветра, взметая пыль и опавшую листву, германцы думали, что это пробудился бог ветра и бури Вотан.

Весной, когда под лучами солнца таяли снега и земля одевалась покровом цветов и трав, эту перемену объясняли тем, что к людям возвращается богиня земли Нертус, которая приносит с собой тепло и плодородие. Жрецы, чтобы поддержать эту легенду, в весенние дни устраивали особый праздник. В деревню въезжала увитая цветами колесница, которую везли молочно-белые телки. На этой колеснице стояла красивая девушка в праздничном одеянии, с венком из цветов на голове.

Германцы верили, что сама богиня Нертус удостоила их своим посещением. Оставалось лишь неизвестным, откуда явилась богиня и куда она направит далее свой путь. Жрецы окружали появление весеннего божества глубокой тайной. По рассказу Тацита, германцы верили, что обитель богини Нертус находится на неведомом острове, в густолиственной роще. Якобы там, накрытая покрывалом, долгие месяцы стоит колесница, пока с наступлением весны она не понадобится богине. И, когда богиня возвращается в свою таинственную рощу, колесницу омывают в особом озере, скрытом от взоров непосвященных. После этого рабов, участвовавших в омовении колесницы, навсегда поглощают воды озера. А весной таинственная колесница снова появляется в германских селениях, и тогда наступает долгожданный праздник весны. В эти радостные дни всеобщего ликования никто не смеет браться за оружие и омрачать раздорами праздник.

Эта легенда о светлой богине Нертус, несущей земле весеннее обновление, напоминает древнегреческий миф о юной богине Персефоне, похищенной богом мрачного подземного мира. Греки объясняли смену времен года, торжество весны тем, что богиня Персефона освобождалась от долгого заточения и, покинув подземные чертоги, поднималась на поверхность земли, чтобы украсить землю весенним убором.

Подобно греческому мифу, древнегерманская легенда о богине Нертус родилась как попытка объяснить загадочную для древних народов смену времен года. Появление у германцев такой легенды, напоминающей сходные сказания других земледельческих народов древности, ясно говорит о том, что германцы эпохи Тацита уже были земледельческим народом.

Находясь перед лицом непонятных и грозных сил природы, древние германцы пытались объяснить их волей таинственных богов и духов. Они верили в злых великанов-разрушителей — необузданных пьяниц и обжор. Им казалось, что всякий лесной ручей, поток и водопад находился под покровительством нимфы,

над каждым деревом властвовала незримая фея, на лугах плясали эльфы, а в горных теснинах жили бородатые карлики-гномы, ревниво оберегавшие сокровенные богатства гор и откликавшиеся на человеческий голос дразнящим эхом.

Когда зимой в лесах бушевал снежный ураган и под ударами бури стонали сосны, германцы говорили, что это грозный Вотан в бешенстве избивает лесных фей.

Древние германцы почти не знали храмов. Убежищем богов они считали священные рощи. Богам приносили жертвы и иногда в угоду им обрекали на смерть пленников.

Тацита очень заинтересовали гадания германцев. Вот что он рассказывает о них: «Гадание по птицам и по особым жеребьевым палочкам они почитают, как никто. Способ гадания по жеребьевым палочкам весьма прост. Отрубив ветку плодоносного дерева, они разрезают ее на куски, отмечают эти куски какими-то знаками и разбрасывают по белому покрывалу. Затем жрец племени, если дело идет об общественных делах, или же сам отец семейства, если гадают о частных делах, помолившись богам и смотря на небо, трижды берет по одной палочке и на основании сделанных ранее значков дает толкование. Если выйдет так, что боги не советуют начинать дела, то обычай запрещает еще раз в тот же день спрашивать богов о том же деле, если же боги разрешают задуманное, то требовалось подтверждение этого разрешения гаданием по птицам. Жрец смотрел, откуда и какие птицы появлялись. Особое значение имели вещие птицы, как, например, сова. Гадали и по поступи лошадей. Германцы держали в священных рощах и дубравах посвященных богам лошадей белой масти и не употребляли их ни для какой работы».

Был у германцев еще один способ гадания. Они заставляли своих воинов сражаться с пленными воинами тех племен, с которыми они готовились воевать. Победу своих воинов они объявляли хорошим предзнаменованием.

Все эти способы гаданий позволяли жрецам преподносить народу то или иное решение в качестве непререкаемого веления богов, волю которых якобы знают и умеют истолковать жрецы. Именно таким путем воинственная знать ухитрялась подчинить себе своих доверчивых соплеменников.

Когда германец умирал, его тело сжигали на костре, и если это был знатный человек, то при сожжении употреблялись деревья особых пород: дуб, бук, сосна и можжевельник. Но особой пышностью обряд сожжения не отличался. В костер клали лишь оружие воина, а в некоторых случаях сжигали также коня покойного.

Таковы те черты, которыми отличались нравы германцев в ту пору их жизни, которая предшествовала наступившему вскоре объединению отдельных племен в крупные и могущественные племенные союзы, все более и более угрожавшие постепенно слабевшему Римскому государству.

ГИПАТИЯ, ДОЧЬ ТЕОНА

С детства Гипатию окружали книги. Она с отцом жила на территории Мусейона, научного центра и высшей школы, которой гордился Египет. Рядом находилось крупнейшее книгохранилище мира — Александрийская библиотека. Теперь, во второй половине IV века н. э., эта библиотека занимала ряд помещений, принадлежавших Серапеуму, самому знаменитому храму Александрии. Очень красивы были многочисленные внутренние дворики Серапеума, окруженные колоннадой, тенистые аллеи, статуи.

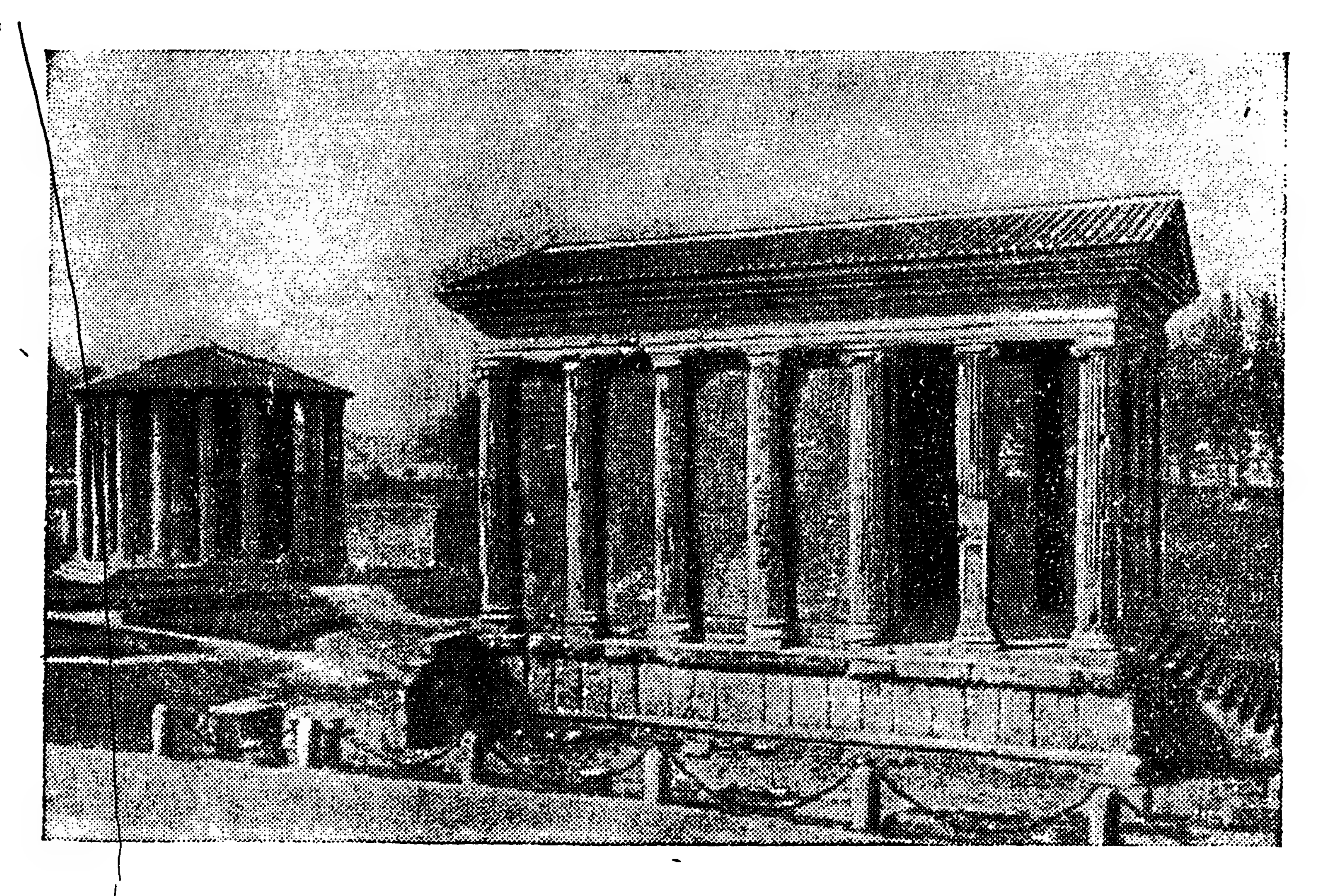
Теон, отец Гипатии, был видным астрономом. Он гордился, что продолжает дело знаменитых ученых и принадлежит к Мусейону, научному обществу, в котором прежде состояли великие математики Евклид, Аполлоний Пергамский и Клавдий Птолемей.

Гипатия рано полюбила геометрию и исписывала множество табличек, учась доказывать теоремы. Девочке нравилось в звездные ночи наблюдать небо. Она отличалась удивительной сообразительностью и обнаруживала незаурядные способности к механике. Подолгу смотрела она, как работают ремесленники, и, подражая отцу, мастерила несложные инструменты, нужные для астрономических наблюдений.

За книгами древних философов, особенно Платона и Аристотеля, Гипатия провела многие годы. Широта интересов, удивительная работоспособность и острота ума снискали ей уважение профессоров Мусейона. Она была еще очень молода, когда ей предложили преподавать математику. У нее появились первые ученики.

Гипатия изменилась и внешне: вместо обычной одежды молодой девушки она стала носить темный плащ философа. Молва о ее необыкновенных познаниях распространялась все шире и шире. Александрия, жемчужина Египта, издавна славилась своими учеными. Теперь Гипатия становилась ее новой гордостью.

Огромная библиотека, общество ученых людей, превосходные аудитории, восторженные ученики — все, казалось, способствовало безмятежным занятиям наукой. Но настоящего покоя не было и под платанами Мусейона. Шли годы, наполненные тревогой и ожиданием несчастий. Римская империя рушилась. Внутренние



Языческий храм позднеримской эпохи.

распри раздирали государство, обескровленное непомерными поборами, бесконечными войнами, произволом правителей. Смятение царило не только в пограничных областях, где хозяйничали орды варваров, смятение царило в умах и душах. Уже семьдесят лет как при Константине христианство стало господствующей религией, но чуда не произошло — жизнь, как и раньше, была полна несправедливости и угнетения. Римские императоры по-прежнему оспаривали друг у друга власть, всё также массы готов, гуннов и скифов опустошали цветущие земли. Люди, верные старым богам, приписывали все беды новой религии, а в христианской церкви громче и громче раздавались голоса тех, кто требовал окончательно сокрушить язычество.

Епископ Александрии Феофил был в числе самых нетерпеливых. Настойчиво добивался он от императора указа об уничтожении всех без исключения языческих храмов в Египте. Запрета поклоняться идолам и совершать жертвоприношения ему было мало. Он жаждал уничтожения языческих святынь. Феофила не останавливало то, что его рвение вызывало кровавые беспорядки и приводило к гибели людей. Жители Александрии и ее окрестностей нередко оказывали сопротивление фанатикам-христианам, которые пытались разрушить древние храмы, поражавшие своей красотой. Но Феофил не мог успокоиться, пока Серапеум оставался невредим. Не зная устали, хлопотал он при дворе о дозволении его уничтожить.

2 Заказ 454

* * *

Этот день на всю жизнь остался в памяти Гипатии как кошмарный сон, которому трудно поверить.

Утром огромная толпа во главе с монахами устремилась к Серапеуму. Но его сторожа успели поднять тревогу и закрыть ворота. Нападение было хорошо подготовлено, руководил им сам Феофил. И хотя на помощь защитникам Серапеума поспешили многие возмущенные горожане, участь храма была решена.

Когда смельчаки, оборонявшие храм, сделали несколько отчаянных вылазок и потеснили людей Феофила, тот обратился к начальнику войск, требуя во исполнение императорского указа немедленной присылки солдат. Те прибыли с осадными орудиями, словно для взятия неприятельской крепости. Лестницы помогли осаждающим преодолеть стены. Мощный таран разбил ворота. На территорию Серапеума хлынула озверевшая толпа. Плиты, устилавшие площадь, обагрились кровью.

Фанатики, обуреваемые жаждой разрушения, крушили все, что попадалось под руку: разбивали статуи, выламывали двери, уничтожали настенную живопись. Желавшие поживиться богатой добычей устремились к сокровищнице храма. Но там уже хозяйничали доверенные люди епископа. Под надежной охраной несметные храмовые богатства были направлены во дворец Феофила.

В толпе раздались возмущенные голоса. Кто-то из монахов крикнул: «Немедля надо уничтожить всю языческую нечисть!» Он имел в виду книги. Толпа бросилась к библиотеке. Безумие надо было остановить любой ценой! Горстка ученых с оружием в руках храбро защищала подступы к книгохранилищу. Но все было напрасно. Силы были слишком неравны. Люди, обезумевшие от убийств, ворвались в помещения библиотеки. Бесценные книжные богатства, сохраненные и приумноженные трудами многих поколений ученых, оказались добычей невежественных, переполненных ненавистью людей. Монахи вовсю их подзадоривали. Книги сбрасывали с полок, рвали, топтали. Рукописи, за которые в свое время отдавали целые состояния, вышвыривали во двор. Там их собирали в кучи и поджигали.

Внутренние помещения Серапеума, как и книгохранилище, громили долго и основательно.

Напрасно Гипатия кричала и рвалась туда, где сражались и гибли друзья, — по приказу Теона ее надежно держали крепкие руки рабов.

Храм Серапеума был разгромлен. Мусейона больше не существовало. Александрийская библиотека была почти полностью уничтожена. Это свершилось в 391 году, на шестой год правления епископа Феофила.

* * *

По аллеям Серапеума ветер долго еще гнал клочки драгоценных рукописей. Тем временем Теон нанял небольшой дом в тихом квартале Александрии. На плоской крыше он установил приборы, необходимые для наблюдения звезд. Вскоре Теон объявил, что открывает частную школу, где будет обучать механике и астрономии всех желающих.

Гипатия не снимала траура по погибшим друзьям, долго не появлялась на людях, не выходила к столу. Теон, осунувшийся и как-то сразу постаревший, не произносил слов утешения. Но однажды он сказал: «Завтра, дочь, мы возобновляем занятия, утром к тебе придут ученики».

* * *

Варварство надвигалось со всех сторон, угрожая уничтожить древнюю культуру. Германцы с окрашенными рыжей краской волосами, жаждущие плодородных земель для поселений, или стремительные кочевники, выходцы из Азии, то и дело переходили римские рубежи. А внутри империи все выше поднимало голову другое варварство — варварство победивших христиан, их слепая преданность своей вере и стремление силой подавить все прочие, ненавистные им религии. Добродетелью стало считаться пренебрежение к культурным ценностям, неприязнь к науке. Серапеум и сотни других храмов уничтожали не чужеземцы-варвары, одетые в шкуры зверей, а сами же египтяне, греки, римляне, сирийцы. Дети народов, прославившихся древней культурой, став христианами, разрушали прекрасные здания, жгли библиотеки, разбивали статуи. Все это христианская церковь объявляла ненужным и вредным. Христианам предлагали думать о боге и спасении своей души и готовиться к будущей вечной жизни на том свете.

Христианские проповедники на все лады превозносили невежество. Верующий неуч, чистый сердцем, противопоставлялся лукавому язычнику-ученому. Взгляды большинства вождей церкви отличались узостью: наука годилась, по их мнению, лишь в том случае, если сразу же приносила им пользу. Какой прок от астронома, если он, углубившись в расчеты, пытается постичь загадки мироздания? Все, что нужно об этом знать, есть в библии! Другое дело, если он умело высчитывает срок наступления пасхи. Правда, бывает, что и сочинения греческих ораторов приносят пользу, помогая совершенствоваться в церковном красноречии.

Спасать от воинствующих невежд-христиан надо было не ту или иную драгоценную рукопись или статую — спасать надо было самое представление о культурных ценностях, о важности науки и человечности искусства.

После разгрома Серапеума многие ведущие ученые навсегда покинули Александрию. Но Теон с дочерью остались. Ссылаться на пословицу: «Родина там, где хорошо» — позволительно меняле, но не ученому. Настоящий ученый не покинет родину в годину испытаний.

Школа Теона и Гипатии продолжала работать. Все свободное от занятий время Гипатия сидела над книгами или наблюдала и изучала звездное небо. Она достигла в этом трудном искусстве редкого совершенства. Гипатия не только развивала идеи великого астронома и математика Клавдия Птолемея, но и вносила уточнения в его астрономические таблицы. Дочь превзошла отца в астрономии, и слава Гипатии затмила славу Теона.

Постепенно от преподавания математики Гипатия перешла к чтению лекций по философии. Она излагала слушателям учение греческих философов Платона и Аристотеля, толковала его с обстоятельностью и глубиной. Казалось, в этой девушке воплотилась мудрость прошлого. Все чаще раздавались восторженные голоса: «Никто не знает так философии, как несравненная Гипатия!»

С годами слава о ее школе широко распространилась. Быть учеником Гипатии считалось большой честью. В Александрию стали съезжаться юноши из разных стран.

Гипатия поражала своей разносторонностью. Ее широко прославило преподавание философии и математики, однако с неменьшим блеском читала она о Гомере или о греческих трагиках. По общему мнению, Гипатия превзошла всех современных ей философов. Превосходно знала Гипатия и книги христианских писателей. Один из ее любимых учеников, Синезий, епископ Птолемаиды, не решался выпустить в свет свой богословский труд без одобрения Гипатии.

Ей принадлежали обширные разъяснения к сочинениям известных математиков Диофанта и Аполлония Пергамского. В школе Гипатии занимались выходцы из разных стран, рядом с христианами сидели язычники. Бывших ее учеников можно было встретить и на епископской кафедре и при дворе в Константинополе.

Лекции Гипатии отличались не только глубиной, но и изяществом. Слушать ее было одно наслаждение. Часто на ее лекции сходилось много народа. Посещать дом Гипатии вошло в моду. Вокруг нее собирался весь цвет ученой Александрии. Сам префект, правитель Египта, нередко бывал ее гостем.

Познания Гипатии, рассудительность и скромность внушали уважение. Она всегда держалась с достоинством. Даже перед правителями появлялась она в своем темном плаще философа. Свое влияние она никогда не употребляла во зло. Гипатию считали воплощением мудрости и к голосу ее прислушивались не только, когда речь шла о научных вопросах.

Даже епископ Феофил, невежественный и властный человек, терпел ее. Ему льстило, что в городе существует школа, равной

которой нет ни в Риме, ни в Константинополе. Ученые-александрийцы непрочь были похвастаться: что́, мол, Афины по сравнению с их родным городом? Слава Афин закатилась, ныне они могут гордиться лишь душистым аттическим медом, в Александрии же блистает Гипатия! Весь Египет питается ее посевом в то время, когда в Афинах царит мерзость запустения.

Но были у Гипатии и враги, завидовавшие ее славе. «Гипатия — воплощение мудрости, — шипели они. — Да, но мудрости языческой, противной христианскому благочестию!» И недобрым взглядом провожали ее...

События, происходившие в Александрии и ее окрестностях, вызывали озабоченность Гипатии. Дело не в том, что здесь на епископском престоле сидел крутой и темный человек, неразборчивый в средствах. Хуже было другое. Люди, полагавшие, что христианство, став государственной религией и окончательно низвергнув язычество, встанет наконец на путь мира, ошиблись. Победившее христианство не проявляло бережного отношения к древней языческой культуре и науке. Отовсюду шли малоутешительные вести: ученые, занимавшие прежде духовные должности, оказывались не у дел, — их место занимали ограниченные и жадные до власти честолюбцы. Церковные руководители хотели подчинить себе все. Слова и дела были в вопиющем противоречии. Духовные наставники умели пользоваться и нарочитой торжественностью богослужений, и берущими за душу проповедями, и беседами с глазу на глаз, и благотворительностью. Они научились мастерски играть и на низменных инстинктах толпы, сеяли ненависть к иноверцам, поддерживали суеверия. Ссылками на «божью волю» распаляли страсти, а миской дешевой похлебки завоевывали если не сердца, то желудки бедняков, чтобы натравить вечно голодных людей на лиц, неугодных церкви.

Хорошие начинания и добрые дела христиан, еще недавно служившие самым благим целям, теперь часто обращались в свою противоположность. Это будет видно из дальнейшего повествования. Во время эпидемий, охватывавших целые области, некому было ходить за больными и убирать трупы. Смертельная зараза обращала в бегство людей нетрусливого десятка. Требовалось особое мужество и самоотверженность, чтобы по собственной воле взять на себя тяжелые и опасные обязанности, необходимые для общего блага. Христиане стали в этом видеть религиозный подвиг. Смельчаки, решившиеся ухаживать за заразными больными, объединялись в особую организацию парабаланов, то есть отважных, подвергающих себя смертельной опасности. Они пользовались уважением и особыми правами, их освобождали от налогов.

Феофил обратил внимание на парабаланов, решив использовать их для укрепления своей власти епископа. Его притязания на неограниченное господство встречали сопротивление светских властей. Поэтому он особенно нуждался в людях, готовых в любой

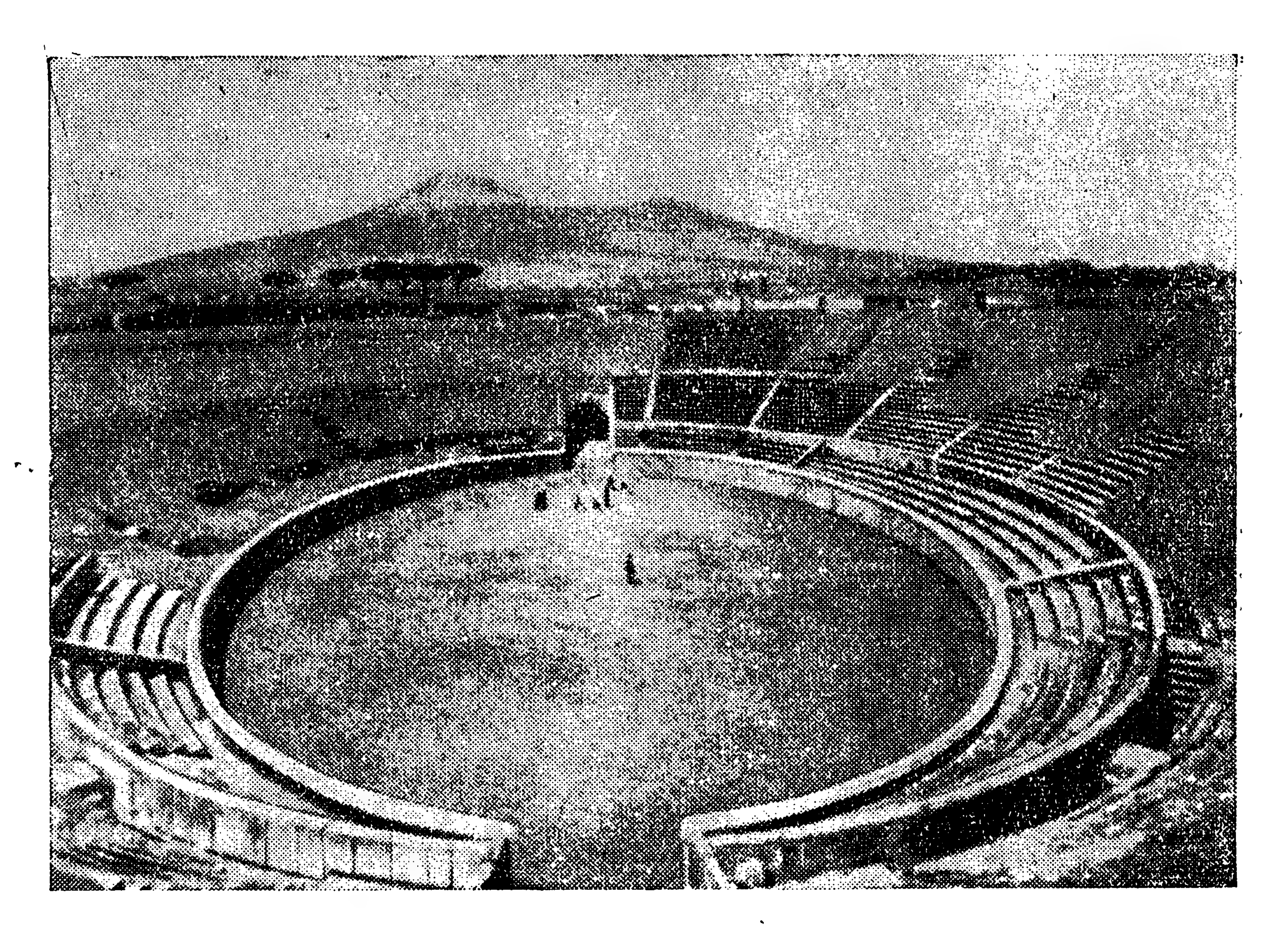
момент броситься за него в огонь и воду. Он не имел права содержать солдат. Войсками в Александрии распоряжался военачальник. Тогда Феофил вспомнил о парабаланах. Великий мор случается не так уж часто, и, на худой конец, таскать трупы можно заставить и рабов! Ему сейчас нужны решительные, вышколенные, надежные бойцы. Среди парабаланов навели порядок. Богомольцев, мечтающих спасти душу, ухаживая за умирающими, направили работать в богадельни; набрали новых людей, мускулистых, отчаянных. Предпочтение отдавали бывшим солдатам и гладиаторам. Когда префект, правитель Египта, спохватился и запротестовал, Феофил, посмеиваясь, сослался на давние установления: парабаланами обычно распоряжался епископ. Да и кто будет убирать трупы, если Александрию постигнет какая-нибудь очередная напасть? Так епископ Феофил готовил себе союзников в предстоящей борьбе за безраздельную власть.

Люди уже привыкли к тому, что время от времени страшные вести сотрясали Римскую империю. Натиск варваров усиливался. Хорошо, когда от них удавалось откупиться золотом или землями для поселений. Но они, чувствуя свою мощь, становились все напористее. В 378 году император Валент понес под Адрианополем жесточайшее поражение и был убит. Весь Балканский полуостров лежал незащищенным перед отрядами грозных готов. Судьба самого Константинополя висела на волоске.

Правда, Феодосию, полководцу, ставшему впоследствии императором, удалось поправить положение, но ненадолго. В вожде вестготов Аларихе империя нашла нового врага, страшного своей ненасытностью. Он тоже чуть было не взял Константинополь и опустошил Балканы до самых южных областей Греции. Несколько лет спустя несметное войско го́тов обрушилось на Италию. Осажденный Рим дважды откупался, но в третий раз Аларих захватил город приступом и отдал его на разграбление. Римлян постигла ужасающая беда. Рассказы о торжестве варваров и их бесчинствах разнеслись по всем концам некогда единой, великой и прочной империи. На этот раз свершилось немыслимое: в августе 410 года пал Вечный город, олицетворение могущества, символ непобедимости. Пал под ударами варваров Рим!

Своего племянника Кирилла Феофил открыто прочил себе в преемники. Выборы выборами, но он сделает все возможное, чтобы после его смерти епископский престол достался сыну сестры, а не какому-нибудь чужаку!

Он велел Кириллу на время поселиться в одном из горных монашеских скитов, чтобы снискать уважение нитрийских монахов, живших в пустынной местности и отличавшихся воинственным духом и неумолимостью. Феофил нередко сам с их помощью расправлялся со своими врагами. Внешне Кирилл стал настоящим пустынником, а в душе лелеял мечты о власти. Он с радостью вернулся в Александрию, когда его позвал Феофил. Теперь надо бы-



Амфитеатр.

ло завоевать популярность у жителей Александрии. Недавний отшельник преобразился: щеголеватое одеяние, статная фигура, красивый голос. Его проповеди в Кесарионе, главной церкви города, проходили при огромном стечении народа. Ему неистово аплодировали.

Епископ советовал племяннику обратить особое внимание на парабаланов, увеличить им жалование, предоставить новые льготы. Он одобрил Кирилла, когда тот взял в свои руки все средства, предназначенные для благотворительности, и стал решать, кого кормить досыта, а кому выдавать лишь крохи. Некоторых смущали сомнительные новшества Кирилла: люди, встречавшие его на улицах приветственными возгласами и бурно рукоплескавшие ему в храмах, были наняты на церковные деньги.

Растущая известность Кирилла вовсе не тревожила епископа. Он видел в нем своего достойного преемника.

* * *

Феофил лежал на смертном одре. Жизнь едва в нем теплилась. Весть о его кончине ждали с минуты на минуту. Для Кирилла пришло время действовать. Он должен во чтобы то ни стало захватить епископский престол!

Характер Кирилла, жестокий и властный, вызывал у многих опасения. Люди, могущие повлиять на избрание епископа, колебались. Другой кандидат, Тимофей, внушал больше доверия. Борьба разгорелась еще до того, как было объявлено о смерти Феофила. Вокруг Тимофея и Кирилла собирались приверженцы. Страсти обострились до крайности, словно происходила баталия с неприятелем. Кирилл боялся, что, если не применить вовремя силу, верх возьмут его противники. Начались столкновения. Вездесущие агенты Кирилла подогревали воинственность толпы. В ход пошли палки, камни, ножи. Начальник гарнизона встал на сторону Тимофея. Исход борьбы казался предрешенным, но Кирилл не растерялся. Звать на помощь нитрийских монахов было поздно. Тут-то и пригодились верные Кириллу парабаланы. Сотни их с оружием в руках устремились к дому Тимофея. Солдаты были смяты. Начальник гарнизона, страшась великой резни, пошел на мировую и отказал Тимофею в дальнейшей поддержке. Кирилл победил, и его возвели на епископский престол.

С тревогой и озабоченностью наблюдала Гипатия за ходом событий. Христианские священники, проповедовавшие на словах мир и справедливость, на глазах у всего города, в открытую попирали собственные принципы и силой захватывали власть! Орест, префект Александрии, предпочел не вмешиваться в эту распрю. Пусть, мол, в делах церкви разбираются сами священники. Неужели префект не понимает, к чему может привести такое попустительство? Или он просто испытывает страх перед шайками вооруженных парабаланов?

Очень скоро Кирилл стал проявлять самовластие. Первые, на кого обратил он свой гнев, были христиане-сектанты, отказавшиеся ему подчиниться. В их церквах сохранялись немалые богатства. Кирилл произнес проповедь, толпа его приверженцев бросилась на сектантов. Их церкви были опустошены и закрыты. Деньги и дорогая церковная утварь оказались в руках Кирилла.

Грабить церкви христиан, которые не разделяют его взглядов, тоже неотъемлемое право епископа Кирилла? Это тоже не касается префекта? Орест опять говорил, что и эта распря лишь частное дело церковников. Дальше, разумеется, Кирилл не пойдет.

Вскоре обстановка еще более осложнилась. В Александрии издавна жило много иудеев. Кирилл не хотел мириться с тем, что значительная часть горожан осталась ему неподвластной. Он решил воспользоваться давней враждой иудеев и христиан. В городе участились стычки. Яростнее стали взаимные упреки. То там, то здесь вспыхивали пожары. На улицах по утрам находили убитых. Вражда росла.

Однажды на рассвете сам Кирилл направился во главе вооруженной толпы в иудейскую часть города. Святой отец намерен раз и навсегда очистить город от этих врагов христианской веры! Люди Кирилла опустошали синагоги, захватывали меняльные кон-

торы, ювелирные мастерские, склады, вламывались в лавки, грабили дома. Особенно неистовствовали парабаланы. Все иудейское население, десятки тысяч людей, было изгнано из Александрии. Кирилл торжествовал победу. Его казна ломилась от награбленных сокровищ.

Возмущенный Орест написал в Константинополь и просил доложить о происшедшем императору. Эта жалоба мало заботила Кирилла. Он по-своему истолковал события и свалил всю вину на иудеев. Кирилл был убежден, что его объяснения примут при дворе благосклонно. Значительную часть захваченного золота он послал в Константинополь нужным и влиятельным лицам.

Однако позиция, занятая префектом, раздражала Кирилла. Оресту следовало бы, по его мнению, уже понять, кто настоящий хозяин Александрии. Он должен смириться, не требовать наказания виновных, не беспокоить императорский двор жалобами.

При каждом удобном случае Кирилл выставлял напоказ свое миролюбие. Он неоднократно посылал к префекту своих людей с предложением прекратить распрю. Но Орест отверг дружбу епископа. Он громогласно заявлял, что не позволит Кириллу злоупотреблять силой и ущемлять права светской власти.

В церкви Кирилл, протягивая евангелие, призывал Ореста помириться. Но тот был непреклонен и твердил, что заставит уважать закон. «Ну что же, — думает Кирилл, — придется показать этому несмышленышу, кто здесь теперь обладает настоящей властью!»

Не полагаясь на одних парабаланов, Кирилл вспомнил о той силе, которую в борьбе с врагами церкви успешно использовал Феофил, — о нитрийских пустынниках. Он послал к ним гонца с призывом о помощи: авторитету церкви угрожает несговорчивость префекта! Петр, один из


Оратор.

приближенных Феофила, отобрал самых решительных, сильных, готовых на все. Он привел в Александрию пятьсот монахов, один вид которых внушал страх: опаленные солнцем пустыни тела в рубищах или шкурах, заросшие угрюмые лица, неприязненные, недобрые взгляды.

Привыкшие беспрекословно подчиняться своим начальникам, они заняли улицы, по которым обычно проезжал Орест. Едва появилась его колесница, как толпа бросилась ей наперерез. Десятки монахов, схватившись за упряжь, остановили лошадей. «Жертвоприноситель! Изменник! — неслось со всех сторон. — Проклятый язычник!» Орест побледнел: он понял, что нападение подстроил Кирилл. Префект закричал громко, как только мог: «Я не язычник! Я христианин, меня крестил константинопольский епископ Аттик!» Но его не слушали и продолжали осыпать оскорблениями. Телохранители обнажили мечи. Толпа ответила градом заранее приготовленных камней. Один из монахов ударил Ореста камнем в голову. Префект упал. Из раны обильно текла кровь. В толпе раздались крики торжества. Почти все телохранители Ореста, опасаясь быть убитыми, побросали оружие и разбежались.

В это время подоспела подмога. Горожане, услышав о нападении на префекта, поспешили на помощь. Им удалось схватить одного из самых яростных подстрекателей, того самого монаха, который ранил Ореста. Его звали Аммоний. Остальных нитрийских пустынников обратили в бегство. Префекта, залитого кровью, доставили во дворец.

Рана оказалась не очень тяжелой, и Орест вскоре был уже в состоянии отдавать приказы. На основании закона о каре преступников, чинящих беспорядки и покушающихся на носителей власти, он приговорил Аммония к смерти. Казнь совершалась всенародно. Аммоний умер в страшных мучениях.

Ночью труп казненного исчез. Его выкрали неизвестные люди. А наутро по приказу Кирилла тело Аммония было выставлено в одной из главных церквей для всеобщего поклонения. Кирилл дал ему имя Фавмасия, то есть «чудесного», и велел прославлять его как мученика, отдавшего жизнь за торжество веры. В церкви на все лады возносили хвалу Аммонию-Фавмасию, его религиозному подвигу, величию духа, благочестию.

Церковь была убрана с поражающим великолепием. Все было залито светом. Горели лампады и свечи в золотых канделябрах. Кругом курили ладан. Живые цветы источали одурманивающий аромат. Сверкали драгоценные камни. Тело Аммония было положено так, что всем были видны следы пыток. Звучал многоголосый хор. Специальные распорядители умело руководили богомольцами. Люди простирались ниц, причитали и плакали, били земные поклоны, ползли на коленях мимо гроба Аммония, целовали постамент, на котором он был установлен, целовали стены церкви,

каменные плиты пола. К Аммонию-Фавмасию взывали с просьбами о заступничестве, об исцелении от болезней, о ниспослании удачи. Голосили плакальщицы. Почести «великомученику» воздавали очень долго, с необычайным размахом и невиданной пышностью.

Прежде, расправляясь с язычниками, церковь бросала им обвинение в идолопоклонстве. Но прошло немного времени, и победившее христианство само стало религией идолопоклонников. И поклонялись теперь не прекрасным статуям богов, а «святым мощам», останкам какого-нибудь «святого» или «великомученику», руке его или ноге, черепу или пряди волос, знакам его «мученичества».

Возвеличение Аммония-Фавмасия вызвало в Александрии жестокие споры. Многие христиане, люди богобоязненные и скромные, выражали недоумение и тревогу. Их возмущало по-язычески пышное и нечестивое, с их точки зрения, представление, устроенное Кириллом. Жизнь Аммония, далеко не безупречная, его буйный и злопамятный нрав были хорошо известны в Александрии. Для чего же Кирилл, явно отступая от истины, изобразил из него страдальца за веру? Да, Аммоний умер в мучениях, но от него, разумеется, не требовали отречься от Христа, — он понес законное наказание за свое безрассудство и дерзость по отношению к властям. Нельзя было придавать событиям столь ложную окраску. Ропот усиливался. Среди недовольных христиан было немало влиятельных людей. Кирилл понял, что перегнул палку. Но главного он достиг — как следует проучил Ореста, показал, что того ждет, если он станет по-прежнему ему противодействовать. Теперь не в интересах Кирилла было раздувать конфликт. Он решил поменьше говорить об Аммонии, чтобы всю эту историю мало-помалу предать забвению.

* * *

На улицах было еще беспокойно, когда Гипатия отправилась к Оресту. Нет, не для того, чтобы призывать его к решительным действиям против зарвавшегося епископа. Префекта она знала давно и на его счет не заблуждалась. Она пришла навестить раненого, выразить ему участие.

Орест не походил на героя. Вызывающее поведение Кирилла, его неразборчивость в средствах, неуемная жажда всевластия и наглая отвага, рожденная чувством безнаказанности, подействовали на Ореста угнетающе. На стороне префекта был закон, власть, солдаты, но он не верил в успех сопротивления, им владело сознание обреченности, словно он знал, что за Кириллом стоит неодолимая сила.

Префект говорил, что чувствует себя вновь господином положения. Он успел призвать в город стоявшие в окрестностях Алек-

сандрии легионы, дворец его окружен надежной стражей. Ему нечего опасаться толпы фанатиков. А что касается истории с телом Аммония, то он решил не вмешиваться. Его, конечно, тоже коробит от этой гнусной затеи, но если Кирилл находит, что ради пользы церкви надо изображать подвергнутого казни злодея великомучеником, то это его дело. Он, Орест, ограничится тем, что напишет обо всем в Константинополь. Требовать же выдачи казненного он не намерен — подобный трофей он охотно оставит Кириллу.

Было ясно, что и на этот раз самоуправство Кирилла не встретит должного отпора. Перед Гипатией в тоге префекта сидел жалкий, напуганный человек с забинтованной головой.

Умирая, отец взял с нее слово, что во имя науки она никогда не будет вмешиваться в распри правителей, не даст вовлечь себя в междоусобицу. Задача ее в другом — она должна всеми силами оберегать немногие оставшиеся ростки знаний, чтобы их окончательно не вытоптали орды неграмотных варваров или безумствующих монахов. Одно неосторожное выступление, и школу ее разгромят.

Долгие годы Гипатия держалась, не читала лекций, которые навлекли бы на нее обвинения в опасном образе мыслей. Среди разгула страстей она сохраняла невозмутимость. В дни, когда искусные подстрекатели устраивали на улицах столкновения, а благоразумные люди не высовывали из дому и носа, она не отме-



Раб-христианин проповедует.

няла лекций. Платона она разъясняла под шум уличных беспорядков. Ночью ее видели у астрономических инструментов. Она привыкла не прерывать занятий, когда под портиком среди слушателей замечала соглядатаев Феофила. Она всегда помнила завет отца и в самые тяжелые минуты утешала себя мыслью, что делает нужное дело и среди торжествующего безумия взращивает и оберегает хрупкие ростки разума. Но чем дальше заходил Феофил, а потом и Кирилл в стремлении подчинить своей власти все — души верующих и имущество вдов, переписку книг и раздачу голодным хлеба, тем труднее было Гипатии сохранять выдержку.

Под прикрытием фраз о чистоте веры шла оголтелая борьба за власть. Пока христианство не превратилось в государственную религию, его духовные вожди требовали только одного — терпимости и свободы совести. Стоило же христианству победить, как зазвучал другой призыв — беспощадно уничтожить язычество. Нетерпимость стала почитаться величайшей добродетелью. «Не пристало одной религии утеснять другую», — когда-то провозглашал христианский писатель Тертуллиан. Но жизнь быстро переиначила эти слова: одна религия не может не утеснять другую. Более того, среди самих христиан начались раздоры. «Христиане, враждуя между собой, — замечал один летописец, — ведут себя хуже лютых зверей».

Все эти годы Гипатия продолжала преподавать, не вмешивалась в политические распри, держала в узде и уста и сердце. Она научилась молчанию. Но ее все чаще мучила мысль, что это тоже невольное пособничество преступлению. Она пыталась себя оправдать: что́ одна женщина может сделать в век величайших потрясений, когда рушится империя, когда в движение пришли целые народы, когда десятки тысяч варваров захлестывают пограничные области, когда все перемешалось — племена, вероисповедания, обычаи?

Она жила для науки: открывала юношам глубины философии и посвящала их в тайны математики. Она сопротивлялась наступавшему варварству, сохраняя и распространяя знания, накопленные светлыми умами человечества. Гипатия свято блюла завет отца и смолчала даже тогда, когда Кирилл изгнал из Александрии тысячи ее коренных жителей. Как, неужели теперь из-за лицемерной возни вокруг казненного злодея, она нарушит слово? Новое идолопоклонство, безрадостное и мрачное, вызывает у нее отвращение, но это ничто по сравнению с другими преступлениями Кирилла.

Несметная толпа скорбящих и юродствующих теснилась у церкви, где Кирилл воздавал последние почести великомученику Фавмасию, а в доме Гипатии продолжались обычные занятия.

Ее все чаще охватывали чувства недовольства и тревоги. Прошло больше двадцати лет с тех пор, когда, пытаясь защитить сокро-

вища Александрийской библиотеки, сражались и гибли ее друзья, молодые ученые. Отец ее удержал, она осталась в живых. Неустанным трудом она добилась того, чего не достигла до нее ни одна женщина. Современники считали ее первой среди философов. Руководимая ею школа была известна далеко за пределами Александрии. Но душевным покоем, о котором как о величайшем благе говорили любимые ею философы, Гипатия похвастаться не могла. Имела ли она право все это время хранить молчание? Она много думала о разгроме Серапеума, о друзьях, погибших с оружием в руках, и не испытывала гордости за свой долгий научный подвиг. Может быть, и ей следовало умереть тогда же, спасая обагренные кровью книги?

Она сомневалась в правоте Теона. Отец доказывал, что в годы лихолетья долг ученых — сохранять науку для будущего. Он верил, что со временем люди перестанут уничтожать прекрасные статуи и мудрые книги. Надежды его не оправдались. Книги попрежнему уничтожали. Правда, теперь жгли книги не одни невежды, но и по-своему образованные священнослужители.

Гипатии однажды рассказали, что неподалеку от Александрии среди развалин какого-то храма монахи обнаружили целую библиотеку из книг греческих и римских писателей. Кирилл, находившийся там проездом, осмотрел ее. Среди рукописей было много ценного, в том числе труды Платона и Аристотеля. Монахи во главе с настоятелем требовали предать всю эту языческую мерзость сожжению. Епископ, не желая терять доверие «черных людей», составлявших его опору, дал согласие. В костер полетели бесценные свитки. А несколько дней спустя, выступая в Александрии с проповедью, Кирилл, среди прочего, разглагольствовал и о платоновских идеях! Гипатия не скрывала возмущения.

Кирилл, не в пример своему предшественнику-дяде, мужиковатому и неотесанному, был широко образован. В молодости он слушал философию у Гипатии и изучал греческих мыслителей. Он считал себя знатоком богословия и брался разрешать любые научные вопросы. Опровергая доводы противников, Кирилл был непрочь блеснуть ученостью. У него была отличная память: он цитировал наизусть пространные библейские тексты.

Ему сходило с рук все: захват епископского престола с помощью шайки парабаланов, насилия над иноверцами, разграбление храмов, принадлежавших христианам, не согласных во всем с учением церкви, поджоги, убийства, нападение на самого префекта. «Пусть бы и богословские споры он решал на манер своего дяди, — думала Гипатия, — науськивал вооруженных нитрийских пустынников на своих идейных врагов. Но ведь он, кичась своей образованностью, стал ссылаться на Платона! Орест, нерешительный и слабовольный, может на многое закрывать глаза. Он позволяет епископу попирать законы своего императора. Но дело ведь в торжестве произвола и попирании человечности... Она, Гипатия,

слишком долго молчала. Но всему есть предел. Правда, и теперь она не нарушит слова, данного отцу, не станет побуждать Ореста действовать решительнее. Она не выйдет за пределы научного спора и всего лишь покажет, как александрийский епископ извращает идеи великих философов. У нее нет ни власти Ореста, ни послушных его воле легионов. Она может выступить против Кирилла только с одним оружием, оружием истины».

О предстоящей лекции она объявила заранее. Слушателей собралось намного больше обычного. Гипатия отказалась от выигрышных ораторских приемов, говорила подчеркнуто сухо и деловито, она сопоставляла тексты, только тексты: вот как высказаны подлинные мысли Платона, а вот как их истолковывает епископ Кирилл...

Когда Кириллу докладывали о выступлении Гипатии, он все больше и больше мрачнел: Гипатия, вероятно, разжигала вражду к нему Ореста? Нет, префекта на лекции не было. Да и говорила она только о правильном и ложном истолковании Платона.

Перед тем как отпустить всех своих людей, Кирилл как бы невзначай бросил: «А известно ли вам, что помириться со мной Оресту мешает именно Гипатия? Ведь она неспроста побывала у него во дворце». И хотя люди из ближайшего окружения епископа знали, что это неправда, тем не менее по городу тотчас же поползли слухи, будто в упрямстве Ореста виновата одна Гипатия.

Еще было время одуматься. Ночи стояли беспокойные. Надрывно лаял пес. Напуганный привратник жаловался: вокруг дома, что-то высматривая, постоянно бродят неизвестные. Наутро служанки подняли крик, — они наткнулись на привратника. Он лежал связанный, избитый, с кляпом во рту. Сторожевая собака была задушена. Но в доме ничего не украли. Только на плоской крыше, где находились приборы для наблюдения звезд, все было поломано.

Несколько дней спустя в библиотеке Гипатии внезапно начался пожар. Кто-то подбросил туда и зажег пропитанное маслом тряпье.

Убийство префекта вовсе не входило в планы Кирилла. Ничего, кроме вреда, это бы не принесло. Его отношения с константинопольским двором, и без того натянутые, обострились бы до крайности. На место убитого префекта прислали бы другого, может быть, еще более несговорчивого. Вражда с Орестом связывала Кириллу руки, но префекта следовало, по его мнению, не уничтожить, а подчинить. Кирилл неоднократно говорил о желании «угасить вражду». Однако путь к этому, по его мнению, был единственный: Оресту следовало признать, что во всех делах — и церковных и светских — решающий голос отныне принадлежит в Александрии ее епископу. Оресту на улице разбили в кровь голову, разнесли в щепы его колесницу, разогнали телохранителей, а он

все еще не уразумел, что Кирилл ни перед чем не остановится, чтобы обеспечить церкви неограниченное господство. Как заставить его это понять?

Однажды Кирилл проезжал мимо дома Гипатии. У подъезда он увидел много рабов с носилками и нарядные колесницы. Опять слушать Гипатию собрались богатейшие и влиятельные люди Александрии!

Вечером Кириллу докладывали об очередной лекции Гипатии. Соглядатай был из образованных и отличался хорошей памятью.

Кирилл нахмурился. Гипатия не желала считаться с предостережениями. Ее не образумили ни сломанные инструменты, ни пожар в библиотеке. Да и Орест, несмотря на пробитую голову, все еще не соглашается на примирение с ним.

Внезапно лицо Кирилла просветлело. В холодных глазах засверкали злые огоньки. Петр, предводитель парабаланов и нитрийских монахов, воскликнул: «Доколе же, отче, мы будем терпеть Гипатию? Неужели позволим ей и впредь распространять среди христиан ядовитые плоды ее учений?»

«Смоковницу, не приносящую доброго плода, — ответил Кирилл евангельскими словами, — срубают и бросают в огонь».

Гипатия возвращалась домой в носилках. На одной из улиц, поблизости от церкви Кесарион, стоящей у моря, дорогу ей вдруг преградили монахи. В мгновение ока по сигналу Петра на улицу высыпала толпа нитрийских пустынников и парабаланов. Гипатию подстерегли. Засада. Бесполезно кричать и звать на помощь. Она окружена стеной неумолимых врагов. В руках у них камни, палки, куски черепицы, острые раковины, подобранные на берегу...

Ее стащили с носилок, швырнули на землю, поволокли к церкви. Там — в священном для каждого христианина месте — монахи, сорвав с нее одежды, принялись ее бить. Гипатию били нещадно, с исступлением, били остервенелые фанатики, били, когда она давно уже была мертвой.

Останки ее выволокли из церкви и потащили на площадь, где заранее был разложен огромный костер.

Страшная весть повергла Ореста в смятение. Гипатию убили и бросили в огонь!

Префект Александрии был сломлен. Он не рискнул даже послать в Константинополь доклад о случившемся. Убийство Гипатии, по словам одного летописца, «угасило вражду» между Кириллом и Орестом. Префект решил, пока не поздно, помириться с всесильным епископом. Он признал себя побежденным в борьбе с ним.

Кирилл стал безраздельным властителем Александрии.

Это произошло в 415 году, в месяце марте, во время великого поста.

СУД ВО ВРЕМЕНА „САЛИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ“

Когда варвары-германцы завоевали Западную Римскую империю и прочно осели на ее территории, они познакомились с более культурным, чем они сами, галло-римским населением. Обычаи римлян были совсем иные, чем у варваров, и эти обычаи были давно записаны во множестве законодательных сборников, по которым судили и решали свои дела римляне.

Варвары рассеялись по обширным территориям бывшего римского государства, смешивались с местным населением и начинали постепенно забывать свои старинные порядки и обычаи. Тогда они решили записать свои законы. Многие из варваров, познакомившись с римлянами, стали говорить на латинском языке, и, так как своей грамоты у них не было, они записали свои законы тоже на латинском языке. У каждого племени были свои обычаи и законы. Такие записи старинных варварских законов мы теперь называем «варварскими правдами». Так, у салических (приморских) франков появилась «Салическая правда», у рипуарских (речных) франков — «Рипуарская правда», у древних саксов — «Саксонская правда» и т. д.

Самая древняя по времени своего появления, самая полная и интересная — это «Салическая правда», закон салических франков. Она тоже написана на латинском языке. Однако содержание «Салической правды» остается чисто франкским, так как старинные обычаи франков были в ней записаны тогда, когда римское влияние еще не оказало сильного воздействия на франков. «Салическая правда» — очень ценный исторический источник. По этому сборнику судебных обычаев можно восстановить всю хозяйственную и общественную жизнь франков, их обычаи, нравы. Эта запись обычаев служила судьям для руководства в их судебной деятельности. Разбирая дело, судьи подбирали из «Салической правды» соответствующие постановления и налагали тот штраф, который в ней был указан.

* * *

Стоял ясный, солнечный день. На вершине небольшой горы, поросшей редким лесом и кустарником, франки окрестных селений собирались на судебное собрание...

Этот живописный холм с давних времен служил местом судебных собраний. По-франкски судебное собрание называлось «маллус», а эта гора носила название «мальберг», что значит «гора совета». Правда, теперь, в VI веке собрания чаще происходили в деревне в особом закрытом помещении, которое тоже называлось по-старому «мальбергом». Но сегодня вспомнили старый обычай, так как было много жалобщиков и много желающих участвовать в судебном собрании. Среди дел было одно очень важное: в походе кто-то убил королевского дружинника.

Когда все собрались, рахинбурги (так назывались судьи) заняли места на возвышенности, а в середине сел главный судья — тунгин. Это был осанистый седой старик, много лет подряд выбиравшийся тунгином. Он знал лучше всех старинные судебные обычаи. Рассказывали, что он помнил то время, когда не было «Салической правды» и судили на основании устных преданий старины. Тунгин и все рахинбурги были опоясаны мечами, а позади каждого стоял слуга, держа в руках копье и щит господина. Одежды судей указывали на их знатность и богатство. Судьями выбирали лишь людей почетных и состоятельных или, как их называли, «лучших». У тунгина, например, была мельница, на ней работали рабы; у него было много крупного скота и многочисленные стада свиней.

Первым разбирается дело об убийстве королевского дружинника. Брат убитого, высокий молодой франк с длинными русыми усами, свисающими вниз по обычаю франков, обвиняет воина, стоящего тут же. Оба они вооружены мечами и в руках держат копье и щит. Да и все франки пришли на суд вооруженными — таков древний обычай. Хмурый воин, подозреваемый в убийстве, отрицает свою вину.

— Действительно, я враждовал с убитым,— говорит он,— но, видит бог, я не убивал его. И врагов у него было много, а не я один.

Улики недостаточны. Свидетелей нет. Тогда встает тунгин и обращается к обвиняемому.

— Напрасно уверяешь нас, что не ты убийца. По Салическому закону, записанному при нашем великом короле Хлодвиге, заподозренный в убийстве должен очиститься от обвинения. Можешь ли ты представить 72 соприсяжника, которые поручатся, что ты не убивал, и без ошибки произнесут священную клятву?

— О тунгин, где же мне взять столько соприсяжников? Я не знатен, род мой невелик.

— Тогда, согласно Салическому закону, ты подвергаешься испытанию по божьему суду. Как хочешь ты,— обращается тунгин к истцу,— чтобы испытали его: каленым железом, или пусть он опустит руку в котелок с кипящей водой на некоторое время? Потом мы завяжем ему руку, а через неделю узнаем, как рассудил

бог: прав он или ты. Если заживет рука, ты ложно обвинил его, если разболится, то он будет осужден по Салическому закону.

— Пусть достанет из котелка с кипящей водой это кольцо. Если успеет вынуть его так, что рука заживет после этого через 7 дней, значит, божий суд говорит против меня, — отвечает истец.

Бледный, но с виду спокойный, подходит обвиняемый к котелку. Один из рахинбургов берет кольцо и бросает его в котелок. Вода в котелке кипит ключом. Обвиняемый крестится, смотрит на свою руку и быстро опускает ее в котелок... Но кольца сразу не найти. Рука вся покрылась белыми волдырями, и всем ясно, что она не заживет скоро. Напряженное молчание собрания прерывается возгласами: «Убийца!», «Обвинен!», «Бог рассудил!» Пока завязывают обожженную руку, тунгин, взяв текст Салического закона, читает: «Если кто лишит жизни римлянина не королевского сотрапезника, пусть платит 100 солидов». И, обращаясь к обвиняемому, говорит:

— Но ты убил не римлянина, а франка, — а жизнь франка ценится в два раза дороже. Вира за убийство идет не только королю, но и роду убитого. Римляне же не имеют рода, оттого вира римлян 100 солидов. О франках же Салический закон говорит: «Кто лишит жизни свободного франка или варвара, живущего по Салическому закону, и будет в этом уличен, пусть платит 200 солидов».

— Но ты убил королевского дружинника. Ты убил его во время военного похода и этим нанес ущерб франкскому войску. А «Салическая правда» говорит: «Если кто лишит жизни свободного человека в походе, и убитый не состоял на королевской службе, убийца присуждается к уплате 600 солидов». «А если убитый состоял на королевской службе, уличенный в убийстве присуждается к уплате 1800 солидов».

— Итак, согласно Салическому закону, ты должен уплатить 1800 солидов. И суд предупреждает тебя, что если ты не заплатишь, то будет взято все твое имущество, а если оно не покроет виры, заплатишь виру своей жизнью.

Молча выходит осужденный из суда. Он приговорен к самому высшему штрафу, который знает «Салическая правда». Он разорен. Ведь 1800 солидов — это очень большая сумма. За один солид можно купить корову, за два солида — быка, кобылица стоит всего три солида.

Сопровождаемый плачем жены, детей, родственников, он идет к своему дому и отдает все свое имущество: «Вот свиньи, корова, рыболовная сеть, теленок, на берегу речки стоит моя лодка. Все, что видите, берите, больше ничего нет!»

Но имущество далеко не покрывает виры. И тогда осужденный выполняет странный на наш взгляд обряд «бросания горсти земли». Он представляет на суд 12 соприсяжников, и они клянутся, «что ни на земле, ни под землей он не имеет более того, что уже

отдал». После этого осужденный входит к себе в дом и исполняет древний обычай, записанный в «Салической правде». Из четырех углов дома он берет горсть земли (полы в домах земляные) и выходит на порог избы. Затем, встав лицом к дому, он левой рукой бросает через плечо эту горсть на ближайшего родственника. Этим он как бы дает знать, что у него нет ничего и что за него должны платить его родственники (родовые связи были еще очень сильны). Отец и мать уже платили за него. Тогда осужденный бросает горсть земли на трех ближайших родственников со стороны отца, а сам, в одной рубашке, без пояса, босиком, с колом в руках прыгает через плетень. Это означало, что он отказался от своего имущества и от своего рода и становится как бы странником. Но если собранных денег все же не хватало для уплаты виры, судья мог продать самого осужденного в рабство.

Второе дело, которое разбирал суд, было таково.

Перед судом предстает богато одетый франк. Держится он гордо и высокомерно, лицо его жестокое и злое, голос груб и резок. Он обвиняет другого франка в краже.

— Уважаемые рахинбурги и ты, тунгин! Я обвиняю этого франка в том, что он похитил у меня лучшего быка, который ведет стадо, и раба, искусного мастера.

— Можешь ли ты представить свидетелей? — спрашивает тунгин.

— О тунгин, я вызвал этих свидетелей на судебное собрание. И они под клятвой покажут все, что знают. Если же не захотят сделать это, то заплатят, согласно Салическому закону, по 15 солидов штрафа. Вот они! — указал обвинитель на свидетелей.

— Знаете ли вы, свидетели, что должны говорить правду, и если под клятвой дадите ложное свидетельство, заплатите, как клеветники, по 15 солидов? — спрашивает опять тунгин.

— Мы знаем это, тунгин, и покажем под клятвой всю истину,— произнес один из свидетелей. — Действительно, этот человек виновен в краже. Быка мы видели у него на дворе, потом он продал его в соседнюю деревню, купивший говорил об этом. А что касается раба, то мы знаем, что обвиняемый давно уговаривал рабов господина перейти к нему и они слушали его охотно, так как полагали, что им лучше быть проданными за море, чем оставаться у своего господина. Ибо ведь известно, как жестоко он обращается со своими рабами. Однажды этот господин приказал закопать живыми рабыню и раба, которые поженились без его разрешения.

— Довольно, — произнес тунгин, — это не относится к делу, пусть это ляжет на совесть этого человека, а Салический закон не разбирает такие дела. Раб есть вещь, и всякому позволено поступать со своей вещью, как он хочет.

— Итак, — обращается тунгин к обвиняемому, — ты уличен в краже быка, ведущего стадо, и раба у этого знатного франка. О

быке Салический закон говорит так: «Если кто украдет быка, ведущего стадо и никогда не бывшего под ярмом, присуждается к уплате 45 солидов».

— Но, — возражает уличенный, — я должен был заплатить 35 солидов, если бы убил раба!

— Согласно Салическому закону, — возражает тунгин, — ты возмещаешь хозяину убыток, а ему безразлично, убил ли ты его, продал или отпустил на волю.

Третьим разбирается дело об увечье и оскорблении. Вперед выходит франк с повязкой на глазу и завязанной рукой.

— Вот мой обидчик, — указывает он на коренастого, здоровенного человека, заросшего бородой. — Мы поссорились, и он вышиб мне глаз и отрубил палец. Как я теперь буду стрелять, как буду сражаться? Пусть платит виру, или же я требую, чтобы у него выбили глаз и отрезали палец, ибо древний обычай говорит: око за око и зуб за зуб. И вот мои свидетели.

— Он говорит правду, — басом произнес обидчик, — я выбил ему глаз и отрубил палец, ибо он жестоко оскорбил меня. В присутствии этих воинов он назвал меня зайцем и уродом и мерзко обвинил меня в том, что я в недавнем сражении бросил щит! А ведь знают все, как храбро я сражаюсь. Пусть этот завистник также платит штраф, тунгин.

— Оба вы присуждаетесь к уплате штрафа. Ты, выбивший глаз и отрубивший палец, должен уплатить, согласно Салическому закону за глаз 100 солидов, то есть полвиры, ибо ты сделал его неполноценным, и в законе сказано: «Если кто изувечит руку или ногу другому, лишит глаза или носа, присуждается к уплате 100 солидов». А что касается пальца, то Салический закон говорит: «Если кто оторвет большой палец на руке или на ноге, присуждается к уплате 50 солидов. Если же кто оторвет второй палец, именно тот, которым натягивают лук, присуждается к уплате 35 солидов. Если кто оторвет следующий палец, присуждается к уплате 15 солидов. Если будет оторван четвертый палец, присуждается к уплате 9 солидов».

— Он оторвал мне мизинец, — говорит потерпевший.

— За мизинец уплачивается штраф в 15 солидов. Всего ты должен заплатить 115 солидов. А ты, оскорбивший свободного франка, в свою очередь платишь 9 солидов: за то, что назвал зайцем — 3 солида, за то, что назвал уродом, — 3 солида и за то, что ложно обвинил воина в трусости, сказав, что он бросил в сражении щит, за это еще 3 солида.

Разбирательство дел о кражах, увечьях, убийствах — обычные дела франкского суда. Но теперь часто разбираются новые дела, как, например, спор из-за земли, взыскание долга, чего раньше франки не делали, так как земля принадлежала всему роду и еще не было ростовщиков. Но с того времени, как франки осели на вновь завоеванной у галлов и римлян земле, они стали селить-

ся деревнями и заниматься земледелием больше, чем раньше, когда им приходилось часто переходить с места на место. А при таких условиях родственные связи стали слабеть. Дочерей выдавали замуж в соседние деревни, принимали к себе в зятья чужаков, приселяли к себе и вовсе чужих людей — хороших работников. Деревенская община, расчищавшая сообща лес для новой пашни, гонявшая сообща скот на пастьбу в леса и на луга, считала теперь каждого своего сочлена своим не столько потому, что он был родичем, сколько потому, что он был совладельцем угодий: лесов, пастбищ, охотничьих ловов, пашен и лугов.

Когда спорят из-за имущества или из-за земли, обычно, если нет свидетелей, дело отдается на «божий суд». Здесь все решает поединок, так как, по мнению франков, «бог сделает так, что победит правый». Но для разбора сегодняшнего дела не надо поединка. Спорят о земле вдова франка и его соседи-общинники. Каждый считает землю, оставшуюся после умершего, своей.

Тогда тунгин берет текст Салического закона и, обращаясь ко вдове, говорит:

— Ты должна знать обычай франков. Земля должна оставаться в роде и общине. Земля твоего мужа принадлежит его роду. Ты же из другого рода. И получат землю его родичи-общинники, его соседи по деревне. Салический закон говорит в пятьдесят девятой главе: «Земельное же наследство ни в коем случае не должно доставаться женщине, но вся земля пусть поступает мужскому полу, то есть сыновьям умершего. А если сыновей у него нет, то земля переходит к общине».

День уже на исходе. Через час-два солнце зайдет. Пора кончать судебное собрание. Но встает еще один франк и просит выслушать его. Это заимодавец.

— Тунгин, и вы, рахинбурги, — говорит он, — я дал моему соседу в долг 30 солидов, когда ему надо было платить штраф за то, что он ограбил вон ту часовню на могиле одного из знатных франков нашей деревни. Он не вернул их мне. Со свидетелями явился я к его дому и произвел оценку имущества. Затем приходил к тебе, тунгин, и говорил: «Прошу, тунгин, объяви скорейшее принуждение по отношению к противнику моему, давшему мне обязательство и сделавшему у меня заем в 30 солидов». И тогда ты сказал, тунгин: «Я объявляю по отношению к нему скорейшее принуждение, согласно Салическому закону». И я требовал торжественно, чтобы должник никому другому не платил. И в тот же день, когда еще не зашло солнце, я явился со свидетелями в дом моего должника и просил уплатить долг, но он не пожелал этого сделать. Долг от этого увеличился на 3 солида, согласно Салическому закону. И так повторилось три раза, и прошло три недели, долг увеличился всего на 9 солидов.

— Теперь ты должен, — отвечал тунгин, — обратиться (как говорит «Салическая правда») к графу области, которого назначил

славный наш король, чтобы управлять нами. И надо это сделать до захода солнца.

Суд кончился. Опустела гора совета. А заимодавец поспешно направился в главное селение округа, где находился граф — управитель округа.

Разыскав графа, он приблизился к нему с веткой в руках в знак справедливости своего дела и сказал:

— Граф, человек тот мне должен, и я его законным порядком вызвал на суд, согласно Салическому закону. Я собой и своим имуществом ручаюсь, что ты смело можешь наложить руки на его имущество.

И вот граф в сопровождении 7 рахинбургов пришел к дому должника и заявил ему:

— Уплати этому человеку по обязательству или выбери двух наших, каких тебе угодно, рахинбургов. Они оценят твое имущество и доходы, и ты по справедливой оценке уплатишь, что полагается. Если ты не согласен, мы сделаем это без твоего желания, как указывает «Салическая правда».

Рахинбурги, описав все имущество, выбрали то, что покрывает сумму долга, разделили выбранное на 3 части, две трети отдали истцу, а одну треть в виде вознаграждения взял граф.

Так проходил у древних франков суд по «Салической правде». Суд суровый и жестокий, отвечавший нравам того времени, когда насилия и буйства были часты, когда в угоду властным и богатым франкам выносились решения, разорявшие рядового свободного человека, когда «королевский человек» [1] ограждался высоким штрафом и мог беспрепятственно чинить обиды своим соплеменникам, оставаясь свободным от всякой судебной ответственности.

---

[1] Королевским человеком «Салическая правда» именует королевского соратника, участника походов и завоеваний, совершенных под предводительством короля.

ХЛОДВИГ, КОРОЛЬ ФРАНКОВ

I

По старой римской дороге двигалось войско франков. Белые, выщербленные временем каменные плиты дороги хранили память о многих поколениях завоевателей.

Франки были в походе уже несколько месяцев, устали и измучились переходами и сражениями. Они давно уже шли по этой дороге, изнемогая от зноя и жажды.

В выбоине дорожной плиты сверкнула застоявшаяся лужица воды. Молодой воин, отделившись от своих товарищей, припал к воде и жадно хватал ее губами. На мгновение ему представился образ другой дороги: узкая заросшая тропа извивалась среди леса и терялась в болоте. Она вела к родному селению, оставленному навсегда.

Воин пил, а мимо шли его односельчане, родичи и совсем незнакомые люди, вчерашние крестьяне — народное ополчение франков. Все они были вооружены копьями, луками и стрелами, боевыми топорами, короткими мечами — скрамасаксами и круглыми кожаными щитами, покрытыми металлическими пластинками. На головах у многих воинов были остроконечные шлемы, из-под которых свисали две туго заплетенные косы, на ногах — кожаные сандалии с длинными ремнями, крепко крест-накрест охватывающими голени. Одежда воинов состояла из белой полотняной рубахи и коротких штанов, поверх которых был накинут грубый плащ, заколотый сбоку булавкой.

Впереди в сопровождении своих верных дружинников ехали на крепких, коренастых лошадях военные вожди племен — конунги: Сигиберт, Рагнахар, Хорарих, Хлодвиг. На длинной перевязи у каждого висел меч, за поясом был прилажен боевой топор.

Среди вождей выделялся гордой и непринужденной осанкой самый молодой — Хлодвиг Меровинг. Его волосы густыми прядями падали на плечи. Этим волосам в народе приписывали чудодейственную силу. Лишить кого-нибудь из рода Меровингов его длинных волос означало покрыть его несмываемым позором.

Следом за войском двигались крытые повозки со скудным походным имуществом, за обозом погонщики гнали скот.

А впереди и позади, насколько видел глаз, была бесконечная каменная дорога. Зачем только понадобилась им эта чужая дорога, уводящая от простой и привычной деревенской жизни?

Рассказывали, что отчаянно-смелый, умный и расчетливый Хлодвиг сумел стать во главе союза нескольких франкских племен, объединившихся в 486 году для завоевания Галлии.

Каждым из племен управлял свой конунг. Хлодвиг поднял знать, а она — простых франков на завоевание этих богатых земель, которые прежде принадлежали Западной Римской империи.

И вот теперь франки шли на запад, прокладывая себе путь оружием.

...Назавтра предстояла решающая схватка с войском Сиагрия. Это был римский наместник, переживший рухнувшую Западную Римскую империю и благодаря этому оказавшийся как бы главой самостоятельного государства.



Франкский воин.

Отставший воин догнал товарищей. Стемнело. Франки готовились к ночлегу. Они расположились прямо на земле, окружив себя плотно сдвинутыми повозками. Низко струился сизый дым костров. В небе резко обозначился зубчатый контур крепости Суассон. Пожилой вождь показал своим воинам на горизонт:

— Вот она, столица Сиагрия... Он принял вызов Хлодвига. Утром мы схватимся с его войском. Если на то будет воля богов и мы одержим победу, нам достанется богатая добыча: оружие, скот, кони. А потом поселим наши семьи на этих плодородных землях. Заставим пленников пахать и сеять. Сами же будем идти все вперед и вперед, покуда не завоюем всю Галлию! Нас теперь не остановить!

Франки одобрительно зазвенели оружием. Каждый верил в свое военное счастье. Тревога постепенно оставила молодого воина. Во сне он видел лесную дорогу, уходящую вдаль.

На рассвете сошлись вплотную две рати. Построившись клиньями, франки вступили в бой. Взметнулись копья, запели стрелы, взвились боевые топоры.

В самый разгар битвы, когда казалось, что побеждают воины Сиагрия, Хлодвиг соскочил с коня, за ним последовали другие вожди. Это означало, что предводители будут сражаться в пешем строю до конца, не желая спасаться в случае поражения.

Солнце уже клонилось к закату, когда стала очевидной победа франков.

Видя свое близкое поражение, Сиагрий бежал с поля боя. Он нашел приют у вестготского короля Алариха. Вскоре Хлодвиг об этом узнал и стал угрожать Алариху войной. Тот под нажимом Хлодвига выдал ему беглеца связанным и безоружным. Хлодвиг приказал бросить его в темницу, а затем тайно убить.

Так бесславно закончил свое существование Сиагрий, а вместе с ним и его государство — последний обломок могущественной Западной Римской империи.

Франкские переселенцы хлынули во вновь завоеванные места, оставляя свои хижины и бросая истощенные земли. Скрипели повозки, нагруженные домашней утварью. В них ехали женщины, старики и дети. Старейшины отводили землю семьям завоевателей «согласно достоинству»: лучшие и бо́льшие участки доставались военным вождям и их дружинникам. Вместе с землей распределялись и пленники: чем больше участок, тем больше рабочих рук. Обширные земли франкской знати возделывали колоны и рабы бывшей империи, ныне зависимые от новых землевладельцев.

Многих воинов-ветеранов обошли при дележе земли. Они ворчали:

— Стоило ли проливать кровь для того, чтобы получить клочок земли, на котором едва прокормишь семью?

Обида овладела и молодым воином, не забывшим прежнего лесного приволья.

Однако выражать вслух недовольство новыми порядками, далекими от былого равенства, становилось все опаснее. Хлодвиг постепенно набирал силу, всюду стали доставать его длинные руки.

Когда франки после победы над Сиагрием учинили трехдневный грабеж в Суассоне, разоряя и сжигая дома, унося церковную утварь и драгоценности, в одной из церквей была похищена редкой красоты чаша.

Вскоре к Хлодвигу пришел посланец епископа просить возвращения этой чаши.

— Иди за нами в Суассон, — велел Хлодвиг, — там будет происходить дележ всего, что захвачено! Если мне достанется по жребию тот сосуд, что просит святой отец, я выполню его просьбу.

В Суассоне уже собрались все дружинники и воины, участвовавшие в походе. На широкой площади была разложена военная добыча, которую, согласно древнему обычаю, распределяли по жребию: остроконечные шлемы и круглые щиты, легкие дротики и тяжелые мечи в серебряных ножнах, с богатой отделкой, парчовые покрывала и облачения священников, шитые золотом, серебром и жемчугом, узорные ризы, сорванные с икон. При виде этих сокровищ глаза воинов разгорались жадностью.

Внезапно в середину круга легко и стремительно вошел Хлодвиг.

Подняв руку, он потребовал внимания.

— Прошу вас, храбрые воины, не откажите дать мне вне деле-

жа этот сосуд, — смиреным тоном обратился он к собравшимся воинам, показывая на драгоценную чашу.

Кто-то сказал:

— Бери все, что тебе угодно, никто не смеет противиться твоей власти.

По толпе прошел одобрительный гул.

Вдруг молодой бедно одетый воин вспылил:

— Ничего ты не получишь, кроме того, что тебе полагается по жребию. Надо уважать обычай! — Произнеся эти слова, он размахнулся и рассек чашу надвое своим топором.

Хлодвиг в гневе отступил, но затаил обиду. «Еще не время спорить со старинными вольностями. Но погодите!» — подумал он.

Прошел год. Новые завоевания еще крепче сплотили франкскую знать вокруг Хлодвига. Многочисленной и сильной стала его личная дружина. Расширились владения франков.

Как всегда, в марте, все мужчины-воины собрались на многолюдное народное собрание — «Мартовские поля».

В этот день король Хлодвиг решил устроить смотр своим войскам.

Когда он проходил по рядам воинов, взгляд его, словно нечаянно, упал на того строптивого молодого франка, который год назад разрубил чашу в Суассоне.

— Смотри, — воскликнул король гневно, — оружие твое не в порядке: и копье, и меч, и секира — все никуда не годится!

С этими словами он вырвал у воина его заржавленную секиру и с силой бросил ее о землю. Воин наклонился ее поднять, но королевский меч, блеснув на солнце, рассек ему голову. Последнее, что увидел воин за мгновение до смерти, была заросшая лесная дорога...

— Так поступил ты с чашей в Суассоне, — спокойно произнес Хлодвиг. — С моей чашей!

Бывалые воины содрогнулись. Никто на этот раз уже не посмел возражать королю. Подавленные происшедшим, расходились по домам участники народного собрания, которое ничего больше не решало уже в жизни франков.

II

Между тем Хлодвиг при поддержке знатных людей, привлеченных его дарами, продолжал сосредоточивать в своих руках власть над всем франкским народом.

В первую очередь он решил избавиться от своих вчерашних союзников и соратников, не признававших над собой его верховной власти.

По мнению Хлодвига, все средства для этого были хороши: обман и подкуп, хитрость и вероломство, игра на человеческих слабостях и пороках.

Однажды задумал он уничтожить одного из главных своих соперников — короля рипуарских франков — Сигиберта, а заодно и его потомство, с тем чтобы присоединить его владения к своему королевству.

Тайно подослал он надежного человека в город Кёльн к Хлодерику, сыну Сигиберта, мечтавшему поскорей унаследовать богатства своего отца.

Посланец короля сумел войти в доверие к Хлодерику. Однажды на пиру он нашептал захмелевшему юноше такие слова:

— Отец твой стар и к тому же болен. Если он умрет, тебе по праву достанется его королевство вместе с дружбой моего повелителя.

Прошло несколько дней. Старый Сигиберт как-то переправился через Рейн, чтобы поохотиться в лесу. Утомившись от долгой ходьбы, он уснул в своем шатре. В полдень жара сморила и его телохранителей. В это время к старику неслышно подкрались убийцы, посланные Хлодериком. Вскоре сын «сам попал в яму, которую вырыл для своего отца», — повествует летописец Григорий Турский.

...Вот уже мчатся из Кёльна гонцы к королю Хлодвигу с вестью о внезапной гибели Сигиберта, передают слова его наследника: «Отец мой скончался, отныне я владею его сокровищами и его королевством. Приходи ко мне, и я охотно отдам тебе из его богатств все, что тебе заблагорассудится».

Хлодвиг велит передать ему ответ:

— Благодарю тебя, мой друг, за расположение ко мне и прошу показать нашим посланникам свои сокровища.

И вот люди Хлодвига снова скачут по дороге в Кёльн к молодому королю Хлодерику. Радушно принимает тот гонцов, обильно кормит их и поит, распахивает перед ними двери своих сокровищниц, раскрывает кованые сундуки, разворачивает тяжелые свертки заморских тканей.

Широким жестом обводит он ряды мешков, наполненных монетами и драгоценными камнями.

— В этот сундук мой отец обычно складывал золотые монеты.

— Опусти руку до дна и достань сам, что найдешь.

Хлодерик склоняется над сундуком, — и в это время удар топора сражает его насмерть.

Снова мчатся гонцы назад к Хлодвигу, спешат доложить своему повелителю о том, что выполнили его тайное поручение. Молча выслушивает их король, снаряжает дружину и скачет в Кёльн, к рипуарским франкам, оставшимся без правителя [1].

Тотчас же велит он созвать народное собрание и держит перед ним такую речь:

---

[1] Племена франков разделялись в III—V веках на две ветви — салических, живших по берегам моря, и рипуарских, расселившихся вдоль берегов Рейна.

— Послушайте, люди, что произошло. В то время как плыл я по Шельде-реке, Хлодерик, сын моего родича, говорил своему отцу, будто я хочу его убить. А сам тем временем подослал к нему разбойников и умертвил его сонного. Но и сам он вскоре погиб, неизвестно кем пораженный... Я в этом деле не участник. Разве могу я проливать кровь моих родичей! Но раз уже так случилось, вот вам мой совет: становитесь под мою защиту!

Несколько мгновений народ безмолвствовал. Потом раздались возгласы: «Будь ты нашим королем! Бери нас под свою защиту!»

По древнему обычаю германцев, воины выразили свое одобрение звоном оружия, подняли Хлодвига на широкий щит и понесли его над собой, впереди процессии.

Так Хлодвиг Меровинг был избран на народном собрании в Кёльне королем рипуарских франков.

Теперь почти все франки были покорны его воле, за исключением отдельных небольших племен. Один за другим бывшие союзники Хлодвига становятся его жертвами, а их владения присоединяются к территории франкского государства.

Однажды Хлодвиг неожиданно объявил войну своему родичу Рагнахару, королю Камбре. Предварительно он подкупил его приближенных, подарив им красивые браслеты и этой ценой оплатил их предательство. Рагнахар проиграл войну. Предатели, как было условлено, выдали врагу своего короля связанным.

— Зачем ты унизил наш королевский род, позволив себя связать? — притворно возмутился Хлодвиг, обращаясь к Рагнахару. — Лучше тебе умереть!

Ударом меча он разрубил ему голову.

— Почему ты не помог своему королю?! — гневно продолжал Хлодвиг, поражая насмерть брата казненного.

Тем временем люди, выдавшие Рагнахара, обнаружили, что их провели: браслеты оказались из позолоченной бронзы. Когда они пожаловались Хлодвигу на обман, тот лицемерно возмутился:

— По заслугам получили вы такое золото, предатели! Надо было бы дать вам железные браслеты-наручники!

Вскоре был взят в плен и другой бывший союзник Хлодвига — король Хорарих вместе со своим сыном.

Хлодвиг приказал остричь им их длинные, ниспадающие на плечи волосы и сделать одного из них священником, а другого — дьяконом. Спустя некоторое время дошли до него слухи, что младший из униженных им соперников похваляется: «Листья, срезанные с зеленого дерева, отрастут вновь». Он имел в виду свои волосы — знак королевского достоинства. За эти неосторожные слова оба поплатились жизнью. Их владения перешли к Хлодвигу.

Истребив таким образом всех своих родственников, стоявших во главе соседних племен, Хлодвиг распространил свою власть на всех франков. Богатства убитых текли в его казну. Земли убитых он раздавал сподвижникам. Они становились за это его вер-

ными слугами. С помощью этих знатных людей и своей могущественной дружины Хлодвиг постепенно отнимал у простых франков их древние свободы, у народного собрания — его права.

Все трепетали перед именем Хлодвига, единоличного властителя франков.

...Хлодвиг сидел, мрачно потупившись, в полупустой слабо освещенной зале своего дворца.

Неровное пламя светильников выхватывало из темноты то резной узор подлокотников королевского кресла, то головы диковинных зверей, подпиравших сиденье. Зябко кутаясь в плащ, Хлодвиг ожидал своих советников. Король думал о том, что все труднее и хлопотнее становится созывать народные собрания в его выросшем, многолюдном государстве. Да и так ли необходимо их собирать? Разве только однажды в год — для проведения военного смотра... Ведь все государственные дела можно решать в узком кругу знатных советников, которые всегда поддержат своего короля, защищающего их от недовольства простых франков.

А в отдаленные области он пошлет своих верных людей, чтобы следили за порядком и творили суд согласно древним обычаям, которые он, Хлодвиг, велит записать в единый судебник. Но многие из этих обычаев надо хорошенько пересмотреть. Перед глазами Хлодвига возник образ мятежного молодого воина с мечом, занесенным над чашей. Но на этот раз воин покорно склонил голову и опустил меч.

Раздумья короля были прерваны громкими голосами и топотом ног. По деревянным ступеням лестницы поднимались его советники и военачальники. Дружинники снимали затяжелевшие от дождя плащи и придвигались поближе к огню.

Медленно распрямившись и обведя всех подозрительным взглядом, Хлодвиг вдруг сокрушенно обратился к присутствующим:

— Я созвал вас затем, чтобы погоревать вместе с вами о всех моих погибших родственниках. Горе мне! — Он разорвал на груди одежду. — Один я остался, как странник среди чужих. Нет у меня больше родственников, которые пришли бы мне на помощь, случись несчастье...

Две слезинки вяло сползли по его щеке. Тихо было в зале, только слышался треск горящего дерева в камине. Никто не откликнулся на призыв короля, ибо не осталось у него больше никого из знатных родственников.

А задумал король всю эту сцену, как свидетельствует летописец, только для того, чтобы обнаружить еще кого-нибудь из своих родственников и лишить его жизни.

III

К концу V века уже значительная часть Галлии принадлежала франкам. Хлодвигу подчинились соседние германские племена тюрингов и алеманов. Рассказывают, что во время последней битвы

с алеманами (около 497 года) франки оказались было на краю гибели. Видя такую опасность и потеряв надежду на помощь своих старых языческих богов, Хлодвиг мысленно обратился к христианскому богу:

— Ты, который, говорят, помогаешь в опасности и даешь победу надеющимся на тебя, — если ты поможешь мне победить, то я поверю в тебя...

Покуда Хлодвиг таким образом торговался с богом, военная удача снова оказалась на стороне франков. Алеманы обратились в бегство, их король был убит, франки торжествовали победу.

Впоследствии этому эпизоду церковь стала приписывать решающую роль в обращении Хлодвига к христианской вере.

Готовясь к новым завоеваниям, Хлодвиг все чаще подумывал о союзе с христианской церковью, сохранявшей власть над умами тысяч людей, населявших Галлию.

Духовенство хорошо понимало выгоду союза с королем-завоевателем. Этот союз поставил бы церковь под надежное покровительство, оградил бы ее от насилия варваров-франков, а церковное имущество — от разграбления.

Прелаты [1] пытались воздействовать на короля через его жену-христианку.

Королева Клотильда тайно пригласила ко двору епископа Ремигия. Умный старик долго увещевал Хлодвига совершить обряд крещения и отказаться от идолов, которым поклонялись франки.

Наконец Хлодвиг решительно ответил:

— Я охотно послушал бы тебя, святой отец, но боюсь: народ не захочет оставить своих богов. Все же пойду и поговорю с ним...

Созвали народ на широкую площадь перед дворцом. И тут случилось невиданное, как утверждает летописец епископ Григорий Турский. Не успел будто бы король сказать слово, как весь народ единодушно воскликнул:

— Отвергаем смертных богов и готовы следовать богу бессмертному!

В действительности же народ лишь повиновался своему всесильному монарху.

...В старинном городе Реймсе готовятся к крещению франков. От дома к дому протягивают разноцветные полотна, из окон вывешивают яркие покрывала, развевающиеся по ветру, как флаги. Фасады церквей украшают белыми полотнищами.

В главной церкви уже сооружен огромный баптистерий — крестильная купель. Над нею курится дым благовоний. Пряно пахнет ладаном; потрескивают свечи, таинственно отражаясь в позолоте риз.

---

[1] Высшее духовенство.

Торжественная процессия движется из дворца в церковь. Епископ шествует впереди, ведя за руку короля, лицо которого изображает смирение.

Несколько поодаль движется королева, окруженная свитой.

Позади строем идут дружинники Хлодвига.

Медленно плывет мимо застывших в изумлении франков епископ в тяжелом парчовом облачении. Он держит в вытянутых руках священную книгу христиан — евангелие в дорогом серебряном окладе. На поверхности его напаяно множество причудливых витых украшений, напоминающих кружево.

По знаку Ремигия Хлодвиг принимает крещение. Раздаются звуки духовного гимна — и короля-убийцу облачают в белоснежные крестильные одежды — знак его чистоты и непорочности.

Следом за Хлодвигом крестилось более 3000 его воинов.

Поздно вечером расходились усталые воины по своим домам. Низко опустив голову, брел из Реймса в свою деревню воин, состарившийся в походах.

В пути его нагнал молодой королевский дружинник.

— Здорово, отец, — кивнул он, узнав односельчанина. — Не устроить ли нам здесь привал? Засветло ведь не доберемся до дому. Еду проститься со стариками. Скоро снова на войну...

Он пустил коня шагом.

Старый воин недружелюбно оглядел дружинника, покосился на его богатое вооружение, на разукрашенную сбрую коня.

— И когда только мы кончим воевать? Добро, воевал бы Хлодвиг с недругами, а то своих же скольких перебил! И все ему мало. Боги ему старые плохи стали! Подумал бы лучше о нас, кто с ним всю Галлию прошел с мечом... Я вот по ночам не сплю — раны ноют. А что заслужил от короля? Семья еле-еле перебивается, землю дали на болоте, один клин только сухой. Сыновья переженились, ртов прибавилось, а земли прирезать — не торопятся. Сам я все время в походах, старшие дети — тоже, хозяйство все долгами опутано. А у тебя, небось, и землица получше, и рабов тебе король пожаловал...

— Стыдно тебе на короля нашего обижаться, — ответил дружинник. — Ты посмотри, какую силу мы, франки, приобрели! Все народы склоняются перед нашим королем. И богу христианскому угодно было принять его под свое покровительство.

Всадник снял с пояса походную фляжку в серебряной оправе, отпил из нее глоток вина и наклонился к пешему:

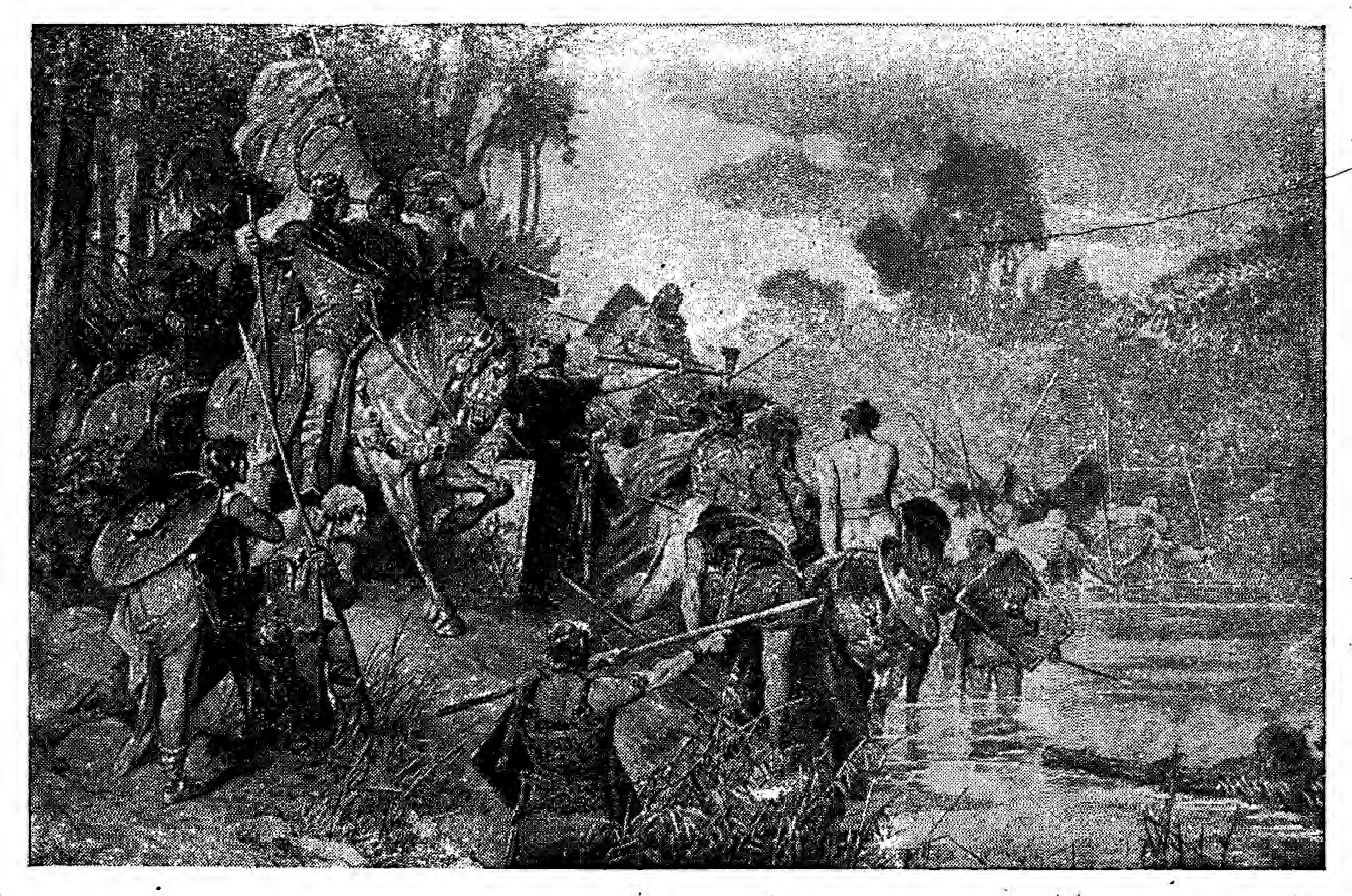
— На, выпей и ты за нашего щедрого короля, за христианскую веру!

IV

Христианские священники праздновали победу, одержанную над завоевателями Галлии:

— Ваше присоединение к вере — наша победа, — говорил один из них.

4 Заказ 454



Переправа Хлодвига через Майн.

Тем не менее обе стороны равно воспользовались плодами заключенного союза.

Вот уже возводятся новые храмы на средства королевской казны, текут в церковные хранилища награбленные на войне сокровища.

А Хлодвигу и другим вновь обращенным христианам отпущены все их старые прегрешения. Не успел Хлодвиг, по словам летописца, «смыть... грязные пятна своих прошлых деяний», как церковь уже призывает его снова проливать кровь — расправиться с христианами иного толка, арианами.

Католическая церковь признала несогласных с ней вестготов-ариан еретиками. Она благословила и заранее оправдала захват франками их территории и истребление этого народа во имя торжества своей веры.

Конечно, на этом фоне «мелкие» прегрешения короля — его расправы над собственными родственниками — вообще не шли в счет.

...И вот король Хлодвиг сказал своим людям:

— Не по нраву мне, что эти ариане владеют частью Галлии. Пойдем, с помощью божьей одолеем их и возьмем их землю...

В 507 году двинулось франкское войско к городу Пуатье во владения вестготов, где пребывал тогда их король Аларих.

В ту осень широко разлились реки от беспрерывных дождей и, как говорили в народе, от крови воинов. А покуда за Луарой лилась кровь еретиков-ариан и правоверных христиан, одинаковая на цвет, католические попы служили молебны за здравие и победу завоевателей. Ведь Хлодвиг запретил своим воинам грабежи и бесчинства на церковных землях в завоеванной стране.

Впереди войска франков летела молва, распространяемая попами, о чудесных предзнаменованиях, будто бы предвещавших победу Хлодвигу. Суеверные люди, внимая этим слухам, считали, что сам бог помогает франкам.

Из уст в уста передавалась такая небылица. Однажды вечером войска Хлодвига подошли к реке Вьенне, выступившей из берегов. Король просил бога указать ему брод. На рассвете франки были поражены появлением необычайной лани, которая вошла в реку и, согласно легенде, прошла как по суху. Так франки узнали брод.

Передавали также, что когда Хлодвиг приблизился к Пуатье, то увидел из своего шатра огненный столб, двигавшийся к нему от церкви святого Гилярия. Франки приняли это за предзнаменование близкой победы.

Наступил день решающего сражения франков с войском Алариха. Оно произошло на полях Вулье, близ Пуатье.

Со стороны вестготов взвились в воздух тучи дротиков. Франки, спешившись, бились мечами. Не выдержав их бешеного натиска, готы обратились в бегство. При отступлении погиб король их Аларих.

Хлодвиг торжествовал победу. Из награбленных в богатой Тулузе сокровищ он щедро одарил церковь святого Мартина в Туре. Своему сыну Теодориху Хлодвиг приказал преследовать и уничтожать отступавшее от Пуатье войско Алариха и теснить готов к самой границе Бургундии.

Прошло еще два года — и от обширных владений вестготов в Галлии осталась лишь узкая полоска земли — Септимания, соединенная с вестготским королевством в Испании.

V

За четверть века почти вся Галлия, кроме Бургундии, лежавшей на юго-востоке страны, была подчинена власти Хлодвига.

Территория Франкского государства выросла примерно втрое.

Теперь не только христианское духовенство сквозь пальцы смотрело на преступления, с помощью которых Хлодвиг пришел к единоличной власти. Сам император Византии Анастасий признал короля варваров, отправив к нему своих послов.

...Под сводами базилики[1] святого Мартина в Туре Хлодвиг в присутствии высшего духовенства принимал императорских послов. В золоченых паникадилах весело сияли свечи, искрились самоцветы в богатых окладах икон.

Торжественно приблизились византийские послы к королю франков и вручили ему два пергаментных свитка.

— Эти грамоты нашего великого императора даруют тебе, король, звание консула и августа[2]. Всемогущий император шлет тебе также в дар знаки августейшего достоинства, — с этими словами послы склонили головы и передали Хлодвигу пурпурную мантию и переливающийся жемчугом венец.

Тотчас же облачается король в новый наряд и возлагает на себя корону.

Нетерпеливо садится он на коня и, разбрызгивая грязь, скачет по улицам Тура. Изредка он придерживает коня и швыряет склонившимся перед ним людям пригоршни мелких монет. В ответ раздаются выкрики:

— Слава нашему королю! Слава великому Хлодвигу! Слава консулу и августу!

Признание власти франкского короля-варвара просвещенным императором Византии высоко поднимало авторитет Хлодвига в глазах его подданных галло-римского происхождения.

Церковь узаконила власть и бесчестные дела Хлодвига в глазах всего христианского мира и оградила его от осуждения современников.

---

[1] *Базилика* (греч.): первоначально — царский портик, затем — государственное здание, позднее — христианский храм.

[2] *Август* — приумножатель, титул римских императоров со времен Октавиана.

С благословения церкви этот вероломный, жестокий и беспринципный король, принявший христианство, вошел в историю как «новый Константин»[1].

В средние века имя Хлодвига связывали с легендой о белой голубке, будто бы принесшей с неба в своем клюве склянку священного елея для помазания первого христианского правителя Франции. Впоследствии будто бы елеем из этой склянки помазывались на царство французские короли.

Все злодеяния Хлодвига церковь после его смерти (511) оправдала соображениями христианской и государственной пользы. Начало этому положил верный служитель церкви епископ Григорий Турский, воздавая в своей «Истории франков» дань уважения «защитнику веры»: «Каждый день бог повергал к стопам короля его врагов и расширял его королевство, ибо Хлодвиг ходил с сердцем, правым перед господом...»

И, однако, мы узнаем не только о блестящих военных победах, но и обо всех кровавых преступлениях Хлодвига из того же самого источника — «Истории франков» Григория Турского, написанной во второй половине VI века. Наивный, искренний и добросовестный рассказ летописца не утаил от потомков суровой правды.

---

[1] *Константин*—римский император, утвердивший христианство в качестве государственной религии.

АЛКУИН И ШКОЛА ПРИ КАРЛЕ ВЕЛИКОМ

В 735 году в королевстве Нортумбрия, возле города Йорка, в семье знатного англосакса родился мальчик. Еще до рождения сына родители решили, что отдадут его в монастырь. Поэтому и имя ему дали Алхвине, что по-англосаксонски значило «друг храма». Позднее имя Алхвине было переделано в Алкуин. Под этим именем его и знает история.

Только раннее детство провел Алкуин в родительском доме, а лет семи отдан был в монастырь.

В то время в Западной Европе был обычай посылать в монастыри на воспитание маленьких детей, чтобы готовить из них монахов. Таких мальчиков называли «предназначенные» [1]. Для них в монастыре устраивалась небольшая школа под руководством какого-нибудь ученого монаха, который учил их латинскому языку и различным наукам, чтению церковных книг, церковному пению, водил их в церковь ко всем церковным службам. Через все это пришлось пройти и маленькому Алкуину. Нелегкое это было дело!

Книги тогда были написаны на латинском языке. В монастырской школе ученикам запрещали разговаривать по-англосаксонски даже между собой: для них и здесь латинский язык был обязателен. Преподавание тоже велось на этом языке. Поэтому ученикам надо было прежде всего овладеть латинским языком. Для этого вновь принятых детей заставляли заучивать наизусть весь псалтырь. А это — сто пятьдесят священных песнопений, приписываемых древнееврейскому царю Давиду и переведенных в свое время на латинский язык. Так было и с Алкуином. Выучив все полтораста псалмов, узнав значение каждого слова, написанного в рукописи латинскими буквами, он приобрел достаточный запас латинских слов, узнал азбуку, научился разбирать написанное, стал понимать латинскую речь своих наставников. Тогда началось прохождение школьных предметов. Первой наукой, которую ему предстояло одолеть, была латинская грамматика. Детям приходилось запоминать, что такое грамматика, на какие части она делится, что такое буква, слог и т. д. Дальше изучали восемь частей речи. Выучив опре-

[1] По-латыни pueri oblati.

деления каждой части речи, начинали упражняться в склонениях и спряжениях.

Все это было нелегко. Но Алкуин отличался прекрасной памятью и был понятлив. Он быстро схватывал объяснения учителя и запоминал назубок каждое определение. Особенно же ему нравились стихотворные примеры на каждое правило. Стихотворная речь приятно ласкала слух, а поэтические образы возбуждали воображение. Алкуин запоминал все стихотворные примеры на грамматические правила. Он достал в монастырской библиотеке старую рукопись со стихами поэта Вергилия и с упоением читал их. В его однообразной жизни, где не было места для детских игр и развлечений, это сделалось главной отрадой. Особенно увлекла его поэма «Энеида». В ней рассказывалось, как троянец Эней бежал с товарищами из сожженной греками Трои, как он долго плавал по морю, как пристал к городу Карфагену, где царствовала прекрасная Дидона, которая полюбила Энея, а когда Эней уплыл от Дидоны в Италию, она с горя бросилась в огонь.

Все это было увлекательно. Одно смущало мальчика: и Вергилий, и все его герои были язычниками, не знавшими христианской веры. А от монахов-наставников Алкуин каждый день слышал, что все язычники — враги христовы и за это на том свете дьяволы терзают их адскими муками. И брало Алкуина порой смущение: не загубит ли он свою душу тем, что читает и запоминает поэмы язычника?

Был и другой источник огорчений у маленького Алкуина. Каждую ночь по стуку сторожа в железную доску все «предназначенные» мальчики должны были вставать и идти в церковь к ночной службе. А ночью вставать так не хочется: как бы хорошо укутаться с головой в одеяло и опять заснуть! Так он иногда и делал, стараясь под одеялом укрыться от глаз наставников. А они опять пугали его адскими муками.

Был в монастыре монах из крестьян. Он попросил школьного наставника дать ему какого-нибудь ученика, чтобы тот вместе с ним ночевал у него в келье. Наставник послал к нему Алкуина. Тому это было наруку: монах крепко любил спать и никогда не ходил в церковь на ночные службы. Вместе с ним мирно спал и Алкуин, только на душе часто было неспокойно: вспоминались рассказы о дьяволах и думалось, не придется ли когда-нибудь ответить за ночной сон, как и за увлечение Вергилием.

Однажды монах-крестьянин с вечера жарко натопил печку и лег спать. Жарко и душно было в келье. Алкуин спал тяжелым сном. Сквозь сон он слышал, как сторож бил в доску и скликал монахов на ночное богослужение. И вдруг мальчику померещилось, что вся комната наполнилась страшными дьяволами, которые принялись бить спящего монаха. Завернулся Алкуин с головой в одеяло и стал молиться, обещая, что никогда не будет больше пропускать ночных богослужений и не будет больше читать язычника

Вергилия. А один из дьяволов будто бы и говорит: «Кто это там лежит, в одеяло укутанный?» Кинулись дьяволы к Алкуину. Он начал громко читать молитву и проснулся. А проснувшись, немедля бросился в церковь.

Так Алкуин рассказывал о себе много лет спустя, когда сам стал наставником монастырской школы; то, что пригрезилось ему в кошмарном сне, он принял за действительность. Этот рассказ показывает, в каких условиях воспитывались тогда ученики монастырских школ и чем начиняли их головы наставники-монахи.

Между тем обучение шло своим чередом. Алкуин выучил всю грамматику. Теперь его засадили за следующую науку — риторику. Риторика — искусство красноречия. Здесь проходили правила синтаксиса, стилистики, упражнялись в составлении проповедей, письменных и устных. Примеры приводились обычно из произведений старых римских ораторов, а иногда и творений «отцов церкви».

После риторики начали изучать диалектику. Так называли искусство правильно мыслить: рассуждать, делать выводы, строить доказательства. Эту науку позже стали называть логикой. Это была своего рода гимнастика для ума, которая в дальнейшем пригодилась Алкуину. Потом проходили арифметику — больше сложение да вычитание, потому что в умножении и делении сами наставники были не очень сильны. В то время пользовались римскими цифрами, а попробуйте при помощи римских цифр умножить одно трехзначное число на другое — сами увидите, как это трудно! Решали и задачи по арифметике. В монастыре был сборник задач, составленный знаменитым Бэдой-магистром, память которого чтили англосаксонские монахи. Некоторые задачи, правда, были не столько арифметическими упражнениями, сколько загадками для развития сообразительности. Вот примеры задач, которые решал в школе Алкуин.

«Вол, который целый день пашет, сколько следов оставит в последней борозде?» Ответ на это предложен такой: ни одного следа не оставит вол в последней борозде, потому что за ним следует плуг, который запахивает все следы.

Вот еще такая же задача:

«Некий человек должен был перевезти через реку волка, козу и связку капусты. И не мог он найти другой лодки, кроме такой, которая могла перевезти лишь двоих из них. Но ему было приказано, чтобы все это он переправил в неприкосновенности... Каким образом можно было переправить их в целости?»

Решение в задачнике предложено такое: сначала перевезти козу, оставив волка и капусту, потом вернуться, перевезти волка, а козу увезти с собой; потом перевезти капусту, оставив козу; потом уже вернуться за козой.

На арифметику монахи смотрели практически. Им она нужна была для того, чтобы высчитывать так называемые пасхалии: в каком году на какое число придется праздник пасхи, а в зависимости

от пасхи и ряд других церковных праздников, а также великий пост. Дело в том, что у христиан пасха является праздником подвижным: она приходится обязательно на то воскресенье, которое случится вслед за полнолунием, совпадающим с днем весеннего равноденствия (21 марта) или наступившим вскоре после него. Чтобы заранее все это вычислить, надо было произвести много кропотливых расчетов. В этих вопросах считался большим мастером уже упомянутый Бэда-магистр. По его книгам учили и Алкуина этому нелегкому делу.

За арифметикой следовала геометрия. Но монахи могли научить Алкуина только общим определениям: что такое квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, чему равна сумма углов треугольника. Все это надо было запомнить наизусть без всяких доказательств, так как сами учителя доказывать этого не умели. К геометрии добавляли кое-какие сведения из географии и из других наук, которые мы сейчас называем естествознанием.

Потом изучали астрономию. Созвездия небесного свода и путь, который проходят планеты, в раннее средневековье знали хорошо. Но объяснение этому движению давали неправильное: люди думали, что Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг Земли по разным сложным путям. Так учил когда-то греческий астроном Птолемей; его учение приняла и средневековая наука. С астрономией была связана астрология, то есть гадание по звездам, попытка предсказывать по ним будущее.

Наконец, седьмой наукой считалась музыка. Алкуин практически начал познавать музыку с первых же дней своего пребывания в монастыре. Его, как и других учеников, взяли в церковный хор и заставили принимать участие в богослужении. В монастыре каждый день пели священные гимны, псалмы. Алкуин с голоса заучил мотивы этих песнопений. Для записи мелодий применялись тогда особые значки, но они были очень неточны и петь по ним было трудно, если не запомнить мелодию на слух.

Итак, в течение ряда лет Алкуин выучил семь наук, которые, вместе взятые, звались семью свободными искусствами. Попутно читал он немало разных житий святых и других религиозных книг. Но он читал также и исторические хроники монахов-летописцев, а также некоторые книги древних авторов. Часто упражнялся Алкуин и в писании латинских стихов.

Режим в школе был суровый. Веселье, забавы не допускались. За провинности и непослушание учеников крепко секли. Доставалось и Алкуину. Но он был способный ученик. Оттого он меньше страдал от розог наставников, чем многие его товарищи. За эти нелегкие годы постижения школьной премудрости выучился он глубоко любить книгу и каждую свободную минуту старался посвящать чтению. В школе был обычай давать ученикам прозвища, взятые из римской истории. Алкуина наставник назвал Публий Альбин. Так и стали товарищи звать его Альбином.

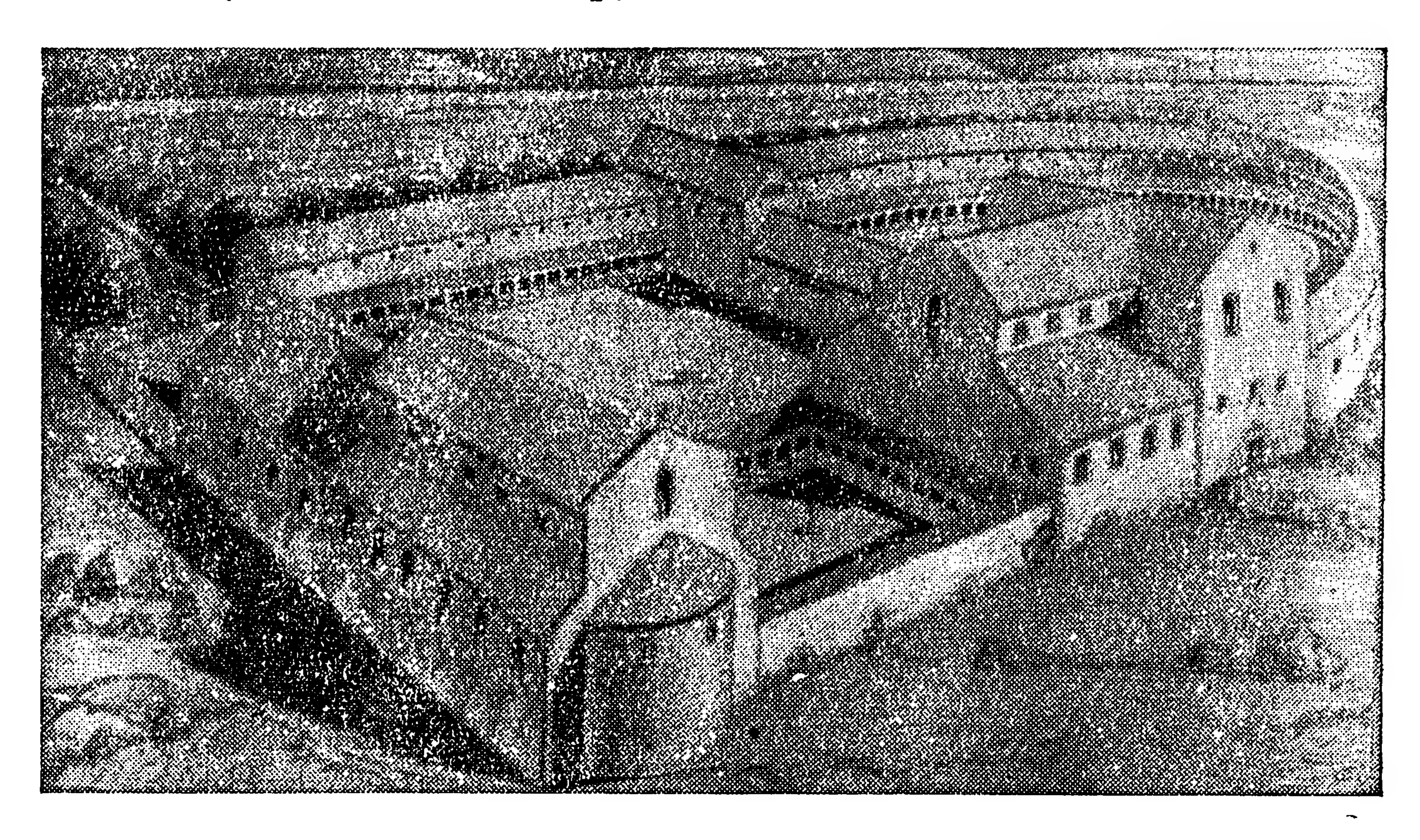
Наставник Алкуина Эльберт очень любил его и постепенно стал поручать ему занятия с младшими учениками. Так Алкуин постепенно превратился в учителя.

Случилось Эльберту однажды отправиться в далекое путешествие в Рим. И он взял с собой Алкуина. Это путешествие завершило образование молодого человека, до сих пор редко выходившего за ограду своего монастыря. В обратный путь двинулись Эльберт с Алкуином, отягощенные мешками с рукописями. Проезжая через Франкское государство, встретились они с молодым королем Карлом. Он предложил им остаться при его дворе, где не было ученых людей. Но наши спутники предпочли вернуться на родину.

Спустя некоторое время Эльберта назначили архиепископом Йоркским. Руководство школой он передал Алкуину. Его же сделал он и монастырским библиотекарем, чему Алкуин был крайне рад: быть среди книг для него казалось счастьем.

Как учитель Алкуин скоро прославился по всей Англии. Чтобы поучиться у него, в Йоркский монастырь стали приезжать многие молодые монахи из других городов.

В 780 году умер Эльберт. На его место был избран новый архиепископ, который послал Алкуина с поручением в Рим. Там Алкуин снова встретился с франкским королем Карлом, незадолго до того завоевавшим королевство лангобардов в Северной Италии. Карл долго убеждал Алкуина отправиться с ним в его страну, где так были нужны образованные люди. На этот раз Алкуин обещал исполнить его просьбу. Он вернулся в Йорк с отчетом о поездке, а вскоре затем направился ко двору Карла. С собой он взял несколько своих учеников и много рукописных книг.



Дворец Каролингской эпохи.

И вот Алкуин при дворе Карла Великого. Тот радушно принял ученого и сделал его дворцовым наставником. Карл хотел, чтобы Алкуин обучал его самого, а также его сыновей и дочерей.

Карл еще раньше прошел курс грамматики у одного итальянского ученого. У Алкуина он хотел обучиться риторике и диалектике. Алкуин составил для занятий с королем новые учебники по этим предметам. А так как Карла в риторике интересовала прежде всего практическая часть, то Алкуин в своем курсе подробно познакомил его с тем, как велся судебный процесс в римских судах и как римские ораторы составляли свои судебные речи. Алкуин приводил примеры из речей знаменитого римского оратора Цицерона.

Одновременно с Карлом Алкуин учил и трех его сыновей. С двумя старшими он приступил к изучению грамматики. Вместе с ними учились и другие подростки, сыновья приближенных Карла. Так же как для короля, он составил для них новый учебник, стараясь сухую грамматику сделать как можно более понятной и изложить ее в форме разговора. Так возникли три главных учебника Алкуина, которыми он прославился в свое время: учебники грамматики, риторики и диалектики.

Вот как начинался учебник грамматики Алкуина:

«Были в школе магистра Альбина (то есть Алкуина) два мальчика, один франк, другой сакс, которые недавно вступили в густую чащу грамматики. Им захотелось некоторые правила словесной науки уточнить для лучшего запоминания путем вопросов и ответов.

Сначала франк сказал саксу: «Ну-ка, сакс, отвечай на мои вопросы, так как ты старше возрастом. Мне четырнадцать лет, а тебе, думаю, пятнадцать». На это сакс ответил: «Согласен. А если что-нибудь хочешь спросить более трудное или взятое из философской науки, следует спрашивать наставника». На это наставник сказал: «Мне нравится, дети, намерение ваше, и я охотно удовлетворю вашу любознательность. Но прежде скажите, с чего, вы думаете, должно начать ваше обсуждение?»

Ученики. С чего же, наставник, как не с буквы?

Наставник. Беседу следует начать с рассуждения о звуке, ради которого изобретены буквы. Прежде всего следует спросить, какими приемами следует вести рассуждение?

Ученики. Мы просим тебя, наставник, объяснить нам это.

Наставник. Всякое рассуждение или спор раскрывает три стороны вопроса: предмет, смысл и звуки. Предметы — это то, что мы познаем разумом; смысл — то, чем мы познаем предметы, звуки — то, чем мы выражаем понятия. По этой причине, как мы говорим, и изобретены буквы... Теперь, дети, начинайте с буквы.

Франк. Скажи, сакс, сперва, откуда произошло слово «литера» [1]?

Сакс. Я думаю, что от слова «летера», что значит путь для чтения [2].

Франк. Дай также определение буквы.

Сакс. Буква есть мельчайшая часть членораздельной речи.

Ученики. А не имеет ли, учитель, буква и другого определения?

Наставник. Имеет, но в переносном смысле. Буква есть неделимое, так как мысли мы делим на части речи, части — на слоги, а слоги —на буквы. Буквы же неделимы.

Франк. Укажи, товарищ, подразделения букв.

Сакс. Бывают гласные и согласные, согласные же мы делим на полугласные и немые... Гласные произносятся сами по себе и сами собой образуют слоги. Согласные сами собой не могут произноситься и образовать слоги.

Ученики. Нет ли, учитель, другого основания для разделения?

Наставник. Есть. Гласные как бы души, согласные же подобны телам. Душа движет и себя, и тело, тело же неподвижно без души. Так и согласные без гласных: их можно написать в отдельности; но быть произнесенными и иметь смысл они не могут.

Франк. Откуда пошли названия гласных и согласных?

Сакс. Гласные названы так потому, что сами дают звучание голоса, без помощи согласных. Согласные названы оттого, что сами собой не звучат, но дают звук вместе с гласными.

Франк. Что такое слог?

Сакс. Написанный звук под одним ударением и произносимый единым духом.

Франк. Сколько букв могут составлять слог?

Сакс. От одной до шести.

Франк. Имеет ли слог смысл сам по себе?

Сакс. Не имеет, если только целое слово не состоит из одного слога».

Дальше ученики просят учителя определить значение слова «грамматика». Учитель объясняет: «Грамматика есть словесная наука, являющаяся стражем правильного говора и правильного письма». Он предлагает ученикам перейти к частям речи. Ученики согласны, но просят учителя сперва объяснить свойство каждой части речи. Учитель замечает: «Ваша любознательность не знает меры!» Однако учитель объясняет ученикам:

— Свойство имени есть обозначение существа, или качества, или количества. Свойство местоимения — стоять вместо имени и

---

[1] Litera — буква.

[2] По-латыни lego значит «читаю», а iter означает «путь».

обозначать известные лица. Свойство глагола — обозначать действие или пассивное состояние. Свойство наречия — стоять вместе с глаголом и без него не иметь точного смысла, например: «хорошо говорю». Свойство причастия — иметь время и падежи, за это иные зовут его «склоняемым глаголом». Свойства союза — соединять части речи. Свойство предлога — стоять отдельно впереди склоняемых по падежам слов.

Как видим, грамматика тогда отличалась от современной: в ней не разделяли существительных и прилагательных, обозначая то и другое одним понятием «имя»; причастия считали отдельной частью речи.

Алкуин в своих занятиях старался охватить все, известные ему знания. Это требовало от его учеников большого напряжения ума и памяти. Чтобы сделать для них учение более доступным, Алкуин часто придумывал разные загадки, развивающие сообразительность подростков и юношей.

С этой целью он составил параллельно основным учебникам особую книжку под названием «Собеседование царственного и знатнейшего юноши Пипина с Альбином-учителем».

Современному читателю она покажется странной и малопонятной. Но надо помнить, что эта книга изучалась одновременно с более трудными учебниками по предметам «семи искусств» и кратко повторяла их содержание в занимательной форме. Вот отрывки из этой книги, по которой учились в средневековой школе:

Пипин. Что такое буква?

Альбин. Страж истории.

Пипин. Что такое слово?

Альбин. Изменник души.

Пипин. Кто рождает слово?

Альбин. Язык.

Пипин. Что такое язык?

Альбин. Бич воздуха.

Пипин. Что такое воздух?

Альбин. Хранитель жизни.

Пипин. Что такое жизнь?

Альбин. Для счастливых — радость, для несчастных — горе, ожидание смерти.

Пипин. Что такое смерть?

Альбин. Неизбежное обстоятельство, неизвестная дорога, плач для оставшихся в живых, приведение в исполнение завещаний, разбойник для человека.

Пипин. Что такое человек?

Альбин. Раб старости, мимо проходящий путник, гость в своем доме.

Пипин. На кого похож человек?

Альбин. На яблоко[1].

Пипин. Что такое зима?

Альбин. Изгнанница лета.

Пипин. Что такое весна?

Альбин. Живописец земли.

Пипин. Что такое лето?

Альбин. Облачение земли и спелость плодов.

Пипин. Что такое осень?

Альбин. Житница года.

Пипин. Что такое год?

Альбин. Колесница мира.

Пипин. Кто ее возница?

Альбин. Солнце и Луна.

Пипин. Сколько они имеют дворцов?

Альбин. Двенадцать.

Пипин. Кто в них властвует?

Альбин. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы[2].

Пипин. Что такое чудесное?

Альбин. Я видел, например, человека, прогуливающегося вверх ногами.

Пипин. Как это может быть, объясни мне.

Альбин. Отражение в воде.

Пипин. Почему же я сам не понял, хотя столько раз видел?

Альбин. Так как ты добронравен и одарен от природы умом, я тебе предложу еще несколько примеров. Послушай. Я видел — мертвое родило живое, и дыхание живого истребило мертвое.

Пипин. От трения дерева рождается огонь, пожирающий дерево.

Альбин. Так. Я видел мертвых, много болтающих.

Пипин. Это бывает, когда их вешают в воздухе[3].

Альбин. Я видел летящих женщин с железным носом, деревянным телом и пернатым хвостом. Они несли с собой смерть.

Пипин. Стрела воина.

Альбин. Кто бывает немым вестником?

Пипин. То, что я держу в руке.

Альбин. А что ты держишь в руке?

Пипин. Твою рукопись.

Альбин. И читай ее благополучно, мой сын.

---

[1] Здесь подразумевается: как яблоко, созрев, падает с ветки, так и человек развивается и в свое время умирает. Но порыв ветра может сорвать яблоко до срока. То же происходит и с человеком.

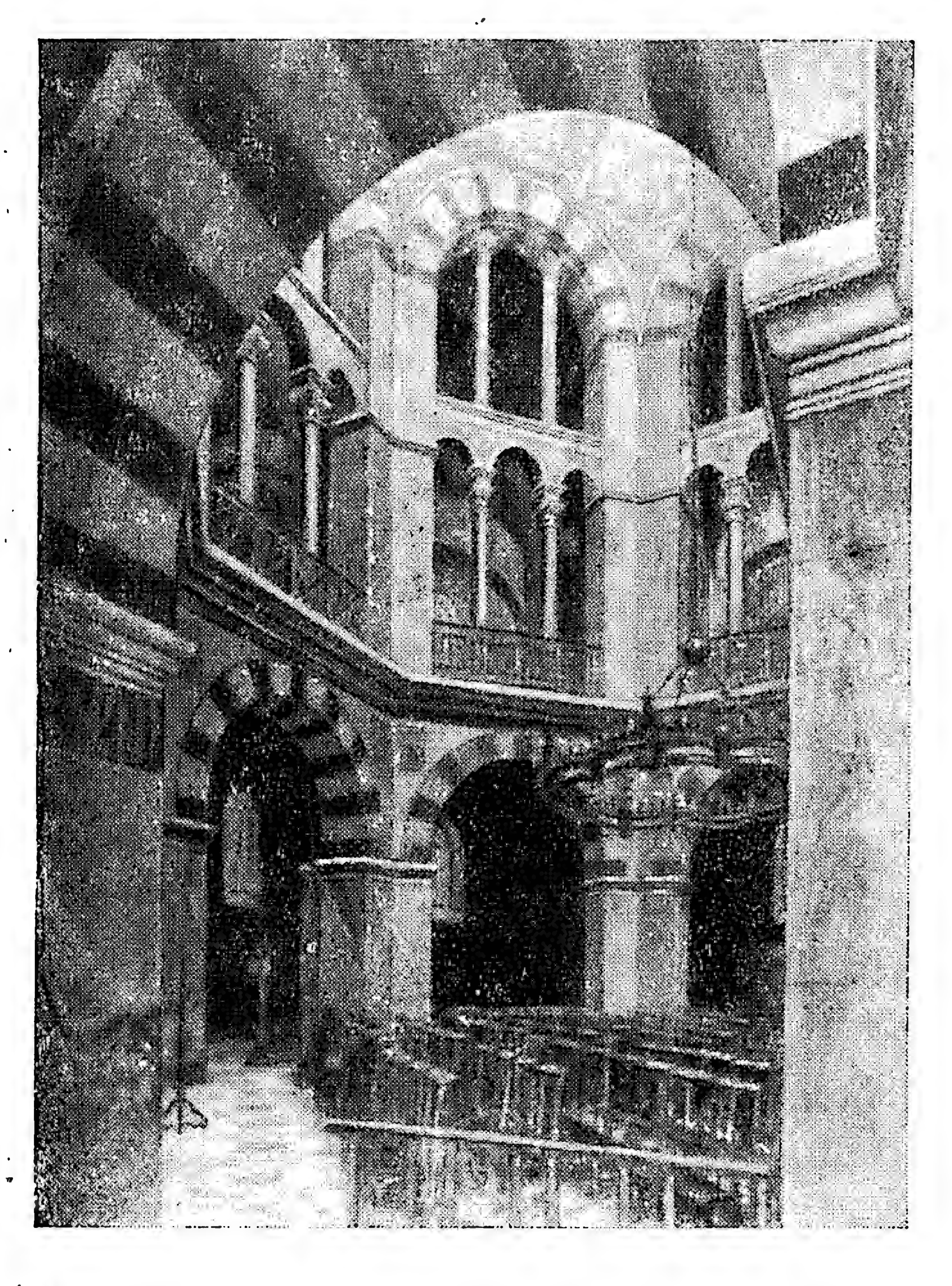
[2] Так называемые созвездия Зодиака, соответствующие 12 месяцам.

[3] Подразумеваются колокола.

В часы досуга от военных и государственных дел Карл Великий часто собирал вокруг себя кружок образованных людей, которых он приглашал ко двору из разных концов Европы.

На этих собраниях читали и обсуждали стихи, спорили о науке и литературе, слушали музыку. Тут присутствовали дочери и сестры Карла. Алкуин пользовался особым почетом, как всех превзошедший в знании наук и искусств. Часто случалось, что возникал какой-нибудь спорный вопрос, и тогда Алкуина просили его разрешить.

Алкуин назвал общество ученых, собиравшихся при дворе Карла Великого, по примеру древности Академией и не раз восхвалял Карла за то, что тот создал «новые Афины». Конечно, это было явным преувеличением: в действительности в то время сущест-



Дворцовая капелла в Аахене.

вовал всего-навсего довольно скромный придворный кружок образованных людей, любителей искусства.

В этом ученом кружке Алкуин ввел в обиход обычай йоркской школы — давать прозвища из римской, греческой или библейской истории.

Это было счастливое время для Алкуина. Уже стареющий наставник пользовался общим уважением и любовью, окруженный учениками и внимательными слушателями.

Но от спокойной преподавательской деятельности Алкуину приходилось порой отрываться. Однажды Карл послал его в Англию в качестве посла для переговоров с англосаксонским королем.

Шестидесятилетний Алкуин мечтал вернуться на родину. Но в Англии разразилась жестокая междоусобная война, и старый учитель решил, что ему спокойнее остаться во Франции. Он стал просить Карла отпустить его на покой в какой-нибудь монастырь. Но Карл думал иначе. Он эти годы мечтал о распространении образования по всей стране и считал Алкуина незаменимым человеком для этого дела. Карл назначил Алкуина аббатом богатейшего монастыря св. Мартина в Туре, где тот в 796 году основал школу при монастыре. Отсюда Алкуин писал Карлу:

«Я, сообразно вашей воле и настояниям, тружусь теперь под кровом св. Мартина над тем, чтобы одних услаждать медом священного писания, других поить чистым старым вином древней науки: иных я начинаю кормить плодами грамматических тонкостей, а других стараюсь просветить наукой о звездах, наблюдаемых с вершины какого-нибудь высокого здания... На утре жизни моей, в цветущие годы жизни сеял я в Британии. Теперь же, вечером, когда начинает во мне стынуть кровь, я не перестаю сеять во Франции... Я желал бы, чтобы оба посева взошли».

Умер Алкуин в 804 году. Память о нем среди его учеников держалась долго. Через сто лет после его смерти учитель одной монастырской школы писал:

«...скажу об Альбине, наставнике Карла императора, который... ни перед кем не захотел быть на втором месте, но в светских и церковных науках постарался превзойти всех».

Как ни несовершенна была школа средних веков с нынешней точки зрения, заслуги Алкуина в истории европейской культуры очень значительны: он прививал ученикам любовь к книге и знанию. Многие ученики Турской школы стали известными учителями монастырских и церковных школ Франции, продолжая дело жизни своего наставника.

ВИЗАНТИЯ В VI ВЕКЕ

Множество народа с утра толпилось вокруг константинопольского ипподрома[1]. Всем хотелось как можно раньше проникнуть в его ограду, чтобы занять лучшие места и вполне насладиться увлекательным зрелищем.

Последние приготовления к долгожданным состязаниям были почти закончены. Оставалось только натянуть пурпурный шелк над ареной для защиты от солнца, посыпать арену песком, смешанным с душистым порошком из толченых кедровых шишек, еще раз проверить прочность барьеров, за которыми должны были расположиться зрители.

Двое юношей, энергично работая локтями, сумели пробраться к самому входу и занять удобную позицию, чтобы в числе первых попасть в цирк. Старший, лет 22, был могучего телосложения, темноглазый и темноволосый. Волнистые волосы закрывали уши и непослушными прядями падали на лоб. Над упрямым ртом чернели длинные усы. Лицо, обрамленное короткой вьющейся бородкой, казалось почти суровым, но когда он улыбался, оно становилось детски доверчивым. Под явной опекой юного богатыря был его товарищ — почти мальчик 18—19 лет, на лице которого еще только пробивался светлый пушок. У младшего были голубые глаза, открытый и доверчивый взгляд и белокурые волосы. Весь его облик говорил о том, что он еще нуждается в защите.

То были два македонских крестьянина — Андроник и Костас. Они лишь вчера пришли в Константинополь из родных деревень. Познакомившись по пути в столицу, они быстро подружились. Их сблизили нужда, сходные воспоминания и одинаковая мечта найти свое счастье в огромном городе, о котором им пришлось слышать столько чудес. Больше всего рассказов они наслушались об ипподроме, где можно было не только посмотреть различные цирковые представления, но и полюбоваться военными парадами и даже увидеть самого императора. Молодым пришель-

[1] *Ипподром*—от греческого слова «иппос» (лошадь). Так назывался древний цирк, где главным зрелищем было состязание в беге колесниц, влекомых четверками коней.

цам повезло: как раз на сегодня были назначены состязания колесниц.

Вот почему приятели, переминаясь с ноги на ногу, нетерпеливо ждали, когда их впустят. Но вот, наконец, ворота распахнулись и несметная масса народа — более тридцати тысяч человек — хлынула внутрь и, спеша и проталкиваясь, стала рассаживаться на ступенях гигантского амфитеатра, полукружьем охватывавшего арену. Андроник и Костас, которым удалось захватить места у самой арены, с любопытством озирались вокруг. Они разглядывали богато украшенные ложи, которые постепенно стали заполняться важными сановниками в парадных одеяниях. Они увидели, как у императорской ложи выстроились придворные гвардейцы, сверкавшие золочеными доспехами.

После того как публика заняла все места, в центральной ложе, соединенной специальным ходом с дворцом, медленно и торжественно появился император Юстиниан. Его великолепная одежда была украшена драгоценными каменьями и золотым шитьем, на голове сияла корона, в руках сверкал скипетр. Вокруг теснились придворные и иностранные гости. Андроник и Костас так и впились глазами в императора. Они много раз слышали рассказ о том, каким удивительным образом императорская корона досталась дяде Юстиниана.

Это было в самом начале VI века. Простой македонский крестьянин по имени Юстин, подобно Андронику или Костасу, гонимый нуждой, пришел в поисках работы в Константинополь. Здесь ему улыбнулось счастье: его приняли на службу в императорскую гвардию. Долголетняя ревностная служба со временем позволила ему стать начальником императорской гвардии и приобрести сенаторское звание.

Когда в 518 году скончался бездетный император Анастасий, гвардия возвела на престол своего начальника Юстина. Так оставшийся малограмотным крестьянин и солдат стал византийским императором. Не имея сына, он вызвал в Константинополь своего племянника Юстиниана, усыновил его, дал ему блестящее образование, постепенно приобщил к управлению империей. После смерти дяди Юстиниан унаследовал его престол.

Необыкновенное возвышение Юстина и блистательная судьба его племянника казались обоим юношам увлекательной сказкой. Они во все глаза смотрели на облаченного в золотую парчу императора, милостиво отвечавшего на шумные приветствия собравшихся зрителей.

В памяти беспорядочно проносились толки, услышанные дома и в столице: о том, будто император мало спит, неустанно размышляя о государственных делах и совещаясь с военачальниками, со знаменитыми юристами, с зодчими и строителями, выполнявшими его обширные замыслы, и, наконец, с патриархами и епископами.

Вспомнился рассказ и о том, будто Юстиниан говорил, что в былые времена Римская империя простиралась от одного конца Средиземного моря и до другого и теперь настало наконец время восстановить ее в прежних пределах.

Покуда шли приготовления к состязанию, оба друга то присоединяли свои голоса к приветственным возгласам, то перешептывались.

— Да, ведь диковинная судьба не только у императора и его дяди, — заметил Костас, — не менее поразительна и судьба императрицы Феодоры... Все говорят, — продолжал он, — что она поражает не только своей красотой, но и умом, что без ее совета не обходится ни одно важное дело. Но ведь многие знатные господа ее ненавидят, я думаю, за то, что она родилась в бедности. Ее отец, я слышал, был сторожем при клетках с медведями, да и ей самой в детстве и юности пришлось хлебнуть много горя, добывая себе пропитание трудным ремеслом уличной танцовщицы.

Тем временем шум голосов стал нарастать, заглушив и прервав беседу друзей.

— Многая лета императору Юстиниану! — неслось из уст многотысячной толпы.

Однако и после появления императора состязания все еще не начинались. Друзья с беспокойством стали спрашивать у соседей: уж не отменили ли их вовсе? Но один из них успокоил новичков:

— Начнут тогда, — сказал он, — когда прибудет императрица. Да не сюда, — женщин на ипподром не допускают, — а вон туда, видите окна ближней церкви, которые выходят на ипподром? Вот там-то и располагается императрица со своими придворными дамами.

Не успел он закончить фразу, как за окнами церкви смутно обозначились чьи-то лица. Это была императрица и ее приближенные.

И тут же император подал знак. В мгновение ока открылись четверо ворот, находившихся под императорской ложей, и из них вылетели четыре колесницы, в каждую из которых была запряжена четверка лошадей. Зеленая, голубая, красная и белая колесницы, стремясь обогнать одна другую, вихрем неслись по арене. Одежда возниц была такого же цвета, как их колесницы.

Молодые македоняне сразу забыли обо всем на свете. С замирающим сердцем они следили за стремительным бегом колесниц. Так же точно, склоняясь вперед, задыхаясь от волнения, вся тридцатитысячная масса зрителей следила за ходом состязаний. Каждый мечтал о победе избранной им колесницы, и каждому в этот момент казалось, что он с радостью отдал бы все свое добро и даже жизнь, лишь бы обеспечить победу «своему» вознице. Приверженцы той или другой колесницы называли себя по ее цвету. В описываемое время больше всего сторонников имели голубые и зеленые возницы, ожесточенно соперничавшие друг с другом. «На-

до удивляться, — пишет современник, — тому неслыханному возбуждению, которое охватывало во время состязаний собравшихся. Побеждает зеленый возница — и одна часть народа в отчаянии, обгоняет голубой — и тотчас половина города в крайнем огорчении. В этот момент забывается все — родные, друзья, божеские и человеческие законы, и думают только об одном — о победе своей колесницы».

Андронику и Костасу больше других понравился голубой возница, и они, так же как и все остальные зрители, стали с тревожным вниманием следить за переменами в ходе бегов.

Вдруг в одной части амфитеатра раздались торжествующие крики, радостно подхваченные Андроником и Костасом: голубой возница обогнал зеленого, но еще мгновение — и зеленая колесница вырвалась вперед.

Сторонники голубых ответили воплями негодования, потонувшими в ликующих криках победителей. А когда голубая колесница вновь оказалась впереди, зеленые тотчас же обрушились с бранью на своих противников, которые не замедлили ответить им тем же. При этом обе стороны обменивались взглядами, полными ненависти, и только неустанный надзор блюстителей порядка удерживал их от рукопашной схватки.

Наконец бега окончились, и глашатай провозгласил победителя. Им на этот раз, к великой радости юношей, оказался возница голубых. И хотя началась вторая часть программы — комические пантомимы и клоунады, выступления фокусников, акробатов, борцов и дрессированных животных,— страсти не улеглись: по окончании зрелищ приверженцы голубых и зеленых продолжали перебранку на улице. А так как ни одна из сторон не могла убедить противника, то дело кончилось рукопашной. Только вмешательство стражи предотвратило кровопролитие.

Оба приятеля были настолько обрадованы победой голубых, что отсутствие места для ночлега их нисколько не огорчило. Ничего не стоило найти тихую улицу и там расположиться прямо на земле, в густой придорожной траве, благо теплая погода этому благоприятствовала. Друзья беззаботно решили, что завтра найдут себе какую-нибудь работу и успеют снова пойти на ипподром, где опять предстояли скачки и другие развлечения.

На другой день юношам удалось наняться мостить одну из дорог, ведущих к столице. Эта работа плохо оплачивалась, но зато она оставляла друзьям время для посещения ипподрома.

Целую неделю шли представления, поражая молодых пришельцев своим разнообразием и увлекательностью, и семь дней подряд не утихали волнения и споры между «голубыми» и «зелеными», в которых Андроник и Костас теперь принимали деятельное участие.

О том, как привлекал ипподром обитателей Константинополя, говорит характерный случай. Один богатый житель столицы не со-

глашался уступить свой участок земли, понадобившийся для возведения храма св. Софии. Ему были предложены огромные деньги, но он продолжал упорно отказываться. Тогда, придравшись к тому, что участок загрязнен, злополучного владельца бросили в тюрьму. Однако ни тюремное заключение, ни голод, которому его подвергли, не могли сломить его упорство... Лишь узнав о предстоявших бегах и поняв, что не сможет на них присутствовать, он сдался... Продав свой участок по дешевой цене, его бывший хозяин сумел попасть на ипподром.

Но ипподром был не только ареной спортивных состязаний и цирковых зрелищ. Он был подлинным средоточием всей общественной жизни Византии. Здесь праздновались победы над внешними врагами, выставлялись напоказ военные трофеи и производилась раздача части награбленной добычи; здесь же оглашались правительственные указы; на ипподроме народ приветствовал нового императора и императрицу после коронации.

Это было единственное место, где государь и народ встречались лицом к лицу, и только здесь грозные своим численным превосходством массы могли по старинному обычаю выразить перед лицом императора свое возмущение непорядками и обидами.

Костас и Андроник были не единственными, прибывшими в столицу Византии в поисках счастья. В Константинополь со всех концов стекалась гонимая нуждой беднота — колоны, беглые рабы, крестьяне, искавшие защиты от голода и притеснений.

Как-то, еще по дороге в Константинополь, приятели поведали друг другу свои нехитрые, но грустные истории, похожие на те, которые переживали и другие обездоленные, направлявшиеся за лучшей долей в столицу.

Андроник рассказал Костасу, что его семья находилась раньше в рабстве у богатого македонского землевладельца Дракоса.

— У нашего господина, — рассказывал Андроник, — большие владения, но обрабатываются они из рук вон плохо и дохода ему не приносят. И вот что он надумал! — в голосе юноши зазвучал гнев. — Он позвал отца и сказал ему: «Хочешь свободной жизни? Я дам тебе землю, обрабатывай ее и корми свою семью. А за это ты будешь давать мне часть твоего урожая, работать на моей земле, а также платить подати государству».

Отец согласился. А Дракосу это выгодно — он почти всех своих рабов сделал колонами. И хотя свободы стало как будто больше, чем прежде, но жизнь от этого не сделалась лучше. Подумай только! — у Андроника прервался голос, однако он превозмог волнение и продолжал:

— Ведь отец едва мог прокормить себя и семью и то, только в урожайный год. А его заставляли еще давать хлеб государству — для прокорма столицы; приказывали бесплатно строить и ремонтировать дороги.

Андроник остановился на минуту, а затем снова заговорил:

— Отцу не повезло. В первый же год все наши труды пропали: хлеб засох на корню, и нам нечего было есть. Отец пошел к одному богачу взять немного денег в долг, рассчитывая, что отдаст после нового урожая, а год снова выдался голодный. И так продолжалось три года подряд. Долги росли, а хлеб не родился. На четвертый год Дракос согнал нас с земли за неуплату повинностей, а богач, который давал нам в долг, взял к себе мать и двух братьев в услужение — отрабатывать его деньги! Отец с горя вскоре умер, ну а я решил отправиться в Константинополь — вдруг мне здесь повезет?

Приятели некоторое время молчали, а затем Костас сказал:

— Не знаю, слаще ли моя судьба. У меня никого нет, кроме старика деда. Мы с ним давно уже начали работать на хозяйских землях за клочок полученного нами поля. А дальше у нас все пошло, как и в твоей семье: год за годом неурожай, долги, голод. Хлеб все дорожает и дорожает.

...Хмурое лицо Костаса внезапно озарилось широкой улыбкой. Эта неожиданная улыбка явно не вязалась с характером его печальных воспоминаний, и Андроник удивленно посмотрел на приятеля.

— Я вспомнил, — сказал тот, — кое-что про своего чудака деда!.. Ты представь себе: однажды он объявил, что собирается в Константинополь, а на вопрос, зачем это ему понадобилось, пресерьезно ответил:

— Решил я пойти в столицу и наняться там в солдаты. На солдатское содержание хоть прожить можно!

...Стал я его убеждать, что таких стариков, как он, в солдаты не берут. Дед в ответ лишь хитро улыбался и упрямо тряс головой. Наконец он заявил: — Я такое словцо знаю, что передо мной разом откроются двери казармы!..

С тем и ушел дед в столицу. Вернулся он оттуда, я и спрашиваю:

— Что, дед, не помогло тебе твое словцо?

— Хоть и не помогло, — отвечает, — да зато крепко всех озадачило! Сам начальник императорской гвардии лишь руками развел, да так и застыл на месте с разинутым ртом.

— Да что ж ты все-таки им сказал? — спрашиваю.

Как только стали они смеяться над моим намерением стать солдатом, я и говорю:

— Вы на мой вид не смотрите. К старости я стал много сильнее, чем был в юные годы: тот хлеб, который я покупал за одну блестящую монету, я прежде увозил с рынка на двух ослах, а теперь я его легко уношу в руках!

— Выходит, — добавил он, — что не они надо мной, а я над ними посмеялся!..

— Стало быть, — говорю я деду, — ты бил ноги в дальнем пути только для того, чтобы поглядеть, как начальник гвардии разинет рот?

— Не совсем так, — успокоил он меня: — я на столичный рынок доставил немного оливок да меду. и дело сделал, и посмеялся, — отвечал дед...

— А дальше что было? — спросил нетерпеливый Андроник.

— Дальше снова горькая нужда. Тогда и я решил испытать свою судьбу в столице.

Костас не решался признаться даже другу в том, что порой и ему, как и другим юношам, кружили голову мечты о необыкновенной удаче, подобной удаче Юстина. Юные собеседники еще не знали, что в богатейшем городе, в прославленном Константинополе выходцы из голодной деревни ежегодно пополняют ряды мелких ремесленников и торговцев, вынужденных день за днем отдавать немалую долю скудного заработка сборщикам налогов.

Их-то, сборщиков налога, да еще полицейских, простодушные бедняки считали главными, если не единственными, виновниками зла, наивно надеясь найти защиту от них и управу у императора.

Кузнецам и оружейникам, рыбакам и матросам, торговцам, носившим на перевязи лоток с грошовым товаром, каменщикам и землекопам — всем им не раз казалось, что император не сегодня-завтра обуздает зарвавшихся сборщиков податей и отменит дурные законы, на которые те ссылаются...

Обездоленным труженикам трудно было понять, что беда заключалась не в дурных чиновниках, не во вредных или ошибочных законах, не в «недосмотре» императора, а во всем строе тогдашнего общества, строе, при котором одни жили за счет других. В ту пору вряд ли кто-нибудь это понимал, и поэтому некому было открыть глаза труженикам на истинную причину их бедствий.

Как это ни странно, но недовольство столичной бедноты разжигал кое-кто из людей, угнетавших эту бедноту и наживавшихся на ее нужде. И не только отдельные лица, но и влиятельные группы были не прочь использовать в своих корыстных интересах нараставшее ожесточение народа, готовое прорваться в грозном восстании.

В те времена то переплетались, то сталкивались различные интересы и требования. Землевладельческая знать, в своем стремлении к самостоятельности и самоуправству, тяготилась сильной императорской властью. Широкие круги купечества, владельцы мастерских, судовладельцы, чиновники и военачальники, напротив, жаждали завоеваний и поэтому нуждались в сильной императорской власти. Сенаторы и знать столицы примыкали либо к одной, либо к другой стороне.

Поскольку Юстиниан и его супруга покровительствовали «голубым», само собой получилось так, что их противники стали поддерживать «зеленых». Оба цвета — голубой и зеленый, первона-

чально обозначавшие окраску колесниц и одежды возниц, превратились в названия двух партий, которые враждовали не только на ипподроме.

Молодые пришельцы из Македонии, не подозревавшие ни о глубоких причинах, питавших рознь двух партий, ни о надвигавшихся столкновениях, вскоре оказались вовлеченными в самую гущу этих драматических событий.

К началу 532 года, вскоре после того как Андроник и Костас пришли в Константинополь, в столице сложилась такая обстановка, при которой малейший повод мог вызвать открытый взрыв народного возмущения.

Партия «зеленых» стремилась направить это назревшее возмущение против императорской власти.

Заправилы «зеленых» решили начать восстание 11 января 532 года, в день, когда на ипподроме были назначены празднества — бега и цирковые представления.

И на этот раз, как всегда, весь амфитеатр цирка был заполнен. Как обычно, каряды придворных сверкали великолепием, а появление императора сопровождалось большой торжественностью. Но, вопреки обыкновению, публика не требовала скорее начать состязания, а на скамьях, где сидели «зеленые», не прекращались шум и свистки, несмотря на призывы к порядку.

Тогда император, выведенный из терпения, приказал своему глашатаю громогласно запросить о причине возбуждения. В ответ представитель «зеленых» обрушился на самоуправство и злоупотребление чиновников, а затем и на самого императора Юстиниана:

— Если какого-нибудь свободного человека подозревают в том, что он «зеленый», власть тотчас подвергает его каре. Ты позволяешь, чтобы нас убивали. Лучше было бы, если бы по воле небес твой отец вовсе не родился: он не породил бы убийцу!

Раздались крики: «Да будут брошены на живодерню кости зрителей!»

Вслед за тем весь народ вместе с «зелеными» покинул скамьи ипподрома. Императору было нанесено несмываемое оскорбление. Покинувшие ипподром, подстрекаемые «зелеными», напали на улице на «голубых». Завязались ожесточенные рукопашные столкновения. Они вскоре повторились в разных частях города. Тогда префект города Евдемон отдал приказ арестовывать всех, кого застанут с оружием в руках. В числе схваченных оказался Костас. Андроник случайно отстал от него и поэтому не попал в руки солдат.

Не разбирая, принадлежат ли взятые к «голубым» или «зеленым», Евдемон велел тут же повесить несколько человек. Костас попал в их число. При огромном стечении народа осужденных повели на казнь. На несчастных уже набросили веревку, но неожиданно она оборвалась, прежде чем смертельная петля стянула гор-

ло казнимых. Костас и еще один повешенный сорвались с виселицы.

— Бог не велит их казнить! — закричал Андроник. — Евдемон, отпусти их!

Вся толпа подхватила эти слова и стала громко требовать помилования. Однако префект приказал повесить их вторично. Снова была накинута петля. И снова лопнула веревка, стягивавшая шею Костаса и его товарища, и они вновь упали на землю. На этот раз, как из одной могучей глотки, раздался рев толпы, требовавшей немедленно освободить казнимых. Но Евдемон оставался неумолим; он приказал повесить «мятежников» в третий раз.

Это переполнило чашу. В ярости толпа бросилась к страже. Андроник одним из первых кинулся на палачей. Он схватил за горло того, который вешал Костаса, другие отбросили остальных, и в одно мгновение осужденные были освобождены. Ликующая толпа увела их с собой.

На другой день народ, собравшись на ипподроме, потребовал у императора помилования приговоренных к казни. Но разгневанный Юстиниан решительно отказал.

И вот тогда народные массы, словно забыв о том, что одни из них поддерживали «голубых», а другие — «зеленых», объединились и с криками «ника!», что значит по-гречески «побеждай», мощной лавиной двинулись к городской тюрьме. Одними из первых туда бросились Андроник и Костас. В короткой схватке повстанцы перебили тюремную стражу, выпустили на волю заключенных, а здание тюрьмы подожгли со всех сторон. После этого они направились к императорскому дворцу, выкрикивая на ходу свои требования. «Долой кровопийцу Иоанна! — неслось со всех сторон. — Пусть виновник всех поборов сам подавится своими налогами! На виселицу его!» Тут сильный голос Андроника разнесся над толпой:

— Евдемона на виселицу! Хватит ему вешать ни в чем не повинных людей, да еще по три раза каждого! Смерть Евдемону!

— Смерть, смерть Евдемону! — подхватило множество голосов.

С каждым шагом возбуждение толпы нарастало, глаза сверкали гневом, руки яростно вздымались вверх. Кто-то из идущих впереди повернулся к шедшим за ним, поднял руку и отчетливо произнес: «Долой императора!»

— Долой императора! — подхватили ближайшие ряды. «Долой императора!» — покатился клич по рядам все громче и громче, нарастая, как шум прибоя. Через минуту мощный рев уже достигал стен императорского дворца.

Напуганный Юстиниан двинул против восставших отряд наемников-готов. Но в узких улицах города, где противник нападал и спереди и сзади, где с крыш падали камни, а из-за угла наносились удары, даже опытные бойцы-варвары растерялись. Привычные к битвам в поле, они здесь не сумели развернуть свой боевой порядок и были вынуждены поспешно отступить.

Запылали здания, окружавшие императорский дворец, а затем пожар перекинулся и в другие районы. Вскоре город был подожжен, как будто он оказался во власти врагов. Три дня огонь, раздуваемый ветром, совершал свое опустошительное дело. Вскоре там, где прежде высились прекрасные здания, остались лишь кучи чернеющих холмов, дым, зола и запах гари. К исходу третьего дня весь город, кроме императорского дворца, оказался в руках народа. Повстанцы начали готовиться к штурму дворца, назначив его на утро 18 января.

Прошло еще два дня. Юстиниан, напуганный размахом восстания, делал все, чтобы организовать оборону дворца. Были вооружены все, способные носить оружие. Тем временем народ, собравшийся на ипподроме, объявил Юстиниана низложенным и вместо него провозгласил нового императора. То был племянник прежнего императора Анастасия, Ипатий, который противился своему избранию, так как вовсе не сочувствовал повстанцам и страшился будущей расправы. Однако, боясь народа, он не посмел отказаться и до поры до времени подчинялся своей судьбе.

Когда до Юстиниана дошла весть о провозглашении Ипатия императором и о том, что повстанцы готовятся начать штурм дворца, им овладел отчаянный страх. Он созвал совет из преданных ему лиц, чтобы решить, что делать. Приближенные были охвачены такой же растерянностью, как их повелитель. Они указали Юстиниану на то, что на остатки верного ему войска полагаться нельзя, что дружина Велизария и отряд варваров под командованием полководца Мунда не смогут одни справиться с мятежниками. Единственное средство спасения, уверяли они, — бегство, еще возможное, пока дворец не окружен. Юстиниан был готов бежать.

Но этому решительно воспрепятствовала императрица Феодора. Она одна сохранила самообладание и достоинство в обстановке всеобщего страха и смятения.

— Если ты, государь, хочешь бежать, — смело заявила Феодора, — это твое дело. Подумай, однако, не лучше ли тебе будет предпочесть смерть спасению? Что до меня — я остаюсь. Мне по душе старинное изречение «порфира — лучший саван».

Малодушие присутствовавших было посрамлено. Юстиниан и его приближенные воспряли духом. Велизарий и Мунд получили приказ подготовить отряды к наступлению, а тайным агентам было поручено попытаться проникнуть в ряды повстанцев и, не жалея денег, подкупать всех колеблющихся и неустойчивых.

Шел седьмой день восстания. Его участники, вместо того чтобы устремиться ко дворцу и единодушным натиском овладеть этой твердыней, продолжали слушать горячие речи и вести пылкие споры на ипподроме, ставшем для них местом частых и шумных сборищ.

Этим и решил воспользоваться Ипатий, чтобы, предав восставших, спасти себя от императорского гнева. Зная, когда все повстанцы снова окажутся на ипподроме, он поспешил тайно известить об этом Юстиниана.

По императорскому приказу Велизарий подготовил неожиданный удар по собравшимся повстанцам. Опытный полководец ухитрился застигнуть их врасплох. Пробираясь в одиночку и небольшими группами, воины Велизария и Мунда, укрываясь в развалинах, незаметно подкрались к ипподрому и сосредоточились у двух его противоположных ворот.

Приказав солдатам обнажить мечи, Велизарий с криком бросился на ипподром. Безоружный народ, не ожидавший нападения, кинулся к противоположному выходу. Но оттуда уже ворвались отряды варваров под предводительством Мунда.

Ужас, отчаяние и паника овладели тысячами людей, запертых на ипподроме. Началось кровавое избиение беззащитных людей. Андроник и Костас чудом избежали общей участи: они были прижаты к стене около самого выхода, и им удалось выскользнуть, как только солдаты Велизария проникли внутрь.

Бойня прекратилась лишь к ночи. На арене ипподрома осталось более 35 тысяч трупов. Восстание «Ника» было подавлено. В Константинополе и в провинции начались аресты и казни. Не избежал кары и Ипатий: Юстиниан приказал его казнить.

На время партии ипподрома притихли, и император мог считать себя победителем.

После расправы над непосредственными участниками восстания, Юстиниан направил главный удар на тех тайных противников, в которых он подозревал истинных зачинщиков.

Много знатных землевладельцев было арестовано и брошено в тюрьмы, а их обширные поместья подвергнуты конфискации[1]. Те представители знати, которых еще не коснулась карающая рука императора, зачастую спешили пасть к его ногам и, униженно заискивая, подарить ему часть своих владений. Таким образом, восстание позволило Юстиниану не только устрашить действительных и мнимых недругов. Оно дало ему возможность завладеть новыми землями и обогатить свою казну широким притоком подношений.

Но Юстиниан хотел и сам позабыть недавний свой страх и, что еще более важно, заставить народ забыть о жестокостях 532 года. Щедро жертвуя церквам и монастырям сокровища, жалуя им новые земли, он побуждал духовенство усердно хвалить и возвеличивать императора.

Чтобы успокоить и удовлетворить бедноту, Юстиниан затеял большое строительство как в самом Константинополе, так и по

[1] *Конфискация*—принудительное превращение имущества частного лица в имущество государственной казны.

всей империи. Он рассчитывал тем самым дать заработок множеству голодных и обездоленных людей и таким путем устранить повод для новых восстаний.

По приказу Юстиниана все города вдоль границы были укреплены и объединены между собой непрерывной линией постов. Было заново отстроено 150 городов. В них воздвигались дворцы, церкви, театры, общественные бани, цистерны[1], прокладывались широкие мощеные улицы и строились большие площади, которые украшали мраморными фонтанами и прекрасными статуями.

В пустынях копали колодцы, через горные реки перебрасывали мосты, в городах проводили водопроводы. Особенное внимание император уделял своей столице. После восстания «Ника» сгоревшие кварталы Константинополя были заново восстановлены. Во многих частях города возвели грандиозные постройки — дворцы, храмы.

Центральная площадь города, на которую выходил императорский дворец, ипподром и сенат, поражала своим великолепием. Ее окружила крытая колоннада, и вся она была выстлана мрамором. Посередине на беломраморном цоколе высилась бронзовая колонна, увенчанная гигантской конной статуей Юстиниана.

Дворец его отличался такой роскошью, что, по признанию очевидцев, «слово бессильно это передать». Пол был выложен плитами из разноцветного мрамора и порфира. На стенах яркая мозаика воссоздавала картины победоносных войн Юстиниана и изображала самого императора, возле которого стояли его полководцы и придворные, а у ног лежали поверженные враги и захваченная добыча.

Но самым замечательным строением Константинополя был храм св. Софии. Император приказал возглавить его сооружение двум выдающимся архитекторам своего времени — Анфимию и Исидору и собрать под их начало лучших мастеров империи. Для постройки храма из Рима, Афин и других городов были вывезены колонны из порфира и яшмы; их капители были увенчаны тонким каменным кружевом.

Разноцветный мрамор, золото, слоновая кость, эмаль и драгоценные вышивки украшали внутренность храма. Алтарь и священные сосуды были отчеканены из чистого золота и усыпаны драгоценными каменьями, которым не было цены. В верхней части стен на фоне яркого пурпура и сверкающего золота выделялись мозаики гигантских размеров. Царивший у стен собора полумрак казался еще более густым благодаря тому, что центральная часть храма озарялась щедрым светом, который падал снопом из сорока окон, сплошным кольцом опоясавших основание купола.

Величавый купол св. Софии, достигавший 31 метра в диаметре, был подлинным архитектурным чудом того времени. Никогда

---

[1] *Цистерна*—огромный резервуар для хранения воды. В Византии обычно цистерну помещали в красиво оформленное здание.

прежде не удавалось ни установить подобный купол, ни придать такую чистоту и легкость его очертаниям.

Про св. Софию говорили, что она царит над всем городом, как корабль над волнами моря, и что кажется, будто это «удивительное и вместе с тем приводящее в трепет создание лежит не на камнях, а спущено на золотой цепи с высоты небес». Храм св. Софии существует и поныне.

Но постройка этого храма стоила баснословных сумм. Средства для покрытия этих расходов, так же как и на строительство дворцов, вилл и т. д., были получены ценой новых тяжелых налогов, которые должно было платить население империи — крестьяне, ремесленники, торговцы.

Уже несколько месяцев Андроник и Костас работали на постройке храма св. Софии. После подавления восстания «Ника» оба юноши некоторое время скрывались. Когда же поиски участников восстания прекратились, они перестали прятаться.

Узнав, что объявлен набор строительных рабочих, оба юноши устроились на тяжелую работу по обтесыванию камней. Целыми днями им приходилось таскать, обтесывать и укладывать тяжелые глыбы.

Трудясь изо дня в день под палящим солнцем, а иногда и под бурным ливнем, получая за свой изнурительный труд нищенскую плату, приятели провели на постройке храма десять безрадостных месяцев. Измученные и полуголодные, они в конце концов стали подумывать о том, чтобы поискать другую работу.

Как-то, когда приятели пошли на базар, чтобы купить себе немного фруктов на ужин, Костас спросил Андроника: «Почему нет таких законов, чтобы людей не обижали и чтобы можно было жить без нужды?» Не успел Андроник ответить, как в беседу вмешался продавец персиков, около которого остановились юноши.

— Как это нет законов! — воскликнул он. — Да разве ты не знаешь, что вот уже несколько лет Юстиниан издает законы за законами и их теперь столько, что и сосчитать невозможно! Знающие люди говорят, что юристам велели собрать почти 5000 законов, которые появились за последние 300 лет; понадобилось 12 книг, чтобы их поместить. Назвали эти книги Кодексом[1] Юстиниана...

А императору и этого мало: он вдобавок приказал собрать все законы, какие издавались с самых древних времен — чуть не за полторы тысячи лет.

— Неужели собрали? — с любопытством спросил Костас.

— А как же, — гласил ответ, — выпустили еще 50 книг законов, понимаешь — пятьдесят толстых книг! Но и тут император не-

---

[1] *Кодекс* — в отличие от свода законов, то есть собрания всех законодательных постановлений в их хронологической последовательности, кодекс представляет собой такое собрание законов, которое построено по разделам, по вопросам (темам).

доволен. Ему докладывали, что далеко не все могут разобраться в таком множестве мудреных книг. Вот он и приказал, чтобы была написана еще одна книга, попроще да попонятнее, такая книга, с которой люди грамотные начинали бы изучение законов и сразу смекали бы, что в этих законах самое важное...

— Да откуда тебе, торговцу персиками, все это известно? — спросил озадаченный Андроник.

— Я все это точно знаю, — ответил торговец. — Мой друг мне все это давно растолковал, а он-то не ошибется, ведь он служит писарем в суде.

— Так в чем же дело? — запальчиво воскликнул Костас. — Раз есть законы, то почему же нет на земле справедливости?..

— А ты, брат, плохо соображаешь, — с усмешкой заметил торговец. Тут он опасливо оглянулся вокруг и, убедившись, что к их разговору никто не прислушивается, продолжал, понизив голос:

— Ведь все очень просто: о ком заботится император, думаешь — о нас с тобой?.. Как бы не так! Мой друг, тот, что служит в суде, говорит, что все законы направлены к одному: всем должно быть отныне ясно, что воля нашего императора на земле то же самое, что воля бога.

Особа государя священна, а все что ему угодно — это закон! А ему, друг мой, угодно, чтобы мы с тобой и нам подобные не восставали, чтобы рабы не бунтовали, а колоны и крестьяне не убегали прочь и не покидали землю. А что нам плохо, что нас обирают, притесняют и мучают, до этого, поверь, нет никакого дела ни императору, ни сановникам, ни составителям законов!

— То, что ты нам только что сказал, — заметил Костас, — очень просто! Вот я и не возьму в толк: неужели же для того, чтобы это сказать, понадобилась целая гора из пятидесяти книг?

— И неужели,— спросил Андроник,— от всех этих законов никому, кроме императора, да землевладельцев, нет никакого прока и никакой пользы?..

Торговец персиками, с минуту подумав, ответил:

— Все это, конечно, не так просто!.. Найдется немало людей, готовых хвалить и кодекс и императорскую заботу о законах и правосудии. Судите сами: теперь, благодаря успешным войнам, византийские корабли снова проникают и в Черное море и во все концы Средиземного моря. Возобновляется, хоть и не сразу, такая торговля, какую вели во времена Римской империи. Наши товары и наши купцы ныне повсюду.

И всюду продают и покупают, дают и берут в долг изрядные суммы денег, арендуют земли, рудники, пристани, договариваются о морских перевозках больших грузов — словом, заключают множество договоров, соглашений, сделок...

А ведь тот, кто покупает, кто отдает деньги в долг, кто поручает перевезти свой товар на чужом корабле, и, наконец, тот, кто арендует пристань, рудник или мельницу, всегда боится быть обману-

тым и лишиться своего имущества... Так вот, для защиты собственников во всех этих случаях и нужны точные постановления закона, предусматривающие всякую мелочь...

Вот и понадобилось не только собрать в одну кучу и новые византийские и прежние римские законы, да не просто собрать, но и заново перетасовать все эти законы с таким расчетом, чтобы по каждому вопросу оказались соединенными все постановления, накопленные более чем за тысячу лет.

— Только,— словно спохватившись, добавил он,— вам, молодцы, как, впрочем, и мне, все эти нагромождения старых и новых законов, которые называют римским правом, совсем ни к чему!

И, как бы поясняя свою мысль, торговец персиками выразительным жестом указал на свой прилавок — вот оно, все мое добро: лоток да корзина с персиками...

Друзья молча переглянулись и, ничего не ответив, побрели прочь, озадаченные и огорченные тем, что услышали. Вскоре им пришлось остановиться. Путь преградила вереница всадников в богатом одеянии.

«Это варвары[1], — догадался Костас, — они, должно быть, спешат на прием к императору!» Догадка была верной. Если бы Костас и Андроник могли проникнуть вслед за чужеземными послами в императорский дворец, они оказались бы свидетелями пышного и тщательно подготовленного зрелища.

Когда варварские послы прибыли во дворец, их встретили приближенные императора, которые ввели их в первый зал. Тут сквозь настежь отворенные двери взорам прибывших открылась казавшаяся нескончаемой анфилада[2] зал, блиставших мрамором. Во всех залах стены были заняты мозаичными картинами, при виде которых послы невольно обменялись взглядами. И немудрено: одна за другой изображались победы византийской армии над варварами. Каждый зал казался великолепнее предыдущего. Подле каждой двери стояли неподвижно застывшие гвардейцы огромного роста с мечом у бедра и секирой на плече.

Наконец, послов остановили перед входом, закрытым пурпурной завесой. После томительного ожидания завеса мгновенно разомкнулась, и перед взорами послов предстал резной престол, на котором в золотой парче, в пурпурной мантии, со сверкающей короной на голове и не менее ослепительным драгоценным ожерельем на шее восседал Юстиниан. Две статуи Победы, сомкнув руки над его головой, простирали над ним лавровые венки.

У подножия трона, похожие на изваяния, виднелись телохранители в белых туниках, а поодаль располагались сановники и сенаторы в праздничных уборах.

---

[1] *Варварами* называли всех чужеземцев, кроме греков и римлян.

[2] *Анфилада* — ряд смежных помещений, двери которых расположены на одной оси. Когда они все открыты, создается единая уходящая вдаль перспектива.

Послов заставили повергнуться ниц на ковре, лежавшем у подножия трона. Преклонение было повторено троекратно. После этого главе посольства было позволено приблизиться и у ног государя покорно просить принять доставленные подарки.

Император, заранее ознакомленный со списком даров, благосклонным кивком головы разрешил принять подношения.

Сложный церемониал, торжественное великолепие залов, картины военных триумфов на стенах — все это было призвано внушить варварам преувеличенное представление о могуществе империи и необходимости ей подчиниться...

Но наши друзья, разумеется, не видели сцены приема послов и тотчас позабыли о случайной встрече с ними. Слишком уж много было у них других забот.

Миновало несколько недель. И вот наших друзей постигла беда. В тот самый момент, когда они вместе с другими строителями храма св. Софии поднимали с помощью блока тяжелую каменную плиту, один из канатов неожиданно лопнул и плита, качнувшись в сторону, свалила с ног Андроника. Его рука оказалась сломанной.

Некоторое время получившего увечье строителя лечили при монастыре св. Михаила, но монастырское гостеприимство было недолгим. Рука медленно срасталась, и, пока не могло быть и речи о работе, Костасу приходилось делить свой жалкий заработок на двоих. Андроник пробовал было отказываться от помощи, но, поняв, какую обиду он этим наносит верному другу, со слезами на глазах сказал ему: «Отныне мы с тобой братья!..»

Однако пустой желудок все чаще напоминал о себе, и оба приятеля тщетно искали выхода из трудного положения. Однажды, явившись по окончании работы к месту обычной встречи, Костас сразу заметил, что его друг чем-то взволнован и возбужден. Андроник немедленно огорошил Костаса неожиданным предложением:

— Послушай, друг,— сказал он.— А что, если нам бросить все и пойти в горы? Я встретил сегодня своего земляка, уроженца нашей деревни. Выслушав повесть о наших бедах, он вызвался нам помочь. Если мы примем его предложение, то через несколько дней сможем с ним встретиться, так как он вскоре снова наведается в столицу. Я узнал от него, что в горах скрывается немало людей, убежавших из деревень и городов, спасающихся от голода, несправедливости и жестокости своих господ и властителей. Беглецы объединились в вооруженные отряды. Они нападают на богачей, на чиновников и сборщиков податей. И хотя судьи и полиция называют их разбойниками, это неверно — они помогают, как могут, беднякам, иногда погибают, преследуемые властями, но чаще ускользают от своих преследователей. Ведь поймать их не так-то легко!

Через несколько дней Андроник и Костас покинули Константинополь. Никто не знал, да и не интересовался тем, куда ушли два юных горемыки...

АРАБЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА

Взглянув на современную географическую карту, мы увидим, что от берегов Тигра и Евфрата до Гибралтарского пролива, в Передней Азии и Северной Африке, расположена цепь арабских государств. Более 100 миллионов арабов и поныне живет там, где в VI—VII веках простирался обширный Арабский халифат.

Этот халифат, охвативший все южное побережье Средиземного моря, прославился широкой торговлей и своей культурой, оказавшей большое влияние на литературу и науку средневековых европейских народов.

Возникновение, расцвет и распад Арабского халифата можно понять, лишь познакомившись с ранней историей арабского народа, с той страной, которая являлась его колыбелью, страной, где в суровых условиях своеобразной природы осуществился переход от язычества к исламу и впервые зародилось государство объединившихся арабских племен.

С незапамятных времен арабы обитали на Аравийском полуострове, отделенном от Африки узкой полосой Красного моря и соединенном с нею Синайским перешейком.

И хотя Аравия относится к Азиатскому материку, все в ней напоминает о близости Африки. На площади, примерно равной четвертой части Европы, оседлое земледельческое население могло существовать лишь в немногих уголках Аравии.

Природа Аравии иной раз казалась доброй матерью, но чаще — злой, жестокой мачехой. Она или расточала свои щедрые дары редким оазисам, прежде всего лежавшему на юго-западе Аравийского полуострова Йемену, или была суровой, обрекавшей людей всей остальной Аравии на голод и лишения.

Недаром древние поселенцы Аравии дали Йемену название, означавшее «страна правой стороны», так как считали эту сторону счастливой.

Дважды в год тут повторялся сезон обильных дождей.

Финиковая пальма здесь гордо возносила к небу свою густую зеленую крону, радуясь тому, что, по старинной пословице, «ее голова в огне, а ноги в воде».

Уже за тысячу лет до начала нашей эры в благодатном Йемене появились орошаемые поля, цветущие сады, пальмовые рощи, а на склонах гор раскинулись кудрявые виноградники.

Такая же картина радовала глаз и в нескольких обширных оазисах Хиджаса, тянувшегося вдоль побережья Красного моря.

Совсем иной — скупой и неподатливой — была природа необозримых аравийских степей, незаметно переходивших в полупустыни, а местами и в настоящие пустыни.

Язык древних арабов не знал слова «река». Хранителями жизни в степях оставались лишь редкие источники влаги. Подпочвенные воды то удалялись от земной поверхности, то близко подступали к ней, питая скрытые в ложбинах студеные родники, глубокие колодцы, а кое-где и выбившиеся на поверхность серебристые ручьи.

У прорвавшегося наружу редкого ручья теснились пальмы, и в их прохладной тени находили короткий отдых путники — скотоводы со своими стадами.

Но кочевники-бедуины[1] не задерживались в приветливом, но тесном для них оазисе.

Там, где было мало ручьев и родников, все зависело от весенних дождей. Если весной выпадали скудные осадки, травы рано выгорали, начинался падеж скота, а за ним — неизбежный голод и болезни.

Еще хуже было в безводной пустыне, где до самого горизонта тянулись раскаленные солнцем, вздымаемые ветром горячие пески и гибель подстерегала каждого, кто отваживался углубляться в эти знойные пространства.

Обитатели аравийских степей были поневоле кочевниками. Повинуясь требованиям своенравной природы, они были вынуждены постоянно передвигаться, и эти непрерывные передвижения не были ни случайными, ни беспорядочными. В них, напротив, царила, продиктованная самой природой, строгая последовательность.

Когда после весенних дождей степи устилал сочный покров трав и цветов, стада рассыпались по зеленому приволью.

Когда же под лучами палящего летнего солнца поникали травы и степь принимала желтовато-пепельную окраску, скот приходилось гнать туда, где на склонах холмов и оврагов, в ложбинах и долинах еще сохранялась кое-какая зелень.

Зимой, в пору неукротимых суховеев и буйных губительных ураганов, животных нужно было укрывать в ущельях и горных теснинах.

А весной изголодавшиеся за зиму стада снова перегоняли на повеселевший зеленый простор.

Чтобы превозмогать зной, лишения и трудности кочевья, чтобы пасти стада и защищать их от непогоды и вражеского нападения, бедуины сплачивались в племена. В упорном труде, в борьбе с голодом, в жестоких спорах из-за пастбищ долг взаимной выручки

---

[1] *Бедуин* — название скотовода-кочевника, происходящее от слова «беде», означавшего степь-полупустыню.



Шейх в походе.

становился законом, крепло чувство племенной связи, а с ним и тесные узы родства. Они обязывали отплатить кровной местью за обиду, нанесенную собрату-соплеменнику. Все сородичи были верны этому нерушимому закону кровной мести.

Тот, кто стоял вне племени, оказывался совершенно беспомощным и беззащитным. Бедуин, заблудившийся или случайно отставший от соплеменников, ради своего спасения должен был примкнуть к чужому племени. В этом случае обычай требовал, чтобы он пал на колени и ухватился за край одежды шейха — главы того племени, на гостеприимство которого он рассчитывал.

Шейх являлся руководителем кочевья, а саид (в переводе «оратор») был как бы судьей, разбиравшим споры соплеменников и поучавшим юношей. Если предстоял набег на чужое племя или поселения земледельцев, из числа бывалых воинов избирали военного предводителя — каида.

Бедуины пасли и перегоняли с места на место стада мелкого скота. Прославленные, быстрые как ветер арабские кони появились лишь впоследствии, так как их приходилось кормить отборным ячменем, а поить чистой водой.

Кочевникам-арабам верой и правдой служил не быстроногий конь, а медлительный, неприхотливый, уверенно шагавший по пес-

кам пустыни верблюд. Он мог по нескольку дней кряду обходиться без пищи и, что еще важнее, без питья. Мог, в отличие от коня, пользоваться мутной солоноватой водой.

Верблюд давал своему хозяину молоко и мясо, его кожа шла на покров для шатра, на ремни, на сандалии для кочевника. Ткани из верблюжьей шерсти согревали бедуинов в холодные зимние ночи. В безлесных степях верблюжий навоз служил лучшим топливом, чем мгновенно сгоравший пересохший кустарник.

Но главное заключалось в том, что верблюд честно заслужил и оправдал свое название «корабль пустыни». Все имущество кочующего племени: шатры, поддерживающие их шесты, оружие, глиняная и металлическая утварь, сложенные во вьюках запасы пищи и одежды — все это быстро грузили на спины верблюдов и отправляли в путь.

Хотя древние народы задолго до арабов с помощью нехитрых орудий создавали замечательные оросительные сооружения, обитателям Аравии об этом нельзя было и мечтать.

Земледельческое население древнего Египта и Двуречья скапливалось в долинах полноводных рек. Чтобы выжить, чтобы спасти свои посевы от наводнения и засухи, египтяне и вавилоняне научились обуздывать свои реки в пору буйного разлива и удерживать воду в пору летнего зноя. То и другое заставляло сплачиваться в гигантские трудовые армии.

Бедуины не имели рек в своей стране. Поиски пастбищ и источников влаги не сосредоточивали, а, наоборот, рассеивали их по широким просторам Аравийского полуострова.

Не было у арабов ни возможности, ни надежды переделать природу. Вынужденные, напротив, подчиняться мачехе-природе, они с каждым десятилетием все сильнее ощущали ее жестокий гнет. Не способные оросить засушливые степи, кочевники Аравии из поколения в поколение пользовались одними и теми же пастбищами.

Но чем многочисленнее оказывались разросшиеся племена, тем меньше им доставалось зеленых кормов и тем теснее им становилось на обширных, но полумертвых знойных просторах.

Сами собой возникали споры и учащались ожесточенные столкновения из-за пастбищ. Взаимные обиды и счеты кровной мести перерастали в набеги одного племени на другое, в межплеменные войны.

Нуждаясь в хлебе и растительных продуктах, бедуины старались получить их в обмен на шерсть, мясо и кожу у земледельцев Йемена, Палестины и Египта. Нередко нужные земледельческие продукты они захватывали силой оружия. В подобных столкновениях у подвижных, внезапно появлявшихся и быстро ускользавших от преследования бедуинов было явное преимущество перед застигаемыми врасплох земледельцами, которым требовалось время, чтобы собраться в отряд и пустить в ход оружие.

Рядовых бедуинов в кровавые усобицы вовлекала горькая нужда. Недаром возник жестокий обычай, в силу которого убивали младенцев, родившихся в голодный год.

Однако шейхов и каидов влекла к войне не нужда, а жажда добычи. Именно ради нее они и толкали своих соплеменников к нападениям на чужеземных земледельцев и к набегам на соседние бедуинские племена. Видя в этих племенах не собратьев по происхождению и по тяжкой судьбе, а лишь соперников и врагов, нападавшие без всякой пощады угоняли скот чужого племени, отнимали верблюдов, а захваченных мужчин и женщин порабощали. Военнопленные становились невольниками шейхов, каидов и удачливых воинов-победителей.

Похищенные стада чужого племени не распределялись поровну между членами победившего племени. Бо́льшая их часть превращалась в собственность шейхов и разбогатевших воинов, тех самых людей, которые благодаря набегам и грабежам выдвинулись в качестве племенной знати.

Из года в год в войнах и набегах погибало все больше воинов. На их осиротевшие семьи падало бремя самых тяжких лишений. В поисках пропитания потерявшие кормильцев семьи поневоле прибегали к помощи знатных соплеменников, попадали в долговое рабство и были вынуждены пасти скот, принадлежащий тому, от кого получали помощь.

Под влиянием засухи и суховеев, бескормицы и голода, набегов и военного разорения росло число бедуинов, лишенных собственного скота. Таких обедневших кочевников называли салуками. Им-то и приходилось в засушливый год убивать своих младенцев. Голодному бедуину в такое время казалось, что в его желудок проникла змея, и, чтобы изгнать ее, он привязывал к своему запавшему животу плоский камень.

В такие черные дни лишений и отчаянья шейхи и знать уверяли, будто переживаемые бедствия неотвратимы, так как посланы божком данного племени, разгневавшимся на подвластных ему людей.

Но, как ни велико было терпение салуков, и ему подчас приходил конец. Гнев закипал в их сердцах, и они брались за оружие, нападали на скот богачей, врывались в затканные золотом нарядные шатры шейхов, мстили вооруженной рукой за обиды и унижения. В сознание обездоленных салуков постепенно стало проникать и недоверие к племенным божкам, которые так безучастны к их горю и бедствиям и которых так почитает знать.

Вдоль западного побережья Аравии издревле пролегала торговая дорога, по которой медленно двигались верблюжьи караваны. Шли они от берегов Индийского океана и гаваней Йемена к Средиземному морю. Шествуя с юго-востока, они доставляли к Средиземному морю слоновую кость, индийские краски и ткани, китайские шелка и аравийские благовония, изготовленные из ароматной пальмовой смолы.

Когда же караваны возвращались от гаваней Средиземноморья, они везли европейские товары: шерстяные ткани, оружие и металлические изделия.

На длинном Хиджазском торговом пути, который извилистой лентой стлался по восточному берегу Красного моря, издавна возникла стоянка. Она была расположена в удобном месте, где гряда холмов ограждала путешественников от ветра, а источники питьевой воды могли утолить жажду.

Со временем Мекка — так называлась эта стоянка — превратилась в крупный город, ставший средоточием всей караванной торговли.

Главную роль в этой торговле играло племя корейш. Прежде оно кочевало в районе среднего Хиджаза, а со временем его основным занятием стала закупка чужеземных товаров, их перевозка и организация караванов.

Знатные корейшиты из кочующих владельцев стад превратились в оседлых жителей Мекки, в богачей купцов, заправил хиджазской торговли.

Караванная торговля, щедро обогащавшая купцов, приносила заработки их соплеменникам, но вчерашние пастухи-бедуины, занявшись загрузкой и перегрузкой караванов, не перестали быть бедняками.

Перед гостями Мекки представали как бы два города: город именитой купеческой знати и город тесных, нищенских лачуг. Когда после весенних дождей в котловину Мекки сбегал с холмов бурный поток, он щадил крепкие каменные дома купцов-корейшитов и беспощадно разрушал либо вовсе сносил глинобитные мазанки бедняков.

Торговый караван нередко насчитывал в своем составе до 300 верблюдов. Купцы-корейшиты нанимали в качестве погонщиков и перевозчиков клади бедуинов. Причастность к перевозке купеческих грузов служила хотя и временным, но важным подспорьем для терпевших горькую нужду кочевников.

Уже в VI веке Мекка стала центром всей торговой и культурной жизни Аравии. Здесь в течение четырех весенних месяцев протекали общеарабские ярмарки. На этот срок провозглашался всеобщий мир и отодвигались все счеты кровной мести.

Чтобы привлечь как можно больше участников ярмарки, купцы Мекки постарались придать местному храму значение общеарабской святыни. Четырехугольный каменный храм Мекки назывался Кааба (в переводе «куб»). Внутри его находился колодец, вокруг которого были расставлены изваяния всех племенных божков. Каждый прибывший издалека бедуин находил здесь почитаемого им идола.

Мекканскую ярмарку посещали не только аравийские кочевники, но также и палестинские и сирийские земледельцы—египтяне и персы. Продукты хлебопашества, виноделия и садоводства здесь

широко обменивались на скот, шерсть, кожи, доставленные кочевниками-бедуинами.

Но притягательная сила мекканской ярмарки заключалась не только в выгодах торговли. Эта ярмарка впервые привела самые различные племена в непосредственное и мирное соприкосновение, к знакомству их друг с другом, к длительному общению. На ярмарочной площади Мекки, в предвечерний час, когда прекращалась сутолока торговли, множество людей любовалось искусством ловких плясунов и умелых фокусников. Но с особенным вниманием притихшая толпа разноплеменных слушателей внимала сменявшим друг друга нахимам и шаирам: сказителям и певцам-поэтам. Здесь звучали песни, рожденные на верблюжьих тропах, на стоянках в оазисах. Близкие всем бедуинам, они выражали тоску и радость, отражали нужду и горе, боль и надежду, пережитые всеми кочевниками.

Арабы всех племен с удивлением убеждались, что у них всех одна и та же тяжкая доля, одни и те же невзгоды и заботы.

Одни и те же впечатления, одинаковые чувства, вызванные и пробужденные музыкой песни и словом поэта, впервые создавали незримые, но прочные нити понимания между сынами различных враждующих друг с другом племен.

Хиджазской караванной торговле грозила большая опасность. За ходом ее внимательно следили правители двух могущественных соседних держав: Византийской империи и Иранской монархии Сассанидов.

В то время как Византия, которой в ту пору принадлежали Сирия, Палестина и Египет, всячески поощряла выгодную для нее караванную торговлю, Сассанидский Иран, напротив, готовился нанести чувствительный удар Византии уничтожением этой торговли.

И вот повторными вторжениями своих войск Иран надолго прервал движение грузов по Хиджазской дороге. Византия в свою очередь спешила нанести ответный удар. С юго-запада, через Йемен, из Африки в Аравию ворвались войска верного союзника Византии—Эфиопии (Абиссинии).

На арабской земле разгорелись ожесточенные битвы иранских и эфиопских отрядов. Арабские племена, возмущенные разорением своей страны, поднялись против воинственных чужеземцев.

Единодушный отпор завоевателям привел к их изгнанию из Аравии. Эта победа имела не только военное значение. Тысячи воинов бедуинов поняли, что, объединившись, арабские племена могут быть великой и грозной силой. И хотя временное единство племен распалось сразу же после победы, гордое чувство достигнутого успеха явилось первым проблеском рождавшегося национального сознания, первой вспышкой надежды на лучшую долю.

Однако вторжения вражеских войск имели очень тяжелые последствия. И не только потому, что война сопровождалась гра-

бежами и разрушениями. Гораздо большая беда Аравии состояла в том, что, пока длились сражения враждовавших иноземных сил, поток драгоценных восточных грузов устремился, минуя Хиджаз, по совершенно иному пути, заранее намеченному иранскими властителями. Товары Индии и Китая пошли водным путем через Персидский залив и далее по течению Евфрата, а оттуда к морским гаваням Сирии.

Мирные десятилетия начала VII века не смогли вернуть былого значения подорванной хиджазской торговле. Разорялись купцы Мекки. В этом прежде богатом городе воцарилась большая нужда.

С упадком караванной торговли бедуины — перевозчики товаров утратили прежнее подспорье, выручавшее их в трудные годы. Еще страшнее стал бич бескормицы и голода. Все чаще стали предавать смерти младенцев, родившихся в голодный год.

Именно теперь, когда сотни бедуинов уже не могли, как прежде, наниматься перевозчиками караванных грузов, обнаружилось с полной ясностью, что они никак не сумеют прокормиться на слишком скудных пастбищах, из-за которых и без того шла каждодневная жестокая борьба между изголодавшимися племенами.

Именно теперь, когда стал мертвым Хиджазский караванный путь, когда розорилась бóльшая часть мекканских купцов, бедняки Мекки, в прежние времена участвовавшие в снаряжении караванов и обслуживании купцов, с ужасом убеждались в том, что они лишены всякого заработка.

Неизбежные спутницы голода — болезни вползали и в шатер бедуина и в глиняную лачугу мекканского бедняка. Никогда прежде смерть не уносила стольких жизней.

Бедуины, оказавшись в тисках голода, все чаще отдавались в кабалу жадным шейхам, а мекканские бедняки, всячески изворачиваясь, за одолженные деньги или продовольствие платили неслыханные проценты ростовщикам, наживавшимся на народной нужде.

Основная масса кочевников, как и все разоренное население Мекки, в начале VII века оказалась под гнетом небывалых лишений, под угрозой постепенного вымирания.

И коль скоро перестали существовать прежние, служившие отцам и дедам, источники пропитания, а от голодных мук не защищали ни узы родства, ни хваленая мудрость шейхов и саидов, ни даже усердное почитание божков, то не удивительно, если все большее число арабов теряло веру в святость племенных обычаев и в справедливость племенных божков.

— Разве эти идолы не виноваты во всех несчастьях, обрушившихся на нас?..

— Разве не по их милости продолжаются кровавые раздоры между племенами?..

— Разве не благодаря их покровительству знать прибрала к рукам все пастбища, все стада, все припасы, ничего не оставив простым людям?..

Подобные вопросы сами собой вставали перед тысячами арабов. Ответом на них становилось осуждение старых порядков и презрение к старым божкам.

С невиданной быстротой росло число людей, отвернувшихся от старых верований. Их называли ханифами.

Однако, отказываясь от поклонения племенным божкам, ханифы вовсе не становились безбожниками.

Ведь в VII веке, как и в более поздние столетия средневековья, темные и невежественные люди умели объяснять все происходившее вокруг них только злой или доброй волей богов и духов, только их таинственным вмешательством в людские дела.

Ханифы были лишь наиболее смелыми среди тысяч удрученных и негодующих соплеменников. Они желали не погибнуть, а выжить. И поэтому им было мало осудить то зло, от которого приходилось страдать. Им казалось необходимым во что бы то ни стало уничтожить его, а для этого дать отпор всем носителям зла: бедуинской знати, корейшитским богачам, жестоким шейхам, жадным ростовщикам.

Ханифов воодушевляли стремление избавиться от лишений, пламенная жажда справедливости и равенства всех арабов. Их сердца тревожно бились в ожидании великих и светлых перемен.

Откуда же прийдут эти желанные перемены?..

Ханифы ждали, что они явятся даром могущественной небесной силы, силы настолько же справедливой, насколько несправедливыми и безучастными к ним были старые племенные божки.

В обстановке горестей, всеобщего смятения и пылких надежд то там, то здесь появлялись и завладевали доверием арабов рахманы — самозванные пророки и пророчицы. Они распаляли сердца и увлекали умы искренним словом гнева и надежды.

Но слово это покоряло и подчиняло себе слушателей именно потому, что все призывы и предсказания возвещались не от имени говорившего, а от лица того самого божества, которое будто бы послало данного пророка ради спасения и счастья всех арабов.

Все небесные посланцы обращались не к какому-нибудь отдельному племени, а к арабам всех племен. При этом всех и каждого, независимо от племени, они призывали стать приверженцами единственного и единого для всех арабов бога-покровителя.

Мы не знаем, сколько пророков вело свою проповедь в первые десятилетия VII века. Их имена не сохранились. Время стерло воспоминание о всех пророках, кроме одного, имя которого врезалось в память современников и потомков как имя провозвестника новой религии, постепенно завоевавшей множество последователей.

Жизнь того, кого считают основателем религии, объединившей все арабские племена, окутана легендами, сквозь туман которых

подлинные вехи его биографии различаются лишь в самых общих чертах.

Его имя — Мухаммед — скорее позднейшее прозвище, чем настоящее имя, полученное при рождении, так как оно означает «одержимый духом». Быть может, переходившее из уст в уста, живучее предание приписало одному лишь Мухаммеду дела и заслуги всех прочих тогдашних, для нас безвестных, пророков.

Это предание говорит, что Мухаммед был сыном разорившегося купца и начал жизнь сиротой, кормясь тем, что пас чужих овец в окрестностях Мекки. Повзрослев, Мухаммед стал приказчиком у вдовы богатого мекканского купца. Разъезжая по торговым делам по поручению своей хозяйки, он знакомился с бытом арабских племен и с жизнью оседлых земледельцев, сравнивал языческую веру соплеменников с религией христиан и иудеев, чтивших единого бога.

Женившись на своей хозяйке, Мухаммед вступил в число состоятельных мекканцев. Однако незабытые переживания сиротского детства и голодной юности сделали Мухаммеда нервным, болезненно возбудимым. Его мысль постоянно возвращалась к бедствиям родины. Размышления о ней, мечты и замыслы повторялись в навязчивых сновидениях. Мухаммеду казалось, что сам бог подсказывает ему во сне свои повеления.

Он проникся глубокой верой в то, что является пророком-провозвестником божьей воли. Искренно убежденный в том, что само небо вдохновляет его проповедь, он невольно внушал доверие тем, к кому обращался.

Среди обездоленных и отчаявшихся сограждан нашлись внимательные слушатели, поверившие Мухаммеду и увидевшие в нем посланца неба.

Воспламеняющая сила ранних выступлений Мухаммеда заключалась в смелых нападках на корыстных богачей, в призывах обуздать их и восстановить попранную справедливость. Новый пророк клеймил ростовщиков, «обмеривающих и обвешивающих» бедного собрата.

Осуждая «несправедливо наживающих богатство», он требовал, чтобы богатые помогали бедным, уступая им часть своего дохода. Он громко заявлял, что «в Мекке и везде вся власть в руках грешников!..»

Чем сильнее бились сердца бедняков, взволнованных такой проповедью, тем больше гневались богачи-корейшиты на непрошенного проповедника, который, как им казалось, подрывает основы их влияния и господства.

Предупрежденный о том, что его жизни грозит опасность, Мухаммед в 622 году бежит из Мекки в город, издавна являвшийся торговым соперником Мекки и расположенный к северу от нее в одном из оазисов Хиджаса. То был город Ятриб, впоследствии

переименованный в Медину (Медина эль Наби в переводе «город пророка»).

Сюда, в Ятриб, со всех сторон стали стекаться последователи Мухаммеда: разорившиеся торговцы, обираемые ростовщиками должники, голодные бедуины-салуки. День ото дня рос лагерь недовольных, объединившихся вокруг нового вождя — Мухаммеда.

Постепенно в борьбе между Меккой и Ятрибом перевес склоняется в сторону последнего. Это становится ясным после того, как сторонникам Мухаммеда удалось перерезать дорогу, ведущую от Мекки на север.

В самой Мекке все бурлило и негодовало. Корейшитская знать трепетала в страхе за свою жизнь. Наступил день, когда древняя Мекка раскрыла свои ворота перед пророком.

Победоносно вступив в Мекку, Мухаммед опирался на верные ему вооруженные отряды, на доверчивую преданность большей части населения, которое надеялось, что победа, одержанная божьим посланцем, вскоре принесет долгожданное торжество справедливости.

Противники Мухаммеда, недавно заставившие его бежать из Мекки, понеся жестокое поражение, затаились и притихли, не зная, чего ждать дальше.

В глазах многочисленных почитателей Мухаммед был военачальником, судьей и законодателем, но прежде всего он представлялся им пророком и правителем, поставленным самим аллахом — богом всех арабов.

И, действуя в роли пророка, Мухаммед стал решительно искоренять язычество и внушать своим сторонникам основы новой веры. Из Каабы были выброшены стоявшие там истуканы племенных божков. Но сама Кааба, старая, привычная многим поколениям святыня, была сохранена как храм единого, незримого аллаха.

Отныне все арабы объединялись новым великим родством, а это означало, что нападение одного племени на другое становится братоубийством и преступным нарушением воли божественного отца всех арабов.

Таким образом новая вера, положив конец кровопролитным столкновениям племен и существованию кровной мести, разрушала прежние перегородки между племенами и способствовала их соединению в единый народ.

Означало ли, однако, господство новой религии торжество той желанной справедливости, о которой мечтали все обездоленные арабы — салуки и бедняки Мекки?

Новая вера не только учила арабов преодолению племенной розни и единству, она требовала от них безропотного повиновения. Ведь самое название новой религии—«ислам» означало «покорность богу», а ее приверженцы именовались муслимы, что означало «послушные богу».

Если новообращенным мусульманам предписывалось безропотное подчинение аллаху и его пророку, то возникает неизбежный вопрос: ради чего так важно было внушать им обязанность слепого послушания? Кому это было нужно и полезно?

Тщетно искали бы мы прямой ответ на эти важнейшие вопросы в тех мыслях, которые приписывают Мухаммеду... И все же ответ можно найти!

Уже после смерти Мухаммеда (632) его друзья и ученики попытались записать его поучения. Так возникла священная книга мусульман — Коран (в переводе «чтения»). Коран складывается из сур, облеченных в стихотворную форму изречений и наставлений.

Никто не может сказать, что в этих записях передает подлинные мысли самого Мухаммеда, а что отображает суждения тех, кто по памяти воссоздавал его высказывания.

Содержание Корана удивляет своими противоречиями. Очевидно, он создавался не сразу, а долгими годами, и на его страницах столкнулись суждения разных лет, отражавшие различные и подчас противоположные воззрения и задачи.

Мы находим в Коране отголоски тех призывов, которые некогда завоевали Мухаммеду доверие и поддержку его первых сторонников. Таковы уже знакомые нам обличения обмеривающих и обвешивающих, слова о неправедно нажитых богатствах.

Но Коран признает рабство и бесправие женщин. Он осуждает тех, кто восстает против рабовладельцев и, таким образом, посягает на установленный аллахом порядок.

Коран порицает расточительность даже в том случае, если она вызвана состраданием и проявляется в слишком щедрой раздаче милостыни нищим. Коран грозит отсечением руки всякому, кто украдет чужую собственность. Эта зловещая угроза не минует и бедняка, похитившего хлеб для своих голодных детей.

«Не засматривайся очами твоими, — гласит Коран, — на те блага, какими наделяем мы некоторые семейства». Эти слова обязывают доброго мусульманина терпеливо мириться с богатствами знатнейших семейств и никогда не задавать себе вопроса: как эти богатства добыты — «праведным» или «неправедным» (то есть честным или бесчестным) путем?

Когда бог и его посланник решают какое-нибудь дело, говорит Коран, у верующего нет возражений!.. Коран недаром требовал, чтобы перед лицом посланника аллаха все верующие были безгласными и покорными, как овцы.

Вслушаемся в слова Корана: «Если бы бог не сдерживал одних людей другими, то были бы разрушены и монастыри, и церкви, и синагоги, и мечети».

С необычайной прямотой и ясностью данное изречение Корана признает, что всякая религия — и христианская, и иудейская, и мусульманская — служит опорой власти богатых, а власть богатых

служит такой же опорой религии. Коран дает понять, что у религии и у носителей власти, в сущности, общая задача — сдерживать народные массы.

Из общности этой основной задачи вытекает и обмен услугами. Коран неспроста предписывал «следить за тайными беседами» и разузнавать, «не говорят ли там о непослушании посланнику».

Так же как и другие религии, признававшие до ислама единого и незримого бога, ислам стремился отвлечь народ от борьбы за свои права и умиротворить его обещанием небесной награды, ожидающей «на том свете» бедняков, послушных воле аллаха.

Именитые купцы и племенная знать, враждебно встретившие первые выступления Мухаммеда, увидели в признанном и восторжествовавшем исламе новую полезную для них силу, божьим именем ограждавшую их богатство и их власть.

Они нашли в исламе могучее средство, позволившее распространить свое влияние на арабские племена, объединенные новой религией. Позднее они убедились, что ислам может стать знаменем в деле завоевания чужих земель.

Ислам не просто заимствовал у иудейской и христианской религии картину ада и рая. Приспособив эту картину к представлениям обитателей Аравии, ислам, как мы увидим далее, сумел ее использовать как приманку для будущих участников завоевательных войн.

Мусульманских грешников ожидает ад, где, страдая от мучительных ожогов, от жестоких желудочных колик, от неотступной жажды, они будут тщетно пытаться утолить ее зловонным кипятком.

Зато рай изображался таким, каким он представлялся воспаленному воображению жителя пустыни, — это цветущий сад, богатый тенью. Праведники, облаченные в легкие шелка, возлежат там за пиршественными столами. Их овевает прохладный ветерок, их слух услаждают неведомо откуда плывущие чарующие напевы. Прекрасные гурии — девы рая — угощают их сочными плодами и ничуть не пьянящими ароматными винами.

Но труден, слишком труден доступ в рай. И грех и добрые дела каждого человека в час его смерти тщательно взвешиваются. И, на беду многим, в рай ведет мост, тонкий, как волос, и острый, как бритва. По такому мосту легко пройдет только тот, чьи добрые дела и заслуги весят больше, чем грехи и преступления.

Как же быть тому, кто не надеялся пройти строгую и безнадежную для него проверку, заранее зная о тяжести своих провинностей?

Однако и для такого человека отыскивался выход: тот, кто сложит свою голову на поле битвы, воюя «за правую веру», избежит всякой проверки своих деяний. Сраженного бойца ангелы тут же подхватят и прямо из седла перенесут в благодатные райские сады.

Хотя предстоявшие войны и возвеличивались как священная борьба «за истинную веру», будущих участников этих войн влекла не задача распространения ислама, а те блага, которые войны могли принести им самим. Им казалось, что предстоящая война будет для них игрой без проигрыша: для погибших — райские сады, для уцелевших и того лучше—богатства завоеванных стран.

Воинственным бедуинам внушали, что, начав войну, они навсегда оставят за своей спиной засушливые, голодные степи Аравии и аллах откроет им победоносный путь в соседние обильные земли.

Закаленные нуждой и лишениями, завороженные видениями рая и, быть может, еще более воодушевленные надеждой окончательно забыть в завоеванных землях о голоде и нищете, бедуины всех арабских племен сплачивались в грозную силу, готовую неудержимым потоком захлестнуть близкие к Аравии плодородные равнины.

Для расчетливых купцов, алчных шейхов успешная завоевательная война была лучшим средством сохранить влияние на бедноту и устранить опасное недовольство, снова начавшее проникать в ее ряды. Но, разумеется, купцы и знать, прельщая бедняков бедуинов плодами будущих завоеваний, были заранее уверены в том, что главная добыча попадет в их собственные руки. Эта уверенность и побуждала их рваться к скорейшим захватам новых земель.

После смерти Мухаммеда его власть перешла к выборным «наместникам пророка» — халифам. Первые халифы еще утруждали себя по пятницам (а пятница была провозглашена священным для всех мусульман днем отдыха и молитвы) набожной проповедью. Но вскоре война и ее бурные события превратили халифов из религиозных наставников в завоевателей-полководцев.

Под предводительством второго халифа Омара (634—644) арабы завоевали Ирак, Западный Иран, Палестину и Сирию и вторглись в Египет.

В VII веке были завоеваны Закавказье и Средняя Азия, Афганистан и побережье Северной Африки. В начале VIII века были захвачены часть Индии и Пиренейский полуостров.

Успешность и необычайная быстрота арабских завоеваний объяснялись не только силой натиска воинственных кочевников, жаждавших избавления от горестей и нужды. Две соседние державы — Византия и Иран, на которые обрушились удары арабского завоевания, к тому времени ослабили друг друга долголетними войнами. Их слабость усугублялась тем, что разноязычное население этих держав ненавидело своих властителей и поэтому встречало завоевателей-арабов как своих освободителей.

Арабские полководцы умело использовали подобную обстановку. Щадя жизнь и имущество рядовых земледельцев и ремес-

ленников, не посягая на их религию, они тем самым привлекали их на свою сторону.

Случилось так, что арабскому полководцу, воевавшему в Сирии, пришлось на время отступить под давлением сильной византийской армии. И вот, прежде чем отвести назад свои войска, он созвал представителей городских и сельских общин Сирии и объявил, что возвращает им деньги, собранные с них ранее для борьбы с Византией.

Честный поступок арабского полководца так изумил собравшихся, что один из них растроганным голосом сказал: «Я поражен, ведь византийский военачальник в подобном случае никогда не вернул бы денег, оказавшихся в его казне!»

Узнав о происшедшем, халиф Омар написал своему полководцу: «Ты правильно поступил, сын мой, так и надо поступать, чтобы внуки тех, кого мы подчиняем, стали рабами наших внуков».

Слова халифа показывают, что честное и добросовестное отношение к населению покоряемых стран было лишь временной мерой, хитрым средством, рассчитанным на то, чтобы завоевать полное доверие и поддержку этого населения. Халиф Омар хотел сделать византийских подданных своими друзьями только для того, чтобы впоследствии они стали рабами позднейших халифов.

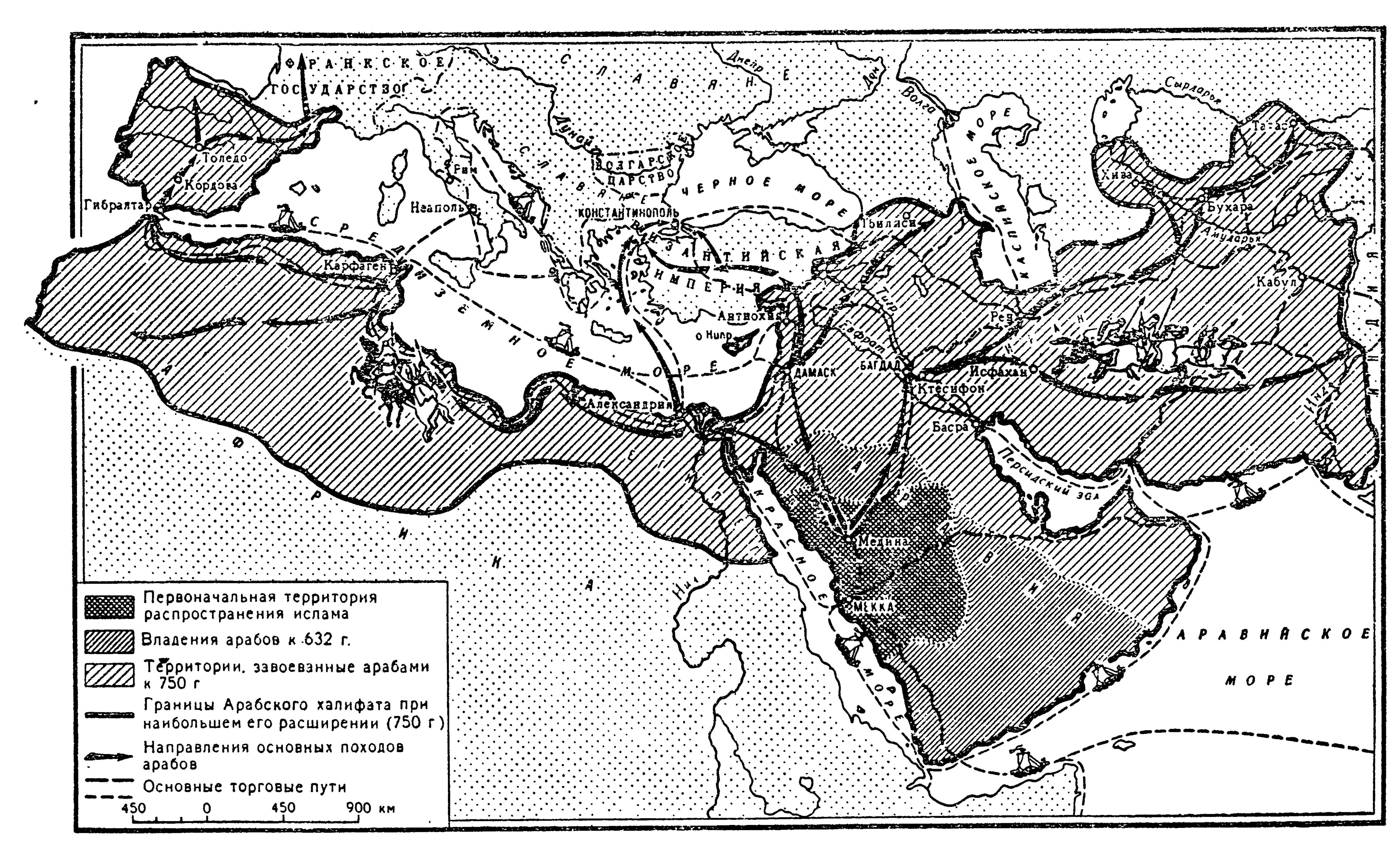
Сохранился любопытный рассказ о том, как Омар в сопровождении христианского патриарха осматривал церкви завоеванного Иерусалима. Час обязательной для мусульман молитвы застал его во дворе церкви Воскресения. Но когда патриарх предложил ему помолиться там же, в церковном дворе, Омар отказался.

Тогда патриарх привел его в церковь Константина и на середине ее разостлал циновку, чтобы халифу было удобно стоять на коленях. Однако Омар не согласился молиться и здесь и вышел на лестницу, где помолился один. После этого он объяснил патриарху, что, если бы он совершил молитву в христианском храме, его единоверцы непременно обратили бы этот храм в мусульманскую мечеть и таким образом нанесли бы обиду христианам.

Не ограничившись таким разъяснением, халиф потребовал бумагу и тут же начертал особый указ, разрешавший мусульманам молиться на лестнице церкви Константина не иначе, как в одиночку.

Не удивительно, если христианские епископы и священники считали Омара своим желанным покровителем и от его имени не раз вступали в переговоры с комендантами византийских крепостей, склоняя их к отказу от сопротивления и к сдаче.

Предание хранит удивительные рассказы о поведении Омара, о его отношении к богатству и роскоши. Распоряжению Ома-



Арабский халифат в VII—VIII вв.

ра приписывают разрушение великолепного дворца иранских шахов в их столице Ктезифоне.

Арабский историк сообщает, что однажды Омар вызвал к себе нескольких своих военачальников. Когда те стали приближаться к назначенному месту, Омар заметил, что лошади полководцев покрыты чехлами из парчи и шелка. Не говоря ни слова, Омар спешился и, подняв с земли камни, стал их кидать в прибывших. Те же, оправдываясь, спешили заверить разгневанного повелителя, что нельзя судить по внешности и что они никогда не расстаются с оружием.

Чем же была вызвана странная ненависть халифа-полководца к роскоши?

Даровитый полководец и хитрый, изворотливый политик, Омар был одним из первых учеников и последователей Мухаммеда. Его привлекли и навсегда ему запомнились ранние, пламенные выступления пророка, бичевавшие корыстных богачей.

Происхождение, суровая борьба с нуждой, привычки и убеждения с детства связали Омара с той средой, где ненавидели чванных корейшитских купцов и надменных шейхов.

Омар, как и многие другие, глубоко верил в то, что ислам несет с собой великую справедливость для принявших его арабов, такую справедливость, которая навсегда избавит их от засилья богачей и от голода и нищеты. В то же время Омар считал, что победы и завоевания чужих земель — вполне законная награда, посылаемая аллахом за преданность исламу.

При всем своем природном уме, Омар был необразованным человеком. Он не знал ни истории захваченных им стран, ни истинных причин их слабости. Если бы его спросили, чем объясняются успех и быстрота арабских завоеваний, он прежде всего сослался бы на волю аллаха, а затем сказал бы, что врага сделали слабым роскошь дворцов и праздная изнеженность.

Приведя к блистательным победам войско изголодавшихся бедуинов, ценя их суровую простоту и гордясь ею, Омар считал, что сохранение этой простоты — залог дальнейших побед.

Он мог думать, что настоящему воину в час отдыха подобает видеть над собою либо высокий купол неба, либо колеблемый ветром полог простого шатра. Не удивительно, если Омар стремился во что бы то ни стало оградить своих воинов от разлагающего влияния роскоши, от всякой погони за нею.

Сохранился рассказ о том, что два воина просили его рассудить, кому из них должен принадлежать дорогой персидский ковер, попавший в их руки в захваченном городе. Разгневанный Омар выхватил меч и собственноручно рассек злополучный ковер на мелкие части.

Здесь повторился тот же приступ гнева, который овладел Омаром, когда его полководцы осмелились приехать к нему на богато убранных конях. Но недаром эти полководцы хоть и оправ-

дывались, но тем не менее уверяли Омара, что роскошь убранства им ничуть не мешает носить и применять оружие.

Бурный поток завоевателей-арабов хлынул в соседние земледельческие страны. Ворвавшись в них, он множеством ручейков стал растекаться на обширном пространстве покоренных земель.

Сохранят ли пришельцы-завоеватели, рассеявшись в новых землях, свои старинные обычаи, свой кочевой быт, свои привычки, свой внешний облик?

Такие люди, как Омар, со снисходительным превосходством взирая на покоренных, упрямо и непреклонно твердили, что арабы всегда будут оставаться такими же, какими они были до завоеваний. Однако действительность довольно скоро опрокинула эту гордую уверенность.

Тогдашняя Сирия, Палестина, Иран и Египет стояли на гораздо более высокой ступени хозяйственного и культурного развития, чем родина пришельцев-арабов.

История доказала, что завоеватели-арабы в свою очередь оказались завоеванными более передовыми порядками и более высокой культурой покоренных ими стран. Жизнь постепенно, но очень настойчиво заставляла арабов приспособляться к той обстановке, к тем условиям, которые царили в новых провинциях быстро разраставшегося халифата.

Завоевательные войны сами по себе принесли первые неизбежные перемены. Ведь победоносному арабскому войску доставалась несметная добыча: деньги, драгоценности, дорогая утварь, статуи, ковры, а кроме того, недвижимость — дома и дворцы, сады и пашни, виноградники, оливковые рощи и целые поместья с крепостными крестьянами.

Вся эта добыча делилась не поровну, а по заслугам участников войны. А так как заслуги военачальников и приближенных халифа считались несравнимыми с заслугами рядовых бойцов, то получалось так, что бóльшая часть добра, захваченного победителями, попадала в немногие руки.

Особые награды и милости халифа выпали на долю новых сановников, которых у арабов никогда прежде не было.

Огромный халифат требовал иных забот и иного управления, чем небольшая мекканская община или бедуинское племя. Хотели того или не хотели упорные ревнители старины, но поневоле пришлось перенять иранскую систему, так называемые диваны — нечто вроде нынешних министерств.

Диван государственной печати оформлял законы и распоряжения халифов, диван дипломатических документов ведал внешними сношениями, диван войска заботился о комплектовании и прокормлении армии, диван государственного дохода и диван расходов наполняли и опустошали государственный кошелек.

Позднее большое значение получил диван почты, не только доставлявший письменные сообщения (самые срочные с помощью

почтовых голубей), но и собиравший сведения полицейского характера.

Правители диванов, близкие к халифу, были высшими должностными лицами нового арабского государства. Перед ними склонялись их подчиненные и сотни просителей. Своим обликом, положением, богатством эти надменные сановники мало отличались от своих предшественников, служивших шаху Ирана или императору Византии.

Высшим чинам халифата пытались подражать их многочисленные помощники, скрипевшие перьями в тесных канцеляриях диванов.

Чтобы в огромном халифате можно было исправно взимать налоги, в нужный срок собирать войска и быстро подавлять недовольство, халифат пришлось поделить на области — эмираты и позаботиться об укреплении власти эмиров — местных правителей.

Во многих эмиратах арабы были лишь меньшинством, тогда как бóльшую часть населения составляли коренные жители завоеванных стран.

Несмотря на то что арабы как будто воевали «за истинную веру», они долгое время не пытались навязывать покоренным народам ислам. В своих законах и распоряжениях они, напротив, старались как можно тверже отделять победоносное меньшинство арабов-завоевателей от всего прочего немусульманского населения.

Это делалось для того, чтобы обеспечить арабам важнейшее преимущество: полную свободу от хараджа — поземельной подати, все бремя которой возлагалось на покоренное население.

Не только Омар, но и его соратники наивно предполагали, что единоверцы Мухаммеда навсегда останутся кочевниками, тогда как земледелие и землевладение будут уделом покоренных арабами иноверцев. Вековой, устойчивый предрассудок побуждал считать почетным и достойным победителя лишь старый образ жизни арабов и относиться с презрением к земледельческому труду и собственности на землю.

Удача кружила головы победителям. Им казалось, что только от их воли, от их решения зависит все будущее арабского народа, и они не сомневались в том, что это будущее будет похоже на прошлое. Именно поэтому все земли, все поместья, доставшиеся халифату, были объявлены собственностью, принадлежащей всему арабскому народу, а вовсе не отдельным арабам.

И вот, поручая тому или иному эмиру управление областью, халиф предоставлял ему общегосударственную землю в качестве «икта» — временного владения на срок службы эмира. Пользуясь этой землей, эмир мог кормить своих чиновников и содержать солдат.

Однако доходные поместья, сады, рощи, составлявшие икта, были чрезвычайно соблазнительны и для эмира и для его потомства.

Всякий эмир обычно ухитрялся передать своему сыну занимаемый им пост, а с ним и основу своего богатства — те самые доходные земли (икта), которые ему давались от имени халифата лишь во временное пользование.

Однако благодаря постоянному повторению подобных передач должность эмира со временем превратилась в наследственное звание, а земли, о которых идет речь, постепенно становились наследственным владением семьи эмира.

Так как эмиру было трудно самостоятельно управлять обширным эмиратом, он делил его на части и поручал управлять этими частями эмирата своим помощникам. Но, чтобы они, со своими подручными и воинами, могли кормиться, для них в свою очередь приходилось выделять земли из состава икта.

Такие доли икта, отдаваемые помощникам эмира, назывались «патии». Подобно всей икта, ее части с течением времени также превращались в наследственное достояние местных, подчиненных эмиру, начальников.

Мы видим, что на мусульманском Востоке происходили перемены, сходные с теми, которые протекали на средневековом Западе. Там, как мы помним, при Хлодвиге графы управляли областями. В пору Каролингов графы оказались уже наследственными властителями графств. Точно так же бенефиций, пожалованный в личное пользование королевскому вассалу, позднее превратился в феод, то есть в наследственное владение вассалов, из поколения в поколение несущих службу сеньору-королю.

Мы наблюдаем здесь не случайное сходство!

Несмотря на различие названий и второстепенных особенностей, на Западе и на Востоке протекал один и тот же процесс феодализации. В обоих случаях он привел к одним и тем же переменам.

Вместе с полями, садами и рощами эмиры получали и власть над крепостными крестьянами, трудившимися на этих землях.

Халифам и эмирам и в голову не приходило освобождать сирийских, египетских или иранских крестьян от крепостной зависимости. Они, напротив, эксплуатировали их так же охотно, как и прежние хозяева. Этому ничуть не мешало то обстоятельство, что новые господа не считались ни собственниками, ни даже наследственными владельцами попавших в их руки земель.

К обладанию землями и подневольными крестьянами отныне рвались знатные шейхи и купцы, которые прежде не могли об этом и думать.

Некогда среди богатых корейшитских купцов, преследовавших Мухаммеда и заставивших его бежать из Мекки, выделялась семья Омейев или Омейядов. Ничего удивительного нет в

том, что позже представители этой семьи перешли к энергичной поддержке халифов и участвовали в завоеваниях.

Жадный и расчетливый отпрыск Омейядов Моавия сумел стать эмиром Сирии. Здесь в его руки попали земли, кони, запасы хлеба, товары и парусные суда. Он вскоре убедился, что флотилии кораблей, бороздящих Средиземное море, могут давать гораздо больше прибыли, чем караваны верблюдов, служивших его отцам.

Моавии, богатейшему из эмиров, принадлежало до 4000 рабов и крепостных. Его сын Иезид был одним из тех полководцев, который убранством коня и великолепием одежды вызвал ярость сурового Омара.

Итак, полководцы и сановники упивались выпавшим на их долю почетом, любовались своими каменными палатами и дорогой утварью, помыкали угодливыми слугами и рабами.

Купцы, сменившие караванную торговлю на подлинно международную морскую торговлю, получавшие и отправлявшие товары ближних и дальних стран Запада и Востока, радовались неслыханным прежде прибылям.

И сановная знать и купечество изощрялись в низкопоклонстве перед халифом, восторгались успехом завоеваний, благодарили аллаха за его милости и на все лады хвалили новые порядки и законы халифата.

Но основная масса арабского народа не разделяла восторгов знати и купечества, так как ее участь была совсем не похожа на их судьбу.

Ни халифы-завоеватели, ни их советники не призадумались над тем, сумеют ли арабы оставаться кочевниками, расселившись в земледельческих странах, где среди огороженных полей, садов и виноградников не было места ни бродячим стадам, ни верблюдам.

Тысячи и тысячи арабов были рассеяны вихрем войны по странам азиатского и африканского Средиземноморья, по нагорьям Закавказья, по прикаспийским и среднеазиатским равнинам.

Многие осели в городах и там становились ремесленниками и мелкими торговцами. Но постепенно все большее число переселенцев оказывалось вынужденным заниматься земледелием.

Все эти труженики по происхождению, религии, по недавним своим боевым заслугам считали себя братьями и соратниками эмиров и полководцев, новых сановников и самого халифа. И в то же время бедственные условия существования все чаще ставили вчерашних завоевателей в такое же тяжелое положение, каком повсюду находилось немусульманское население завоеванной страны.

Через двадцать лет после смерти Мухаммеда бедняки арабы с горечью и негодованием спрашивали: почему все плоды вели-

ких побед пошли на пользу только немногим, почему большинство победителей живет не лучше побежденных?

Тем, кто задавал подобные вопросы, казалось, что воля аллаха и его пророка грубо нарушена, и они преисполнялись решимостью постоять за себя с оружием в руках.

Омара сменил на посту халифа дряхлый старец Осман. Был он ставленником корейшитской знати. Его равнодушие к нуждам и горестям рядовых соплеменников сделало его имя ненавистным для всех бедняков арабов.

В 656 году разом восстали бедуины Ирака и жители Медины. Осман был убит, и вместо него повстанцы провозгласили халифом племянника Мухаммеда — Алия.

Но недолго пришлось править новому халифу. Купечество и знать не хотели терять ни единой доли своих преимуществ, ни малейшей крупицы своих доходов. Кинжал убийцы сразил Алия и позволил стать халифом знакомому нам уже эмиру Моавии. С этого момента Дамаск сделался столицей халифата, а Сирия, с ее развитой промышленностью (производством оружия, стекла, льняных и шелковых тканей) и торговлей, начала играть главную роль в халифате Омейядов, называвшемся так по имени династии, правившей до 750 года.

Древняя Мекка перестала быть сердцем арабской торговли. После того как переместились жизненные центры арабского народа, ее посещали лишь паломники, почитавшие места, связанные с памятью основателя ислама, и она оставалась полупокинутым городом святынь и воспоминаний.

В те времена, когда второй из Омейядов — Иезид (680—685) правил в Дамаске, до мекканских старцев дошла тревожная молва о безбожных новшествах, которые оскорбляют сердца правоверных в новой столице халифата.

Старейшины древней Мекки, удрученные недобрыми слухами, отправили в дальний Дамаск своих послов, чтобы те собственными глазами ко всему пригляделись и, возвратившись, правдиво поведали обо всем, что видели.

И вот посланцы Мекки вернулись и стали рассказывать об увиденном и услышанном. Ревнители седой старины, считавшие добром лишь то, с чем связана память о днях Мухаммеда, дивились безбожному злу, которое воцарилось в Дамаске и во всей Сирии, любимой провинции халифа.

Слыханное ли дело: купцам служит не верблюд, а какие-то деревянные корыта, на крыльях ветра бегущие по морям, правоверные миролюбиво живут почему-то бок о бок с христианами, а сам халиф Иезид...

«Мы видели человека, который живет в роскошном дворце, бренчит на цитре и проводит ночи в беспутных тратах». Так отозвались посланцы Мекки о халифе Иезиде, увлеченном не только торговлей и делами, но также и музыкой, искусством тан-

ца, архитектурой, произведениями художников и поэтов, такими произведениями, содержание которых приводило в содрогание мекканских старцев.

И Мекка ответила на рассказ послов мрачной церемонией: вереница почтенных старцев степенно двигалась к главной площади. Дойдя до нее, каждый из них по очереди снимал с ноги туфлю и, гневно швырнув ее в кучу, торжественно произносил: «Так же, как я бросаю прочь эту туфлю, я отвергаю тебя от ислама, халиф Иезид!»

И хотя здоровью халифа ничуть не повредило то обстоятельство, что он был заочно расстрелян туфлями в старой Мекке, весть об этом вызвала с его стороны лишь приступ начальственного гнева. В один далеко не прекрасный для Мекки день туда прибыли не благочестивые паломники, а сотни всадников, учинивших там жестокое избиение старцев, которых халиф таким путем учил послушанию и почтению к власти. Было это в 683 году.

Дамасский халифат был таким же деспотическим феодальным государством, как и тогдашние государства Европы. Ислам так же надежно служил властям и знати халифата, как христианская религия королям и сеньорам Запада.

Не прошло и ста лет от начала завоеваний, как халиф Абд-эль-Мелик (685—705) был вынужден распространить земельную подать и на мусульман.

Это пришлось сделать по той простой причине, что уже на рубеже VII и VIII веков сотни тысяч арабов стали такими же крестьянами или землевладельцами, как и коренные жители страны.

Таким образом, мы убеждаемся в том, что жизнь вдребезги разбила самонадеянную уверенность халифов-завоевателей, будто они сумеют навсегда сохранить пропасть между кочевниками-арабами и покоренными земледельческими народами.

Поселившись среди населения более передовых земледельческих стран, победители неизбежно перенимали занятия, образ жизни и культуру побежденных. Шаг за шагом они утрачивали прежние отличительные черты кочевников, а с ними и обветшавшие представления замкнутого родового быта.

КАК ЖИЛИ И БОРОЛИСЬ ЗА СВОИ ПРАВА ФРАНКСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ IX ВЕКА

За окном слышался надоедливый шум. Протарахтел мотоцикл, где-то невдалеке раздавались автомобильные гудки, а потом кто-то завел проигрыватель, и полилась бесконечная и нудная песня. Работать нельзя было никак, все отвлекало и раздражало. Ученый подошел к раскрытому окну и, плотно захлопнув его, задернул штору. В комнате наступил полумрак, но зато сразу стало тихо. Теперь можно и читать дальше.

Такой интересной рукописи ученый давно уже не держал в руках. Этому списку было не меньше восьмисот лет, а неизвестный подлинник, с которого переписывали текст, вероятно, был еще лет на двести старше. Слова поддавались расшифровке не сразу. Многие из них были сокращены, и вместо семи или девяти букв стояло всего две, а над ними красовалась затейливая завитушка либо черточка с кружочком, обозначавшая все остальное. К тому же автор текста явно плохо знал латинский язык, на котором он писал. Ученый нашел уже три ошибки в падежах, хотя успел разобрать пока всего две страницы. Важно было расположить по порядку все встречавшиеся сокращения, чтобы получше запомнить их.

На отдельном листке бумаги историк выписал столбиком условные значки, которые попадались в тексте, а справа от них поместил расшифровку. Теперь дело пошло быстрее. Бумажный листок рядом со старинной рукописью выглядел странно: тонкий, легкий, белый, он удивительно не гармонировал с толстыми и тяжелыми желтоватыми страницами рукописи, сделанными из тщательно отдубленной телячьей кожи и переплетенными в папку из бычьей кожи. Эту папку прошили серебряными нитками, а на сгибах скрепили бронзовыми пластинками и угольниками. Весила рукописная книга не меньше пуда, а пахла она плесенью.

Снова и снова ученый вчитывался в уже разобранный текст. Автором его был, конечно, монах. Ведь в то время одни монахи знали грамоту настолько, чтобы написать целую книгу. Да и фразы выдавали их составителя: часто встречались выдержки из молитв и упоминался бог. Но, если не считать этого, монаху все же следовало отдать должное: отвлекался он в сторону немного и вел речь в основном о деле. Дело же было чрезвычайно интересным.

Летописец, кости которого давно истлели и превратились в прах, сумел донести до нас через тысячелетие взволнованное дыхание своего времени. Так правдиво вел он затейливую нить живого рассказа, что перед ученым как бы лицом к лицу вставали франкские крестьяне: и несчастливый Гаутзельм, и весельчак Адалольд, и отчаянный Гарингавд, и покорный Эббон, и гордый Нитад. А порой ему мнилось, что стены комнаты раздвигаются, вдали показывается кавалькада мчащихся рысью рыцарей и он слышит возгласы «гу-гу-гу!», с которыми мужики лупят косами по ногам рыцарских коней.

* * *

Гаутзельм тряхнул головой, отполз от солнечных лучей подальше в лесную тень и попытался еще раз вспомнить, с чего все началось. В тот день с самого утра дела шли не как надо. Ведь они давно сговорились с Геирлиндой, что станут мужем и женой. Гаутзельм уже присмотрел холм, у подножия которого он построит хижину. На этом холме с пологим скатом, смотревшим в сторону солнца, славный вырастет виноград. Наверху они поставят бункер и в нем будут хранить бочонки с вином, а от дома к ручью перекопают землю под огород. Сторож, что спит в будке у монастырских ворот, обещал ему дать огородных семян, и у них будет свой горох и своя репа. В дупле старого дуба, растущего у оврага, Гаутзельм давно уже припрятал обернутые в тряпку отцовский заступ, мотыгу и медное блюдо, которое он стащил у проезжего купца на прошлогодней ярмарке возле монастырских стен. Меж корней того же дуба он закопал другую тряпочку с целыми шестью серебряными монетами. Гаутзельм собирал эти деньги всю свою жизнь, зато теперь им хватит и на кур и на поросят, а может быть, еще и на корову...

Но все его мечты развеялись, как утренний дымок над монастырской кухней. Отец Геирлинды должен был внести аббатисе ко дню святого Илария свой оброк: пять куриц, пятнадцать яиц, мешок полбы — и заплатить две медные монеты, а еще отвезти урожай с виноградника, что возле старой часовни в лесу, на монастырский двор, а кроме того, приготовить четыре колеса и двадцать жердей.

Увы, его семье не повезло. Хорь утащил всех кур, какие были в доме Геирлинды. За колеса, что сделал ее отец, ему дали в соседнем селении только шесть медных монет. Но всего хуже было то, что на обратном пути попался ему проклятый детина, который служит оруженосцем у господина тамошнего селения, доблестного рыцаря Альбрика, чтоб им обоим сломать себе ноги!

Этот парень отнял у старика все деньги, а за то, что Геирлинда убежала от него как-то в лес и даже не захотела с ним разговаривать, вдобавок прибил старика и пообещал поступить с его



Крестьянский труд.

дочкой худо, как только она повстречается. Затем сдох осел, и не на чем было везти виноград.

А когда старик принес аббатисе полбу, колеса и жерди, святая мать взамен недостающей части оброка потребовала двенадцать медных монет. А откуда их взять? Аббатиса пригрозила, что припишет их надел к монастырским землям. В этом случае вся их семья уже никуда не посмеет уйти отсюда, если жить здесь станет невмоготу.

Разве мужик может расстаться с землей? Что же ему делать на этом свете без землицы? Может быть, нарядиться знатным рыцарем? От этой мысли Гаутзельму невольно стало смешно, но веселье сразу соскочило с него, когда он вспомнил, что случилось дальше.

Чтобы удержать надел, старику пришлось проститься с дочерью. Горько плакала ее мать, угрюмо глядели братья, отец ушел в поле, чтобы не видеть горя семьи, а Гаутзельм — так прямо места себе не находил! Бедную девушку привели на монастырский двор. В волосы ее вплели черную ленту, конец ленты обернули вокруг пояса. Потом имя Геирлинды занесли в грамоту и прочитали собравшимся, что девушка «посвятила себя господу». Три раза ударил колокол, и все кончилось. Невеста Гаутзельма навеки пропала для него.

Рядом послышался шорох. Перед Гаутзельмом стояли три парня, одетые по-крестьянски. Одного из них он знал. Это был Эббон, каждый день без конца таскавший воду к монастырским воротам. Тихий и безропотный, он ни от чего не отказывался, так что однажды аббатиса, эта толстая гусыня, сказала, что Эббон после смерти сразу попадет в райские рощи. Гаутзельм тогда подумал, что ему неплохо бродить по рощам и на этом свете, а уж таскать воду больше того, что записано в монастырском документе, он бы не стал. Хотя, если говорить правду, кто разберет, что там нацарапано? Во всей округе не найдешь другой такой грамотной души, как аббатиса. Что она хочет, то и вычитывает со своих кожаных лоскутков.

Зная Эббона, Гаутзельм не испугался незнакомцев, как видно, друживших с Эббоном. Вскоре парни разговорились. Занятные это оказались ребята. Один из них, весельчак Адалольд, молол языком без устали. Где он только не побывал? Казалось, весь свет обошел. Другой, Гарингавд, глядел хмуро и всякий раз лишь стискивал зубы да дергал из земли траву, когда его товарищ рассказывал, как некий рыцарь, исхлестав его плеткой, заставил его же для своей потехи облизать языком каменный крест на развилке дорог или как граф из соседнего герцогства подвешивал за ноги крестьян, которые не вовремя приносили оброк.

Но зато Гаутзельм не смог удержаться от хохота, когда Адалольд стал показывать, как выступали на ярмарке бродячие жонглеры.

Пришел черед и Гаутзельма поведать о себе. На вопросы Эббона, что же он думает делать дальше, Гаутзельм только качал головой. Старая хижина у него сгорела. Геирлинда отдана навсегда в монастырь, а жениться на другой девушке он не стремился: в их деревне оставались незамужем одни крепостные, а он был свободным франком и не хотел, чтобы его дети потеряли свободу.

Уйти куда-нибудь? А куда? И зачем? Землю ни один сеньор не даст даром. Получишь надел, а потом всю жизнь плати за него оброк или работай на барщине: паши господское поле, руби дрова в лесу, коси луг, да на новом месте запрягут тебя еще сильнее, чем на старом.

Можно отправиться на королевские земли... Да только и там повинности тяжелые: дважды в год являйся на воинские сборы, а за оружие, что дадут тебе из казны, отрабатывай! Да дороги надо чинить, да реки очищать, да мосты и крепости строить, да лес охранять, да мало ли чего потребует королевский приказчик! А не выполнишь, продадут тебя в крепостные, и прощай, свобода!

Парни долго молчали. Каждый думал, верно, о своей судьбе, о нескладной крестьянской доле. Потом молчаливый Гарингавд, еле разжимая рот и цедя слова, стал тихо рассказывать о случае в деревне, откуда он и Адалольд были родом. Два года на-

зад, в сильную грозу, когда молния зажгла барскую усадьбу, обгорели и покорежились все кожаные грамоты, да так, что приказчик не смог потом ничего на них разобрать. А был он назначен на свое место недавно, жителей деревни еще не знал, и мужики сказали ему, что все они—свободные франки и что нет на них повинностей.

Но год назад приехал на барское пепелище их сеньор, долго живший в другом своем поместье, где-то на другом конце герцогства. Когда он узнал, что вот уже два лета никто не работает на барщине и не платит оброков, то пришел в ярость и назначил господский суд.



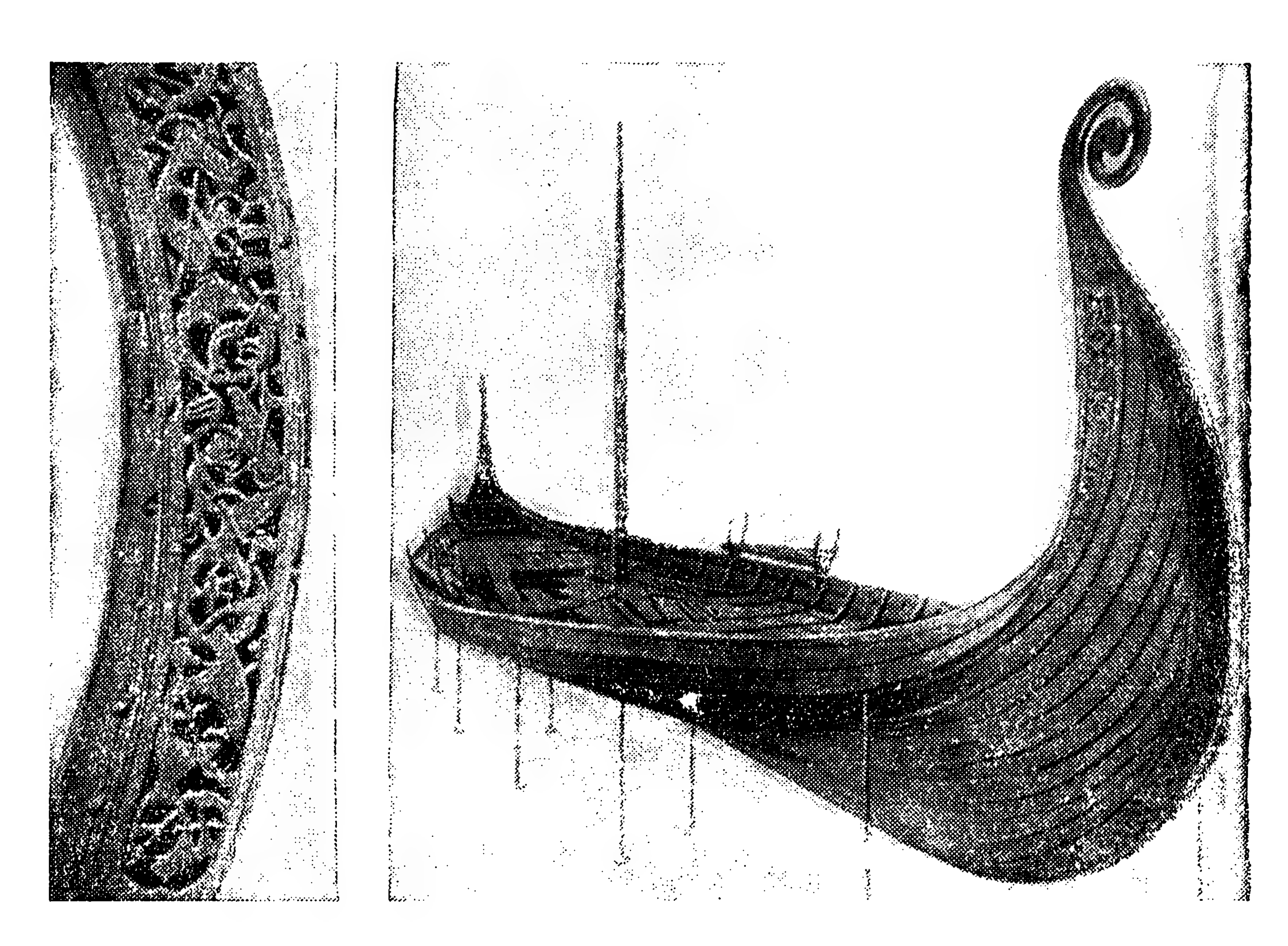
Жнец.

Сначала судебные заседатели ничего не могли доказать. Все крестьяне, как один, говорили, что они от рождения свободные. Но потом приказчик пообещал нескольким мужикам дать им документ, где будет сказано, что они навсегда освобождаются от всяких податей и поборов. Семь человек не выдержали и продали своих соседей: поклялись, положив руку на святую книгу, что их соседи — внуки и внучки людей, купленных отцом нынешнего сеньора за господские деньги. После этого почти все подчинились и опять стали работать на сеньора.

Только Гарингавд и Адалольд не захотели и убежали. Вот уже год, как они бродят по стране. Где — нанимаются на работу в церкви, где — помогают пахарям на их наделах, а три месяца жили на ярмарке, грузили и перетаскивали купеческие кули.

Общая невеселая доля сблизила парней. В тот же день они сговорились жить вместе в лесу, промышлять охотой или чем удастся, а хлеб и овощи выменивать в деревнях. Даже робкий Эббон не отстал от компании. У Гаутзельма камень упал с души, Гарингавд раздвинул насупленные брови, Адалольд же вертелся вьюном.

Весело шли они берегом, вниз по течению реки, как вдруг за излучиной послышался скрип уключин. Беглецы едва успели залезть в кусты, как мимо них заскользила большая лодка, весел на двадцать с каждой стороны. Ее нос резко вздымался кверху, на конце блестела металлическая шишка, а парус был приспущен и приторочен к невысокой мачте посреди лодки. На носу стоял седовласый воин в тяжелых доспехах и шарил глазами по обоим берегам. Другой такой же сидел на корме за рулем. Гребцы же разделись (наверное, подумал Гаутзельм, чтобы легче было работать веслами), так что над высокими краями лодки видны были только их косматые рыжие головы да обнаженные плечи,



Парусная ладья норманнов.

мелькавшие меж щитов, уставленных в сплошной ряд вдоль бортов.

«Северные люди», — прошептал Адалольд. О, Гаутзельм хорошо знал, кто это! Он был еще мальчиком, когда норманны, то есть «северные люди», впервые появились в их округе. Запылали хижины; повсюду раздавалось мычание коров, сгоняемых к лодкам, да плач девушек, которых уносили рыжеволосые воины. Жители сбежались в монастырь, под защиту его стен. Ограбив всю округу, пришельцы исчезли так же внезапно, как и появились. С тех пор не раз то там, то тут рождались слухи об их новых нападениях. А теперь они вернулись опять сюда. И Гаутзельм уже не жалел, что бросил свою деревню. Все равно от нее не останется ни кола ни двора!

Еще трижды в этот день пришлось парням залезать в кусты, скрываясь от тех, кто плыл на поднимавшихся вверх по реке высокогрудых лодках. Наверное, немалый отряд воинов несли они на себе. Гарингавд жадно смотрел на длинные светло-серые мечи, которыми их владельцы рубили ветви для костров, на изукрашенные щиты и короткие толстые копья. «Вот нам бы такие», — бормотал он.

Вскоре до ушей скитальцев донесся бессвязный колокольный звон. Видно, «северные люди» уже добрались до монастыря. За-

тем небо окрасилось в багрянец, и Гаутзельм готов был поклясться, что он чувствует запах пожарища. Несколько дней он и его товарищи бродили в самой гуще леса. А когда однажды пошедший по воду Эббон прибежал со словами, что мимо него вниз по течению промчались нагруженные добычей все четыре лодки «северных людей» и что в одной из них он видел связанную Геирлинду, парни не сговариваясь повернули назад.

Что же они увидели? Всюду царило запустение: вместо домов — обгорелые пеньки; по поваленным монастырским стенам в растерянности бродило несколько уцелевших монахинь; одинокие крестьяне ковырялись среди золы; нигде не было слышно ни кудахтанья кур, ни мычанья коров; то там, то тут встречались трупы людей. С болью смотрел Гаутзельм на места, где он вырос. Теперь порвалось то последнее, что еще привязывало его к этой округе.

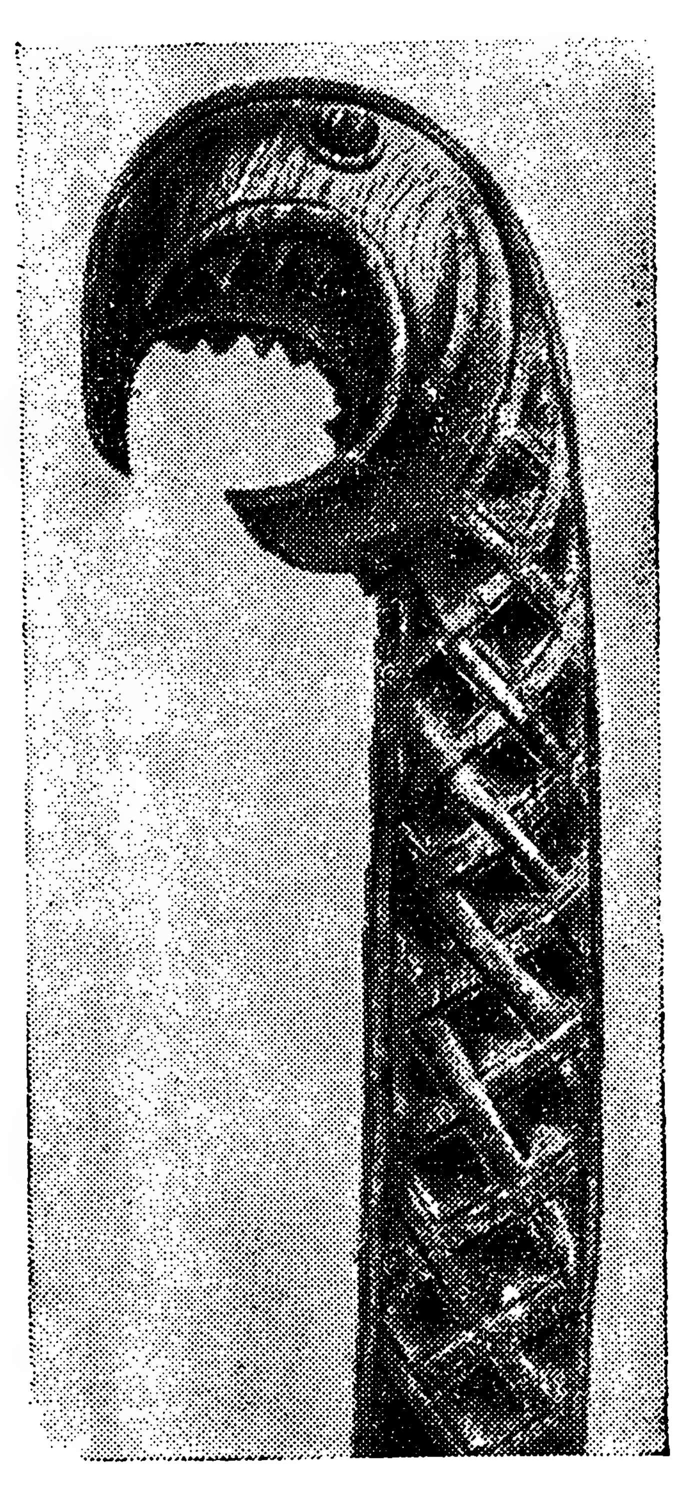
Все лето и всю осень прожили беглецы в лесу. Иногда они ходили за полбой и репой в расположенное неподалеку королевское поместье и успели за это время познакомиться с его обитателями. Тамошним мужикам жилось несладко.

Но особенно досаждал им адвокат — так прозывался королевский чиновник. Чванный и грубый, он даже по отношению к приказчику поместья держался очень надменно, свысока отдавал распоряжения и задирал голову так, будто он был королем. Слуг из барской усадьбы он заставлял прислуживать себе самым раболепным образом. На крестьян же он будто и не смотрел, равнодушно скользя взглядом по их склонившимся спинам. А если кто-нибудь из них осмеливался встретиться с ним глазами как равный с равным, его лицо гневно вспыхивало и он, страшно ругаясь, повелевал бить провинившегося бичами.

Гаутзельм несколько раз видел издали, как хлестали крепостных, привязанных за руки к дереву. Покрытые кровавыми рубцами и плача от стыда и ненависти, люди уходили, бормоча себе под нос угрозы.

Но однажды адвокату повстречался на дороге франк, седовласый воин, не раз ходивший в походы на саксов и бретонцев. Когда телега с имуществом адвоката обдала франка грязью, он догнал ее и, схватив за колесо, опрокинул в канаву. Взбешенный адвокат, восседавший на огромном жеребце, пустил лошадь вскачь на старика, но тот хладнокровно всадил ей стрелу прямо в грудь и с секирой в руке бросился на обидчика. Слуги успели заслонить адвоката; тем не менее с того времени он всегда ездил с большой охраной.

Этого франка звали Нитад. Ему тоже пришлось бежать в лес. Там он и встретился с Гаутзельмом, а затем примкнул к его товарищам. Гаутзельм с восхищением смотрел на Нитада, всегда уверенного в себе и спокойного. Среди бела дня наведывался тот в поместье за припасами. Все крестьяне первыми говорили ему:



Резное изображение головы дракона на носу корабля норманнов.

«Слава богу!», а приказчик делал вид, что не замечает его. Если же приезжал адвокат или его люди, приказчик потихоньку извещал Нитада, и франк не спеша уходил.

Как-то раз с Нитадом повстречался оруженосец рыцаря Альбрика, тот самый, что обидел отца Геирлинды. Нитад в это время тащил в чащу подбитую им лань. Не зная, с кем имеет дело, наглый обидчик попытался отнять добычу, но был намертво сражен первым же ударом. В лесу Нитад тоже вел себя независимо и даже повелительно. Охотнее всего он разговаривал с Гаутзельмом, тоже свободным франком. На двух колонов — франка Гарингавда и галла Адалольда — он обращал меньше внимания, а крепостным галлом Эббоном помыкал. Эббон покорно сносил это, однако Гарингавд все время ворчал, тем более, что он утратил теперь в компании положение вожака, и исподтишка злобно поглядывал на Нитада.

В ночь под блаженную Олимпию, когда ударили первые заморозки и лесные скитальцы грелись на опушке возле костра, Адалольд, все время поворачивавшийся в сторону деревни, откуда пахло кислыми лепешками, вдруг перестал трепать языком и резко обернулся лицом к дороге. Другие тоже замолчали. Вскоре послышался отдаленный шум, а затем вдали замелькали неясные блики. В поместье как будто бы что-то горело. Когда возбужденный Гаутзельм с товарищами подбежали к деревне, исчезли последние сомнения. Над барской усадьбой мелькали огненными перьями языки пламени, а меж домами носились люди, налетавшие друг на друга. Неподалеку несколько мужиков размахивали косами, силясь подрезать жилы на ногах у лошадей. Сидевшие на них всадники пытались дотянуться до косарей мечами, но крестьяне отскакивали. Одного из всадников Гаутзельм узнал сразу — это был адвокат, то и дело поднимавший своего жеребца на дыбы, чтобы увернуться от свистящих кос. Гаутзельм только еще дергал кол из плетня, как мимо него пронесся Нитад. Старик с удивительной для своих лет ловкостью подпрыгнул, схватил вороного жеребца за узду, а другой рукой сдернул адвоката на землю. Пока Гаутзельм подбегал, все уже было кончено.

Увидев, что их хозяин пал мертвым, люди адвоката прекратили сопротивление. Мужики отпустили их восвояси, а труп ненавистного королевского прислужника бросили в реку. Два дня полыхала барская усадьба, и целый месяц крестьяне веселились и торжествовали. Но потом стало худо. Прибыл отряд королевских войск. Как рассказывали, король повелел графу расправиться с восставшими. Тот созвал своих вассалов, и вскоре к королевскому отряду примкнуло несколько десятков рыцарей. Многие из них привели с собой еще своих вассалов, так что можно было оглохнуть от непрерывного завывания боевых рожков.

Нечего было и думать о сопротивлении: на каждого крестьянина приходилось по два опытных воина. Мужики послали Адалольда в соседнюю деревню за подмогой, но его унюхали собаки оруженосцев, гонявшие по полю зайцев, и загнали на холм, где стояла церковь. Адалольд хотел спастись от гибели за оградой святого дома, однако несколько рыцарских слуг, не переступая заветной линии, дальше которой нельзя было пускать в ход оружие, заарканили беглеца. Адалольд отчаянно орудовал ножом и успел пару ремней перерезать. Все же его вытащили наружу и затем растерзали на части.

Вторым погиб бедняга Эббон. Когда его товарищи, засев за плетнем, отбивались от рыцарей, молодой галл, сидя сзади, строгал палки, насаживал на них выкованные сельским кузнецом наконечники и подавал стрелы Нитаду. Этот же, ловко управляясь с луком, не подпускал рыцарей близко к плетню. Увлеченный тем, что творилось впереди, Эббон позабыл, что нужно посматривать и назад. Между тем один из оруженосцев подполз близко и с силой метнул шагов с двадцати секиру. Без единого звука юноша рухнул на землю, и Гаутзельм едва успел произнести над своим бывшим другом: «Да будет тебе земля пухом!», — как всем им пришлось бежать.

Там и тут виднелись фигуры мчавшихся по полю крестьян. Королевские люди настигали их и рубили. Гаутзельм с разбега прыгнул в реку, выбрался на другой берег и пополз в камышовые заросли. Вокруг свистели стрелы, а сзади доносились крики и стоны. Когда он добрался до леса, рядом с ним не было ни Нитада, ни Гарингавда. Уже много позже он узнал, что угрюмого колона, яростно отбивавшегося до последней возможности, скрутили ремнями да так и задушили в них. Следы же старого франка утерялись.

Гаутзельм брел по глухой тропинке, часто озираясь, останавливаясь и вслушиваясь. Его глаза блуждали, губы подергивались, ноги были сбиты в кровь, и он шатался от усталости, хватаясь за ветви деревьев. За истекшие сутки он еще ни разу не присел, стремясь подальше уйти от места сражения. Наконец, обессилев, он опустился на траву и почти сразу заснул. А когда проснулся, то вздрогнул от испуга и неожиданности: рядом с ним сидел какой-то человек и выстругивал себе деревянный по-

сох. Одет он был, как франкский крестьянин: в короткую куртку-безрукавку, из-под которой выглядывала льняная рубаха, и в узкие штаны, поддерживаемые кожаным ремнем, переброшенным через одно плечо. Правая косичка и правый ус свободно ниспадали у него вниз, концы же левых были сплетены вместе, образуя полукруг.

Приветливо улыбнувшись и тем сняв с Гаутзельма испуг, незнакомец стал участливо расспрашивать его. Гаутзельм и сам не заметил, как постепенно поведал обо всей своей жизни. Покачивая головой, незнакомец пробормотал: «Всюду одно и то же. Только в одной Астании по-другому». — В Астании? — удивился Гаутзельм. — Как это по-другому? И что это за Астания? — И тогда незнакомец начал рассказывать.

«Я слышал это, — говорил он, — от своего отца, а отцу моему довелось услышать от человека, побывавшего в Астании. Находится Астания в той стороне, где восходит солнце, а дороги до нее — двести дней пути. Там всегда тепло и не бывает ни жары, ни холода. Утром там ясно, а ввечеру через пять ночей на шестую идут дожди. Травы там — до пояса, полба — выше плеч, а репа размером с голову. В лесах там олени попадаются на каждом шагу, а когда взлетает дичь, то не видно неба. Есть там большой храм, только он без крепостных стен: некому там нападать и ни от кого не надо защищаться. А вокруг храма много домов, и живут в них веселые люди. Они занимаются ремеслом и выменивают то, что изготовляют, на хлеб у пахарей. Пахари же расселились по всей стране, да только Астания такая большая, что от села до села идти надо пять дней, и земли там незанятой сколько хочешь. И нет там сеньоров, а каждый сам себе сеньор. И не платят там оброков, и не работают на барщине. А раз в год собираются люди со всей страны к храму со своими припасами и устраивают общий праздник. А попы там избираются: каждое село само выбирает себе попа, потом попы выбирают в храм епископа, и меняется он каждый год. Монахов же нет вовсе.

Но нет в эту страну пути тому, кто зол и бесчестен: как подходит такой человек к Астании, гремит гром, и падает тот замертво. А мужикам туда прямая дорога».

Гаутзельму казалось, что он спит и видит небывалый сон. Раскрыв рот, он жадно ловил каждое слово незнакомца. Когда же тот кончил, робко спросил: «А ты пойдешь в Астанию? И не возьмешь ли туда и меня?»

«Вдвоем нам нельзя идти, — ответил незнакомец. — Нужно пройти через столько королевств, сколько у тебя пальцев на одной руке, и через столько герцогств, сколько у тебя пальцев на руках и ногах, и через владения еще стольких сеньоров, сколько у тебя волос на голове. А вот если собраться всем мужикам вместе, покинуть своих сеньоров и двинуться на восход, то мы дойдем до Астании и навсегда останемся в ней».

Через два дня отдохнувший Гаутзельм бодро шагал вместе со своим новым знакомым по проселочной дороге. Уже смеркалось, когда они пришли в селение, раскинувшееся у стен замка. Обязавшись чинить дом и хлев и платить два обола, они сняли за эту цену сарай во дворе у одинокой крестьянки, прорубили окна, притащили на пол из леса листьев, сверху настлали соломы и славно устроились.

А еще через неделю новый знакомый, оказавшийся искусным седельщиком, стал учить Гаутзельма делать седла. Порой половина селения собиралась смотреть, как ловко они мастерят. Владелец замка не возражал против пришельцев. Он взял с них одно седло как плату за поселение на его земле и не мешал им выменивать другие седла на продукты. Вскоре местные мужики узнали ближе пришельцев и стали навещать их. Товарищ Гаутзельма учил его, как нужно говорить, а когда все сходились, обычно молчал. Гаутзельм же поначалу робел, но потом привык и даже вошел во вкус. Его захватывал собственный рассказ, и когда он описывал жизнь в Астании, ему казалось, что он и взаправду бывал там и все повидал собственными глазами. Крестьяне верили Гаутзельму. Его речь была проста, а слова шли от сердца.

Так прошла зима. Теперь уже все селение готово было идти за землей и счастьем в неведомую Астанию. Порешили, что двинутся в путь после блаженной Феодосии, когда потеплеет, а до осени останется двести дней, чтобы прийти как раз к концу урожая. «Вдруг в прошлом году был там недород? — рассуждали крестьяне.— Тогда поспеем как раз к новому хлебу». И никто больше в селении не точил кос и серпов, не перебирал семян, не готовился в этом году к полевым работам. Все с надеждой ожидали весны, чтобы тронуться в дорогу.

Необычное поведение крестьян не укрылось от феодала. Он не раз подсылал слуг выведать, в чем дело. Но те не сумели проникнуть в мужицкую тайну. Тогда за это взялся замковый священник. Грозя небесной карой, он выспросил на исповеди у крестьянок то, что лежало у них на сердце, и немедленно донес сеньору. Через несколько часов Гаутзельм с товарищем валялись, связанные, в подземелье замка, а жителей селения сгоняли на площадь перед церковным входом. Затем выволокли провинившихся и на глазах у всех стали жестоко пытать. Слуги феодала прижигали тело несчастных раскаленным железом; священник домогался, когда Гаутзельм с другом продали свою душу дьяволу, а монах в серой рясе готов был записывать сказанное. Но записывать ему было нечего. Оба товарища не проронили ни слова. Гаутзельм сначала стонал, а потом, беря пример с седельщика, вообще замолчал.

Громко рыдали крестьянки, сумрачно глядели в землю их мужья и братья, испуганно жались к матерям ребятишки, а над селением беспрестанно разносился звон церковного колокола.

Вечером бесчувственных мучеников отнесли на замковый двор. Не приходя в сознание, седельщик скончался. Гаутзельм же, более молодой и выносливый, жил до рассвета. Всю ночь возле него сидел монах в серой рясе, читал молитвы и исповедал умирающего, а слова его записывал на древесное лыко.

Когда же угрюмые крестьяне зарыли в землю два трупа, монах произнес последнюю молитву и заторопился в дорогу. Уже кончалась зима, а он еще не закончил столбцы своей летописи за прошлый год. Теперь монах хотел расширить старую запись и добавить к ней то, что он услышал от Гаутзельма. Нельзя было терять времени. Еще до начала весенних работ он должен все закончить и отдать аббату на проверку, чтобы затем четыре монастырских послушника могли засесть за переписку сочинения и изготовление списков для соседских монастырей.

* * *

Лампочка замигала и потухла. Наверное, перегорела нить. Однако ученому не хотелось двигаться. Сидя в темноте, он тихо поглаживал металлические углы еле различимой книги. Рукопись была разобрана до конца. За окном стих шум, но историку мнилось, что он слышит колокольный звон. Несутся отрывистые звуки, наполняют собой воздух, переливаются и замирают, а им вторят снизу стоны истерзанного Гаутзельма.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДЕРЕВНЯ И ЗАМОК
Путешествие маленького Франсуа

Ранним утром в начале августа по тропинке, плотно примятой босыми ногами крепостных крестьян, деловито шагает вслед за своим дедом восьмилетний Франсуа.

Дед, высокий крепкий старик в домотканой холщовой рубахе, идет в кузницу. На плече у деда два серпа: скоро жатва, и серпы надо отточить. А их деревенский кузнец, дядюшка Мишель, уже третий день не может подняться с лавки, так здорово его стукнул сеньор граф. Дядюшка Мишель был занят работой и не заметил, как граф подъехал к кузнице, и поэтому не успел вовремя и с должным почтением приветствовать своего господина.

Вот и пришлось дедушке идти в кузницу, что у переправы. А путь неблизкий, более четырех верст в один конец. Франсуа же упросил деда взять его с собой. Уж очень ему хотелось посмотреть замок, где живет их сеньор — господин граф де Крюэль.

Франсуа знал, что все они: и дед, и отец, и мать, и сестра Жанетта, и сам Франсуа, и вообще все жители их деревни — крепостные сеньора графа.

А что это значит?.. Священник толковал им, что господин — отец своих крепостных, их заступник перед богом. Именно поэтому они должны любить и почитать своего господина. При встрече перед ним нужно низко склоняться. Смертный грех — ослушаться сеньора или, упаси бог, ему перечить. Все это мать не раз повторяла ему и сестренке. Но почему-то после подобных наставлений у Франсуа становилось тяжело на душе.

Вот и теперь, шагая вслед за дедом, Франсуа вспоминал случай с дядюшкой Мишелем, и перед ним невольно вставал вопрос: разве настоящий отец стал бы избивать своего сына так жестоко, как это сделал сеньор граф? Можно ли вообще бить взрослых сыновей? Едва возник этот вопрос, Франсуа тут же подумал: «Да ведь дядюшка Мишель к тому же гораздо старше сеньора графа!»

Озадаченный нахлынувшими мыслями, недоумевающий, он потянул деда за рукав и срывающимся от волнения голосом спросил его:

— Дедушка, а что, все-таки, означает слово «крепостные»?..

Дед недовольно сдвинул брови. Он явно желал уклониться от ответа, но устремленные на него глаза внука выражали такую тревожную напряженность и настойчивую просьбу, что дед сдался.

— Как бы тебе сказать,— начал он со вздохом, — крепостной человек — это крестьянин, который потерял свободу и прикреплен к господской земле. Крепостной — такая же собственность господина, как и та земля, которую крестьянин не смеет покинуть... Желая отвлечь мальчика от тяжких мыслей, дед вскинул голову, поглядел на небо и промолвил спокойно и задумчиво:

— Дни-то какие погожие, и на небе сегодня ни облачка; какую благодать господь бог посылает! Рожь на нашем поле уже поспевает, послезавтра надо бы начать жать, а то осыплется зерно и быть нам голодными, — печально закончил дед и понуро опустил голову.

— Так мы не будем ждать!.. — воскликнул внук.

— Ах, Франсуа, ты у нас какой-то чудной, как не от мира сего. Ну, разве на это моя воля! Ты что, забыл, что твои отец и мать с зари до зари маются на барщине, что для сеньора графа законы неписаны, что он делает все, что захочет.

Нет, Франсуа вовсе не забыл, что сейчас его родители, как и все жители их деревни, убирают господский хлеб. Женщины жнут пшеницу, а мужчины и подростки возят на гумно сжатую рожь.

Чтобы крестьяне, работая на барском поле, не ленились, за ними внимательно следил управляющий либо его помощники. На собственных полосках крестьян обычно колосились рожь да овес, а редкая в ту пору пшеница золотилась только на господской земле. Пшеничный хлеб и пшеничная похлебка считались лакомством. Поэтому крестьяне, несмотря на строгий надзор, ухитрялись прихватить горсть пшеничных зерен для своей детворы.

— Раньше жить было легче, — продолжал дед. — Раньше мы на своего господина работали три дня в неделю. А теперь гнем спину на барщине пять дней, для себя же остается только два дня вместе с воскресеньем.

А вчера сеньор граф, увидав, что за пять дней на его поле не управятся (хлеба-то нынче густые), объявил, что не отпустит крестьян убирать свой хлеб до тех пор, пока не выжнут господский. Вот тебе и два дня! А жаловаться некуда...

— У кого искать защиты и справедливости?!

— Как у кого, — удивился Франсуа, — а у короля?

Он наслушался рассказов и легенд о мудром и справедливом короле Карле, защитнике бедных и угнетенных, и не мог согласиться с дедом.

Народ, угнетенный феодалами, веками мечтал о справедливом правителе, сурово карающем жестоких хищников и мудро оберегающем права народа. Именно поэтому народная фантазия превратила подлинного Карла Великого, жившего на рубеже VIII и IX веков, в героя народной легенды.

— У короля? — повторил дед с горькой усмешкой. — Так до него и за две недели не дойдешь. Да если и дойдешь, то что толку?! Там с бедным крестьянином не только разговаривать никто не

станет, но даже и к дворцу-то близко не подпустят. В лучшем случае королевская стража надает ему тумаков, а то и схватить могут да в темницу бросить, так там и умрешь. А сеньор граф, узнав о таком дерзком строптивце, уничтожил бы всю его семью и всех родственников. Вот и был бы конец делу!

Чтобы не дать зерну осыпаться, как-то убрать свой хлеб и не умирать зимой с голоду, вчера вечером домой с барщины никто не приходил. Все ночевали в поле, чтобы не тратить время и силы на дорогу.

И сегодня утром, когда Франсуа и дед отправились в кузницу, десятилетняя Жанетта побежала в поле к родителям отнести им поесть: несколько лепешек, которые испек дедушка, и глиняный кувшин сидра.

Наши путники вошли в лес. Как здесь хорошо! Какой чистый и свежий воздух! А сколько огромных, ветвистых дубов — и не сосчитать! А красавицы сосны! Прямые, как свечи, и такие высокие, что кажется, будто они своими вершинами касаются голубого неба. Легкий ветерок едва перебирает листья на деревьях...

— Давай посидим, — просит Франсуа. Он надеется увидать лесных фей и добрых гномов, про которых длинными зимними вечерами, сидя за прялкой, рассказывала мать. А дедушка уверял тогда, что видел их своими глазами.

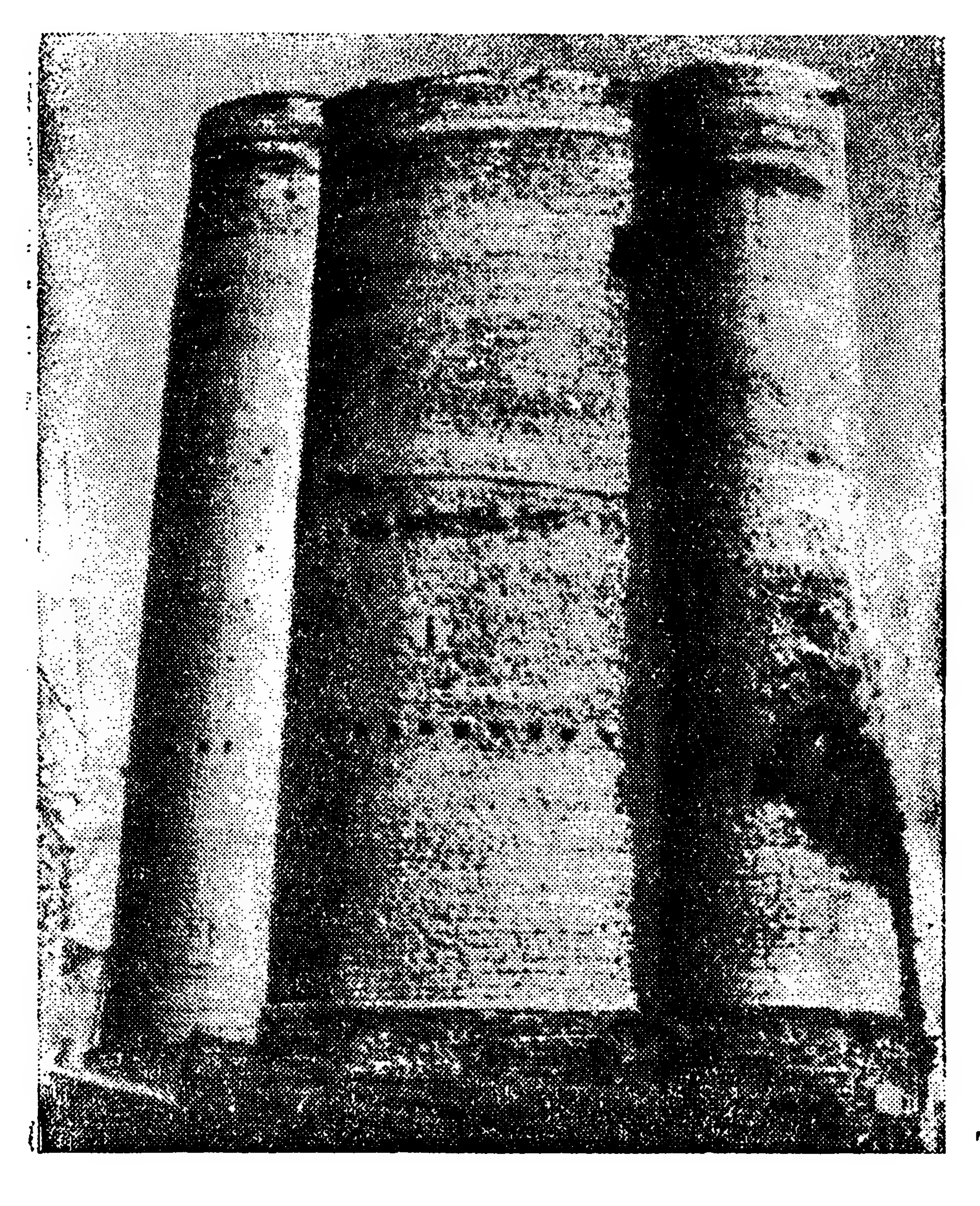
В те времена, когда дед был таким же маленьким мальчиком, как Франсуа, этот лес принадлежал всей деревенской общине. И летом деревенские ребятишки целыми днями собирали в общинном лесу ягоды, грибы и орехи. И охотились в этом лесу все, кто хотел.

Вдруг из-за кустов, треща сучьями, показался огромный красавец лось. От неожиданности Франсуа только открыл рот. Лось же не почуял людей: ветер дул с его стороны. Он спокойно пересек поляну и с царственной невозмутимостью скрылся в чаще.

— Видал? — сказал дед. — А вон в той стороне, недалеко отсюда есть лесное озеро. Рыбы там видимо-невидимо, а диких лебедей, гусей и уток столько, что хоть голыми руками лови! Но с тех пор, как сеньор граф объявил лес своей собственностью и отнял его у нашей общины, нам, крестьянам, охотиться в лесу строго запрещено.

Помню, лет пятнадцать назад, выдался неурожайный год. У соседа Жака детей полна изба — все есть просят, он пошел к этому озеру, да и поймал несколько рыбин; уже домой возвращался, а навстречу ему графский лесничий... Схватил беднягу, да в замок. Суд был короткий. Сеньор граф приказал отрубить обе руки. Через сутки несчастный умер.

После такого страшного рассказа Франсуа почувствовал себя огорченным и подавленным. Он встал, лес разом потерял для него все свое очарование.



Тройной донжон XI века.

Ему припомнилось, как зимой приходит отец из леса, весь мокрый и настолько измученный, что даже не может есть, а сразу валится на лавку и засыпает.

Ну, еще бы — спили-ка ручной пилой, стоя в снегу, этот толстенный дуб, да обруби-ка топором эти ветки, потом распили ствол на бревна, да взвали эти тяжеленные бревна на сани, да и вези их, помогая тощей лошади, на господский двор.

Наконец, лес кончился. Франсуа и дед вышли на равнину.

Прямо перед ними на высоком голом холме стоял замок. Лучи солнца играли в стеклах узких стрельчатых окон.

— Дедушка, это и есть замок? — каким-то сдавленным полушепотом проговорил Франсуа, пораженный видом этой стройной каменной громады, столь непохожей на те жалкие, крытые соломой и камышом прокопченные лачуги, в которых ютились крепостные крестьяне.

— Да, мой милый, это и есть замок. И стоит он, проклятый, на нашей крови народной. Если бы ты знал, сколько здесь людей погибло и искалечилось, пока выстроили это каменное гнездо! И мой старший брат разбился здесь насмерть. Он сорвался вон с той самой высокой башни. Царство ему небесное, — вздохнул дедушка и перекрестился.

Главная башня, которая господствовала над всем замком, называлась донжоном. Ее высота достигала тридцати метров.

И хотя донжон служил владельцу замка и жилищем и крепостью, его можно было считать сторожевой башней. В тени покрывавшей донжон островерхой крыши у скрытого навесом ее карниза располагалась кольцевая галерея. По ней всегда расхаживал дозорный, пристально вглядываясь вдаль и неусыпно подстерегая приближение врага.

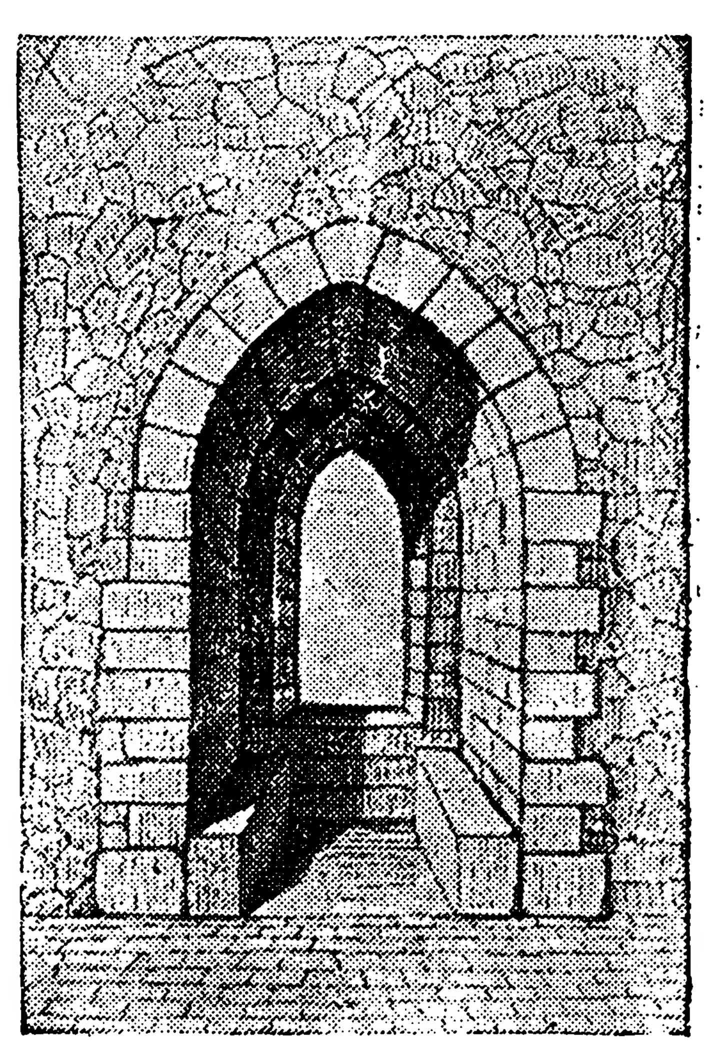
Издали едва заметны узкие щели. Это вертикальные окна-бойницы. Даже меткому стрелку-лучнику очень трудно снаружи попасть в эти прорези, пробитые в плотной толще каменной стены. Зато защитникам донжона удобно и безопасно целиться в противника, оставаясь под защитой могучих стен.

Внутри донжона, под его низко нависшими сводами, на разных этажах, связанных винтовой лестницей, теснились трапезная и опочивальня.

Внизу, в глубоком сыром подвале, находилась темница, в которой томились узники, брошенные в нее по приказу жестокого сеньора. Там же был и глубокий колодец. В случае долгой осады он обеспечивал водой защитников донжона, окруженного силами осаждавших.

Впрочем, противнику не так-то легко добраться до этой твердыни. Донжон стоял в центре небольшого двора, со всех сторон окруженного стеной, в которой имелись ворота, обитые листами железа. Внутренний двор замка помещался посреди гораздо большего наружного двора (цвингера), огражденного высокими зубчатыми стенами и башнями.

Между двумя такими башнями виднелись массивные ворота. Пролегая под каменным сводом, они представляли собой узкий запираемый с двух сторон коридор. Толщина наружной стены, опоясывавшей весь замок, — больше метра.


Окно замка.

Эта стена отражается в темной, застоявшейся воде глубокого рва, примыкавшего к ней с внешней стороны. Ни воину, ни коню не удавалось перескочить через ров.

Если к замку приближались друзья, прибывшие в гости к его владельцу, подъемный мост медленно опускался на скрипучих цепях и ложился поперек рва. Отодвигались тяжелые железные засовы и настежь растворялись окованные металлом дубовые ворота.

Если же труба дозорного возвещала о приближении врага, те же железные цепи подтягивали подъемный мост кверху. Став вертикально, он вплотную примыкал к стене. Лишенная моста водная преграда становилась первым препятствием для нападающих. А затем на пути врага вставали могучие наружные стены и крепкие ворота.

За пределами рва, на обширном пространстве совсем пустынно. Слуги графа не только выжигали выраставший около рва тростник и камыш. Они дважды за лето выкашивали траву, чтобы никто не мог укрыться в ней и незаметно подползти к замку. Такая предосторожность облегчала наблюдение за всей местностью, примыкавшей к замку.

Когда-то феодалы жили проще, в крепко сколоченных бревенчатых домах, обнесенных деревянной оградой.

Те времена давно миновали. С X века каменные замки пришли на смену деревянным. Властным сеньорам было чего опасаться. В своих каменных крепостях они были защищены и от нагрянувшего на них соседа, феодала-завоевателя, и от гнева восставшего крестьянства.

Обо всем этом Франсуа слышал не раз. Теперь он и сам мог внимательно рассмотреть грозный замок графа де Крюэль.

Дорога повернула влево, и вскоре наши путники стояли перед кузницей. Им навстречу вышел Шарль в большом фартуке из бычьей кожи. Такой фартук надежно защищал кузнеца во время работы — внизу он доходил до щиколоток, а сзади края его почти сходились.

Шарль обрадовался приходу дедушки. Он взял у него серпы и сказал, что отточит их наилучшим образом. А сейчас, с дороги, надо отдохнуть, да и завтракать пора.

В стороне от кузницы, под сенью старой ивы, стояли грубо сколоченный деревянный стол и две скамейки. Подмастерье поставил большую глиняную плошку дымящейся овсяной похлебки. Когда плошка опустела, дедушка с Шарлем остались за столом, чтобы выпить по кружке яблочного сидра, а подмастерье отвел Франсуа в сарай, где на душистом сене, утомленный непривычным для него путешествием, мальчик скоро заснул...

Вдруг Франсуа почувствовал, что кто-то тихонечко теребит его за нос. Он открыл глаза и увидел маленького человечка в красном колпачке с колокольчиком и в крошечных сабо. Он сразу узнал гнома-волшебника.

— Хватит спать, — сказал тот, — хочешь побывать в замке? Я лечу туда навестить кузена.

— Конечно! — обрадовался Франсуа.

— Тогда... Раз, два, три... — Гном-волшебник взмахнул рукой... и вот они уже сидят на высокой каменной стене, окружающей замок.

Отсюда их взорам открывается все, что находится внутри ограды замка: вот в наружном дворе слуги разгружают телегу. Возле нее суетится мастер-оружейник, доставивший из города заказанные ему предметы вооружения. Он покрикивает на графских слуг, боясь, чтобы они не оцарапали и не запачкали сверкающие алебарды и не повредили хитроумный арбалет, стоивший мастеру особых трудов.

В настежь растворенные ворота внутреннего двора дюжий слуга втаскивает уже разделанную мясником бычью тушу, низко нагнувшись под ее тяжестью.

Из кухни, примыкающей к донжону, слышится позванивание ножей. Оттуда через раскрытые окна и приотворенную дверь по всему двору разносятся дразнящие запахи жареного мяса и душистого теста, ароматы корицы, имбиря и миндаля.

Франсуа знаком с запахами пирогов и жаркого, но ароматов диковинных пряностей ему никогда не доводилось ощущать... Таинства графской кухни кажутся ему очень интересными. Он глядит во все глаза на поваренка, своего ровесника. Маленький труженик старательно поворачивал в разные стороны железный вертел, чтобы насаженный на него гусь равномерно подрумянивался. Время от времени он с опаской поглядывал на повара, но тот был всецело поглощен приготовлением соуса, которого в большом сосуде поджидали золотистые только что сваренные форели. Тем временем помощник повара извлек из печи высокий румяный пирог, украшенный вылепленным из теста, успевшим затвердеть в духовке гербом графа. Двое расторопных поварят фаршировали персиками цыплят и погружали их в котел со сметаной.

Спутник Франсуа — проказник-гном, хитро прищуриваясь, спрашивает:

— Надеюсь, Франсуа, твоя матушка готовит вам такие же отменные яства?

Заметив, что Франсуа при этих словах нахмурился, гном-волшебник крепко обнял мальчика, и они вдвоем мигом перемахнули через двор и очутились на подоконнике графского жилища.

Франсуа увидел довольно большую сводчатую комнату — трапезный зал, часть которого занимал огромный, потемневший от копоти камин. Над ним висели меч и шлем графа. Между ними красовался фамильный герб графов де Крюэль.

Две другие стены были украшены военными и охотничьими трофеями. Граф участвовал в крестовом походе. На стенах висели доспехи и оружие поверженных врагов — сарацин (мусульманских воинов), их военные значки с полумесяцем и лошадиным хвостом. Особое место занимали ветвистые оленьи рога, кабаньи головы, медвежьи и волчьи шкуры.

К потолку зала, обшитому отполированными дубовыми досками, прикреплена люстра. В праздники, когда съезжались гости, в нее вставляли 50 восковых свечей. Воск для них поставляли кре-

постные крестьяне. Каждый крестьянский двор обязан был ежегодно доставлять сеньору графу воска на 150 свечей. За время долгого пира слуги два-три раза сменяли догоревшие свечи новыми. Свои же лачуги крестьяне освещали либо лучиной, либо несъедобным жиром, наливая его в маленькие глиняные мисочки. Туда опускали фитилек, сделанный из пеньки или льна.

Франсуа с гномом уже хотели было направиться дальше, посмотреть капеллу, находящуюся рядом с залом, как в комнату, шурша шелком белоснежного платья, вошла графиня.

Ее роскошное платье в талии было перехвачено широким поясом, украшенным драгоценными камнями. На плечи графини была накинута тонкая турецкая шаль, ее шею украшал золотой медальон работы знаменитого венецианского мастера.

Следом за графиней шли две служанки. До слуха Франсуа донеслись слова одной из них:

— Едут, едут! Из этого окна вашей светлости будет видно лучше всего!

Вторая служанка поспешно придвинула к окну низкое удобное кресло, застланное волчьей шкурой. Усаживаясь в него, графиня воскликнула:

— Вижу, вижу: вот граф слезает со своего белого коня, вот его оруженосец Жозеф де Брюи, а вот и мой юный паж Пьер!

Пока новоприбывшие снимали дорожные плащи, входили в здание и медленно поднимались по скрипучим ступеням винтовой лестницы, одна из служанок накрыла скатертью стоявший подле камина стол, а другая принесла из погреба кувшин молодого вина, чтобы уставшие путники могли освежиться прохладным напитком.

Прошло несколько минут, и двери трапезной шумно распахнулись.

Раздались приветственные восклицания, самодовольный смех графа, хихиканье служанок. Граф, его оруженосец, а затем и паж церемонно приникли к протянутой им руке графини, а паж при этом опустился на одно колено.

Когда все уселись, начались расспросы о герцогском дворе, об исходе турнира, на котором графине не удалось побывать из-за болезни. Граф обстоятельно отвечал, поощряемый вниманием графини, и прерывал свой рассказ лишь для того, чтобы сделать глоток вина. Когда любопытство графини было удовлетворено, а в бронзовом кувшине уже не оставалось вина, служанка, наклонившись к госпоже, что-то шепнула ей на ухо. Кивнув головой, графиня, подавшись вперед, задорно спросила:

— А моя просьба выполнена?

— Разумеется, — отвечал граф, — ваш паж разучил прелестную песенку знаменитого трубадура Бертрана де Борна, которая вам так нравится... Герцогский трубадур несколько раз исполнял ее вместе с ним под аккомпанемент арфы.



Выезд сеньора на охоту.

— Мари, — приказала графиня служанке, — подай нам лютню, я сама попробую аккомпанировать на ней моему славному пажу.—При этих словах паж с готовностью вскочил со своего места, откашлялся, выставил вперед одну ногу, откинул назад голову и запел:

Любо видеть мне народ
Голодающим, раздетым,
Страждущим, необогретым!
Люблю я видеть, как народ,
Отрядом воинов гоним,
Бежит, спасая скарб и скот,
А войско следует за ним.

— Браво, браво! — захлопала в ладоши графиня.

Улыбаясь и слегка притопывая ногой в такт мелодии, певец продолжал:

Нрав свиньи мужик имеет,
Жить пристойно не умеет.
Если же разбогатеет,
То безумствовать начнет.

Чтоб вилланы не жирели.
Чтоб лишения терпели,
Надобно из года в год
Век держать их в черном теле.

Бедный Франсуа, что с ним сталось! Его сердце разрывалось от обиды и негодования, но что мог сделать маленький человечек-невидимка? И тогда он решил, что крикнет прямо в лицо этим негодяям, разодетым в бархат и шелк, все, что о них думает, и... проснулся.

В распахнутую дверь сарая Франсуа увидел деда, лежавшего в тени кузницы. Вот к нему подошел Шарль и вручил серпы. Дед потрогал лезвие пальцем и восхищенно покачал головой—так хороша была работа.

Домой возвращались молча. Из головы Франсуа никак не выходил увиденный сон. «Странный сон!» — говорил он себе... Но сон этот был вовсе не таким странным, как казалось. Облик замка, его внутренние покои, его обитатели предстали во сне перед Франсуа так отчетливо и правдиво только потому, что о них много-много раз подробно рассказывали побывавшие в замке односельчане, а цепкая память мальчика хранила все услышанное о ненавистном замке... Вот только песня?.. Чем больше думал о ней Франсуа, тем крепче становилась его уверенность в том, что ему уже приходилось слышать эту зловещую песню... Но где?

И тут вспомнился солнечный летний день, день соколиной охоты. Кавалькада кавалеров и дам, гарцуя на конях, медленно ехала по узкой дороге.

И пока охотники не выбрались на полевой простор, они сдерживали ретивых коней. И один из всадников запел песню, подхваченную другими.

Франсуа лежал за кустом шиповника, и каждое слово мерзкой песни ранило его и врезалось в память...

Подавленный содержанием услышанной песни, он продолжал лежать. Сами собой возникали горькие вопросы, на которые было и легко и трудно ответить:

Почему знатные господа так презирают и ненавидят крестьян, неужели за то, что те их кормят?

И почему все крестьяне графа де Крюэля так послушны ему и так безропотно отдают графу почти все плоды своего труда?

Ведь вот, даже Шарль, этот замечательный мастер, тоже так поступает. На переправе, где его кузница, всегда много проезжих, и все нуждаются в услугах кузнеца. Шарль умеет все. Он может подковать лошадь и сделать новую подкову, починить экипаж, что бы там ни сломалось — колесо или ось, дверца или оглобля. Шарль может не только наточить и исправить любое оружие, но и выковать новое — меч или копье, охотничий нож или кинжал.

Однако Шарль отдает заработанные на переправе деньги приказчику графа, а деньги-то немалые!

Неужели все это происходит только потому, что Шарль, как и все люди родной деревни, зовется крепостным графа?

А ведь сам сеньор граф, его жена и их родственники ничего не делают. Они только пьют да едят, да развлекаются, да на охоту ездят, да на турниры, да еще на войну. На войне, как и на турнире, сеньоры ищут добычи и славы.

Спросить у деда?

— Экой ты, — сказал дед, — весь в бабку! Да, да, — добавил он, заметив удивленный взгляд внука. — Твоя бабка была родом из Швейцарии. Тамошние крестьяне пасут свои стада на горных склонах, взбираются на неприступные кручи, дышат тем же воздухом, которым дышат орлы.

Их страна — неприступная крепость. Не знаю, кто уж об этом позаботился: то ли бог, то ли природа. Но сами горцы дорожат свободой пуще, чем жизнью, и умеют ее защищать, как никто другой.

Когда властители соседней Австрии, феодалы, двинули свои войска, представь себе, швейцарские стрелки, которых гордые австрийские и немецкие сеньоры презрительно называли мужиками, разгромили этих самых сеньоров в пух и прах и отстояли свою вольность.

— Как они смогли победить? — спросил дед, встретив вопрошающий взгляд внука.— Да там из-за каждого камня, с каждой скалы неслись меткие стрелы, а тяжелой рыцарской коннице, от которой мы столько терпим, там и развернуться-то было негде...

Твоя бабка все вспоминала дела своих отцов и братьев... Вот и ты, видно, в нее — горячий!

— А у нас, — нетерпеливо спросил Франсуа, — у нас разве мало смелых людей? Неужто у нас нельзя воевать с господами?..

Дед долго молчал, глядя себе под ноги. Потом положил свою тяжелую руку на голову внука. Он почувствовал, что на сердце у мальчика камень, который необходимо снять, показав, что родные и односельчане маленького Франсуа тоже не мирятся с неволей...

— Бывает, что и нашему терпению приходит конец и мы тоже восстаем против своих мучителей. В тот самый год, когда ты появился на свет божий, задумал сеньор граф спалить нашу деревенскую мельницу и таким образом заставить нас молоть зерно на его — графской — мельнице и брать с нас за помол столько, сколько ему, сеньору, вздумается. Сегодня возьмет за помол одну пятую часть зерна, завтра захочет взять за тот же помол четвертую часть зерна. Кто ему запретит? На своей же деревенской мельнице мы за помол ничего не платили. Кому платить-то? Мельница стояла на нашей деревенской — общинной — земле. Строили ее сообща. Все работы на мельнице справляли сами по очереди.

И графские слуги, верные псы своего господина, сожгли нашу мельницу. Сожгли днем, когда мы на дальнем поле убирали свое жито. Идем вечером домой, а на том месте, где стояла мельница, головешки догорают. Мы окаменели. Первым заговорил Жозеф Рыжий:

— Что делать? Теперь на графской мельнице будет настоящий грабеж. Привезешь, к примеру, молоть десять пудов зерна, а муки отдадут только восемь, два пуда возьмут за помол. Но это не все. Глядишь, и тунеядцы в черных рясах — монахи тут как тут. Именем церкви отнимут у меня еще один пуд муки. И останется мне из десяти-то пудов только семь. Как же жить-то? Чем детей-то кормить, а у меня их пятеро, да мать-старуха. Ведь хлеб-то наша основная еда!

И в отчаянии Жозеф схватил головню и бросился было поджигать графскую мельницу. Его удержали:

— Дурень, куда же ты один-то! Там мельник и его помощники, они тебя мигом схватят...

Деревня притихла. Граф послал четырех слуг спалить мельницу и в соседней деревне, но слуги вернулись ни с чем. Там уже успели поставить вокруг мельницы дюжину парней с вилами и дубинами и пять человек с луками и стрелами. У тех крестьян, что посмелее да похрабрее, это оружие всегда припрятано на случай.

Старый граф был взбешен (дело происходило при нем).

— Подумать только, презренные хамы-вилланы, уже своим рождением от вилланов предназначенные служить благородному рыцарству и смиренно трудиться на благо своих господ, осмелились перечить его приказаниям и взялись за топоры и вилы! Ну, он им покажет, что такое сеньор! Вешать он их не станет, чтобы не тратить веревки, он просто прикажет перерезать им всем глотки и оставит их валяться, пока псы и дикие звери не обгложут их кости. А паршивую деревню сожжет дотла. Не будь он дворянином, рыцарем графом де Крюэлем, если он не проучит эту двуногую скотину.

Граф зовет оруженосца и велит ему тот же час скакать в замок к герцогу, где сейчас вместе с другими рыцарями — участниками предстоящего турнира — находился его сын — граф Рауль.

Узнав о случившемся, рыцари с радостью предложили свою помощь. Для каждого из них гнаться за обезумевшим от страха мужиком и, проткнув его копьем, придавить к земле было не меньшим удовольствием, чем охота на волка или дикого кабана. Предвкушая такое развлечение, рыцари весело смеялись, наполняя свои кубки вином.

— Зерно и скот взбунтовавшихся вилланов, разумеется, в нашу пользу, — сказал один из них.

— Конечно, — подтвердил граф Рауль.

Граф Рауль взял с собой только двадцать пять человек, сказав, что двадцати пяти рыцарей в латах и шлемах с забралами вполне достаточно, чтобы расправиться с этим отродьем — в мятежной деревне не более ста пятидесяти мужиков. И даже если среди них вдруг найдутся такие, которые сразу не побегут, а начнут стрелять из луков, то это совсем не опасно. Лошади рыцарей тоже будут защищены латами — металлическими и кожаными. Крестьяне же той деревни, у которой мельницу уже сожгли, присоединиться к восставшим, вероятно, не посмеют, раз они этого до сих пор не сделали...

Да, это правда, мы оробели. Когда мы узнали, что едут рыцари, нас охватил смертельный страх. Мы скорее угнали свой скот в лес и сами спрятались в глухих оврагах. Зерно мы еще рань-

ше закопали в землю, когда собирались восстать против произвола графа де Крюэля.

На другой день все было кончено. На том месте, где стояла осмелившаяся не покориться деревня, гулял ветер.

Открыто наша деревня так и не выступила: слишком безнадежной была борьба. Но Жозеф Рыжий поклялся отомстить графу за сожженную мельницу. Два года спустя на охоте метко пущенной стрелой граф был убит. Стрелок остался неизвестным.

Так-то вот... А ты спрашиваешь, почему крестьяне покорно исполняют приказания сеньора. Потому и покорно, что не научились еще драться со своими господами.

Когда рыцарь в железных доспехах окажется среди нас — крестьян, одетых в домотканую холстину, он мечом и копьем будет сеять смерть, а его самого голыми руками не возьмешь!

Когда сеньор пожелает спалить деревню, ему трудно помешать, а его собственный каменный замок легко устоит против нашего натиска.

Сила оружия, сила железа служит господам, потому что в их руках главное богатство — земля. Обладая землей, они облекаются в железо и разят нас железом, а пользуясь железом, которое нам не по карману, они отстаивают свое господство над землей...

Помолчав, дед продолжал:

— Вот тебе я рассказывал о барской мельнице. Заставляя нас молоть наше зерно на этой мельнице, господа говорят, что у них есть особое право — «мельничный баналитет».

А теперь сеньоры объявляют, что у них есть точно такой же «печной баналитет». Смекни-ка: выпекать хлеб мужиков принуждают не в своих печах, как повелось с незапамятных времен, а только в господской печи и при этом приходится платить за ненужную нам барскую милость...

Если мы переезжаем через мост, барский сборщик тут как тут — плати, мол, «мостовые». Плывешь ты, к примеру, по реке в лодке, на челне или на плоту — плати «береговые», коли проезжаешь мимо земли, принадлежащей господину... А ежели твоя телега проезжает мимо барской ограды, тут уж плати «пульвератикум» — слово-то латинское, а по-нашему — налог на пыль, плати, коли загрязнил воздух, которым дышит граф...

Дед прервал свою речь, так как показалась околица родной деревни. Франсуа едва передвигал ноги. Ему казалось, что на его плечи навалилась непомерная тяжесть.

РОБИН ГУД

В преданиях и песнях средневековья большое место занимают короли, вельможи и рыцари. Но больше воспетых трубадурами полководцев нас интересуют образы, в которых народ воплотил свое представление о непреклонных и мужественных борцах за справедливость, о людях, отважно выступавших защитниками угнетенных и врагами угнетателей.

Таков и яркий образ Робина Гуда. Подавленные горькой нуждой английские крестьяне слагали о нем легендарные сказания.

* * *

Едва начало подниматься майское весеннее солнышко, из леса вышел Робин Гуд, тот самый славный разбойник, имя которого епископы и шерифы произносили со страхом и ненавистью, а крестьяне и бедняки ремесленники с благодарностью и надеждой.

Насвистывая веселую песенку, бодро шагал он по пустынной дороге, а в ногу с ним по зеленому косогору двигалась его собственная тень. Только тень быстро укорачивалась по мере того, как солнце поднималось все выше и выше, а сам Робин Гуд, в плотно облегавшем его зеленом камзоле, оставался высоким и статным молодцем, за плечами которого, словно крылья, стлался по ветру зеленый плащ.

Миновав поле и луг, перейдя мостик, под которым говорливо шумела речка, Робин Гуд вошел в деревню в тот утренний час, когда все в ней пробуждалось. Первыми встретили его белоснежные гуси. Они дружно загоготали и вежливо посторонились. То и дело отворялись ворота и двери. Старые и молодые выходили из своих хижин: кто с лопатой, кто с граблями. Многие знали Робина Гуда и приветливо с ним здоровались. А когда один любопытный юноша спросил своего почтенного соседа:

— Кто этот молодец? — то получил ответ:

— Да ведь это наш Робин Гуд!

Вопрошавший застыл на месте и, позабыв закрыть широко разинутый рот, долго глядел вслед удалявшемуся Робину Гуду, о котором слышал немало диковинных рассказов.

Но не все ворота распахнулись. У наглухо закрытых ворот одного из дворов, прислонившись к ним, горько рыдала старая вдова.

Поравнявшись с ней, Робин Гуд остановился и участливо спросил:

— Что с тобой, матушка?..

— Велика моя беда, — со стоном отвечала вдова, — сегодня в Ноттингеме поведут на казнь трех моих сыновей...

— Чем же прогневали твои сыновья шерифов и судей, — спросил Робин Гуд, — быть может, они ограбили монастырь, сожгли церковь или, того хуже, обидели беззащитных людей, отняли хлеб у бедных сирот?..

— Что ты, добрый человек, — отвечала вдова сквозь слезы, — мои сыновья никогда не трогали слабых, не обижали беззащитных. Вся их вина состоит в том, что они вместе с Робином Гудом охотились в королевском лесу и, стало быть, нарушили закон...

Услышав это, Робин Гуд нахмурился, покачал головой и молвил:

— Рано ты плачешь, мать!.. Клянусь приложить все силы, чтобы выручить твоих орлят... Но, видит бог, еще немного, и я мог бы опоздать. К счастью, день еще впереди...

Обнял Робин Гуд по-сыновнему плачущую вдову, поклонился ей в пояс и пустился в путь к стенам Ноттингема.

Было еще далеко до вечера, когда Робин Гуд увидел каменные стены и крепкие ворота Ноттингема. Невдалеке от городских ворот повстречался ему старый, совсем седой, оборванный нищий.

— Что слышно в городе, отец? — спросил его Робин Гуд.

— Плохо, — отвечал старик, — трех добрых молодцев, ни за что, ни про что, сегодня будут казнить на площади...

Тут Робин Гуд без лишних слов преградил дорогу нищему и приказал:

— Снимай, отец, свое тряпье, оденешь мой костюм и, чтобы не огорчаться, возьмешь в придачу мешочек, в котором позванивают серебряные монеты, поешь, попьешь, вспомнишь добрым словом нашу встречу!

Услышал старик эти неожиданные слова, отстранился от Робина Гуда и сказал с укоризной:

— Стыдно тебе, сынок, смеяться над моей нуждой и старостью. Разве я не вижу, что твой наряд красив и прочен, а моя-то одежонка вся худая да ветхая?

Положил Робин Гуд руку на плечо старика и, заглянув в его глаза, тихо сказал ему:

— Эх, отец, видно, тебе доводилось встречать только злодеев да обманщиков. Разучился ты доверять добрым словам и распознавать честных людей... Прошу тебя, — добавил Робин Гуд, —

поторопись! Именно твое тряпье мне сейчас всего нужнее. Бери, коли на то пошло, на память обо мне горсть золотых, пируй хоть целый год!..

И, не дожидаясь ответа, Робин Гуд стал снимать свою одежду. Нелегко ему было облачаться в чужие лохмотья... Снятый с лысого черепа стариковский колпак каким-то чудом примостился на кудрявой голове Робина Гуда. Затрещали на нем штаны нищего. Диву дался Робин Гуд, поглядев на огромную дыру и воскликнул: «Диковинный покрой!» Натянув похожие на решето чулки, обувшись в стоптанные башмаки, он хлопнул себя по бокам и весело воскликнул:

— В таких чулках да башмаках только спасаться от долгов!

Взвалил он на плечи холщовые сумки нищего. В самую маленькую из них упрятал он свой заветный рожок, а в самую большую поместил неразлучный лук, наполовину торчавший из нее. Отсыпал Робин Гуд нищему, как обещал, изрядное число серебряных монет, наградил его горстью сверкающих золотых, крепко пожал на прощанье руку старца и, то ли отвечая на удивленный его взгляд, то ли себе самому в утешенье, сказал, усмехаясь:

— По одежке нас встретят, зато по уму проводят!..

Неловко зашагал старик в непривычном для него костюме, а Робин Гуд, согнувшись, еле волоча ноги, заковылял походкой немощного старца к высоким воротам города Ноттингема. Приблизившись к ним, он прикрыл лицо полой грязного плаща и, не привлекая внимания стражи, спокойно миновал стоявшую у ворот заставу и медленно потащился к городской площади. На пути к ней ему встретился сам ноттингемский шериф, неторопливо ехавший верхом на высоком сером в яблоках жеребце, рядом с которым бежали две поджарые борзые.

Поклонившись и все еще не поднимая головы, Робин Гуд смиренно обратился к шерифу:

— Спаси тебя господь, шериф, сделай милость, скажи: что дашь ты тому, кто послужит тебе палачом?..

Пожал плечами шериф и ответил:

— Не считая пригоршни монет, дам отменные штаны из лучшего сукна... — Сказал и покосился на дырявые штаны нищего...

И вдруг старчески согбенный Робин Гуд внезапно разогнулся, как распрямившаяся струна, как лук, с тетивы которого сорвалась пущенная вдаль стрела. Гордо вскинул голову Робин Гуд. Отлетел прочь колпак нищего, тряхнул он кудрями и птицей взметнулся на стоявший в стороне пень. Изумленно поползли вверх брови шерифа...

— Откуда такая прыть? — проронил он. — Ты, старичок, скачешь как заправский олень!

Но уже гремел голос Робин Гуда:

— Видно ты, шериф, считаешь, что за пару штанов да за звонкую монету любой бедняк продаст свою совесть и возьмется

за кровавое ремесло палача?.. Нет, шериф, — продолжал он, — не станет честный бедняк позорить себя, не станет он помогать тебе расправляться с невинными парнями только за то, что они охотились в лесу... Посуди сам: разве господь бог создал леса только для королей да для королевской челяди, а не для всех людей? Пусть покажут твои попы такое место в священном писании, которое запрещало бы добрым молодцам охотиться в лесной чаще и позволяло бы охоту одним лишь королевским прихлебателям...

Краска залила щеки и лоб шерифа, багровой стала его шея...

— Как смеешь ты, — сдавленным голосом прохрипел он, — так разговаривать с шерифом? Да я сотру тебя в порошок, жалкий нищий!..

Хотел было шериф пришпорить коня и растоптать конскими копытами дерзкого нищего, да раздумал... Горд был ноттингемский шериф и потому решил, что слишком много чести будет для бездомного попрошайки, если сам шериф будет его самолично наказывать...

Поразмыслив так, шериф, гневно пыхтя, остался на месте, а Робин Гуд крикнул ему:

— Эй, шериф, смотри: вот висит на мне сума для пищи. Хлеб и мясо кладут в нее люди для нищего странника, а теперь гляди во все глаза — вот на боку у меня совсем маленький мешочек, но таится в нем великая и страшная для тебя сила!..

И вытянул Робин Гуд из мешочка заветный рожок, ярко сверкнувший на солнце золотистой медью...

— Гляди, шериф, — продолжал он, — вот рожок, голос его знает Робин Гуд и все его друзья — вольные стрелки. Не позволят они никому казнить своих товарищей!

Подбоченился гордый шериф и ответил надменно:

— Труби, труби пока глаза не вылезут!..

Приложил Робин Гуд рожок к губам, запел рожок и, откликаясь на его певучий зов, ожил дальний лог.

Вот что-то в нем зашевелилось и, словно из-под земли, стали оттуда вырастать головы коней и всадников... Минуты три прошло, и по склону ближнего холма понеслась сотня конных бойцов в зеленых камзолах... Снова запел рожок, и совсем с другой стороны послышался топот множества ног. Вскоре в облаке пыли показались зеленые стрелки-пехотинцы, сжимавшие в руках крепкие, тугие луки... Поглядел шериф в одну сторону, поглядел в другую и испуганно воскликнул:

— Кто там движется, куда, зачем?..

— Ступай, шериф, встречай гостей, — молвил Робин Гуд и вежливо поклонился...

А стрелки-пехотинцы столпились у городских ворот, упала на колени перед ними оробевшая стража. Сотни рук подняли огромное бревно и, мерно раскачивая его, несколькими ударами

высадили запертые ворота. Неудержимым потоком хлынули в настежь раскрытые ворота Ноттингема вольные стрелки леса...

Три крепкие петли приготовлено было для троих сыновей бедной вдовы, для трех добрых деревенских охотников. Только одна из них пригодилась. Люди в зеленых одеждах одели ее на толстую шею злого и гордого ноттингемского шерифа.

* * *

По всему побережью Англии прокатилась молва о жестоких пиратах, не дававших спасения и пощады ни богатому купцу-мореходу, ни бедным рыбакам. Внезапно появлялся, высоко вздымавшийся над волнами их легкий корабль. Вздувался под ветром черный пиратский парус, и морской разбойник коршуном устремлялся за мирным кораблем. Чем больше груза было на купеческом или рыбацком судне, чем глубже оно сидело в воде, тем медленнее и неповоротливее был его ход и тем скорее оно становилось добычей хищника.

Дошла молва о злых пиратах и до Робина Гуда. Не раз и не два слышал он об их делах. Однажды под вечер, когда Робин Гуд отдыхал вместе с друзьями под ветвистым дубом, снова зашла речь о пиратах. И сказал Робин Гуд верному своему другу Джону по прозвищу Малютка:

— Не купцов я жалею, а бедных тружеников-рыбаков!

— Хорошо бы им помочь, — ответил Джон-Малютка, — да ведь не пройдут по морю вольные стрелки, ни пешие, ни конные... Нет у нас кораблей, и сила наша только здесь в лесу, а не на море...

Помолчал Робин Гуд и, поразмыслив, молвил:

— Что и говорить, не простая задача — помочь братьям-рыбакам, но сам ты признал, что было бы хорошо им помочь!.. Сходи-ка ты в ближнюю гавань, поразведай, много ли у пиратов кораблей, много ли их самих, каково их оружие, каковы их разбойничьи обычаи...

Обрадовался Джон-Малютка и вызвался отправиться в разведку на следующее утро...

Три дня и три ночи не было Джона-Малютки в Шервудском лесу. Вернулся он под сень зеленого леса на исходе четвертого дня, упал, усталый, на стог сена у лесной опушки и проспал богатырским сном до новой зари.

Поутру Джон-Малютка поведал Робину Гуду о своих странствиях...

— Узнал я, — сказал он, — что у пиратов всего один корабль и появляется он всего чаще в сумерках, когда вдалеке ничего не видно, а, завидев пирата вблизи, ни купцу, ни рыбаку от него уже не уйти. Верховодит пиратами свирепый разбойник по прозванью Рич Рыжая борода. Кто говорит, что он обедневший рыцарь, иные

сказывают, будто он беглый монах. Но все сходятся на том, что свое разбойничье дело он знает отлично: умеет незаметно подкрасться, преследовать и настигать, грабить и чинить насилия. Сказывают, что Рич Рыжая борода ловко управляет своим кораблем. Хитро налаживая паруса, он не только ведет его по ветру, но даже и против ветра!

— А узнал ли ты, — спросил Робин Гуд, — как пираты ведут бой, каким оружием бьются?

— Вся их сила в быстроте и поворотливости корабля. Догнав мирное судно, они подходят к нему вплотную, сразу же захватывают чужой борт крючьями перекидного мостика и по этому мостику бегом мчатся на чужой корабль с короткими пиками, мечами и кинжалами в руках.

Неожиданность нападения, быстрота натиска, сноровка умелых бандитов, с другой стороны — растерянность, испуг, безоружность, — где уж тут устоять мирным мореходам? Коротка схватка, и после нее на борту захваченного судна остаются тела убитых, а все, что ценно, пираты уносят на свой корабль. Долго потом качается на волнах мертвый корабль, заваленный трупами и умирающими от тяжелых ран.

Выслушал Робин Гуд рассказ Джона-Малютки и долго молчал. А потом молвил:

— Вели приготовить три десятка острых стрел, а еще платье бедняка по моей мерке. Завтра я отправлюсь в гавань Скарборо.

— Взял бы ты друзей в подмогу, ну хотя бы меня одного!

— Больно уж ты приметный. Небось, от Кентербери до Эдинбурга не сыскать второго такого верзилу? Нет уж, придется управляться мне одному...

Так отвечал Робин Гуд. Джон-Малютка лишь вздохнул. Знал он по опыту, что с Робином Гудом не поспоришь. Не торопится он, когда надо обмозговать трудную задачу, но приняв решение, твердо стоит на своем.

И вот, никем не узнанный, явился Робин Гуд в гавань Скарборо. Назвавшись бедным рыбаком по имени Симон, нашел он там приют у богатой вдовы-корабельщицы, хитрой и жадной старухи, искавшей наживу во всем, даже в жалких грошах, которые ей платили за кров бездомные бедняки: рыбаки, грузчики да матросы.

Несколько дней миновало. Пригляделся Симон-рыбак к своей хозяйке, а та — к крепкому, ладному молодцу. Узнал Робин Гуд, что вдове принадлежит несколько рыбацких кораблей, часто уходящих в море на промысел... Вот и спросил он, не нужен ли его хозяйке рыбак.

— Как же не нужен! — отвечала она. — Давно я ищу сильного, выносливого рыбака. Корабль мой прочен и хорош, к тому же я щедро плачу нанятым рыбакам. Чем больший улов они добудут, тем больше я отсыпаю каждому серебряных монет.

Почесал затылок Симон-рыбак, словно бы колебался, кивнул головой и сказал:

— Ладно, согласен я послужить на твоем корабле.

Свела его хозяйка с капитаном, и вскоре оказался Симон-рыбак на большом крепко сколоченном судне.

Настал час этому кораблю отправляться в море, на промысел. Вместе с другими ушел в море и Симон-рыбак.

Приглядывались рыбаки к новому товарищу, дивились ловкости его и силе, но всего больше дивились они тому, что Симон-рыбак никогда не расстается с луком, торчащим за его спиной.

— Зачем рыбаку такая помеха? — спрашивал один рыбак.

— Никак не возьму в толк, — отвечал другой, — какой прок от лука?

Дошли эти толки до капитана, и сам капитан, подозвав Симона, спросил его напрямик:

— Зачем тебе надобен лук?

Поклонился Симон капитану и сказал:

— Подле нашей деревни стоит Сент-Альбанский монастырь. Аббат этого святого монастыря — добрый человек, но превеликий чудак. Он собирает чучела диковинных птиц. Вот я и пообещал его преподобию раздобыть морских птиц, к примеру чаек...

Удивились рыбаки, услышав такие слова. Нахмурился капитан и сказал сурово:

— Странный ты рыбак. Разве ты не знаешь, что чайку ни один моряк не тронет, иначе быть беде?.. Ведь чайка — крылатая сестра и спутница моряка, она возвещает приближение бури. Убивший чайку разгневает море и навлечет беду на свой корабль... Вот, смотри, вьются в небе белокрылые чайки. И думать не смей их обидеть!

Глянул Симон-рыбак вверх. И в самом деле, словно ныряют в голубой пучине неба белые чайки... Вдруг откуда ни возьмись — темное пятно: серый ястреб погнался за чайками. Отбежал Симон от товарищей, выхватил лук, упал на одно колено, прицелился он, и запела, быстро смолкая в вышине, стрела, скользнувшая ввысь с туго натянутого лука. И все увидели, как сорвался с вышины серый комок и упал в море.

Подивились рыбаки меткому выстрелу, и сказал капитан:

— Хорош выстрел, но далеко от корабля упал ястреб. Не станем мы искать его в волнах. Видно, не достанется его чучело почтенному аббату.

Улыбнулся Симон и не стал спорить...

Начали рыбаки в открытом море спускать за борт большой невод-перемет. Усердно помогал им Симон, да не было у него рыбацкой сноровки, и кое-кто приметил, что, спуская перемет, он не загибает крючки, которыми перемет зацепляется за борт... Увидел этот промах капитан и призадумался. Подошел к нему старый рыбак и сказал, кивнув головой в сторону Симона:

— Сдается мне, капитан, что вовсе не рыбак этот Симон, — и про чаек он не слыхивал, и перемет готов он отдать морю, что нам за прок от этого стрелка, не луком ведь рыбу добывают!.. — Дурень этот Симон, — ответил в сердцах капитан, — когда начнем делить улов, прогоним прочь дурня!

На исходе второго дня пришел черед Симону взобраться на мачту дозорным и оттуда следить за морем. Поднялся он на мачту и стал глядеть вдаль. Видел он, как садилось солнце за дальний край синего неба, как разостлалась искристая ало-золотая солнечная дорожка от солнца до самого корабля.

А когда потемнело вдруг и налетел свежий ветер, пришлось Симону покрепче держаться одной рукой за мачту, а другой придерживать драгоценный лук. Зорко всматривался Симон вдаль, и заметил он, как разбежались по морю белым кружевом пенистые гребни, как вздыбились и сердито зашумели волны и вдалеке, словно оторвавшись от серой мглы, обозначилось что-то похожее на корабль. Напрягая взор, глядел Симон и все яснее обрисовывался корабль.

— Корабль! Черный парус! — крикнул он вниз и стал торопливо спускаться с мачты, стараясь не потерять лук со стрелами.

Быстро вырастал гонимый попутным ветром корабль. Увидел капитан черный парус, увидели его рыбаки. Поднялась суета, и закричал капитан:

— Проклятье, погибнет наш улов и нам самим не уберечься!.. Черный пират гонится за нами!

— Не быть нам дома, рыбаки, гибель нас ждет и неволя, — раздался чей-то испуганный голос...

И услышал Симон, как самый старый рыбак завопил что было силы:

— На колени, все на колени, помолимся богу, только он может нас спасти...

И один за другим падали рыбаки на колени, и по их обветренным щекам катились горестные слезы.

Кипело море, белой вьюгой вилась пена над буйно плясавшими волнами, а черный парус становился все ближе. Видно, не помогла молитва, не помог бог...

— Не бойтесь, — закричал Симон, спустившись с мачты, — довольно шума, опускайте парус, лезьте в трюм, со мной мой лук!

— На место, — яростно завопил капитан, — здесь не ты, дурак, капитан, а я! Если не замолчишь, тотчас окажешься за бортом!

Гневом распалился Симон. Вмиг прыгнул он к мачте и, прислонившись к ней спиной, поднял свой верный лук.

Тут неукротимая волна так накренила корабль, что Симон, отлетев от мачты, упал прямо на капитана, а потом при следующем крене оба они покатились обратно к мачте...

— Скорее, капитан, дорога́ каждая минута, быстро привязывай меня к мачте! — что было сил закричал Симон, перекрывая вой разразившейся бури...

Смекнул капитан, что не было другого выхода. Он да двое подоспевших рыбаков поспешно привязали Симона спиной к мачте, и тут же их швырнуло к борту корабля... Совсем близко подошел пиратский корабль. Сквозь брызги пены увидел Симон, как суетились враги на носу пиратского корабля. Заметил он, как, размахивая руками, борясь с качкой, властно распоряжался до пояса голый человек с клочковатой огненно рыжей бородой. «Вот и Рич Рыжая борода», — смекнул Симон. Увидел Симон, как дюжина пиратов упорно волокла к носу длинный дощатый мостик с боковыми перилами... «Вот, стало быть, — думал он, — и перекидной абордажный мостик!..»

Твердо уперся Симон в палубу выдвинутой вперед правой ногой, плотно закрыл левый глаз. Прищурившись, медленно навел он стрелу на цель, крепко оттягивая на себя тетиву. Вот отпущена тетива лука, и стрела, мгновенно просвистев, точно вонзилась в широкую грудь Рича Рыжей бороды. Раскинув широким взмахом руки, рухнул он навзничь, и тут же вторая стрела сразила стоявшего рядом с ним пирата... Немного стрел было в запасе у Симона. Не мог он их тратить попусту. И стал он их посылать только в тех пиратов, которые, наклоняясь, пытались поднять абордажный мостик и закинуть его крючья за борт рыбацкого судна...

Немного минут пролетело, и вот уже отяжелел абордажный мостик: упали на него сраженные пираты, и отшатнулись от груды тел, загромоздивших мостик, уцелевшие разбойники. Спасаясь, они покинули нос корабля, столпились на корме, у руля, у мачты с парусами... Дрогнул пиратский корабль, повернулся носом в сторону, затем назад и, все ускоряя ход, помчался к берегу...

Закричал Симон во весь голос:

— Скорее, капитан, отвязывай меня от мачты, вздымайте парус, рыбаки! Гоните корабль вослед врагу, настигайте струсивших пиратов, вперед, друзья, вперед!

У берега ожидал рыбаков опустевший, покинутый корабль. Осталась на нем груда трупов и брошенное беглецами золото, лежавшее в трюме. Посчитали рыбаки золотые монеты, оказалось их очень много, и стали они спрашивать: «Что нам делать с найденным золотом?..»

— Ну что ж, — сказал Симон, — поделите монеты поровну между всеми, а свою долю добычи я раздам беднякам, нищим и убогим, которых немало в Скарборо!

— Нет, нет, — кричали рыбаки, — так будет несправедливо!

— Нет,— сказал капитан (а был он, хоть и суров, но справедлив), — без тебя, Симон, мы бы все погибли. Ты один победил пиратов, и одному тебе принадлежит все найденное золото!

— Верно, правильно! — закричали разом все рыбаки.

— Согласен, — молвил Симон, — согласен, по рукам!.. Коли так, пусть золото пойдет беднякам на пользу!

Небогаты были рыбаки, и все они знали, что такое нужда. Знали они, однако, что еще круче нужда гнетет те семьи, у которых нет кормильцев, такие семьи, где голодают старики и дети. Билось в груди у каждого рыбака доброе и честное сердце. Знали они и помнили, как много жертв уносит море, как часто ушедшие на промысел рыбаки не возвращаются на берег, оставляя безутешных жен и матерей, вечно горюющих, гибнущих от нужды и голода и в Скарборо, и в Портсмуте, и в других гаванях Англии...

Вышел из их рядов самый старый рыбак, поклонился Симону и сказал:

— Ты не только отважный стрелок, Симон, ты, кроме того, самый справедливый и самый щедрый человек, которого я знаю. Странно мне лишь то, что до сих пор мы о тебе ничего не слышали. Я ведь давно приметил, что ты не настоящий рыбак: и с чайками ты просчитался и с переметом обходиться не сумел... Но, видно, не зря оказался ты среди нас, рыбаков горемычных. Признайся: уж не сам ли бог послал нам тебя?..

Рассмеялся спрошенный и ответил:

— Нет, не бог меня послал. Меня послали к вам вольные стрелки, живущие в зеленом лесу. Меня послали к вам люди, которым совесть подсказывает их дела. Как и они, я сам — друг всех тружеников, всех бедняков, всех обиженных, а зовут меня с детства Робином Гудом.

* * *

Однажды, бродя по лесу, Робин Гуд повстречал епископа с большой свитой.

— Что делать? — сказал себе Робин. — Если епископ поймает меня, я буду повешен без всякого снисхождения.

Он повернулся и побежал к маленькому домику, стоявшему одиноко в лесу. Он позвал старуху, жившую там, и она, выглянув из окна, спросила:

— Кто это?

— Это я, изгнанник Робин Гуд, меня многие знают. Вот едет епископ со своими людьми, и если они меня возьмут, я буду повешен.

— Если ты Робин Гуд, я помогу тебе и спрячу тебя от епископа. Ведь я помню, как однажды ночью ты принес мне башмаки и чулки. А теперь я укрою тебя от врагов.

— Так дай мне скорее покрывало и возьми мой зеленый плащ. Дай мне твое веретено и пряжу и возьми мои острые стрелы.

И, переодевшись, Робин пошел к своим товарищам.

— Кто это там? — спросил Джон. — Я пущу в нее стрелу, очень уж она похожа на старую ведьму!

— Придержи свои руки! — закричал Робин. — Я Робин Гуд, ты сам сейчас это увидишь.

Епископ подъехал к домику старухи и сердито заорал:

— Давай сюда этого изменника Робина Гуда! — Он посадил старуху на белоснежного коня, сам сел на серого, поехал дальше и всю дорогу смеялся от радости. Но вдруг он увидел его отважных стрелков, стоящих под деревьями.

— Кто это там? — спросил епископ.

— Я думаю, — сказала старуха, — что это человек по имени Робин Гуд.

— Как! А кто же ты?

— А я старуха! Эх, ты, дуралей-епископ!

Епископ хотел было ускакать, но Робин велел ему остановиться. Его лошадь взяли под уздцы и привязали к дереву, а из его дорожного плаща вытряхнули 500 фунтов.

— Пусть теперь едет, — сказал Робин.

— Нет, — возразил Джон-Малютка, — пусть он прежде отслужит за нас мессу.

И епископа привязали к дереву, а после мессы провели его через лес, посадили на коня задом наперед, дали ему в руки лошадиный хвост и попросили молиться за Робина Гуда.

* * *

В веселый майский день на зеленой поляне Барнсдэйлского леса, прислонившись к дереву, стоял гордый изгнанник Робин Гуд. Более обходительного и вежливого разбойника вы не сыскали бы на земле. Был обеденный час, и Джон-Малютка, его верный друг и помощник, сказал ему:

— Неплохо было бы нам пообедать, хозяин.

— Не буду я обедать, — ответил Робин, — пока вы не приведете ко мне гостя — рыцаря или сквайра[1], который заплатит за обед.

— Но скажите, где нам лечь в засаду и кого нам хватать и вязать?

— Не трогайте ни пахаря, который идет за своим плугом, ни йомена[2], ни рыцаря или сквайра, если они хорошие люди. Хватайте и вяжите епископов или архиепископов, а пуще всего думайте о ноттингемском шерифе. Возьми свой лук, и пусть идут с тобой Мэч и Вильям Скэйтлок. Встретите вы барона, аббата или рыцаря, ведите его ко мне, а обед для него будет готов.

Три отважных йомена отправились в дорогу. Глядели они и на запад и на восток, но никого не было видно. Но вот они уви-

[1] *Сквайр* (эсквайр) — дворянин, помещик.

[2] *Йомен* — крестьянин, имевший свое хозяйство и располагавший наследственным наделом.

дели рыцаря, едущего по тропинке, и пошли ему навстречу. Его лицо было печально, капюшон закрывал его глаза, он был в простом одеянии. Джон-Малютка был очень вежлив и опустился на колено.

— Приветствую тебя в зеленом лесу, благородный и свободный рыцарь, — сказал он. — Мой хозяин послал нас звать тебя к обеду.

— Кто твой хозяин?

— Робин Гуд, — ответил Джон.

— Он славный йомен, — молвил рыцарь, — много хорошего слышал и я о нем.

Они все вместе отправились к Робину Гуду, который вышел их встретить и приветствовал рыцаря.

Они умылись, а затем сели вместе за стол. За обедом было вдоволь хлеба и вина, всякой дичины: лебедей и фазанов и другой водяной птицы.

— Будьте как дома, сэр рыцарь, — сказал Робин.

— Благодарю, — ответил рыцарь. — Я не пробовал такого обеда уже три недели. Если я снова попаду в эти края, Робин, я попотчую тебя таким же обедом.

— Спасибо, рыцарь. Я, слава богу, отродясь не был так скуп, чтобы жалеть мой обед. Но я думаю, что будет правильно, если вы заплатите прежде чем уехать. Слава богу, невиданное дело, чтобы йомен платил за рыцаря.

Но рыцарь сказал, что у него ничего нет, и тогда Робин послал Джона посмотреть, верно ли это.

— Скажи мне правду, и да защитит тебя бог, — молвил Робин, когда Джон ушел.

— У меня есть только десять шиллингов, и да защитит меня бог.

— Если правда, что у тебя нет больше, — сказал Робин, — я не возьму ни единого пенса, а если нужно тебе еще денег, я дам их.

Джон-Малютка разостлал на земле свой плащ и высыпал на него все, что было в поклаже рыцаря. Он так и оставил все лежать на земле и побежал к своему хозяину сказать, что рыцарь не солгал. Робин потребовал лучшего вина и пожелал, чтобы рыцарь выпил первым. Потом он спросил у него:

— Почему у тебя такая худая одежда? Или тебя сделали рыцарем из йоменов? Или ты перенес горе и лишения? Или тебя довели до нужды врач или ростовщик?

— Ни то, ни другое, клянусь богом. Мои предки были рыцарями. Но часто бывает, Робин, что человек попадает в беду и один бог может ему помочь. Два года назад всякий знал, что я легко могу потратить четыре сотни фунтов. Теперь же я потерял все свое добро.

— Каким путем ты лишился своего богатства?

— По своей глупости и доброте. У меня был сын, который мог бы стать моей отрадой. Двадцати лет от роду он убил рыцаря из Ланкашира, дерзкого сквайра. Чтобы отстоять его, я продал все свое добро. Мои земли попали в заклад к богатому аббату аббатства Святой девы неподалеку отсюда.

— Сколько ты должен заплатить за них? — спросил Робин. — Скажи по правде.

— Четыреста фунтов назначил аббат, — ответил рыцарь.

— Где же твои друзья?

— Сэр, их было много у меня, пока я был богат. А теперь все они разбежались, как звери гуськом по тропинке. Им до меня нет дела, будто они и не видели меня никогда.

— Нет ли у тебя друга, который мог бы быть твоим поручителем? — спросил Робин.

— Один только бог, что умер на кресте.

— Брось эти шутки, — сказал Робин. — Ты хочешь, чтобы я взял поручителем бога, апостолов Петра, Павла или Иоанна? Нет, найди лучшего, иначе я не дам денег!

— Больше у меня нет никого, — ответил рыцарь. — Разве только пресвятая дева, она не покидала меня до сих пор.

— Клянусь богом, — сказал Робин, — если обыскать всю Англию, то не сыщется лучшего поручителя. Ступай в мою казну, Джон-Малютка, и принеси мне четыреста фунтов, да смотри, чтобы они были верно отсчитаны.

Джон-Малютка весело побежал за деньгами, за ним поспешили Мэч и Скэйтлок, восхищенные великодушием Робина. И Джон-Малютка сказал:

— Хозяин, его одежда совсем обветшала, дайте ему новую. Ведь у вас много алых и зеленых тканей и богатых нарядов.

И Робин велел Джону отмерить по 3 ярда ткани каждого цвета. Потом они дали рыцарю серого коня, хорошую кобылу, сапоги и золотые шпоры.

— Когда будет день моей расплаты с вами? — спросил рыцарь.

— Ровно через год, под этим самым зеленым деревом, — ответил Робин. — Но стыдно было бы рыцарю ехать одному, без оруженосца, йомена или пажа. Я дам тебе Джона-Малютку, он будет служить тебе верой и правдой.

И здесь они расстались. Робин Гуд остался в Барнсдэйлском лесу, а рыцарь поехал в парк — отвезти аббату деньги и выкупить свои земли. На следующий день был назначен срок платежа.

Аббат аббатства Святой девы сидел в своем монастыре со своей братией и приором. Тут же был и верховный судья, которого они подкупили. В этот день истекал срок заклада, и монахи радовались, что земли рыцаря попадут к ним в лапы. Они судили-рядили, как оставят рыцаря с носом, и думали, что он бродит где-то по белу свету.

— Я уверен, что он не явится сюда, — сказал судья.

А в это самое время рыцарь постучал в монастырские ворота. Привратник впустил его и провел в залу, где сидели монахи. Прежде чем войти в монастырь, рыцарь и его спутник накинули на плечи грубые плащи, чтобы прикрыть свое пышное платье.

Рыцарь, встав на колени, приветствовал монахов, а первый вопрос аббата был:

— Ты принес мне деньги?

— Ни одного пенса, — ответил рыцарь.

— Ты, проклятый должник, — сказал судья, — что же ты пришел сюда, ведь ты должен был принести деньги?

— Я пришел богом молить, чтобы мне продлили срок.

— Ты нарушил срок, — сказал судья, — земель своих ты не получишь.

— Сэр шериф, будь мне другом, — сказал рыцарь.

— Ни за что! — ответил тот.

— Сэр аббат, — молвил рыцарь, — будь мне другом, держи мои земли, пока я не соберу денег, а я буду служить тебе верой и правдой.

— Клянусь богом, — вскричал аббат, — бери деньги, где хочешь, а от меня ты ничего не получишь!

— Хорошо испытать человека, прежде чем дружить с ним! — сказал рыцарь. — Вот четыреста фунтов, которые ты мне ссудил. Если бы ты обошелся со мной любезнее, я тебя наградил бы.

Аббат не мог ни пить, ни есть. Он сидел, склонив голову и выпучив глаза, а рыцарь сбросил свой бедный плащ и в богатой одежде вышел из зала, распевая веселую песню.

Рыцарь поехал в свой замок в Барнсдэйл и радостно объявил своей жене, что его долг уплачен с помощью Робина Гуда. Он мирно жил в своем замке, пока не собрал 400 фунтов. Тогда он приготовил 100 прекрасных луков и 100 колчанов с оперенными стрелами, оправленными в серебро. Потом он собрал 100 вооруженных молодцов и во главе их с веселой песней отправился в Барнсдэйл.

* * *

Между тем Робин весело проводил время в тени своего зеленого леса. Случилось ему встретить мясника, который вез свой товар в телеге, направляясь в Ноттингем. Робин купил у него мясо, телегу и лошадь и поехал в Ноттингем торговать. Он остановился у самого дома шерифа и все мясники дивились на него, ибо никогда не видели его прежде. Торговля у него шла очень бойко, потому что он давал больше мяса на один пенс, чем другие мясники на 3 пенса.

— Это какой-то беспутный сын, который промотал отцовские земли, — говорили между собой мясники.

И они подошли к нему, чтобы пригласить его отобедать с ними. Он охотно согласился, и они отправились в дом шерифа. Робин сам прочел предобеденную молитву, а потом потребовал лучшего вина и объявил, что заплатит за все угощение, сколько бы оно ни стоило. Тогда шериф и сказал:

— Да это какой-то беспутный сын, промотавший отцовские деньги. А теперь он собирается промотать и все остальное. — И он спросил у Робина. — Скажи, приятель, нет ли у тебя рогатого скота на продажу?

— Как же, добрый шериф! — ответил тот. — У меня есть сотня — две-три голов да еще и сто акров земли. Вы можете поглядеть, если хотите.

Шериф сел на доброго коня, взял 300 фунтов золотом и поехал с Робином смотреть его рогатый скот.

Когда они въехали под веселую сень зеленого леса, шериф сказал:

— Господь, спаси нас от человека, которого зовут Робином Гудом!

Немного подалее они увидели стадо оленей голов в 100, и Робин спросил:

— Как вам нравится мой рогатый скот, добрый шериф? Он упитан и красив на вид.

— Скажу тебе, приятель, я хотел бы быть подальше отсюда, потому что мне не нравится твое общество, — ответил шериф.

А Робин затрубил в свой рог, и его верные товарищи прибежали на зов. Они разостлали плащ и высыпали на него золото шерифа. Потом Робин вывел коня на дорогу и сказал:

— Поклонитесь от меня вашей жене, шериф, — и, смеясь, ушел восвояси...

А Джон-Малютка все еще жил у рыцаря. Он узнал, что в их округе будет состязание в стрельбе из лука, и решил принять в нем участие. Он ни разу не дал промаха, и гордый ноттингемский шериф, который стоял у мишеней, сказал:

— Клянусь, этот человек — лучший стрелок, какого я видел! Скажи мне, молодец, как твое имя и откуда ты родом?

— Я родился в Гольдернесе, — ответил Джон, — а зовут меня Рейнольд Гранлиф.

— Скажи, Рейнольд, хочешь жить у меня? Я буду платить тебе двадцать марок в год.

— У меня есть хозяин, он благородный рыцарь. Если вы получите у него отпуск для меня, тем лучше.

Рыцарь отпустил Джона на 12 месяцев, и шериф дал Джону отличную лошадь. А Джон решил, что он отплатит шерифу за все его скверные дела и будет ему самым худшим слугой, какого тот когда-либо имел.

Вот однажды шериф отправился на охоту, а Джона оставили дома, так как он лежал в постели, и о нем забыли. Когда все уеха-

ли, он встал и потребовал у дворецкого шерифа, чтобы ему подали обед. А дворецкий сказал, что Джон ничего не получит, пока не вернется хозяин. Джон поколотил дворецкого, взял себе еды и вина и сел обедать. Но у шерифа был повар, дюжий и статный молодец. Он выругал Джона и дал ему три здоровые оплеухи. Джону очень понравилась сила повара, и он предложил ему сразиться. Они долго и упорно бились с мечами в руках, и ни один не мог одолеть другого. И Джон-Малютка сказал:

— Клянусь богом, ты один из лучших вояк, каких я видал. Если бы ты мог также хорошо стрелять из лука, ты ушел бы со мной в зеленый лес. Дважды в год ты менял бы свое платье, а Робин Гуд каждый год платил бы тебе двадцать марок.

— Клади свой меч, — ответил повар, — и будем товарищами.

Они поели и выпили как следует, а потом пошли в кладовую шерифа, сломали железные замки и взяли все, что могли: серебряные сосуды, золотые слитки, чашки, ложки и триста фунтов деньгами. Потом они отправились в зеленый лес к Робину, и Робин с радостью принял повара и посмеялся над их проделкой. Джон решил сыграть с шерифом еще одну шутку. Он пять миль пробежал по лесу и встретил шерифа, который охотился со своей сворой. Он опустился на колени и приветствовал шерифа, а тот удивился и сказал:

— Рейнольд Гранлиф! Где ты был?

— Я был в лесу и видел дивные вещи. Я видел великолепного вожака-оленя, он был зеленого цвета, и с ним было семь дюжин оленей. У них такие острые рога, хозяин, что я побоялся их трогать.

— Я должен видеть это, клянусь богом, — сказал шериф.

— Идем со мной! — воскликнул Джон и побежал подле лошади шерифа.

Когда они добрались до Робина, Джон воскликнул:

— Вот олень-вожак!

— Горе тебе, Рейнольд Гранлиф, — воскликнул шериф, — ты предал меня!

— Стыдно вам, хозяин, — ответил Джон, — мне в вашем доме не дали обеда.

Шерифа усадили за стол, и когда он увидел свою серебряную посуду, от огорчения он не мог есть.

— Приободрись, шериф, — сказал Робин. — Ради Джона-Малютки я дарю тебе жизнь.

Когда наступил вечер, с шерифа сняли одежду, опушенную мехом, и башмаки и дали ему зеленый плащ. Все товарищи Робина спали в таких же плащах, а у шерифа всю ночь болели бока.

— Приободрись, шериф, — сказал утром Робин Гуд, — таков наш обычай в зеленом лесу.

— Это тяжелый обычай, — сказал шериф, — за все золото Англии я не хотел бы так жить.

— Ты пробудешь у меня двенадцать месяцев, — сказал Робин, — я научу тебя быть изгнанником, гордый шериф!

— Лучше, чем провести здесь еще одну ночь, — сказал шериф, — отруби мне голову, умоляю тебя, Робин. Я прошу тебя об этом. Но отпусти меня, во имя милосердия, и я буду твоим лучшим другом.

— Ты поклянешься мне на моем блестящем мече, что никогда не будешь подстерегать меня в засаде, а если повстречаешь кого из моих людей, днем или ночью, ты поможешь им, как сможешь.

Шериф дал эту клятву и поплелся домой, по горло сытый зеленым лесом.

* * *

Шериф жил себе в Ноттингеме, а Робин и его веселые товарищи были в зеленом лесу.

— Пойдем обедать, — сказал Джон-Малютка.

— Нет, — сказал Робин, — я боюсь, что святая дева сердится на меня. Ведь она не возвращает мне моих денег.

— Не сомневайтесь, хозяин, — сказал Джон, — я могу поклясться, что рыцарь правдив и верен.

— Возьми свой лук, и пусть Мэч и Скэйтлок идут с тобой. Идите на северную дорогу и ждите, не повстречаете ли нежданного гостя. Будет ли это гонец или какой-нибудь весельчак, я награжу его, если он беден.

Три отважных йомена отправились в дорогу. Они поглядели на восток, поглядели на запад, но никого не было видно. И вдруг они увидели двух бенедиктинских монахов на добрых конях. Их сопровождали 52 всадника и 7 вьючных лошадей. Все они остановились, когда йомены натянули луки и нацелились в них.

— Монах, ни шагу дальше! — закричал Джон. — Твоя жизнь в моих руках. Ты рассердил моего хозяина, он так долго постится!

— Кто твой хозяин? — спросил монах.

— Робин Гуд.

— Он известный вор! Я не слышал о нем ничего хорошего.

— Ты врешь, монах, это тебе попомнится! Он лесной йомен, и он зовет тебя обедать.

Свита монаха разбежалась, остались только паж и грум, которые повели вьючных лошадей.

— Хозяин, он грубиян! — сказал Джон.

— Что делать? — ответил Робин. — Он не умеет себя вести. Затрубив в рог, Робин созвал своих товарищей. Монаху дали умыться и утереться и усадили его за стол. Робин и Джон прислуживали ему.

— Будьте как дома, монах, — сказал Робин Гуд.

— Спасибо, сэр.

— Из какого вы аббатства? — спросил Робин.

— Из аббатства святой девы Марии. Я там в небольшом чине, я — эконом монастыря.

— Я в большом огорчении, — сказал Робин, — боюсь, что святая дева сердится на меня, она не шлет мне моих денег.

— Не сомневайтесь, хозяин, — молвил Джон, — могу поклясться, что монах привез деньги, ведь он из аббатства Святой девы.

— А она была поручителем за рыцаря, — сказал Робин.

— И если ты привез деньги, монах, дай их. А я помогу тебе потом, если ты будешь в нужде.

Перепуганный монах клялся и божился, что и не слыхал о таком поручительстве, но Робин сказал:

— Стыдно тебе, монах. Ты ее слуга, и она послала тебя уплатить мне деньги. Спасибо, что ты пришел сегодня — в день, назначенный для уплаты долга. Что в твоей поклаже?

— Двадцать марок.

— Если не больше, я не возьму ни пенса, а если тебе надо, дам тебе еще. Но если там больше, ты все потеряешь.

И он послал Джона посмотреть, что в поклаже. Джон разостлал плащ, высыпал все на него и увидел больше 800 фунтов. Он поспешил к Робину и сказал:

— Сэр, пресвятая дева удвоила плату!

— Что я говорил тебе, монах? Святая дева — самая честная женщина, какую можно найти. Во всей Англии не сыскать лучшего поручителя. Если ей понадобится Робин Гуд, она найдет в нем друга. Дайте выпить монаху прежде, чем поедет дальше.

— Нет, — сказал монах, — мое горе, что я попал сюда. В другом месте я пообедал бы дешевле.

— Привет вашему приору и аббату, — сказал Робин, — и пусть каждый день присылают кого-нибудь ко мне обедать.

В тот же день, еще засветло, рыцарь-должник приехал в Барнсдэйл.

— Прости, что я задержался, — сказал он. — Вот мой долг, и вот еще двадцать марок в придачу.

— Нет, святая дева прислала мне долг через своего эконома. Стыдно мне было бы брать его дважды. Но к чему эти луки?

— Это мой скромный подарок тебе.

— Джон, — сказал Робин, — пойди в мою казну и возьми четыреста фунтов, которые привез мне монах сверх своего долга.

И он отдал эти 400 фунтов рыцарю, чтобы тот купил себе добрую лошадь и упряжь и позолотил заново свои шпоры.

* * *

Ноттингемский шериф созвал всех лучших стрелков Севера на состязание в стрельбе.

— Готовьтесь, мои веселые товарищи! — сказал Робин. — Мы пойдем на состязание. Готовьтесь, и мы посмотрим, верен ли шериф своей клятве.

Когда они пришли в Ноттингем, Робин сказал:

— Только шестеро из вас будут стрелять со мной. Остальные будут охранять меня, чтобы нас не обманули.

Отлично стреляли и Джон-Малютка, и Джильберт, и Мэч, и Скэйтлок, и Рейнольд, но лучше всех стрелял Робин Гуд. Ему вручили приз — стрелу из белого серебра с наконечником и оперением из красного золота, во всей Англии не было равной. Робин с достоинством принял ее и направился было в свой лес. Но поднялись крики и послышались звуки рогов.

— Измена! — закричал Робин. — Горе тебе, гордый шериф! Вот твое гостеприимство! Ты мне другое обещал в зеленом лесу. Были бы мы сейчас там, ты оставил бы мне лучший залог, чем твою клятву.

Разбойники натянули луки, полетели стрелы. Люди шерифа побежали. Робин с товарищами направился к лесу. Джону-Малютке стрела попала в колено, и он сказал:

— Хозяин, во имя господа, за мою службу тебе не дай шерифу взять меня живым, если ты любишь меня. Возьми свой крепкий меч и отруби мне голову!

— Я не хочу потерять тебя за все золото Англии, — сказал Робин.

— Бог не допустит, чтобы ты расстался с нами, — сказал Мэч. И он взвалил Джона на спину и пробежал с ним милю. По временам он останавливался, клал Джона на траву и отстреливался от врагов.

На пути был прекрасный замок с двойным рвом и обнесенный стеной. Там жил Ричард из Ли, тот рыцарь, которому Робин ссудил деньги. И он впустил к себе Робина и его товарищей и приветствовал их. Он велел накрепко запереть ворота и никого не впускать.

— Клянусь святым Квентином, — сказал сэр Ричард, — сорок дней ты будешь жить, есть и пить у меня.

И вся компания с шумом и смехом отправилась к столу.

* * *

Гордый шериф собрал вооруженных людей, отправился к старшему шерифу, и они осадили замок рыцаря.

Гордый шериф закричал:

— Ты, изменник, рыцарь, ты укрываешь здесь врагов короля противно праву и закону!

— Сэр, — ответил рыцарь, — я даю все свои земли в залог своей правоты. Отправляйтесь, сэр, своим путем и не трогайте меня, пока вы не узнаете воли короля.

Получив этот ответ, шериф поехал в Лондон и рассказал королю о рыцаре и Робине Гуде и об отважных стрелках, что были такими добрыми и благородными.

— Он собирается оправдать свои деяния, свою помощь могущественным разбойникам, — говорил шериф, — он сам будет лордом и сведет на нет вашу власть на всем Севере.

— Я приеду в Ноттингем в ближайшие две недели, — сказал король. — И я захвачу Робина Гуда и этого рыцаря. Отправляйся домой, гордый шериф, и делай, как я велю. И собери хороших стрелков со всей округи.

Шериф уехал домой, а тем временем Робин Гуд вернулся в свой зеленый лес. Джон-Малютка исцелился от своей раны и вернулся к Робину. Робин Гуд гулял в зеленом лесу, а шериф Ноттингема был в большом гневе: ведь он упустил свою добычу. Тогда он стал подстерегать рыцаря Ричарда из Ли и схватил его, когда тот ехал на соколиную охоту. Его связали по рукам и ногам и повезли в Ноттингем. А прекрасная супруга рыцаря села на свою добрую лошадь и поехала в зеленый лес. Там она нашла Робина и его славных товарищей.

— Спаси, бог, тебя и всю твою компанию, Робин. Ради святой девы окажи мне милость, не дай моему супругу быть позорно убитым. Гордый шериф схватил его, они еще и трех миль не прошли по дороге.

Как безумный, вскочил Робин и закричал:

— Готовьтесь, мои веселые товарищи!

Скоро были готовы их добрые луки, и через изгороди и рвы поспешили они в Ноттингем. Там на улице они встретили шерифа.

— Стой, гордый шериф, — сказал Робин, — стой и ответь мне. Я хотел бы услышать от тебя вести о нашем короле. Все эти семь лет я не бегал так быстро, и это не к добру для тебя, гордый шериф.

И он согнул свой добрый лук и выстрелил в шерифа. Шериф упал на землю, и, прежде чем он успел подняться, Робин отрубил ему голову своим блестящим мечом, а его люди вытащили свои мечи и уложили людей шерифа одного за другим. Робин освободил рыцаря от пут, дал ему лук и сказал:

— Оставь своего коня, учись бегать, ты пойдешь со мной в зеленый лес по мхам и болотам, ты будешь с нами, пока я не получу прощения от Эдуарда, нашего короля.

* * *

Король прибыл в Ноттингем, чтобы схватить благородного рыцаря и Робина Гуда. Он расспросил жителей графства о них и, узнав, как было дело, захватил все земли рыцаря. Когда король объезжал Ланкашир, он попал в Племптонский парк. Обычно там водилось много дичи, а ему едва довелось увидеть одного оленя. Король сильно разгневался и сказал:

— Клянусь троицей, хотел бы я видеть этого Робина Гуда! А тот, кто принесет мне голову рыцаря, получит все его земли в вечное владение!

Но один старый лорд сказал:

— Мой законный повелитель-король, я одно вам скажу — ни один человек в этой стране не может владеть этой землей, пока Робин Гуд способен ездить, ходить или держать лук в руках. Не давайте эту землю тому, кому желаете добра.

Полгода прожил король в Ноттингеме, не зная, где Робин Гуд. А Робин гулял по холмам и долинам и стрелял королевскую дичь.

И вот один лесничий дал королю совет одеться в монашеское платье и идти в лес искать Робина Гуда. Король взял с собой 5 рыцарей, они надели серые монашеские рясы, и лесничий указывал им дорогу. В лесу они повстречали Робина и его стрелков. Робин взял под уздцы королевскую лошадь и сказал:

— Сэр аббат, погодите немного. — Мы — йомены этого леса. Мы живем королевской дичиной, других доходов у нас нет. А у вас есть церкви и ренты и вдоволь золота. Поделитесь с нами вашим достатком!

А король ответил:

— Здесь, в лесу, у меня только сорок фунтов. Я две недели провел в Ноттингеме у нашего короля и много денег потратил на знатных вельмож. И у меня только сорок фунтов, но если бы я имел сто, я дал бы их тебе.

Робин взял 40 фунтов и разделил поровну. Половину он дал своим товарищам и пожелал им повеселиться, а другую половину возвратил королю, сказав:

— Сэр, возьмите это на расходы, мы встретимся в другой раз.

— Благодарю, — молвил король. — Знай, что тебя приветствует наш король Эдуард, посылает тебе свою печать и просит тебя приехать в Ноттингем попировать.

Робин опустился на колено и взял печать. Он пригласил гостя, в котором не узнал короля, отобедать с ними в ознаменование радостного дня и повел его за руку. Много дичины было убито и приготовлено.

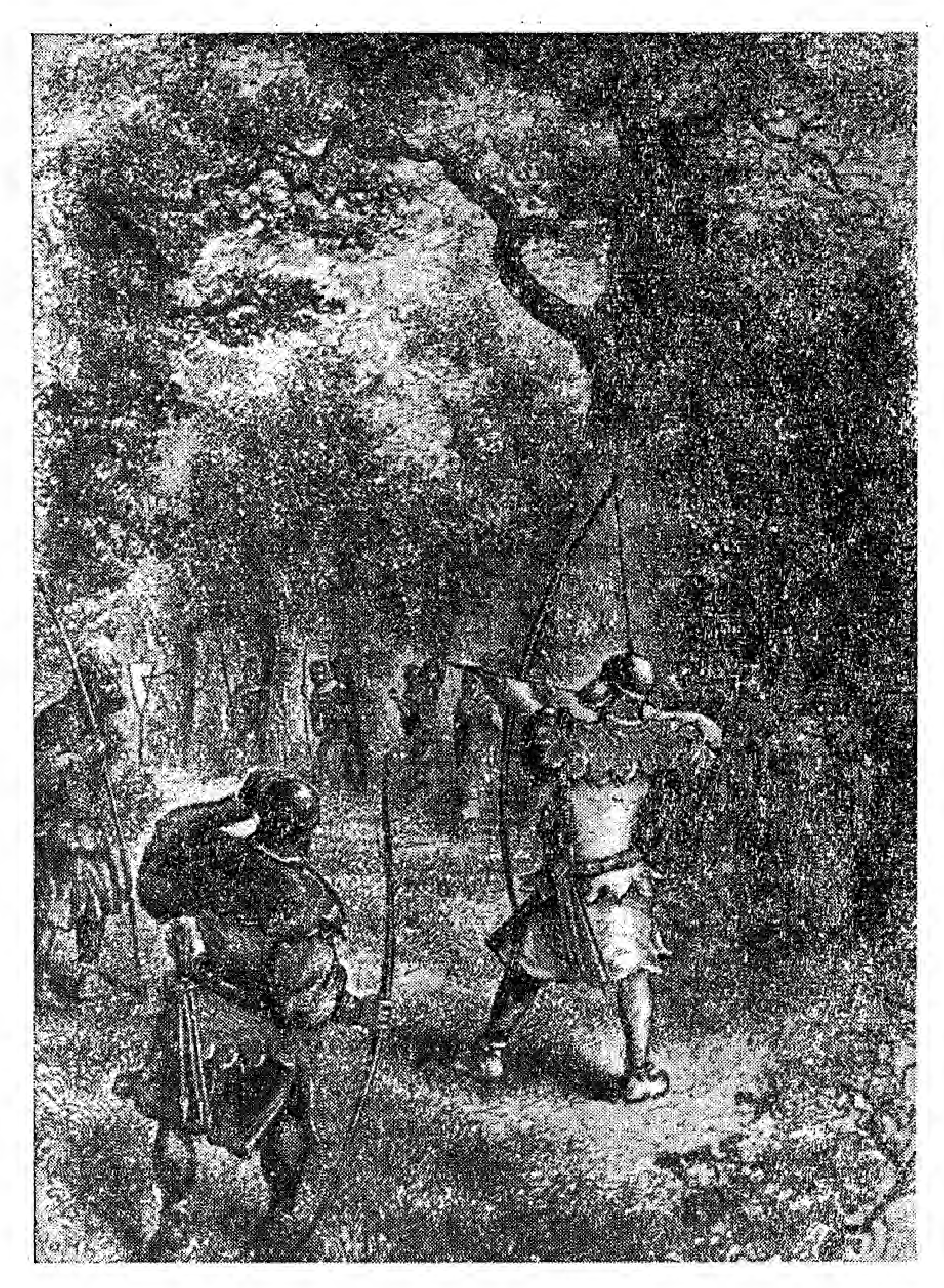
Робин взял большой рог и громко затрубил. Семь дюжин бравых молодцов показались на дороге. Все они преклонили колена перед Робином, и король сказал себе:

«Клянусь святым Августином, его люди более послушны ему, чем мои — мне».

Робин и Джон прислуживали королю за столом. Он ел жирную оленину и белый хлеб, пил доброе красное вино и коричневый эль.

— Расскажи королю, когда увидишь его, какую жизнь мы здесь ведем, — сказал Робин.

И вдруг все быстро повскакали из-за стола и схватили свои луки. Король очень испугался и думал, что его убьют. Но они установили два шеста, протянули между ними гирлянды роз и стали



Робин Гуд поражает цель.

стрелять в цель. Кто промахивался, получал удар стрелой по голове. И вот сам Робин промахнулся.

— Получайте вашу плату, хозяин, — сказал Джильберт.

— Если так, — сказал Робин, — сэр аббат, возьмите мою стрелу, услужите мне!

— Это нейдет к моему сану, — ответил король, — и я не хочу ударять доброго йомена.

— Бей смелее, — сказал Робин.

И король нанес Робину такой удар, что тот чуть не свалился.

— Ты дюжий монах, клянусь богом, — сказал Робин. — Ты должен хорошо стрелять.

Так встретились король и Робин Гуд. Робин пристально посмотрел в лицо королю, и сэр Ричард тоже, и они узнали его и опустились на колени. За ним последовали все изгнанники.

— Милорд король Англии, — сказал Робин, — теперь я вас хорошо знаю. Благодарю вас за вашу милость и доброту ко мне и к моим людям. Прошу прощения для них и для себя.

— Да, — ответил король, — я дарую тебе прощение, если ты и твои товарищи оставите лес и придете ко мне жить при моем дворе.

— Я приеду к вам со своими людьми. Если же мне не понравится там, я снова вернусь в зеленый лес и буду стрелять красного зверя, как я привык.

* * *

Робин одел короля и его спутников в такие же зеленые платья, какие носили изгнанники, и все вместе отправились в Ноттингем. Король и Робин ехали рядом. По дороге они развлекались стрельбой, а промахнувшийся получал удар. И много увесистых ударов получил король от Робина Гуда.

А когда жители Ноттингема увидели столько зеленых одежд, они решили, что король убит и что люди Робина Гуда напали на город. Все в смятении бросились бежать, но вскоре все объяснилось. Король вернул сэру Ричарду все его земли.

Больше года прожил Робин Гуд при дворе и истратил все свои деньги. Все его люди разбежались, только Джон-Малютка и Скэйтлок остались с ним.

— Когда-то я был лучшим стрелком в Англии, — сказал себе Робин. — Если я дольше останусь с королем, тоска убьет меня.

И Робин загрустил и пошел к королю.

— Милорд король Англии, — сказал он, — даруй мне милость. Я соорудил часовню в Барнсдэйле во имя Марии Магдалины. Вот уже семь ночей я не сплю и семь дней не ем и не пью. Я дал обет пойти туда покаяться.

— Если так, то иди, — сказал король. — Я даю тебе отпуск на семь дней, дольше не пропадай.

И Робин отправился в зеленый лес. Он пришел туда ясным утром и услышал веселое пение птиц.

— Давно был я здесь в последний раз, — сказал Робин. — Мне хочется пострелять красного зверя.

Он убил большого оленя и затрубил в свой рог, хорошо знакомый всем обитателям леса. И тут же семь отважных йоменов собрались в ряд. Сняв шляпы и опустившись на колени, они приветствовали его. Робин прожил в зеленом лесу еще двадцать два года, и никакой страх перед королем не мог заставить его уйти из леса.

* * *

Славное имя легендарного разбойника Робина Гуда в течение столетий пользовалось исключительной популярностью.

Он и его товарищи, вольные стрелки, крестьяне, являются любимыми героями многочисленных народных баллад, возникших во время средневековья, но не забытых и в позднейшие века.

В XV веке в Англии из года в год устраивались традиционные «майские игры», посвящаемые Робину Гуду, благородными поступками и подвигами которого восторгалась молодежь.

В балладах о Робине Гуде упоминается имя короля Эдуарда. Три первых Эдуарда, которых знает английская история, царствовали на протяжении XIII—XIV веков. Можно поэтому предполагать, что баллады о храбром разбойнике начали складываться именно в этот период. Долгое время баллады передавались из уст в уста, не будучи записанными, и только в XV столетии были сделаны первые записи этих баллад. Рассказы о Робине Гуде производили огромное впечатление на ряд поколений, и популярность этого героя народной легенды была столь велика, что имя его оказалось внесенным даже в хроники (летописи) наряду с именами реальных исторических лиц. Некоторые хроники XV и XVI веков относят время жизни Робина Гуда к XII столетию, ко времени короля Ричарда I Львиное сердце (1189—1199). Этими данными воспользовался и Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго».

Образ Робина Гуда вдохновлял и писателей начала нового времени. В XVII веке вышла в свет книга под громоздким заглавием: «Благородное рождение и галантные похождения знаменитого разбойника Робина Гуда; правдивая повесть о его многих и веселых необычайных проделках, в двенадцати частях, собранная знающим антикварием».

Так, автор XVII столетия, основываясь на материале баллад, создал роман о Робине Гуде, сочинив ряд новых похождений и приключений, превратив своего героя-разбойника в дворянина. Мысль о «благородном» происхождении Робина Гуда еще до этого была высказана в одной хронике XVI века. В подобном предположении нет ничего удивительного: хронист XVI столетия и писатель XVII века в угоду вкусам и представлениям дворянского общества

желали изобразить героя народной легенды представителем «благородного» сословия, разбойником-дворянином.

Но старинные баллады, в которых ранее всего запечатлелся образ Робина Гуда, опровергают эту позднейшую версию, ибо Робин Гуд в этих балладах показан как подлинный йомен, браконьер[1] и «outlaw», то есть как отщепенец — человек, стоящий вне закона. И славные товарищи Робина Гуда, так же как и он сам, вольные йомены.

Вопрос о том, существовал ли в действительности Робин Гуд, остается без ответа. Но важен не вопрос о существовании Робина Гуда как реального человека. Важно то, что Робин Гуд английской баллады воплощает черты, дорогие сердцу народа, и именно поэтому стал он на долгое время любимым народным героем, героем простых людей.

Образ благородного разбойника, непреклонного врага народных угнетателей, противника богатых и горячего друга угнетенных, существовал в поэзии многих народов. Горький писал, что «во все времена у всех народов разбойники пользовались особенным сердечным вниманием и какой-то странной детской любовью».

Это внимание и эта любовь понятны. Ведь в поэтическом народном сказании эти разбойники восстанавливали попранную справедливость, помогали бедным и боролись с ненавистными носителями угнетения — судьями, шерифами и алчными епископами и аббатами. Во времена средневековья много было браконьеров и людей, стоящих вне закона. К подобным людям народ относился сочувственно, и неслучайно народная фантазия наделяла этих людей храбростью, великодушием и чувством справедливости.

В этих людях — отщепенцах феодального общества, изгнанниках, скитальцах, разбойниках, не выпускающих оружия из рук, — народ видел выразителей протеста, обличителей неправды, смелых борцов за справедливость.

В феодальных эпических поэмах героями выступали короли, рыцари. Они являлись идеальными героями, в них воплощались достоинства и добродетели господствующего сословия: воинская храбрость и феодальная честь. Этих героев не наделяли слабостями, которые приписывались простым людям. Ничего комического не было в их изображении. В отличие от этих эпических героев феодального класса, надменных и не очень правдоподобных, Робин Гуд — обычный человек с большим сердцем и трезвым умом. Он любит шутку, и в его проделках подчас проявляется простодушие и почти ребяческое озорство. Но вместе с тем он полон отваги, и это не только отвага бесстрашного воина. Это и отвага мужественного борца, непримиримого противника угнетателей народа. Робин Гуд ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с беспощадными к просто-

---

[1] *Браконьер* — человек, который охотится в лесу, вопреки запретам закона.

му человеку шерифом и судьей, с жадным аббатом. Чувство здорового народного юмора неизменно сопутствует Робину Гуду, он проявляет его и в словах и поступках, и прежде чем наказать врага, он любит над ним хорошенько подшутить, уличить его в обмане и лицемерии. Шутки Робина Гуда поучительны: глумясь над жадностью аббата или чиновной спесью шерифа, он показывает этих людей в их настоящем виде, делает их недостатки мишенью для насмешки.

Юмор Робина Гуда затрагивает не только шерифов да аббатов. Народный герой дерзает непочтительно говорить даже о религии. Его смелые шутки задевают самого господа и пресвятую деву, именем которой прикрывались алчные монахи.

Помещенные выше строки, переданные в прозаическом пересказе, представляют собой часть старинной легенды. Она слагалась из многих баллад, значительная часть которых до нас, к сожалению, не дошла. По языку эти баллады были произведениями чисто народными. После нормандского завоевания (1066) в Англии распространенным стал французский язык как язык официальных актов и переписки. Церковь пользовалась недоступным народу латинским языком. Только в XIV веке появляются новые произведения, написанные на понятном народу языке. Но самое появление английской литературы стало возможным потому, что в те столетия, когда высшие сословия пренебрегали языком народа, народное творчество не заглохло, а проявлялось во множестве сказаний, стихов и песен, до нас большей частью не дошедших. Осколком этого подлинного народного творчества и являются замечательные баллады о Робине Гуде, сыгравшие свою роль и в росте народного сознания и в развитии языка, таком развитии, без которого трудно себе представить появление позднейшей английской литературы.

Таким образом, баллады были произведениями народными по языку, по духу, по социальным симпатиям, пронизывающим все их содержание. Эти социальные симпатии сквозят в каждой строчке, они проявляются в сочувствии к бедным и к неудачникам, которое так характерно для всех легенд о Робине Гуде.

Товарищество людей, соединившихся в борьбе против несправедливости, больше всего ценит свободу. Привольную жизнь в зеленом лесу Робин Гуд и его друзья предпочитают королевским палатам, где душно вольнолюбивому йомену.

То осуждение богатой церкви и погрязших в роскоши епископов и монахов, которое мы встречаем в балладах, выражает воззрения народа и соответствует взглядам самых передовых людей английского средневековья. В XIV веке Джон Виклеф выступил с резкой критикой церкви и с требованием, чтобы церковь отказалась от своих богатств, от роскоши и обирательства верующих. Врагом епископов выступил Джон Болл, ненавидевший духовных и светских феодалов, ставший провозвестником вскоре грянувшей бури крестьянского восстания Уота Тайлера.

В балладах о Робине Гуде обращает на себя внимание еще одна черта: сравнительно снисходительное, терпимое отношение к королю, которого как бы не считают ответственным за все насилия, творимые судьями и шерифами.

Простые люди сознавали, что в лице шерифа или судьи их угнетает государство, которое служит феодалам. Однако при этом они верили, что король непричастен ни к повседневному угнетению, ни к каждодневным обидам, выпадающим на долю деревенского человека.

Эта иллюзия, это ложное представление о будто бы добром короле, не одобряющем гонений и несправедливых порядков, сложилось не случайно. В средние века король ограничивал своеволие баронов и, опираясь на поддержку горожан и рыцарей, заставлял их себе повиноваться. В начале XII века, во время борьбы за престол Стефана и Матильды (1135—1154), в Англии господствовала безудержная кровавая феодальная анархия. Вытаптывали поля, уничтожали скот, пустели села... Приход к власти нового короля Генриха II (1154—1189) положил конец бесчинствам, и когда в 1173—1174 годы бароны попытались снова восстать, крестьяне-ополченцы оружием своим помогли королю победить.

Крестьянам казалось, что король, обуздывающий феодалов, заодно с народом. Им было невдомек, что этот король, наводя в стране «королевский порядок», вовсе не является противником феодальных порядков. Все насилия и несправедливости крестьяне склонны приписывать злой воле королевских чиновников, но отнюдь не злой воле короля. Это обманчивое представление о «справедливом короле» упорно держалось, несмотря на жестокий смысл многих королевских законов. Между тем еще в XI веке по королевскому повелению введены были «лесные законы», каравшие смертью того, кто застрелит оленя в королевском лесу. Обширные лесные пространства стали, таким образом, запретными для крестьян-охотников.

Устойчивость иллюзий, характерных в истории народных движений многих стран, объяснялась и тем, что деревенские люди не сталкивались непосредственно с королем, который был где-то далеко и высоко, а соприкасались с шерифами и судьями, глухими к народной нужде и беде. И чем настойчивее все эти чиновники угнетали и вымогали, преследовали и карали, тем упорнее их считали нарушителями воли короля, будто бы не ведающего обо всех этих злоупотреблениях.

Понадобились века, чтобы в сознании народа утвердилось правильное понимание роли короля, истинного представителя господствующего класса, действовавшего в его интересах даже тогда, когда король боролся со своеволием отдельных феодалов. И когда народ прозрел, тогда пали под ударом народного меча головы коронованных тиранов.

ТРИ КОРОЛЯ

(из истории первых Капетингов)

Ночное происшествие

Пыльны и извилисты дороги Иль-де-Франса — наследственных земель французского короля. Трудно продвигаться по ним большому и тяжело нагруженному каравану. Но их не минуешь, когда направляешься с товарами из далекой Италии в графство Шампань, на знаменитую Шампанскую ярмарку, на которую съедутся со своими товарами продавцы и покупатели из Германии, Нидерландов, Франции, Италии и других стран.

По одной из таких дорог шел караван итальянских купцов, спешивших ко дню открытия ярмарки. Вместе с ним шли попутчики, ради безопасности примкнувшие к каравану.

Благополучно пройдена бо́льшая часть пути. С трудом преодолены дороги Южной Франции, позади осталась многоводная Луара, миновали значительную часть владений короля. Еще немного, и будет достигнута Сена, за которой цель путешествия — Шампань.

Близился вечер. Всадникам приходилось сдерживать коней, так как рядом усталые вьючные мулы едва передвигали ноги, несмотря на досадливые крики и удары плетей погонщиков. И не мудрено! Взмокла шерсть, и высоко вздымались бока тяжело дышавших животных. На каждом из них справа и слева, уравновешивая друг друга, висели туго стянутые тюки.

С опаской посматривали заморские купцы на заходившее солнце. Было ясно, что засветло им уже не добраться до намеченного у Сены привала и надвигавшаяся ночь застигнет их в пути.

Поняв это, старый седоусый купец велел больше не понукать и без того утомленных мулов. Движение каравана замедлилось. С каждой минутой становилось все темнее. Впереди показался лес. Начальник каравана выслал вперед двух всадников, а двум другим поручил замыкать караван сзади. Трое остальных двигались по обочине, поневоле останавливаясь там, где суживалась и без того тесная дорога.

Небо заволокли тучи. Стемнело, и трудно было что-либо различить на расстоянии десяти шагов. Вскоре путников обступил неприветливый, темный лес.

Вслушиваясь в звуки ночи, едущие тревожно улавливали гул ветра, шелест листвы, голоса ночных птиц, легкий посвист...



Купеческий караван под вооруженной охраной.

Внезапно тишина сменилась громкими возгласами, звоном железа, ржанием коней. Мул, шедший впереди, сраженный стрелой, рухнул на дорогу. Вынырнувшие из-за деревьев люди хватали мулов за поводья, тянули их в лес, обрушивая дубинки на головы растерявшихся погонщиков. Купцов, удаленных друг от друга, окружили дюжие воины в кольчугах. Грозно размахивая мечами, они стаскивали их с коней. Неожиданность и быстрота нападения, темнота, разобщенность защитников каравана — все это предрешило исход схватки.

Связанных итальянских купцов протащили через кустарник на опушку леса, где уже беспорядочной кучей громоздились снятые с мулов тюки.

— Куда вы нас тащите? — кричал негодующе старый купец. — Сам папа дал нам охранную грамоту, вы за все ответите, я буду жаловаться королю!

Прозвучавший тут же ответ не сразу дошел до ошеломленного старого купца. Он гласил:

— Да вот он сам, тут король!..

В неясном свете выглянувшей из-за туч луны старый купец и его товарищи увидели сидящего на пне необычайно тучного человека и услышали, как воин в кольчуге докладывал ему:

— Всего взято 24 тюка хлопковых и шелковых тканей, да 6 корзин с пряностями, да еще кошель с казной, а в ней — то, что высыпано здесь на плащ...

Старый купец хотел было вмешаться, но тут он почувствовал, что окончательно потерял дар речи... В следующую минуту раздался голос короля, показавшийся слишком тонким и пискливым для обладателя такой туши.

— Нет, Жерар, — говорил король, — половину казны ты отсыпь итальянским гостям. Верни им половину тюков — для нашего двора хватит второй половины, ведь товаров у них много, и пусть они едут на ярмарку. Нельзя допустить, чтобы они лишились всего. Это было бы отсутствием гостеприимства с нашей стороны. Кроме того, позаботься возвратить им коней, да и мулов тоже... Надеюсь, вы никого из гостей не поранили?.. Я ведь наказывал вам быть осмотрительными. А теперь доставь их всех до ближайшей мельницы, обеспечь им ночлег да накажи мельнику, чтобы он поутру хорошенько накормил королевских гостей и попотчевал их заготовленным для нас добрым вином. Затем пусть проводит ближним путем до Сены, перейдя которую гости попадут в Шампань, а там уже доберутся и до ярмарки.

Отдав это приказание, король, кряхтя, поднялся со своего места. Медленно переваливаясь, он заковылял и тут же скрылся за плотно сомкнувшейся стеной густого кустарника. Пока слуги и приближенные выполняли полученное распоряжение, освобожденные от пут купцы понемногу приходили в себя. Опомнившись от пережитого потрясения, они выражали свое негодование бессвязными возгласами возмущения.

— Разве это король?! Что это за страж порядка, ежели он сам нас обобрал?! Это король — разбойник!

Примкнувший в дороге к каравану и ехавший вместе с купцами капеллан[1] из Орлеана слушал эти нарекания с явным неудовольствием. Он попытался, как умел, успокоить своих разгневанных спутников.

— Сеньор Иль-де-Франса и наш государь — слабый и очень бедный король! Все дело в том, что он король только по названию. Некоторые из его вассалов располагают куда бóльшими владениями и гораздо большей силой, чем он... Чтобы стать настоящим королем, нужно много денег на содержание воинов, на выкуп пленных, на войну с непокорными вассалами, на подкуп нужных людей.

Доходы небольшого Иль-де-Франса никак не покрывают этих затрат... Вот и приходится королю вооруженной рукой раздобывать недостающее!.. И то хорошо, что король уважил вас и папу римского, забрал не все, а то ведь недавно королевские люди куда круче обошлись с провансальскими купцами... Возблагодарим же господа, — елейно продолжал капеллан, — за то, что после происшедшей потасовки все мы целы, за то, что вы не с пустыми руками

[1] *Капеллан* — католический священник домашней церкви при замке знатного сеньора или короля.

прибудете на Шампанскую ярмарку и там, по милости божьей, продадите товары с таким барышом, который покроет понесенный ущерб...

Тем временем королевские люди делили купеческое добро. Ту его часть, которая подлежала возврату, они снова навьючивали на мулов и выводили их одного за другим на дорогу.

Беседа купцов с орлеанским капелланом поневоле прервалась. Не удостаивая его ответом, купцы спешили выбраться на дорогу и посмотреть на то, что им оставлено милостью короля.

Вскоре провожатый из числа королевских воинов повел караван к назначенному королем месту отдыха.

Коротко о Филиппе I, его титуле, его власти и его владении

Тучный человек, оказавший итальянским купцам столь странное гостеприимство, был и в самом деле король Франции Филипп I, вступивший на престол в 1060 году. Он был сыном энергичного и смелого Генриха I и Анны Ярославны, дочери великого киевского князя Ярослава Мудрого.

Однако ни отцовская энергия, ни отблеск славного дедовского имени не обеспечили Филиппу I ни сильной власти, ни полной казны, ни послушания тех, кого он считал своими вассалами.

Его собственное наследственное владение Иль-де-Франс (или королевский домен) лежало между средними течениями Луары и Сены, между Парижем и Орлеаном.

Если взглянуть на карту тогдашней Франции, домен короля покажется совсем маленьким в сравнении с обступившими его со всех сторон соседними герцогствами и графствами: Бургундией, Шампанью, Бретанью, Нормандией, Аквитанией. Этот домен напоминал утлый кораблик, сжатый скалами или затертый на суровом севере могучими ледяными айсбергами.

Король Франции как будто стоял выше всех герцогов, графов и баронов, но в то же время он был гораздо слабее многих из них, настолько же слабее, насколько его домен был меньше владений Аквитанского или другого герцога. Ведь чем крупнее владение феодала, тем больше оно дает хлеба, вина, мяса, птицы и, стало быть, тем большее число воинов можно снарядить, прокормить и держать под своим знаменем.

Как же случилось, что королем Франции оказался небогатый и слабый владетель Иль-де-Франса, а не кто-либо из наиболее могущественных герцогов?..

Все дело в том, что ни один из них не желал подчиняться другому. Если бы это целиком зависело от воли гордых сеньоров, они бы и вовсе обошлись без всякого короля!..

Но в X веке над всей Францией нависла беда разорительных

норманнских набегов. В ту пору во всех церквах страны звучала молитва: «Боже, будь милостив и избавь нас от нашествия норманнов». На своих плоскодонных остроносых ладьях воинственные чужеземцы поднимались вверх по течению Сены и Луары, выводили на берег коней и нежданно-негаданно обрушивались на какую-нибудь местность, удаленную и от моря и от реки и застигнутую врасплох внезапностью вражеского натиска.

Дым пожаров, трупы сожженных, стоны раненых, слезы овдовевших и осиротевших, угнанный скот, опустевшие закрома — таковы были мрачные последствия норманнских набегов.

Десятки лет храбро и упорно отстаивали свою землю разрозненные отряды, но было ясно как день, что обезопасить Францию можно лишь объединенными силами всех феодалов. Тогда-то и понадобилось, чтобы король возглавил эти силы в общем деле защиты страны. В X веке вместо обедневших и слабых потомков Карла Великого, все еще сохранявших право на престол, знатные сеньоры стали выбирать воинственных и отважных графов Парижских. Эти графы из рода Робертинов прославились успешной защитой Парижа, Орлеана и других своих владений от натиска норманнов и нападений феодалов, жадных до чужих земель.

Но выбирая королями Робертинов, сеньоры видели в них не только желанных полководцев. Малые владения небогатых Робертинов не внушали своевольным феодалам никаких опасений.

И вот в 987 году выбор пал на одного из Робертинов — Гуго Капета. Сам Гуго Капет унаследовал от своих храбрых предков Иль-де-Франс, размеры которого, как мы уже знаем, были совсем невелики и не тревожили гордых сеньоров, вручавших власть первому Капетингу.

Впрочем, избравшие Гуго Капета графы и герцоги были предусмотрительны. Они вовсе не желали, чтобы королевская корона Франции была наследственной. Вручая ее Гуго Капету, они постановили, что всякий новый король будет вступать на престол, только будучи избранным феодалами Франции.

Вопреки этому постановлению, потомки Гуго Капета, напротив, прилагали все усилия, чтобы любыми средствами закрепить за своим родом королевскую корону. С этой целью каждый король делал при жизни своим соправителем собственного сына, добиваясь такой возможности любыми ухищрениями и просьбами.

Таким путем вразрез с волей феодалов первым Капетингам удавалось сменять друг друга на французском престоле.

Но чем более высоким считалось звание короля, тем более жалким выглядело действительное положение первых Капетингов, носивших это звание.

Феодальное владение позволяло его обладателю вольготно жить за счет своих крепостных, которые несли барщину на полях сеньора, давали ему оброки, пошлины и другие сборы, оплачивали

суд, творимый сеньорами. Вести войну мог, как мы знаем, лишь тот, кто имел феодальное владение.

При этом считалось, что каждый, даже самый могущественный, феодал свое владение «держит от короля», так как король признавался сеньором всех сеньоров, властителем всех земель страны.

Считалось, что перед королем как высшим главой должны почтительно склоняться все облагодетельствованные им феодалы, что в благодарность за полученное от короля «держание» они обязаны нести ратную службу по его приказу и под королевским знаменем, а в знак повиновения должны приносить королю как верховному сеньору присягу вассального подчинения.

Так считалось... Но было ли так? Могло ли так быть во Франции XI века, где гордые и богатые феодалы смотрели на своего короля как на бедного, второстепенного властителя, поставленного на престол по их воле и от них зависящего?..

Когда однажды один из надменных сеньоров явился к королю для присяги и не подумал склониться перед ним, Филипп спросил его:

— Кто тебя сделал графом?

— А вас кто сделал королем? — ответил граф вопросом на вопрос.

Этот дошедший до нас разговор показывает, какой слабой была власть первых Капетингов, в том числе и Филиппа I, с которым нас познакомил случай на большой дороге.

И действительно, герцоги и графы знали, что король не может диктовать своей воли более могущественным вассалам.

Не только герцоги и графы, но и все остальные вассалы короля в то время вели себя как независимые властители, забывающие о своих обязанностях по отношению к королю.

При Филиппе I они совершенно не считались с королевской властью. Каждый из них был самостоятельным правителем своего владения. Герцоги и графы прерывали связь с королем: не являлись ко двору, самостоятельно решали все судебные вопросы и часто воевали друг с другом, не прибегая к посредничеству короля.

Феодалы были непрочь посмеяться над Филиппом I. Они не прощали ему пренебрежения к воинственным затеям вечно враждовавших друг с другом сеньоров. Поэтому предметом постоянных насмешек являлся далеко не рыцарский вид короля, его грузная, неповоротливая фигура. Они охотно распространяли молву о лени, обжорстве Филиппа I.

Однако Филипп I был далеко не лежебока!.. Он ясно понимал, что успех ожидает его не на путях преждевременно вызванной большой войны со слишком многочисленными своевольными феодалами. Он больше полагался на хитрость, постоянно думал о способах пополнения казны и прежде всего о том, чтобы навести хоть какой-то порядок в собственном домене, где он еще не чувствовал себя хозяином. Независимы были даже те вассалы, которые жили

в самом королевском домене — наследственных землях Капетингов, расположенных в бассейне средней Сены и средней Луары.

Проживавшие там средние и мелкие сеньоры имели земли и должности, полученные непосредственно от короля, по отношению к которому они должны были нести вассальную службу: входить в его свиту и выполнять все его поручения. Они должны были составлять ту рыцарскую силу, которую король набирал и возглавлял в собственном фамильном домене. На деле же многие из них не только не несли никакой службы королю, но даже дерзко нападали на его владения, а часто и на него самого.

Замок Монлери

Филипп I в собственных землях часто подвергался опасности быть захваченным в плен, из которого мог освободиться только за выкуп. При проезде через Лан, например, у короля неоднократно отнимали лошадей и били его служителей. А когда он перебирался из Парижа в Орлеан, то много терпел от Гвидона Трусселя, владельца замка Монлери, мимо которого вынужден был проезжать. Этот вассал попросту не давал проезда королю, который не мог попасть на юг своего домена, не уплатив выкупа.

Филиппу I удалось справиться с Гвидоном лишь тогда, когда тот отправился в крестовый поход и оттуда позорно сбежал. Такой поступок оттолкнул от Гвидона всех его вассалов. Между тем у него была единственная дочь, за участь которой он очень беспокоился, и Филипп I навязал попавшему в трудное положение Гвидону брак его дочери со своим младшим сыном. Свадьба состоялась, и замок Монлери попал в руки младшего Капетинга, который обменял его на другой замок, принадлежавший его старшему брату, наследнику престола Людовику.

Только таким путем Филиппу I удалось овладеть мятежным гнездом Монлери. Радость по этому поводу была огромная.

Приближенный короля аббат Сугерий позднее рассказывал[1], что сам слышал, как Филипп I говорил сыну незадолго до своей смерти:

— Сын мой, сохрани этот замок. Не дай разрушиться его башне. Пусть она будет стоять как память о зле и насилиях, которые исходили из ее стен. Помни о тех унижениях и оскорблениях, из-за которых я преждевременно состарился. Пусть эта башня напоминает тебе, что врагов короля надо ненавидеть лютой ненавистью.

Нуждаясь в средствах, Филипп I нападал не только на проезжих купцов, но грабил и крестьян. Король ничем не брезговал и отнимал добро у всех, кто не мог оказать сопротивления. Он старался использовать споры феодалов, когда они обращались к нему,

---

[1] Об аббате Сугерии см. ниже, стр. 171 и след.

и, пренебрегая справедливостью, становился на сторону того, кто больше платил королю.

В первые годы царствования Филиппу I удалось несколько расширить королевский домен. Там, где можно было захватить и присоединить к королевскому домену какое-нибудь феодальное владение, он не упускал ни одной возможности. Подобным захватам способствовали семейные ссоры и раздоры феодалов. Им благоприятствовала и та обстановка, которая создавалась во Франции, когда многие феодалы стали собираться в первый крестовый поход. Казна Филиппа I была еще слишком скудной, и это мешало ему направить в крестовый поход собственные королевские силы. Но и в этой скромной казне уже нашлись деньги для того, чтобы извлечь выгоду из торопливости тех феодалов, которые хотели поскорее да подешевле продать кое-какие земли на родине, рассчитывая на будущие владения, ожидающие их после победы за морем.

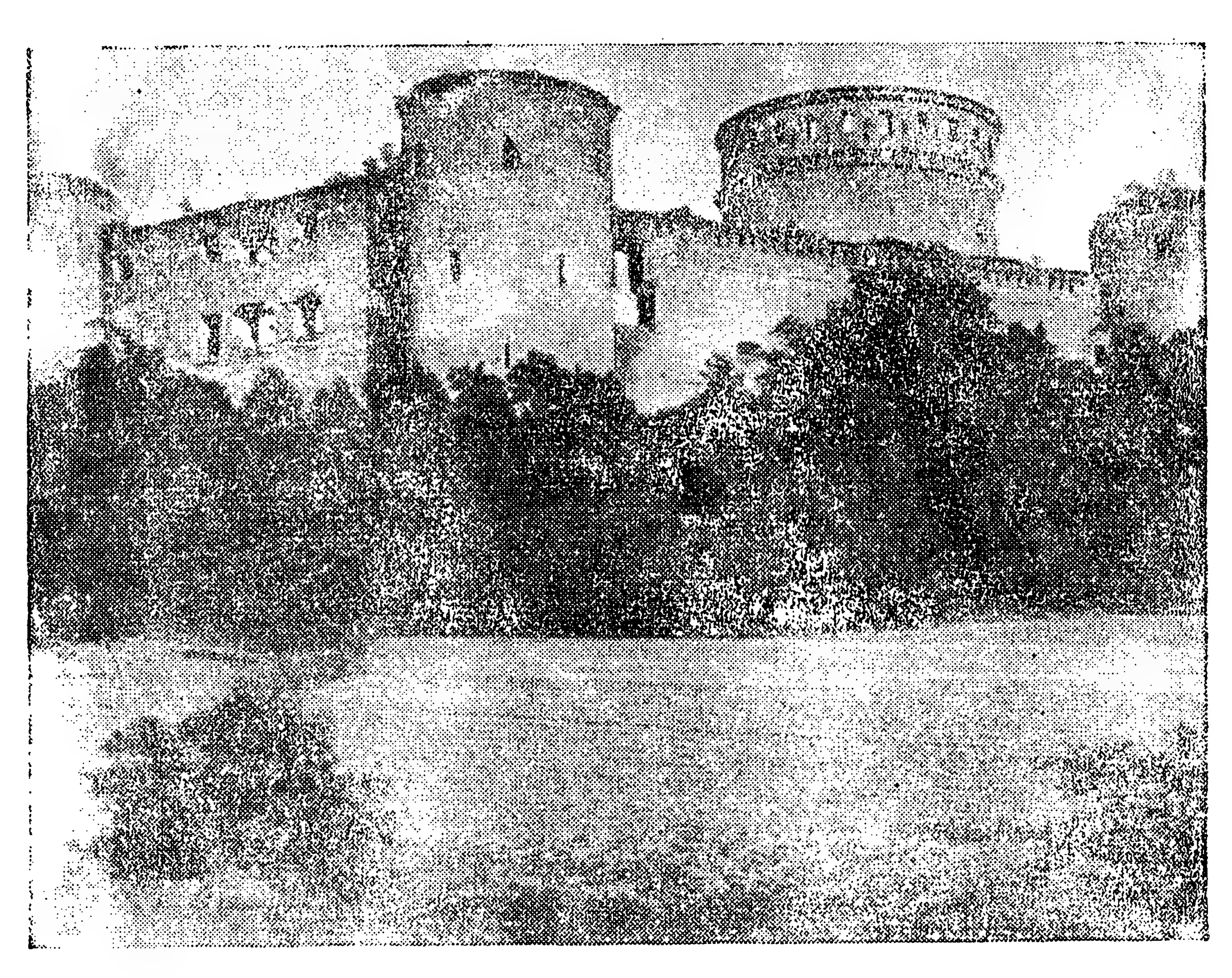
За пределами королевского домена

Первые Капетинги сами долгое время были вынуждены терпеть усиление политической власти сеньоров. Они не собирали армий, не требовали от сеньоров ни военной, ни какой-либо другой службы. Во Франции в ту пору не было общегосударственных законов и все отношения между королем и его вассалами основывались на личной верности вассалов королю. Последний даже не требовал от крупных вассалов клятвы верности. Королевский суд происходил только тогда, когда сами спорящие прибегали к нему. Крупные и средние феодалы предпочитали разрешать свои споры силой оружия. И они беспрепятственно воевали друг с другом. Король не мешал им вести такую вооруженную борьбу.



«Как Гуго Капет управлял Французским государством» *(старинная миниатюра).*

Шла непрерывная жестокая феодальная война, в которой участвовали не только герцоги, графы и более мелкие сеньоры, но и сеньоры духовные. Все они вооружали собственных вассалов и во главе своих отрядов вели сражения против соседей и грабили их земли. Светские сеньоры вторгались во владения церкви и захва-



Замок де Куси.

тывали ее земли. Духовные сеньоры выступали против светских, зачастую предпринимая далекие походы. Идя на войну, епископы, монахи и другие церковники первоначально пользовались вместо меча и копья палицей — тяжелой утолщенной на конце дубинкой, так как церковь запрещала лицам духовного звания пролитие крови, а удар палицы вполне мог уложить противника без кровопролития. Но с течением времени церковники, принимавшие активное участие в нескончаемой феодальной войне, совсем позабыли этот строгий запрет и орудовали копьем и мечом не хуже светских рыцарей.

Повседневную местную войну вели сеньоры и против короля. Они очень гордились своей независимостью и стремились ее во что бы то ни стало сохранить. Королевскую власть ни во что не ставили. Примером служит поведение сеньоров де Куси, замок и владения которых находились в Пикардии, на севере Франции. Несколько поколений де Куси самоуправствовали вплоть до XIII века, когда при Людовике IX один из них самочинно казнил сразу четырех дворян. Его предок не пускал в свои владения короля, приближение которого встречала дерзкая песня, повторявшая гордый девиз рода де Куси:

Хоть я не избран королем
И принцем быть я не возьмусь,
С повиновеньем — низким злом
Не примирюсь я нипочем.
На поле брани быть орлом —
Вот чем доныне я горжусь!
Орел не может стать рабом,
Быть независимым берусь,
Я де Куси не зря зовусь!

Урок наследнику короля Людовику VI

Хотя политика Филиппа I и сводилась к мелким делам и заботам, а целые годы затрачивались на уничтожение какой-нибудь одной намозолившей глаза башни, все же год от года росла нужда в деньгах. Без них нечего было и думать о наведении порядка в королевском домене. А с ростом этого домена увеличивались и расходы. К тому же королевские чиновники, прево, беззастенчиво разворовывали часть поступавших доходов, попадавших не в тощую королевскую казну, а в их собственные карманы. Нехватку средств не покрывал и грабеж на большой дороге, которому все более упорно противились наученные горьким опытом купцы.

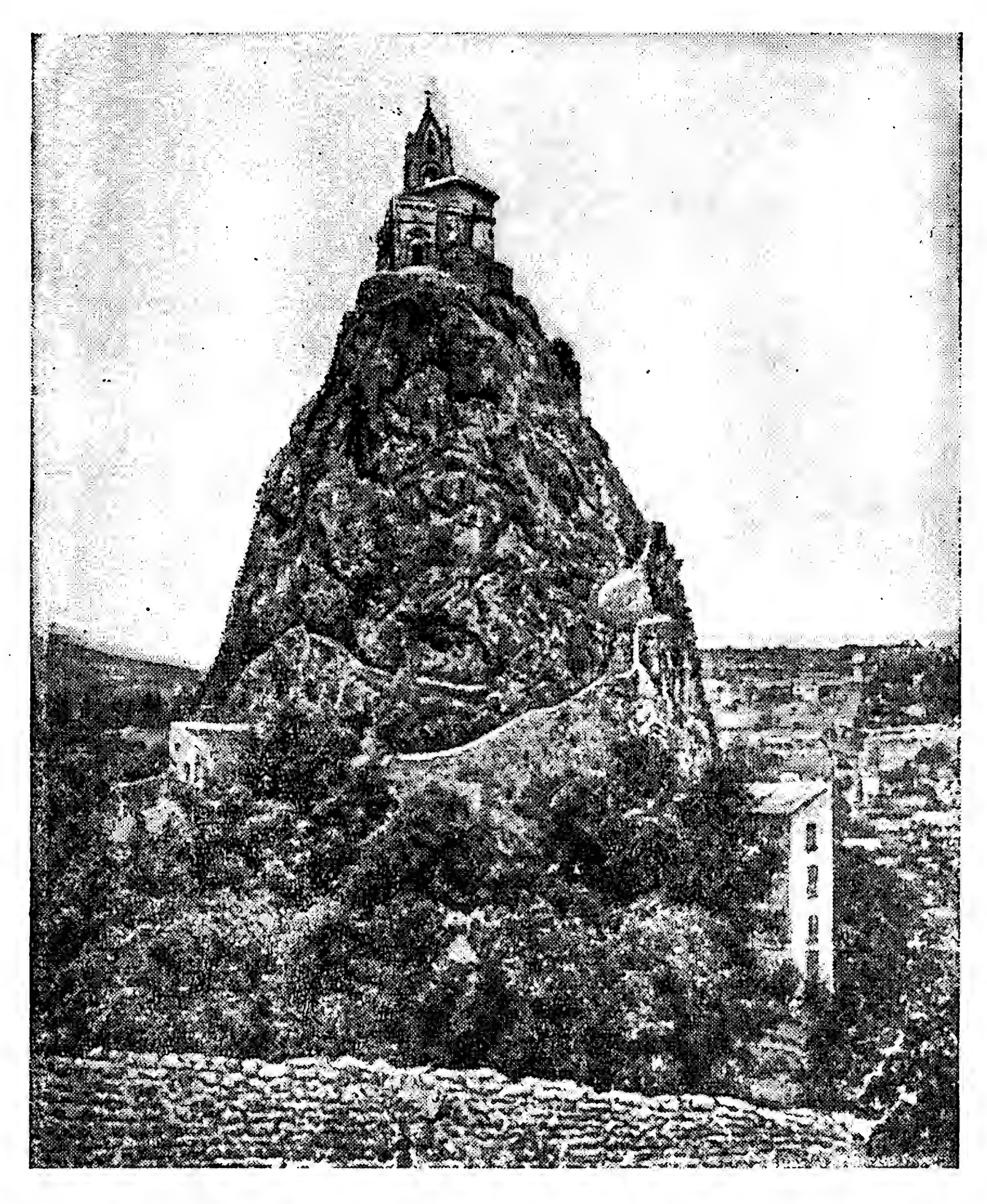
И тогда Филипп I решил обратиться к такому источнику, к которому лишь в исключительных случаях прибегали его предшественники. Дело в том, что значительная доля огромных доходов епископов и монастырей ежегодно, к великому огорчению короля, уплывала за пределы Франции. То была постоянная дань, платимая французской церковью римскому папе.

Но когда Филипп I осмелился наложить свою королевскую руку на сокровища, предназначенные для папы, разгневанный глава католической церкви немедленно отлучил короля от церкви.

Суеверным и невежественным людям было объявлено, что их король — закоренелый грешник, с которым ни один христианин не должен иметь ничего общего. Феодалы как будто только этого и ожидали. Теперь они получили возможность оправдывать свою вражду к королю преданностью религии и повиновением папе. Они порвали всякую связь с отлученным Филиппом I.

Стычки строптивых сеньоров сменились их организованной войной против короля. Филипп I был вынужден признать свое поражение и ради снятия отлучения пойти на величайшее унижение.

В Париже был созван собор высшего духовенства. Перед церковью, где находились отцы собора, толпилось множество народа. На его глазах появился король в холщовой одежде, с непокрытой взлохмаченной головой и зажженной свечой в руке. Опустив низко голову, непрерывно крестясь, он вступил в собор, пал на колени



Церковь-крепость на горе.

и стал слезно молить собор простить его за греховное неповиновение наместнику святого Петра — папе... Покаяние и унижение отца произвело сильное впечатление на сына и соправителя Филиппа I, которому четыре года спустя предстояло стать королем — Людовиком VI. Урок, который пришлось извлечь из этого события, был ясен: королевская власть, чтобы успешно бороться за свою мощь, должна создать себе прочную опору в рядах французской церкви!

Сеньоры-разбойники

Жизнь короля Людовика VI Толстого прошла очень бурно. С тех пор, как он в 1101 году стал соправителем отца, а с 1108 года — королем, ему почти до самой смерти пришлось воевать. Бо́льшая часть его походов происходила внутри королевского домена и была направлена против сеньоров-разбойников.

Многие жившие внутри домена вассалы короля, ставшие самостоятельными благодаря слабости королевской власти, превратились в разбойников. Они вели войны против короля, когда он пытался привести их к повиновению. С оружием в руках эти непослушные вассалы пересекали королевский домен во всех направлениях, разрушая и грабя все, что попадалось на пути. Шайки таких головорезов-рыцарей причиняли огромный ущерб. При нападениях на торговцев, ремесленников и крестьян они не останавливались перед убийствами.

Невозможно было перевозить товары по Сене, Луаре и другим более мелким рекам: сеньоры-разбойники перехватывали баржи и лодки вместе с товарами и людьми.

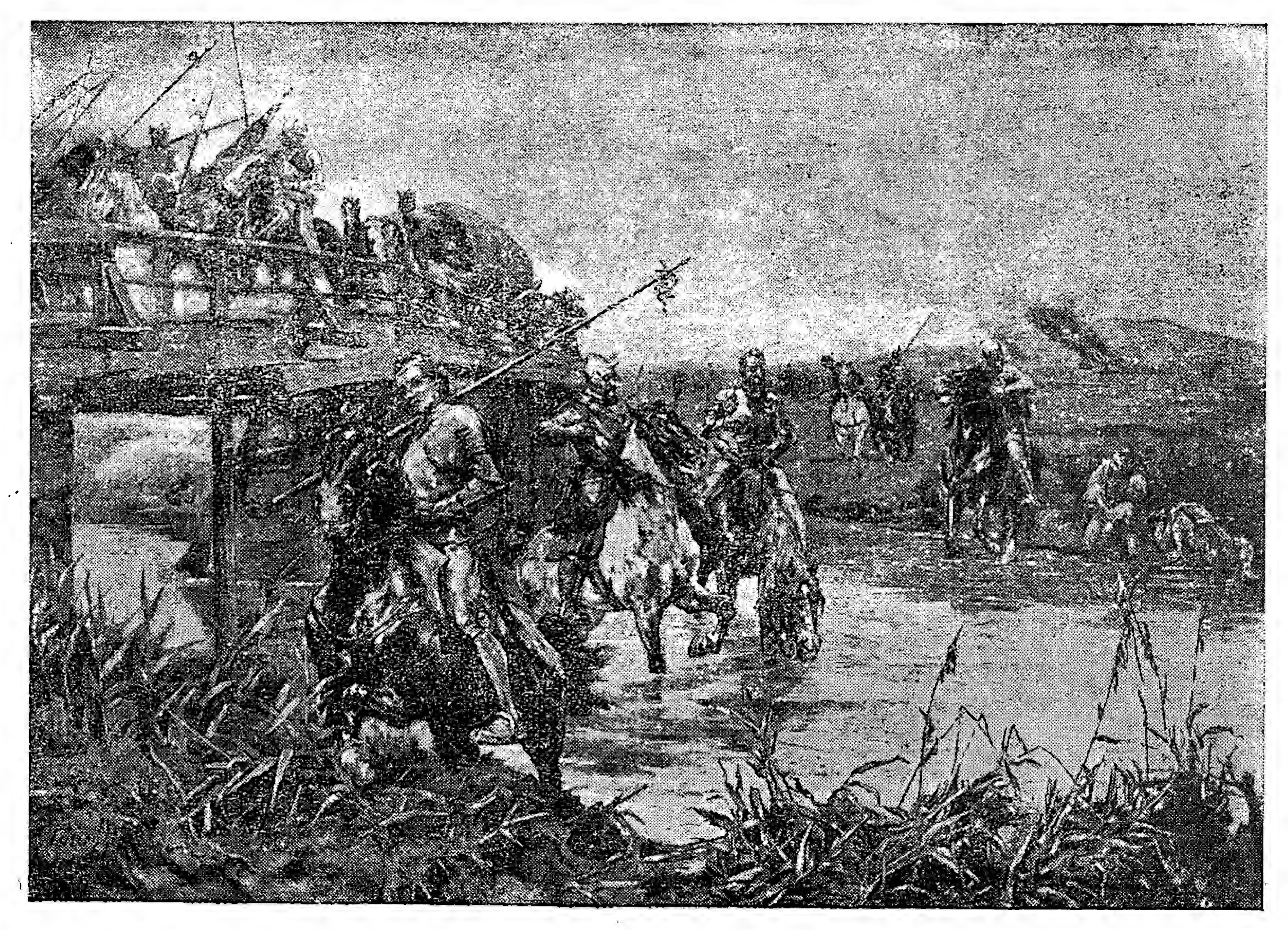
Все это происходило в ту пору, когда в бассейне Сены и Луары уже сложились города — очаги расцветавшего ремесла и торговли. Растущие и крепнувшие города нуждались в доставке продовольствия и сырья, в том, чтобы их рынки беспрепятственно посещали приезжие торговцы и покупатели. Для нормальной жизни городов был необходим устойчивый мир. Достигнуть его можно было, лишь обуздав сеньоров-разбойников.

Кроме городов, от нападений и грабежей сеньоров-разбойников страдали монастыри, церкви и часть светских сеньоров, не связанных с их шайками. Их владения также подвергались разорению.

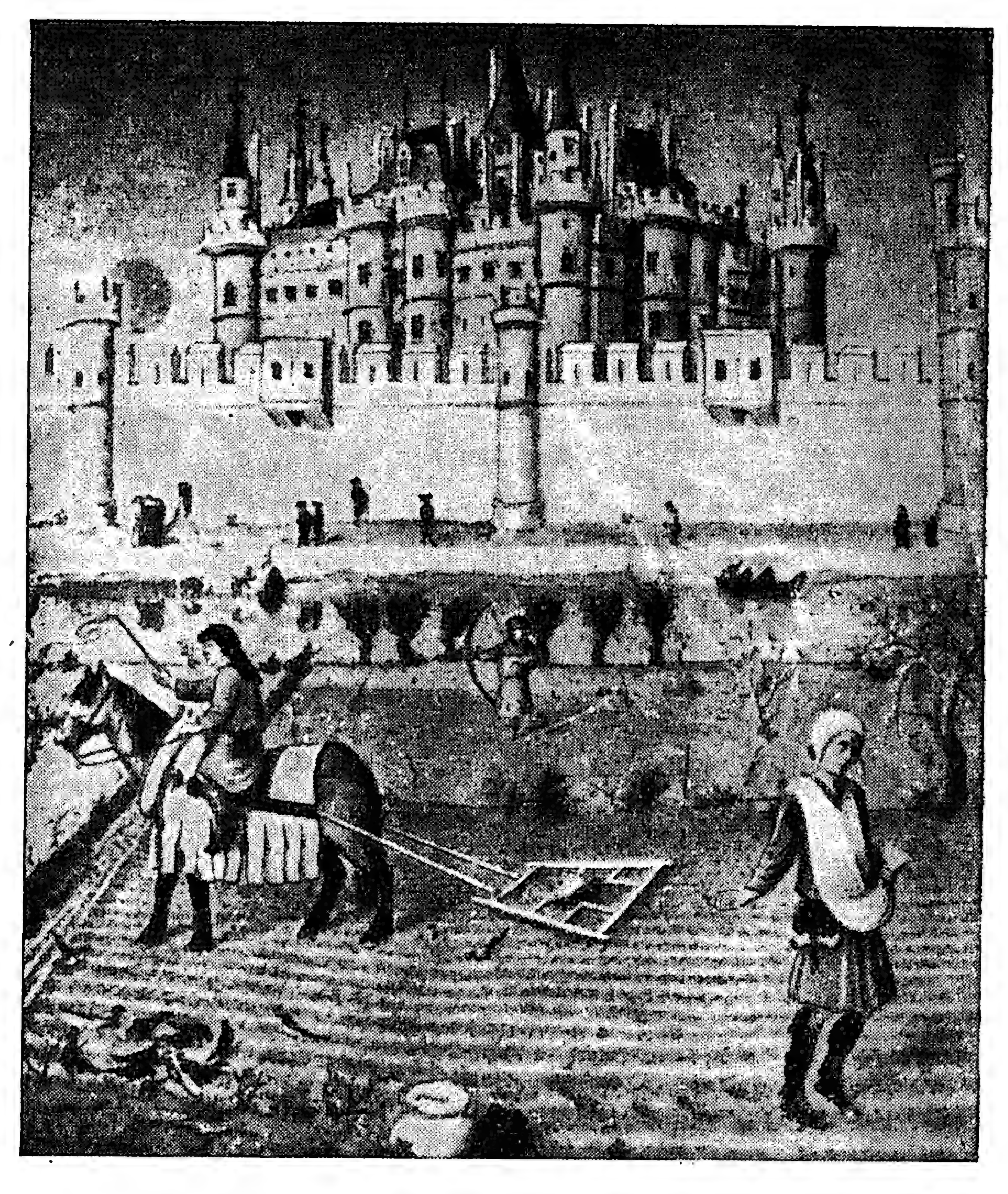
Самые большие бедствия сеньоры-разбойники несли крестьянам. Они вытаптывали их поля и луга и губили урожай, убивали скот, разоряли и поджигали хижины, уничтожали крестьянское имущество. Крестьяне страдали не только от прямого разбоя знатных хищников, но и от того, что господа взваливали на крестьян всю тяжесть убытков, причиненных набегами.

Борьба Людовика VI с сеньорами-разбойниками

В феодально раздробленной Франции, как и во всей Западной Европе, каждый феодал (даже мелкий) имел право войны. Он считал это право своей неотъемлемой привилегией, которую никто, даже король, не мог нарушить. Достаточно было ему собрать своих вассалов и родственников и призвать их к войне против какого-



Возвращение с битвы.



Пахота у стены Лувра.

либо другого феодала, как война начиналась, принося гибель и разорение.

В середине XI века духовенство, встревоженное тем, что феодалы Западной Европы истребляют друг друга, а также охваченное страхом за свои земли, свои запасы, попробовало ограничить войны. После безуспешной попытки провозгласить «божий мир» и разом покончить со всеми войнами стали возвещать «божье перемирие», запрещавшее воевать от среды до понедельника и допускав-



Посвящение в рыцари.

шее войну во все прочие дни недели, если они не совпадали с великим постом и большими праздниками. Но короли Франции не поддержали этого требования, и французские рыцари продолжали воевать во все дни недели и во все месяцы года. Так обстояло дело и в королевском домене.

Совершая свои разорительные набеги, феодалы-хищники опирались на свои «вороньи» гнезда, ставшие к XII веку неприступными, так как на смену деревянным пришли каменные замки с высокими стенами и башнями, окруженные глубокими, наполненными водой рвами. Такие замки могли выдержать длительную осаду превосходящих сил противника.

Издавна привыкшие к неограниченному своеволию, сеньоры-разбойники королевского домена отвергали королевское требование нести вассальную службу. Среди этих непокорных выделялись Гуго де Пюизе, Бушар де Монмаранси и Тома де Марль, свирепость которых наводила ужас на церкви, монастыри, города и деревни.

Вступив в борьбу с этими нарушителями мира и порядка, Людовик VI понимал, что исход борьбы будет определяться не успехом случайных вторжений, а уничтожением главной опоры возмутителей спокойствия — неприступных замков.

Война с Тома де Марлем

Примером борьбы короля с мелкими феодалами его домена является война с Тома де Марлем.

У Тома де Марля было два неприступных замка: Ножан и Креси. Отсюда он производил нападения на проезжих, в том числе и на самого короля. Сначала король объезжал эти замки стороной. Но потом, собрав силы, решил их захватить. Осада замков продолжалась много лет. В конце концов Людовик VI захватил и разрушил один из замков, а самого Тома де Марля взял в плен и посадил в тюрьму, требуя за освобождение выкуп. Но Марль отказался уплатить выкуп, утверждая, что у него ничего нет.

Видя упорство пленника, король вынужден был снизить размер выкупа, на что Марль согласился. После получения от Марля клятвы верности и небольшого выкупа король его выпустил. Освободившись, Марль отбыл в свой второй замок, укрепился в нем и через некоторое время снова выступил против короля. Война возобновилась. Королю потребовалось два года непрерывной осады, чтобы овладеть замком.

Быстро откликался Людовик VI и на просьбы о помощи против сеньоров-разбойников. Ему удалось вернуть расположенным в королевском домене церквам и монастырям их имущество. Он восстановил сообщение между Парижем и Луарой и добился больше-



Истребление разбойников.

го, чем раньше, подчинения вассалов королевского домена королю. Церковь всячески поддерживала подобную деятельность Людовика VI. Она находила также живой отклик и растущую поддержку у молодых французских городов. Так закладывались основы будущего крепкого союза королевской власти с церковью и городами.

Монастырь Сен-Дени

Высоко поднялись в XI—XII веках стены одного из могущественных и богатейших монастырей Франции — монастыря Сен-Дени. Расположенный за пределами городских стен Парижа, этот монастырь перекликался своими поднимающимися высоко над городскими постройками башнями и колокольнями с другим, более древним и знаменитым монастырем — Сен-Жермен-де-Пре, с которым постепенно сравнялся по богатству и значению.

Принадлежавшие монастырю Сен-Дени угодья непрерывно увеличивались за счет дарений, прикупок, всевозможных обменов и всяких обманов, на которые монахи были большие мастера. Монастырь вел постоянные распри со своими соседями и вассалами, стремясь захватить их земли. Вассалов было у него много, одним из них был сам король. Доходы монастыря от одних только земель давали ему возможность содержать (кормить, поить, одевать и обувать) тысячу человек. Кроме этих доходов, в монастырскую казну шли большие суммы от пожертвований верующих, пошлин, торговли и прочие поступления. Огромный приток средств позволил монастырю заменить в XI—XII веках окружавшие его деревянные ограды мощными, неприступными каменными стенами с башнями и другими укреплениями и начать строительство величественных храмов. Это строительство растянулось на несколько столетий.

Значение монастыря Сен-Дени так выросло, что он добился многих льгот и даже стал свободным от надзора епископа и римского папы.

Аббат Сугерий—советник королей

В 1088 году к воротам этого монастыря подошел бедно одетый человек по имени Геликаид. Держа за руку небольшого, хилого и тщедушного мальчика, Геликаид спросил привратника, можно ли ему видеть отца настоятеля.

— Зачем он тебе нужен? — спросил в ответ привратник.

— Да вот хочу продать сына. Говорят, в монастыре покупают мальчиков, которых кормят, одевают, обувают и учат, чтобы они стали монахами. У меня его кормить нечем, и без него много ртов.

— Да, но ты знаешь, что если мальчик нам подойдет, он должен будет навсегда забыть отца, мать, сестер, братьев и всех родных? Никогда ни вы его не увидите, ни он вас.

— Знаю, — ответил отец ребенка, — но лучше это, чем голод и нищета. Да и послужит он богу, а за это бог простит мне мои грехи. А для того, чтобы было легче это сделать, знай, что я пришел издалека, и ни он, ни мать его, которая по нем будет тосковать и плакать, никогда не смогут встретиться ни с ним, ни с вами.

Привратник взял ребенка за руку и отвел во внутренние покои монастыря. Через некоторое время он вернулся и сказал Геликаиду, что его сына проверили, нашли смышленым и оставили в монастыре. Ему же, Геликаиду, следует войти в монастырскую церковь и поклясться перед распятием, что он отрекается от сына, и после этого получить в кладовой положенную плату. Все это Геликаид сделал и уехал.

Геликаид из Сен-Дени ушел навсегда. Сын его остался в Сен-Дени и тоже навсегда.

Над мальчиком совершили особый обряд посвящения богу и разрыва с внешним миром, дав ему имя Сугерий. Затем передали его в учение к аббату Ивону, который, заметив способности мальчика, отвез Сугерия в далекую лесную обитель, в тиши которой стал усердно обучать его молитвам, письму, чтению священных книг и другим наукам. Мальчик оказался усердным и легко одолевал церковную премудрость.

Когда Сугерию исполнилось 14 лет, его вернули в монастырь Сен-Дени, где дальнейшие его занятия проходили вместе с отданным на обучение в тот же монастырь наследником престола Людовиком, будущим королем Людовиком VI. Хотя Людовик был старше Сугерия на три года, их на всю жизнь связала тесная дружба, нашедшая продолжение в дружбе с королевским сыном и учеником Сугерия — Людовиком VII.

Успехи Сугерия в церковных науках и его примерная монашеская жизнь со временем привели к тому, что он был возведен в аббаты монастыря Сен-Дени.

Человек большого ума, таланта и энергии, он еще больше укрепил могущество монастыря и увеличил его доходы.

Но прославился Сугерий не заботами о своем монастыре, а как ближайший советник двух королей, которым он деятельно помогал укрепить свою власть. Отправляясь в крестовый поход, Людовик VII на время своего отсутствия доверил все свои полномочия именно аббату Сугерию и не ошибся в своем выборе.

Почему же королевская власть нашла в лице аббата Сугерия преданного советника и верного, надежного союзника?

Можно ли это объяснить личными склонностями Сугерия или простым случаем, который на школьной скамье столкнул его с будущим королем и связал их обоих крепкой дружбой? Однако Сугерий был лишь наиболее даровитым, умным и дальновидным, но



Аббат Сугерий (*фреска на стене церкви*).

отнюдь не единственным сторонником короля среди священнослужителей. Да и вряд ли он один мог бы оказать королевской власти действенную поддержку, если бы за его спиной не стояли другие аббаты, священники и монахи.

Все дело в том, что в средние века сама католическая церковь, будучи крупнейшим феодалом, крайне нуждалась в защите своих богатств.

Могущественные герцоги и графы в подвластных им землях бесцеремонно подчиняли себе церковь, замещали церковные должности своими ставленниками и с их помощью завладевали церковными доходами и имуществом.

Если вассалы светских феодалов часто пренебрегали своими обязанностями, то вассалы епископов и монастырей еще чаще отказывались нести свои повинности и службы.

Монастырь Сен-Дени, подобно другим монастырям, ценил свои нивы и виноградники, хлебные амбары и винные погреба, солеварни, мельницы и маслобойни. И, конечно, прежде всего надо было оградить эти владения от проникновения хищных сеньоров-разбойников. Ведь только обезопасив свои земли от грабительских наездов, можно было расширять и развивать такое хозяйство, каким владел монастырь Сен-Дени. Но интересы монастыря вовсе не сводились к одной только защите владений и запасов. Накопленные запасы росли и росли, а чем больше они становились, тем труднее оказывалось их использовать.

Как бы сытно ни ели братья-монахи в своих трапезных, сколько бы вина они ни пили, все равно они были не в состоянии проедать и пропивать все то, что день за днем создавалось терпеливым трудом крепостных.

Горы хлеба могли перепреть, прогнить, оказаться источенными червем. В сотнях бочек могло перебродить и прокиснуть вино. Огромным запасом надо было во что бы то ни стало найти полезное применение.

Жизнь властно заставляла думать о сбыте, о связях богатого монастырского хозяйства с отдаленными рынками, городами, ярмарками.

Вереницы барж надо было пустить по Сене, караваны телег следовало направить к Луаре, в ярмарочные центры Шампани, в Бургундию, Фландрию, Англию...

Но для этого дороги должны были стать безопасны, знатные насильники обузданы и раз навсегда укрощены, а власть короля возвышена и многократно усилена!.. Коренные, жизненные интересы церкви требовали, таким образом, сильной королевской власти далеко за пределами домена Капетингов. Но в первую очередь они требовали полновластия и порядка в самом домене. Не мудрено, что союзником королевской власти стала церковь, а за нею и города Франции.

Стремления церкви и короля совпадали, и это не раз выражалось в политике короля. С одинаковым усердием сокрушал он как замки своих непокорных вассалов, так и замки непослушных вассалов церкви. Так, например, в безуспешной войне с герцогом Нормандским церковь рассчитывала вернуть себе отнятые им земли монастыря Сен-Дени, король же надеялся ослабить опасного соперника и упорнейшего сторонника раздробленности.

Женитьба Людовика Младшего на Элеоноре Аквитанской

Часто и долго обсуждали король Людовик Толстый и его друг и советник аббат Сугерий последствия смерти родственника короля, богатого Аквитанского герцога Вильгельма. Покойный герцог слыл смелым и удачливым рыцарем. Известен он был еще своей веселостью и остроумием, а также тем, что хорошо играл на виоле[1] и был прекрасным трубадуром, песни которого знала вся рыцарская Франция. Песни герцога Аквитанского услаждали и королевский двор.

Однако собеседников не огорчала горестная судьба герцога, ушедшего молодым из жизни. Не волновало их и будущее его вдовы и малолетних дочерей. Их заботило другое — судьба огромных владений Аквитанского герцогства, во много раз превосходивших домен короля.

— Герцог не оставил сына, — говорил королю аббат Сугерий.— Его владения унаследовала старшая дочь герцога красавица Элеонора. Много к ней сватается женихов, сыновья знатных герцогов и графов добиваются ее руки. Дядя Элеоноры и другие ее попечители никак не могут договориться, за кого ее выдать замуж: ведь

[1] *Виола* — старинный смычковый инструмент, с семью струнами, натянутыми поверх грифа, и столькими же струнами под грифом.

будущему ее мужу достанутся огромные владения — герцогство Аквитания.

— Что же делать? — спрашивал король.

— Ты король, у тебя есть наследник Людовик, он старше Элеоноры всего на два года, ожени его на ней, — увещевал короля аббат Сугерий. И продолжал:

— Такая красивая девушка достойна украсить дом Капетингов, а женитьба на ней сделает короля Франции самым могучим сюзереном. Власть короля распространится далеко на юг, и новые владения будут приносить огромные доходы. Женившись на Элеоноре, твой наследник будет могущественнее всех герцогов и графов Франции. А когда станет королем, огромные размеры его разросшегося домена дадут ему возможность укрепить королевскую власть.

— Но как это сделать? Ведь все родные и приближенные герцогини Элеоноры, как и покойный герцог, не признают моего права вмешательства в дела герцогства Аквитанского? — спрашивал король.

— Как король, ты не только законный опекун Элеоноры, но после смерти герцога, как верховный сеньор всей страны, ты можешь распоряжаться рукой Элеоноры, так же как и ее владением, — поучал короля аббат Сугерий и добавлял:

— Воспользуйся своим правом. Тех, кто выступит против брака, твои рыцари быстро уймут. Отправь сына в Аквитанию. Свадьба должна быть пышной, и сыграть ее следует сразу же по прибытии твоего наследника во владения Элеоноры.

Король внял совету Сугерия. Вскоре в сопровождении пышной свиты и немалой вооруженной силы Людовик Младший и аббат Сугерий прибыли в Лимож, где было решено сыграть свадьбу.

Сама Элеонора замуж за Людовика Младшего идти не хотела, но подкупленные приближенные и церковники заставили ее это сделать. Со слезами на глазах шла Элеонора под венец, вспоминая известные стихи одного из своих предков, трубадура герцога Гийома Аквитанского:

В изгнанье удаляюсь я,
Беда и горе ждут меня.

Когда после свадьбы Людовик Младший и Элеонора возвращались в Париж, рассказывает аббат Сугерий, их свите пришлось при проезде через Пуатье вести настоящую войну с подданными Элеоноры, недовольными ее замужеством.

Возвращение в домен и странная встреча

Одолев строптивых приверженцев аквитанской независимости, свадебный кортеж двинулся к Орлеану, где предстояли дальнейшие свадебные торжества. Перейдя за Буржем границы королевского домена, кортеж перед заходом солнца расположился ла-

терем на опушке большого леса. Пока раскидывали шатры, часть охраны углубилась в лес, чтобы убедиться в безопасности лагеря.

Через некоторое время стража возвратилась, ведя впереди себя группу крестьян, застигнутых в лесу.

На вопрос, кто они и что делают в лесу поздно вечером, долго не было ответа. Но угрозы и побои сломили запирательство, и крестьяне признались, что они королевские сервы и решили бежать в Бургундию, где беглым отводят участки на расчищаемой от леса земле и на время освобождают от оброков и поборов.

— Но ведь ваш господин — король, — вмешался в допрос аббат Сугерий, — как же вы смеете покидать его землю?

— Король или не король, — хмуро ответил один из пойманных, — нам-то все равно. Кто бы нами ни владел, как бы ни называлось владение, наша участь все та же. Для нас хрен редьки не слаще... Вот мы и идем туда, где хоть немного полегче!..

Тут же было решено наказать пойманных плетьми и под стражей вернуть в покинутые деревни...

На следующее утро, когда вереница коней и повозок возобновила свой путь, аббат Сугерий подъехал к юному Людовику и, поравнявшись с его конем, спросил, помнит ли тот слова, сказанные вчера крестьянами.

— Что в них особенного, много ли ума у сервов?

— Есть у них кое-какой умишко, — отвечал Сугерий, — в том-то и беда, что ни судьба королевства, ни судьба сеньора, которому они принадлежат, их совершенно не интересует, ибо они считают, что все властители их одинаково угнетают.

— Что же из этого, нам-то какое дело до их рассуждений, — недоумевал Людовик.

— Нет, — тяжко вздохнув, молвил аббат, — тут и нам есть над чем поразмыслить... Мужики-сервы составляют бо́льшую часть населения. И вот им-то совершенно безразлично, кому принадлежит та местность, в которой они живут, — королю или врагу короля. Стало быть, — продолжал он, — любая случайность может разом и увеличить и уменьшить королевские владения, народ в это дело и не подумает вмешаться!

— Что же из этого следует? — спросил Людовик.

— Вот я к тому и клоню, — пояснил аббат, — что тебе далась в руки счастливая случайность. Ты легко получил обширную и солнечную Аквитанию, но также легко ты можешь ее потерять. Подумай о моих словах, — добавил Сугерий, отъезжая от молодого наследника.

На следующий день кортеж повстречался с гонцом, доставившим весть о кончине Людовика Толстого. Людовик Младший стал королем Людовиком VII.

В те далекие времена простой народ, с которого любой сеньор драл три шкуры, был и в самом деле глубоко безучастен ко всем переменам границ, к любой перекройке владений.

Разбойничьи захваты, войны феодалов друг с другом, получение наследства или приданого при заключении брака, утрата этого приданого при разводе влекли за собой нескончаемые перемены. Обширные графства и герцогства, подобно карточным домикам, то создавались, то рассыпались с поразительной легкостью.

Подобная непрочность владений и границ вызывались полной безучастностью народных масс, в ту пору не заинтересованных ни в сохранении, ни в изменении территорий, принадлежавших феодальным властителям.

Опасения аббата Сугерия оправдались. Людовик VII, не отличавшийся ни умом, ни хитростью своего отца и деда, не смог удержать за собой Аквитании. Рассорившись с Элеонорой, он с нею развелся, несмотря на предостережения Сугерия. Этим шагом не преминул воспользоваться его более дальновидный соперник — граф Анжуйский Генрих Плантагенет, владетель Анжу, Пуату, Турени и Нормандии. Женившись на Элеоноре, он присоединил к своим и без того немалым владениям крупнейшее герцогство юго-запада Франции.

Когда же Генрих, будучи сыном английской королевы Матильды, унаследовал корону Англии и стал английским королем Генрихом II, вся Западная Франция от берегов Ламанша и до подножия Пиренеев оказалась во власти английского государя. В его лице и в лице его преемников французские короли встретили грозных противников.

Борьба с ними впоследствии велась столетиями. Успех в этой долгой борьбе стал возможным лишь тогда, когда в нее вмешались горожане и крестьяне Франции.

12 Заказ 454

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД

(его возникновение, облик и жизнь)

Ничто так не удивляло средневекового крестьянина, как город. Издали приближаясь к его воротам, он любовался гордым поясом каменных укреплений: стенами и башнями, ограждавшими поселение его друзей-ремесленников.

Покинув город, он часто вспоминал все, что довелось увидеть и услышать в его стенах. Возвращаясь из леса с дровами, везя обмолоченный хлеб в барские закрома, крестьянин размышлял о своих тяготах, о том, что жизнь его односельчан совсем не похожа на жизнь обитателей вольного города.

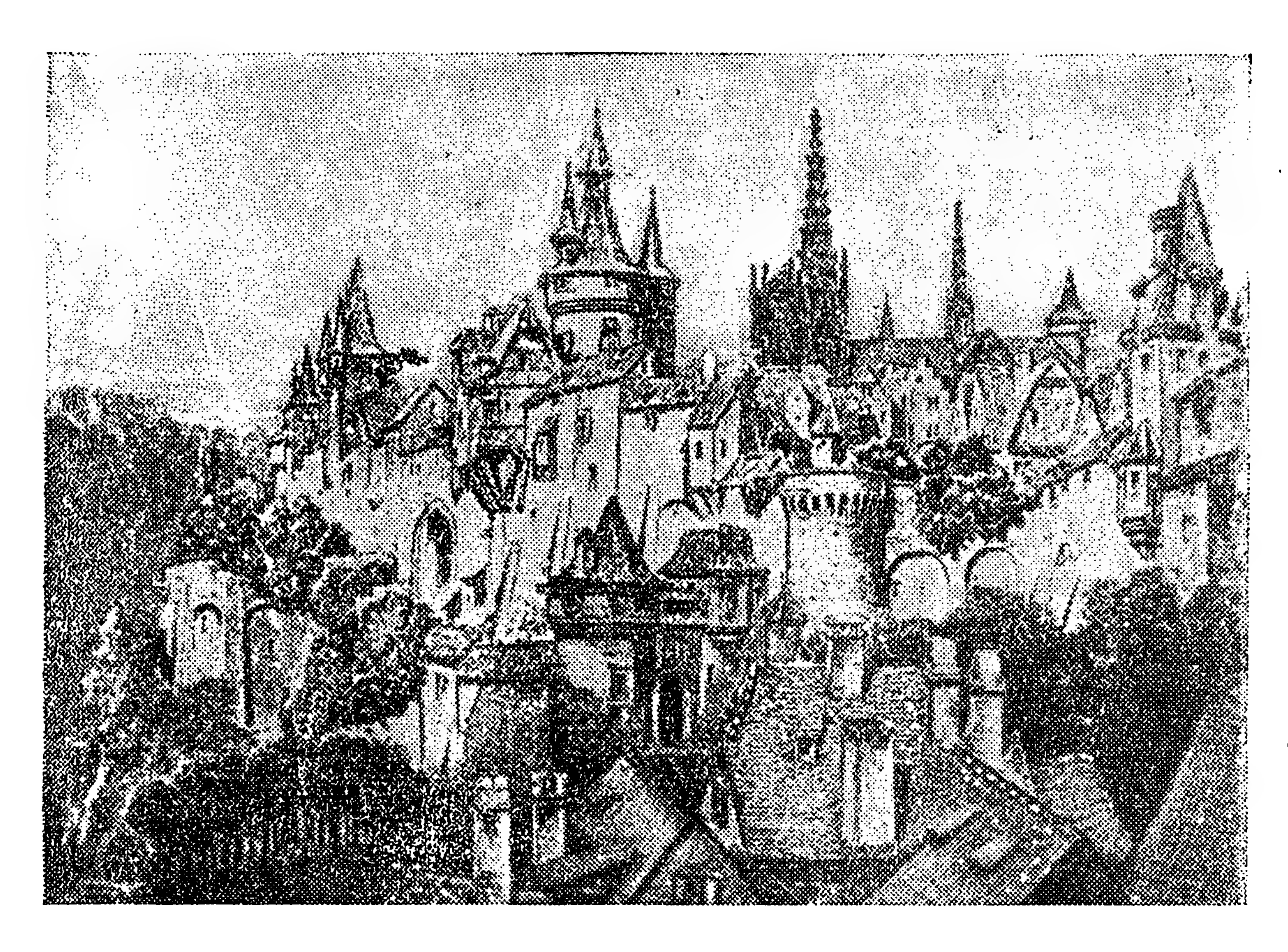
Величавая картина города изумляла не только крестьянина. Любой путник — и рыцарь и монах — невольно сдерживал коня или замедлял шаг, завидев очертания стен и башен, четко выступавших на фоне неба и зеленого пояса окрестных полей и лесов.

Внешний облик средневекового города

Островерхие пестрые кровли и башни словно расступались там, где гордо возносились ввысь стрельчатые очертания готического собора. Яркие пятна алой и оранжевой черепицы перемежались светлыми красками озаренных солнцем стен, тенями многочисленных башен, создававших впечатление необычайно большого, могущественного замка, господствующего над обширной равниной.

Искушенный в делах войны, не раз штурмовавший стены замков барон, окинув взором представший перед ним город, сразу же убеждался, что своими размерами он во много раз превосходит самый крупный замок феодала, не уступая ему ни толщиной стен, ни высотой башен, ни крепостью ворот.

Высокая каменная стена длинной, извилистой лентой опоясывала город, отделяя его площади, улицы и кварталы от прилегающей местности. Вдоль крепостной стены на одинаковом расстоянии друг от друга возвышались сторожевые башни. Иной раз до сотни таких башен защищали безопасность крупного города. В тревожные дни с их высоты дозорные терпеливо всматривались вдаль, а подле них городские трубачи были готовы в случае опасности поднять по тревоге сограждан.



Внешний вид средневекового города.

Единственный доступ в город открывали дороги, ведущие к подъемным мостам и расположенным за ними воротам. Таких ворот было не менее четырех, и от них шли дороги во все стороны: на юг и на север, на восток и на запад. В крупных городах их было больше, и каждые ворота имели свое название; обычно это было имя какого-либо святого, которое носила находившаяся поблизости церковь.

Ворота были двойными. Чаще всего они представляли собой две удаленные друг от друга башни, соединенные узким проходом, сжатым с обеих сторон высокими каменными стенами. Иной раз вместо двух воздвигалась одна огромная башня, представлявшая собой массивное каменное сооружение. Когда растворялись тяжелые створки наружных ворот, путники оказывались под низко нависшим замшелым продолговатым каменным сводом, который в отдалении заканчивался полукружием просвета — то были внутренние ворота. За ними лежал город.

Если группе разбойников-рыцарей удавалось обмануть бдительность городской стражи и пробиться через наружные ворота, спохватившиеся защитники города успевали опустить железную решетку и, не подпустив врагов к внутренним воротам, задержать их в тупике сводчатого каменного коридора.

Горожане очень дорожили своими воротами и гордились ими. Искусные зодчие старались сделать монументальное сооружение внушительным и красивым. Они украшали ворота тонкой архи-

тектурной отделкой, возводили башни и башенки то над самой аркой ворот, то по бокам от нее.

Оберегая безопасность города, обычно пользовались только двумя воротами, а остальные из предосторожности держали на запоре. Но и двое главных ворот тщательно охранялись. Они затворялись вечером, когда сгущались сумерки и уходящая вдаль лента дороги терялась во мраке.

На рассвете с лязгом и скрежетом разматывались и натягивались железные цепи подъемного моста, и он повисал над глубоким кольцевым рвом, окаймлявшим городские стены. Отворялись тяжелые, обитые железом ворота, поднималась железная решетка, и городская стража, заняв свое место у раскрытых ворот, внимательно осматривала прибывающих, опрашивая каждого незнакомца, кто он, зачем прибыл и что везет с собой. Особые сборщики городской пошлины взимали плату со всякого товара, ввозимого в город иногородним купцом.

Как город защищал себя от врагов

Если новоприбывший имел при себе лук, от этого лука тут же отвязывали тетиву, которую гостю возвращали лишь тогда, когда он покидал город. Эта предосторожность была далеко не лишней. Чем неприступнее был пояс каменных укреплений, со всех сторон ограждавший город, тем настойчивее были коварные хищники, пытавшиеся проникнуть в недоступную для них твердыню.

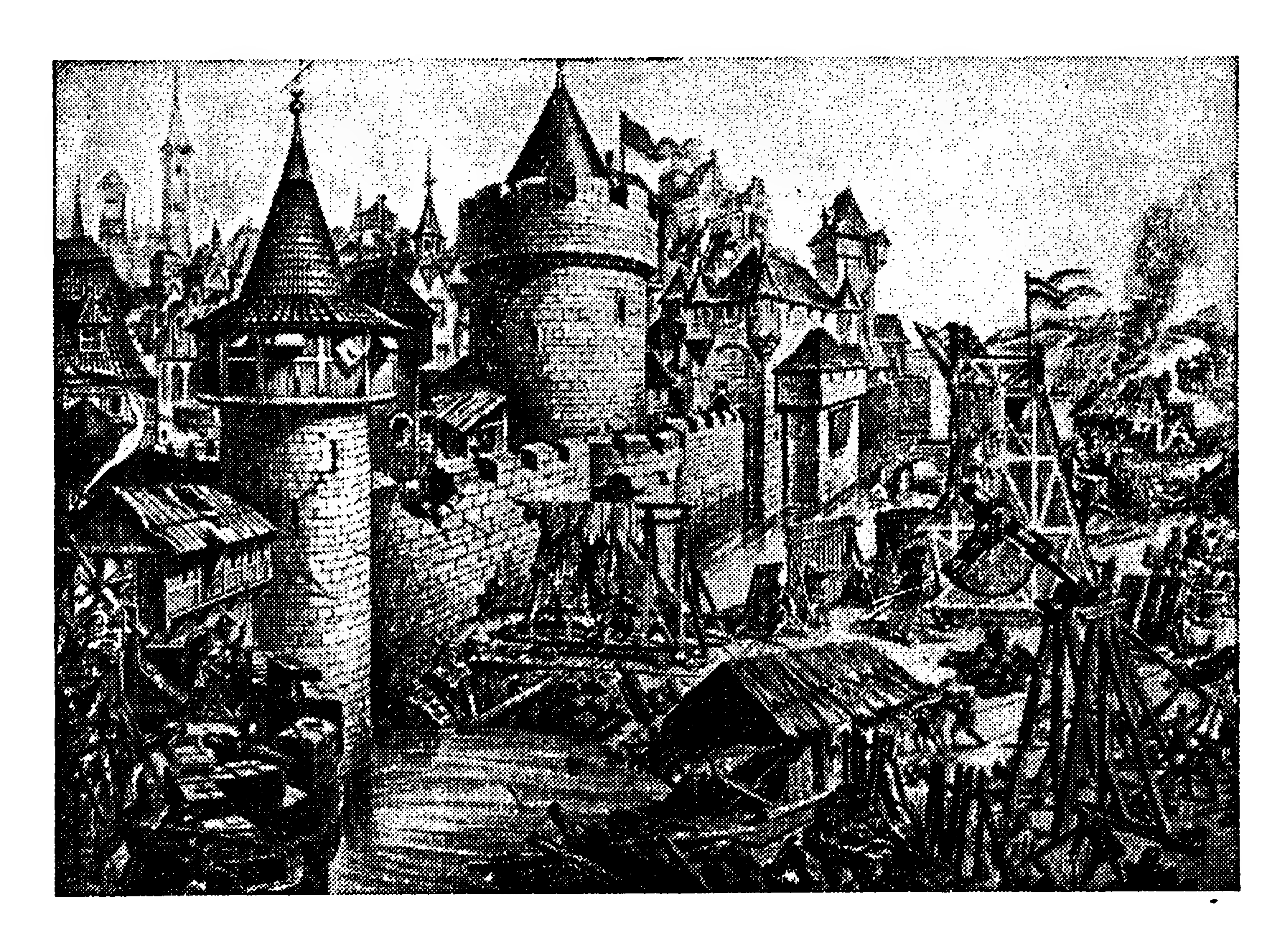
Дома горожан, лавки купцов, изделия искусных ремесленников — все это было приманкой для склонных к разбою бесшабашных рыцарей и для их покровителей — алчных феодалов.

Чем больше разрастались и крепли города, чем труднее было их покорить и завоевать, тем больших сил требовала осада могущественного города.

Подобная осада чаще всего была не по плечу отдельному феодалу. Чтобы предпринять ее, феодалам приходилось объединять свои силы.

Враги города знали, что на его защиту поднимутся все жители, способные носить оружие. И действительно, в дни осады на гребне крепостной стены появлялось множество воинов-горожан, вооруженных луками и метательными дротиками, имевших под рукой и камни, и бочки с горячей смолой.

К стенам приставлялись штурмовые лестницы, по которым взбирались осаждавшие. Они прикрывали головы щитами, увертывались от стрел и ударов, лезли вверх и нередко, достигнув вершины стены, падали в крепостной ров, пронзенные стрелой либо пораженные ударом камня или тяжелой палицы. Нападавшие торопливо засыпали ров, настилали доски и по ним придвигали вплотную к стене легкие, двигавшиеся на колесах деревянные



Осада средневекового города.

башни, с верхней площадки которых можно было перескочить на гребень стены и завязать рукопашный бой с горожанами.

Рядом с осадными башнями действовали стенобитные тараны — тяжелые, раскачиваемые на цепях бревна с обитыми железом заостренными концами.

Тяжелый многодневный штурм города обычно стоил осаждавшим бо́льших жертв, чем осажденным. Поэтому они иногда прекращали боевые действия, но продолжали осаду, надеясь на истощение припасов и голод в городе, лишенном всякой связи с окружающей местностью.

Осажденные отвечали на это смелыми неожиданными вылазками, а те, кому удавалось прорваться, пробирались в соседние города с призывом о помощи.

Не только в грозный час вражеской осады, но и в обычные дни жизнь в городе была тревожной и далеко небезопасной. Случалось, что принадлежащее городу стадо внезапно угонял невесть откуда налетевший враг, дерзко приблизившийся к самому городу. Иной раз разбойники-головорезы тайком пробирались в город и там сводили счеты с каким-нибудь купцом или мастером. Ограбив и избив его, они незаметно скрывались.

Но всего больше забот горожанам доставляли грузы. Хлеб, мясо, рыбу, которые везли в город, и товары, вывозимые из города, находились под постоянной угрозой.

Долго молился и тяжело вздыхал купец, покидая город. С тоской оглядывался он на ворота и стены родного города, которые уже не могли служить ему защитой на широком просторе полей и лесов, всегда таивших неведомую угрозу.

Едущего по дороге купца всюду подстерегала опасность. Там и здесь могла быть засада, в любом месте могли появиться рыцари, привыкшие вооруженной рукой захватывать чужое добро.

Не мудрено, если купцы и ремесленники все реже отваживались пускаться в путь в одиночку или вдвоем, втроем... Они предпочитали объединяться в большие группы и составлять целые караваны тяжело груженных повозок, сопровождаемых вооруженными всадниками.

Поневоле приходилось создавать отряды, оберегавшие покой пригородных рощ, полей и пастбищ, сторожившие мосты и конвоировавшие уходившие вдаль караваны.

Прежде всего сколачивались отряды наемных воинов. Но полагаться только на них было невозможно. Наемники, чуждые интересам города, были ненадежны. От них трудно было ожидать отваги, самопожертвования. Они служили и сражались ради денег. Нанявшись на определенное время, они оставляли свою службу не только в установленный срок, но и при любой случайной задержке жалованья.

Судьба и безопасность города, его независимость, все его будущее отчасти зависели от того, удастся ли заменить ко всему равнодушных наемников гражданами-воинами, кровно заинтересованными в защите родных очагов.

Со временем возникло ополчение, в формировании которого участвовали все горожане. Жители каждой улицы собирались вместе, и жребий решал, кому из них браться за оружие и вступать в ополчение, несущее защиту сограждан и временно живущее за счет тех, кто продолжал мирно трудиться в своих мастерских и лавках.

Каждая улица создавала свой отряд и выбирала его начальника. Отряды соединялись в одну из четырех частей, на которые делилось все ополчение города.

Без стойкости и мужества скромных ополченцев, без их ныне забытых подвигов были бы невозможны ни вольность, ни успехи средневекового города.

Чем славился и чем привлекал средневековый город

Многолюдный и постепенно богатевший город был известен своим обширным и обильным рынком, поражал своей просторной и великолепной ратушей, изумлял монументальным величием готического собора, внушал уважение своей в боях доказанной силой.

Но более всего город славился превосходными ремесленными изделиями, о высоком качестве которых шли толки и в ближних и в дальних краях. Эта слава была завоевана поколениями трудолюбивых ремесленников, несравненных знатоков своего дела.

В большой и прославленный средневековый город неодолимо влекло крестьянина, желавшего дышать его вольным воздухом. Сюда влекло и ремесленника, жившего где-нибудь в маленьком городке и мечтавшего перенять здесь навыки высокого мастерства, проникнуть в его секреты... Сюда же тянулся и рыцарь, тяготившийся уединением деревенского замка, жаждавший повеселиться и любым путем приобщиться к диковинным богатствам, собранным в городе.

Все они, посетив город, могли там многое увидеть и многому подивиться. Стоит и нам постараться их глазами увидеть средневековый город и, познакомившись с ним поближе, понять и разделить их удивление.

Но, прежде чем мы попробуем это сделать, попытаемся выяснить, когда и каким путем возник средневековый город, какие причины и силы вызвали к жизни городские поселения, столь непохожие на средневековые деревни и отличавшиеся от них всем своим обликом, жизненным укладом и судьбой.

Почему, как и когда возник средневековый город

О многих европейских городах говорят страницы древней истории. Их названия повторяются и в средние века и в новое время. Они звучат и в наши дни. Отсюда само собой возникает представление о постоянно существовавших городах, продолжавших жить на протяжении долгих тысячелетий и унаследованных современностью от отдаленных столетий.

На первый взгляд подобное представление как будто подтверждается географической картой Европы. Разве Рим не называют справедливо вечным городом? Ведь и Афины столь же древний город. Основанная Александром Македонским в Египте Александрия доныне является крупнейшим египетским портом. В расположенном на юге Франции Марселе мы узнаем Массилию, некогда основанную древнегреческими колонистами.

В названиях многих современных городов Европы слышится отзвук древнего имени, которое этим городам дали их основатели — римляне. Так, нынешний Кельн когда-то именовался Колониа Агриппина, теперешний Аугсбург получил от римлян свое первоначальное имя — Аугуста Винделикорум. Точно так же Страсбург, Мец, Майнц, Трир своими именами и местоположением говорят о римском происхождении.

Так, на ряде примеров некоторые ученые пытались доказать, что европейские города существовали непрерывно в течение многих веков от римских времен до наших дней.

Но так ли это?

Прежде всего надо сказать, что большинство городов Европы возникло в тех местах, где никогда не существовало никаких древних городов.

Немецкий историк Карл Бюхер подсчитал количество городов, которые существовали в средневековой Германии. Их оказалось... 2300! Между тем число городов, основанных римлянами на германской почве, совсем невелико и не превышает нескольких десятков.

Это сопоставление простых цифр ясно доказывает, что большинство городов в Европе появилось совершенно независимо от древних поселений. Они возникли и развились там, где римляне никаких городов не основывали и где, быть может, никогда не ступала нога римского завоевателя.

Мы вправе поставить и другой вопрос. Если некоторые города Европы и находятся на месте старых римских поселений, означает ли это, что они всегда и во всех случаях ведут свое начало от римских городов и подтверждается ли, таким образом, подлинная непрерывность их существования?

В некоторых случаях такая непрерывность вполне очевидна. Древний Рим был некогда столицей античной империи, средоточием знати и чиновничества. Средневековый Рим стал центром католической церкви, столицей папства, местом, куда стекались со всей богомольной Европы доходы, устремлялись суеверные паломники и искатели выгодных церковных должностей. Здесь налицо та несомненная непрерывность существования, которую не могли нарушить ни опустошительные вторжения вестготов и вандалов, ни завоевания остготов, византийцев и лангобардов, ни позднейшие грабительские походы германских королей.

Та же непрерывность отличает и Константинополь, который Маркс недаром назвал «золотым мостом, соединяющим Европу и Азию». Исключительно благоприятное положение этого города, стоящего на стыке двух частей света, определило его особую роль в торговле и международных связях Запада и Востока.

Большие портовые центры также являлись очагами непрерывной торговли. И все же эта торговля в одни периоды была оживленной и широкой, а в другие времена напоминала обмелевшую реку, в песчаном русле которой едва сочится слабый ручеек.

И Александрия египетская и Марсель, о которых шла речь выше, были похожи на горные реки, стремительные и бурные в пору половодья и медленно струящиеся в разгар лета. То оживленная, то заглохшая жизнь великих городов-гаваней подвергалась воздействию войн и разрушений, под влиянием которых почти замирала мировая торговля.

А как же обстояло дело в тех случаях, когда позднейшее название города повторяло имя античного города?

Быть может, древний город погиб и превратился в развалины и несколько столетий среди щебня и камней пробивалась лишь трава да побеги дикорастущего кустарника, а потом пришли новые поселенцы, расчистили среди развалин пространство и стали строить свои жилища, используя для нового города старое удобное место?

Ответом может служить поразительный пример рождения южнофранцузского города Арля. Ставший впоследствии большим и богатым, он появился сначала невдалеке от средиземноморского побережья в виде небольшого поселения.

Но странное дело, дома, улицы, переулки новорожденного Арля располагались посередине идеально гладкой равнины, имеющей форму правильно очерченного овала. А по краям этого овала широким поясом тянулись изъеденные временем, изрытые трещинами, полузасыпанные песком каменные скамьи. Они широким кольцом охватывали овальную площадь, возвышаясь в несколько ярусов гигантским, величественным амфитеатром.

Это посреди античного цирка, на его обширной мертвой арене вырос маленький средневековый город. Он появился, как новая картина, вставленная в старинную раму.

Молодой город возник среди развалин, и окружавшая его плотным кольцом каменная кайма цирковой арены представляла собой единственную уцелевшую часть древнего античного города Арелата.

Был ли этот юный город продолжением, прямым потомком старого? Конечно, нет! Это был новый город, и его рождение, как и рождение других таких же городов, было вызвано к жизни новыми условиями и новыми потребностями.



Закладка города.

Если юный город средневековья иногда появлялся на том же самом месте, где задолго до него существовал античный город, то подобное совпадение объяснялось лишь тем, что новым поселенцам, так же как их предшественникам, были нужны наиболее удобные места для их жизни и деятельности. Прежде всего нужны были такие места, куда легко могли добраться жители ближних и дальних селений. В средние века густые леса и топи нигде не прорезали мощеные дороги. Проселочные пути долгими месяцами тонули в непролазной грязи и оставались непроезжими. Единственно, что надежно связывало тогда селения и области — это полноводные реки, по течению которых шли суда и плоты.

Немудрено, что города зачастую и возникали на берегу большой реки, обычно там, где она была неглубока и где легкая переправа через нее связывала новое поселение с другим берегом.

Потому-то названия некоторых западноевропейских городов и оканчиваются на «фурт» или «форд», что означает брод. Таковы Франкфурт-на-Майне и Франкфурт-на-Одере в Германии, Оксфорд (в переводе «Бычий брод») в Англии. Столь же привлекательным оказывалось и местечко у моста через судоходную реку, и нас не удивляют названия городов, окончание которых означает «мост» — Цвейбрюккен, Кембридж.

Однако гораздо чаще встречаются наименования городов, оканчивающиеся на «бург», что означает «укрепление», «замок». Дело в том, что будущие горожане, выбирая место для поселения, ценили не только его удобное расположение, сулившее частые встречи с покупателями и заказчиками. Не меньшее значение для них имела и забота о безопасности. Городское поселение было немыслимо там, где его обитателям каждодневно грозило насилие.

К примеру, брод у реки можно было найти и ниже и выше по ее течению, но предпочтение всегда отдавалось такому броду, вблизи которого высились крепкие стены монастыря или феодального замка. Под их надежной защитой первоначально возникал рыночный торг, приуроченный к праздничным дням.

Феодал и сам был не прочь ограбить купца где-нибудь на проезжей дороге. Однако он легко мог смекнуть, что возникший у стен его замка рынок может приносить больше дохода, чем захваченная вдалеке случайная добыча. Ведь с каждого товара, доставленного и проданного у стен его замка, феодал получал пошлину — особую плату, соразмерную весу и цене того, что продавалось.

Посреди рынка обычно устанавливались «господские весы», на которых проверялся вес проданных товаров, и при этом всякий раз взималась плата в пользу феодала — покровителя рынка.

В те времена такая проверка веса была необходима потому, что пользование самодельными очень неточными гирями и заменявшими их камнями приводило к ошибкам, вызывало споры и даже ожесточенные драки.

Феодал отныне был заинтересован в том, чтобы на рынке, который он опекал, царили мир и порядок, чтобы пошлины и господские весы приносили ему постоянный доход.

Не мудрено, если рыночный торг сначала велся только по большим праздникам. С течением времени он возобновлялся, все чаще и чаще оказывался более продолжительным и наконец становился постоянным.

Вначале на рынке раскидывали свои шатры бродячие торговцы и странствующие ремесленники — кузнецы, сапожники. Они вбивали в землю колья, крепко стягивали их сверху веревкой, обтягивали кожами и таким способом от дождей и непогоды укрывали свои товары и нехитрые инструменты.

Но, по мере того как торг становился более длительным, шатры сменялись деревянными или глинобитными хижинами и в них селились со своими семьями мясники и пекари, кузнецы и плотники, ткачи и оружейники.

К возникавшим таким путем поселениям ремесленников и торговцев примыкали поля и огороды. Поселенцев можно было часто видеть за сохой и на покосе. Возле хижин слышалось мычание коров и блеяние овец, а под вечер все застилала пыль, взметенная возвращавшимся с пастбища стадом.

И все же новое поселение заметно отличалось от окрестных деревень. Над дверью своей хижины кузнец прибивал большую подкову, сапожник прилаживал выкрашенный яркой краской деревянный сапог, а бондарь — увесистый бочонок. Эти немудреные вывески, которые мог уразуметь всякий, даже не знающий грамоты, приглашали, зазывали, обещали нужную услугу.

Каждая из этих вывесок ясно говорила о профессии своего хозяина. Она показывала, что главным занятием того, кто прибил над дверью своего дома такую вывеску, является не земледелие, не разведение скота, а определенное ремесло.

Было время, когда епископы, аббаты монастырей, герцоги, графы и бароны, словно стремясь опередить один другого, спешили основывать рынки и городские поселения. Они в особых грамотах торжественно обещали мир и порядок, умеренную пошлину и безопасность, настойчиво приглашали как новых поселенцев, так и «гостей» — заезжих купцов из дальних краев и стран.

Обитатели ранних средневековых городов не могли полагаться ни на собственные силы, ни на деревянную ограду, которой они опоясывали свои поселки. Волей-неволей приходилось искать защиты у сеньора-покровителя, смотревшего на горожан как на таких же зависимых людей, какими были подвластные ему крестьяне.

Нет ничего удивительного в том, что феодал возлагал на городских жителей повинности, первое время мало отличавшиеся от крестьянских. Горожане работали на господском поле, возили на барский двор хлеб, сжатый на своих наделах, птицу, вскормленную в своих хозяйствах.

Со временем все изменилось. Феодалы поняли, что для них будет полезнее, если кузнецы станут подковывать боевых коней, оружейники сдавать панцири, седельщики — седла, а мясники, пекари и пивовары возьмутся снабжать замок и войско феодала нужными припасами.

Хотя феодал нуждался в горожанах, а горожанам до поры до времени нужен был могущественный покровитель, отношения между ними не могли быть мирными. С каждым годом росла жадность феодалов и возрастали их требования. Были недовольны и горожане, не желавшие, чтобы их обирали. Вместе с тем росла их численность и сила. Назревала неизбежная, упорная и жестокая борьба городов за свое освобождение от феодальной зависимости (об этой борьбе см. статью «Ланская коммуна»).

Что же породило средневековый город? Мы уже знаем, что города не были унаследованы средневековьем от античности.

Быть может, их появление надо объяснять находчивостью ремесленников, решивших создать свои особые поселения, а также догадливостью феодалов, устраивавших рынки и торгово-ремесленные поселки под сенью своих замков?

Ответив на этот вопрос утвердительно, мы допустили бы явную ошибку. Ведь если бы возникновение городов всецело зависело от сообразительности самих поселенцев и их покровителей, то города, несомненно, родились бы уже в первые столетия средневековья, так как и в ту пору не было недостатка в умных и находчивых людях.

И все-таки в раннее средневековье не было городов, так как мертвые развалины давно заглохших римских поселений никак нельзя признать подлинными, живыми городами.

Когда прежняя территория Римской империи была завоевана варварами, они создали свои королевства, население которых жило в деревнях. На широком пространстве тогдашней Европы существовали десятки тысяч деревень и имелись лишь немногие кое-как прозябавшие города-гавани Средиземноморья.

В те времена городов не было и не могло быть по той простой причине, что не существовало и тех людей, которые составили бы население этих городов и создали бы им славу: не было трудолюбивых, упорных и талантливых ремесленников.

Единственным тружеником раннего средневековья являлся сельский житель — крестьянин. Он не только пахал, боронил и засевал землю, не только собирал урожай и растил домашних животных. Он вместе со своей семьей обеспечивал себя всеми необходимыми орудиями труда и предметами домашнего обихода: деревянной сохой, домотканым холстом, самодельной обувью, посудой и др.

Постепенно, очень медленно улучшались земледельческие орудия. Росло население, повышалась техника труда и, как говорят ученые, развивались производительные силы.

Со временем стало появляться все больше и больше таких тружеников, которые были знатоками определенного дела. Это были умелые кузнецы, плотники, ткачи, оружейники. Их изделия оказывались прочнее, добротнее тех, какие обычно производил для себя крестьянин.

Так, из сельскохозяйственного населения понемногу выделялись люди, начавшие заниматься изготовлением орудий труда, оружия, утвари. То были первые скромные представители промышленного труда. И хотя они еще не перестали заниматься обработкой земли, им уже не хватало продуктов, и они отдавали свои изделия в обмен на хлеб и припасы, которыми соседи все более охотно оплачивали их труд. Теми же изделиями они расплачивались и с землевладельцем-господином, которому также нужны были и кузнечные изделия, и оружие, и ткани.

В конце X — начале XI столетия немало ремесленников постоянно проживало в деревнях, но и немало их бродило из конца в конец своей страны. Они появлялись в замках, на ярмарках и всюду предлагали свои услуги. Не реже встречались в ту пору и бродячие торговцы-коробейники, связывавшие друг с другом ранее разобщенные селения.

И чем больше становилось подобных людей, тем важнее им было поселиться в каком-то определенном месте, где было бы удобнее встречаться со многими заказчиками и покупателями и где надежная защита стен и укреплений обеспечивала бы безопасный, мирный труд умельцев-ремесленников и торговых людей.

Потому-то в большинстве европейских стран города складываются именно на рубеже X—XI веков, когда уже было налицо много ремесленников, искавших лучшего применения своим силам и неудовлетворенных ни скудным числом деревенских заказчиков, ни тяготами бродячего существования.

Расположение средневекового города. Его внутренний вид

Город не строился по определенному плану. Он рос стихийно, быстро. Новые дома примыкали к старым, образуя улицы, переулки, тупики. И эти улицы были то длинными, то короткими, шли вкривь и вкось, то изгибаясь, то образуя причудливые изломы, то вдруг обрываясь зданием, вставшим поперек улицы. Люди, родившиеся и выросшие в городе, хорошо знали запутанный лабиринт его тесных, кривых улиц, но чужеземец с трудом находил нужное ему место. Не раз в поисках «затерявшегося» дома он был вынужден повернуть назад или, остановившись на каком-нибудь перекрестке, напряженно вспоминать, сколько раз и в какой последовательности он поворачивал направо и налево, следуя полученному указанию.

Та самая забота о безопасности, которая оградила город каменным поясом, сгрудила в тесном и неподатливом кольце стен множество домов, число которых росло с каждым годом.

Особые постановления строго запрещали горожанам строить свои жилища вне стен. Поэтому каждый клочок городской территории был дорог и не должен был пропадать даром. На таком тесном клочке стремились уместить как можно больше зданий. Вследствие этого жилой дом западноевропейского средневекового горожанина имел обычно странный вид. Нижний его этаж занимал мало места, над ним нависал большим выступом второй этаж, площадь которого была по размерам больше. Над вторым этажом таким же выступом громоздился третий этаж.

Расположенные по обе стороны улицы, жилые дома почти вплотную сходились верхними этажами, соприкасались нависшими кровлями и затеняли почти всю улицу, оставляя над ней лишь узкий просвет неба.

Жители противоположных домов, раскрыв окна верхних этажей, могли легко обменяться рукопожатиями. Улица была настолько узкой, что на ней было невозможно разминуться двум встретившимся экипажам или телегам. И если по улице должна была проехать карета какого-нибудь знатного лица, впереди на значительном расстоянии мчался верховой с криком: «Дорогу, дорогу!»

Городские власти старались не допускать чрезмерного сужения улиц. Поэтому время от времени по приказу городского совета проводилось испытание: посередине улицы рысью ехал всадник, держа в руках копье. Если его копье своим острием или древком задевало какой-либо дом, то владелец обязан был уплатить штраф. Улица должна была оставаться проезжей. Однако проезжей она была только часть года, так как первые мостовые в Западной Европе появились поздно: в Праге в 1331 году, в Нюрнберге в 1368 году (и то лишь на нескольких улицах), во Франкфурте-на-Майне только в 1399 году.

Канцлер императора Карла IV (XIV век) жаловался, что в Нюрнберге из-за дождей на улицах образовалась такая грязь, что верховым стало небезопасно ездить, потому что «либо лошадь упадет в глубокую грязь и замарает всадника, как свинью, в вонючей уличной грязи, либо его забрызгают грязью чужие лошади».

В XV столетии жители Тутлинга предостерегали императора Фридриха III от поездки в их город, а когда он пренебрег этим предостережением, конь, на котором сидел император, провалился в грязь по брюхо, и перепачканного государя кое-как вызволили дюжие горожане.

Тот же император едва не утонул вместе с лошадью в бездонной уличной грязи вольного имперского города Рейтлингена.

Не многим лучше дело обстояло и в XVI веке. В 1562 году император Максимилиан II, собираясь посетить Франкфурт, просил

вымостить улицу перед предназначенным для него домом, указывая, что «улица эта плоховата, и зимой будет, пожалуй, слишком глубока!».

Один из деятелей Реформации писал о городе Готе: «Приходится ходить на ходулях и в деревянных башмаках; и почти все члены думы ходили в думу в таких башмаках. А когда они сидели в зале совета, эти деревянные башмаки стояли за дверью: тут можно было прекрасно сосчитать, сколько человек явилось на заседание».

В XIV веке Франкфурт готовился к очередной ярмарке и ожидал приезда многочисленных гостей. По этому случаю предпринималась спешная вывозка нечистот, а улицы, ведущие к ярмарочной площади, устилались соломой. Но как только заканчивалась ярмарка, улицы снова начинали зарастать наслоениями грязи.

В прославленном Нюрнберге часто собирались рейхстаги. Сюда съезжались на совещания князья, здесь велись переговоры представителей городов. Иноземные купцы, зодчие, художники и, наконец, любознательные путешественники постоянно наводняли этот богатейший город.

В XV веке городской архитектор долго ломал себе голову в тщетных поисках средства, которое могло бы придать более опрятный вид знаменитому городу Германии. Было решено предпринять экстренную чистку накануне прибытия именитых гостей. Но при этом очищали лишь немногие места: перед аптекой, около дома проповедников, у здания думы, у «красивого колодца»...

Городские власти были озабочены тем, чтобы почетные гости города не знакомились с оборотной стороной медали, не проникали в лабиринт тесных улиц и переулков, где ютились скромные ремесленники и поденщики. В том же XV веке жителей Аугсбурга заставляли сгребать грязь в определенные места, откуда ее вывозили особые колымаги. В 1500 году Кельнская дума жаловалась на то, что перед одним из домов образовалась глубокая трясина, из-за которой со многими горожанами днем и ночью случались несчастия.

Не случайно вековая непролазная грязь затопляла даже самые богатые средневековые города и в безуспешной борьбе с нею терпели неизбежное поражение как городские власти, так и отдельные граждане.

Эта всем надоевшая грязь имела два источника: одним из них было антисанитарное состояние жилищ, другим — обилие домашних животных и домашней птицы.

В те времена и в помине не было ни водопроводов, ни канализации. Воду приходилось носить в ведрах от ближайшего колодца. Все содержимое корыт, лоханок и помойных ведер выплескивалось на улицу, на горе зазевавшемуся прохожему. Застоявшиеся помои образовывали смрадные лужи, а неугомонные свиньи за-

ботились о том, чтобы незамощенная улица оставалась грязной и в сухую погоду. Барахтаясь в грязи и разрыхляя почву, они приводили улицу в невообразимое состояние.

Не мудрено, если отцы города считали обилие домашних животных и птицы подлинной бедой.

Дело в том, что горожане норовили тратить как можно меньше денег на закупку продуктов. И если в городской тесноте нельзя было иметь огороды, то можно было примостить к дому небольшой хлев да курятник, держать под рукой свиней, кур, гусей, а иногда и корову. Часть скота паслась под присмотром пастухов за городскими стенами. В Ульме, например, существовали отнюдь не почетные «Гусиные ворота». Ими ежедневно пользовались не гости города и не горожане, а лишь назойливо гоготавшие гуси, выгоняемые через них поутру и тем же путем возвращавшиеся под вечер.

Однако гораздо более многочисленные свиньи были далеко не такими покладистыми, как гуси. Раскормленные и отяжелевшие, но строптивые и независимые, они противились дальним путешествиям и, будучи патриотами своей улицы, упорно отказывались ее покидать. В протоколе Франкфуртской думы горестная запись отмечает, что «свиньи слишком долго простаивают перед чужими дверями». В 1553 году та же дума принимает следующее решение: «Масса свиней бегает по улицам и портит воздух, а посему пусть казначей города заплатит живодеру, чтобы тот убивал бродячих по улицам собак и свиней».

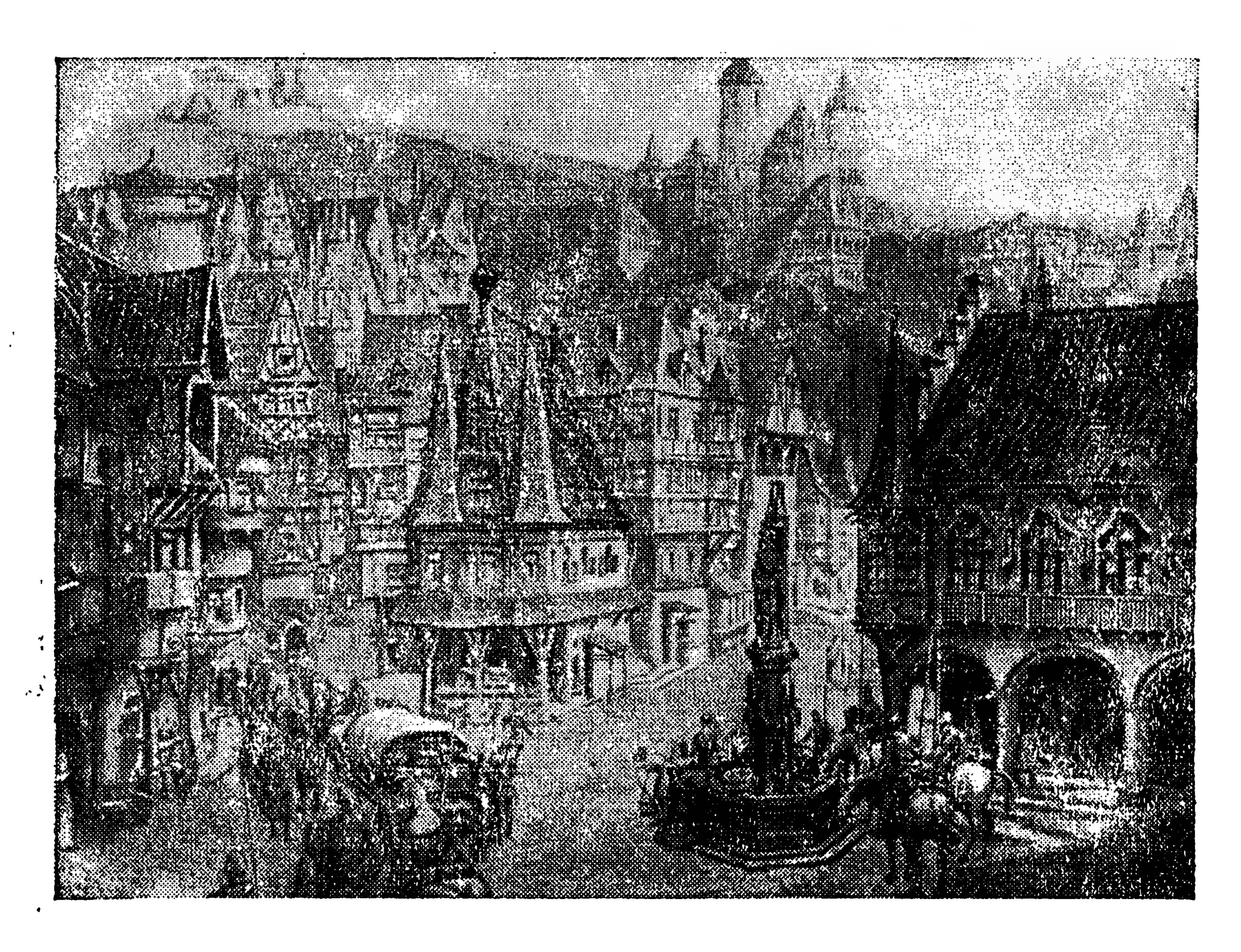
В 1410 году в Ульме постановили: «Выпускать свиней только в полдень от 11 до 12 и ни в какие другие часы».

Обычно специальные постановления ограничивали число свиней, которых разрешалось иметь рядовому гражданину, и допускали послабление лишь для членов городского совета. Но столь же часто подобные постановления нарушались.

В долгие месяцы осени и зимы город рано погружался во мрак. В Кельне в XIV веке светились лишь три фонаря: один у думы, другой на Марсовом поле, третий у монастыря. Домовладельцев обязывали вывешивать фонари у своих домов лишь в особых случаях: при пожаре, в дни приезда высокопоставленных гостей либо при нарушениях общественной безопасности. Во Франкфурте кое-где на перекрестках улиц устанавливали железные ящики, в которых по временам жгли серу и еловые ветки.

Горожанин, вынужденный вечером выйти из дому, не полагался на уличное освещение. Он вооружался длинной палкой и коптящим фонарем, который надо было плащом защищать от ветра.

Улица носила имя какого-нибудь святого или обозначалась названием того ремесла, представители которого селились на данной улице. Садовники, Красильщики, Кожевники, Седельщики — таковы наименования улиц, не требующие пояснений.



Площадь средневекового города.

Иногда улицы были обязаны своим названием тем иностранцам, «гостям», которые часто посещали город: Английская улица в Любеке, Ломбардская в Базеле, Русская во Вроцлаве.

Нумерации домов, к которой мы привыкли, не было. Обычно дом украшался эмблемой своего хозяина. Мы уже знаем, что сапожник возвещал о своей профессии выкрашенным яркой краской деревянным сапогом внушительных размеров. Пекарь украшал свое жилище огромным позолоченным кренделем. А если невозможно было найти надлежащую эмблему ремесла, то к дому просто прибивали деревянный щит того или иного цвета.

Адрес звучал своеобразно: «Улица святого Якоба, дом синего сапога, справа...» Дома были деревянные, их обмазывали снаружи глиной и крыли тесом или соломой, реже — более дорогой черепицей.

Только отдельные здания, принадлежавшие городским патрициям, дворянам да богатым купцам, были каменные.

При таких условиях, когда деревянные здания тесно примыкали друг к другу и соприкасались легко воспламенявшиеся кровли, пожары были нередки и представляли собой грозное, опустошительное бедствие, с которым общими силами боролись все граждане.

13 Заказ 454

В Нюрнберге ломовые извозчики и мельники, имевшие лошадей, были обязаны доставлять к месту пожара чаны с водой, всегда стоявшие наготове.

Как ни старались горожане вместить в тесном кольце городской стены свои здания, это становилось невозможным. Вне пояса укреплений, в нарушение всех постановлений, появлялись новые дома. Их становилось с каждым годом все больше, старый город обрастал пригородами. Постепенно население этих пригородов начинало превышать население старого города, и тогда возникала необходимость опоясать город новым каменным барьером. Так возникло второе кольцо стен большего радиуса. А со временем вновь появлялись вне стен новые дома и пригороды, а затем и новая стена. Потому-то все средневековые города имеют концентрическое расположение.

Небольшое центральное ядро представляет древнейшую часть города, а объемлющие это ядро кольцеобразные полосы окруженные стенами, говорят о постепенном росте города.

Сердцем западноевропейского города, средоточием всей его деловой и праздничной жизни являлась главная площадь. Это было единственное место, где не ощущалось ни тесноты, ни скученности. Просторная площадь была замощена камнем или покрыта настилом из досок.

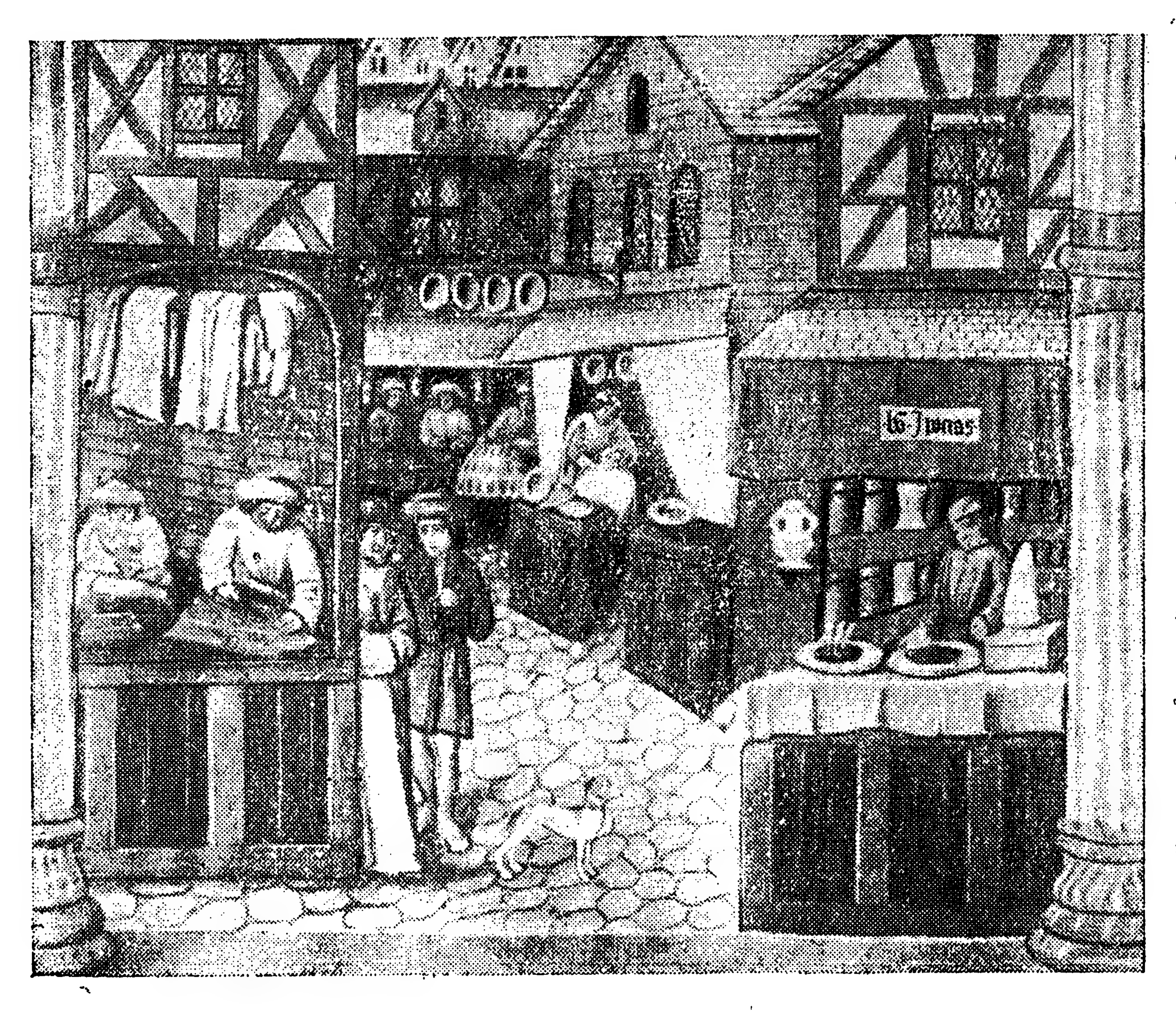
Здесь возвышался городской собор, самое монументальное и красивое здание, которым гордились горожане. Своими размерами он значительно превосходил все дома города. Сооружая свой собор, горожане всегда стремились к тому, чтобы он превзошел соборы других городов высотой, величавостью и архитектурным великолепием.

Старинная легенда повествует о том, что зодчий, взявшийся возвести Кёльнский собор, тщетно искал такой архитектурный замысел, который посрамил бы всех предшественников и соперников... И вот дьявол обещал подсказать ему нужный замысел. Но он поставил условие: первый, кто вступит в построенный собор, тотчас умрет, и душа его достанется сатане. Договор был заключен. Долгие годы велась работа, и зодчий позабыл о сделке с дьяволом.

Лишь когда небывалый по красе и величию храм горделиво вознес к небу свою двуглавую коническую вершину, зодчий все вспомнил и во всем признался архиепископу. Тот решил перехитрить дьявола.

В день торжественного открытия собора от самых его дверей и до дальнего леса стали друг против друга два ряда воинов, образовав живой коридор. В лесу загонщики подняли матерого волка и погнали его меж рядами воинов к настежь растворенным дверям собора.

Преследуемый волк, примчавшись, влетел в собор и замертво рухнул у алтаря. Его выволокли из собора и освятили храм. Так, говорит легенда, был посрамлен дьявол!



Торговая улица средневекового города.

Но для нас смысл и соль легенды заключается в том, что тщеславные обитатели большого и богатого города пытались, не жалея средств и не щадя сил, во что бы то ни стало превзойти жителей других городов блеском и величием своих архитектурных памятников.

В настойчивом стремлении затмить другие города великолепием собственных сооружений выразился тот дух соперничества, который постепенно вырос в упорной борьбе средневековых городов, десятилетиями оспаривавших друг у друга и торговые доходы и ремесленную славу.

Вблизи собора обычно помещалась городская дума, или ратуша. Представляя собой образец гражданской готики, она была и похожа и не похожа на собор. Напоминая его архитектурной отделкой, она не нуждалась ни в куполах, ни в колокольнях, ни в высочайших башнях. Она не тянулась вверх, а располагалась вширь.

Собор своей устремленностью ввысь напоминал о небесах, подавляя своими размерами и внушая суеверному человеку мысль о его ничтожестве и бессилии.

Ратуша в сравнении с собором казалась более приветливой. Широкими лестницами, просторными переходами, высокими, большими залами, статуями, картинами и надписями на стенах она как бы убеждала всех и каждого в богатстве и могуществе города, делами которого здесь управляли.

Почти весь верхний этаж занимал парадный зал. Затейливый орнамент покрывал здесь стены, двери и балки, на которых лежал потолок. Останавливали взор художественная роспись оконных стекол и стен, назидательные изречения, вырезанные то на дверях, то на спинках скамей.

Нередко одну из стен занимала картина «страшного суда». Изображенное художником небесное правосудие должно было служить образцом и примером для строгого и непреклонного земного правосудия, порождать уверенность в том, что именно такое правосудие всегда творят в стенах ратуши шеффены — городские судьи.

Под одним из традиционных изображений «страшного суда» красовалась надпись, призывавшая судей быть справедливыми и напоминавшая им, что они должны судить на земле так, как хотят быть судимы сами на небе. В зале одной из ратуш бросалась в глаза стихотворная надпись, определявшая задачи отцов города.

Кто градом призван управлять,
Свой долг пускай усмотрит в том,
Чтобы присягу соблюдать,
Чтоб ежечасно, день за днем
Свободу нашу защищать,
Чтоб, дорожа общественным добром,
На ветер денег не бросать,
Но к общей пользе все клоня,
Под праздник радость доставлять
И, мудрость меры сохраня,
Об общей пользе рассуждать!

Готический собор и ратуша главенствовали над площадью. В центре ее обычно находился городской колодец, тщательно оберегаемый от загрязнения. Этот колодец был украшен стройной башенкой и скульптурой. Чаще всего (во французских, немецких городах) тут стояла статуя Роланда — одного из любимейших героев западноевропейского средневекового эпоса.

В тревожные дни над площадью гудел башенный колокол, и отзвуки этого гула, разносясь по городу, призывали жителей собираться для решения важных дел. Но в обычные дни городская площадь жила суетливой будничной жизнью. Она с утра заполнялась народом. Поднятый над нею флаг возвещал начало рыночного торга. Ремесленники располагались рядами, занимая при-

вычные места: тут пекари, а там суконщики или седельщики. Каждый степенно раскладывал свои изделия и с достоинством ожидал покупателей. Обычай запрещал зазывать, громко хвалить свой товар и этим наносить ущерб другим ремесленникам. Городские купцы выставляли напоказ иноземные, заморские продукты и товары, а иногда на особом месте появлялись и «гости» — иногородние купцы, доставлявшие в город свои товары и диковинки. Здесь, на рыночной площади, в дни торга можно было встретить и надменных дворян и крестьян, приехавших сделать закупки. Все они отличались друг от друга обликом, одеждой и поведением.

Состав городского населения

В общей массе горожан обращали на себя внимание городские патриции, преисполненные напыщенной важности. Они носили дорогое платье, опушенное мехом, золотые цепи на шее, шляпы, украшенные перьями. Всем своим видом и осанкой они старались подчеркнуть, что являются людьми особого рода и неровня простым ремесленникам.

В число патрициев входили сыновья и внуки тех чиновников, которым в прежние времена городской сеньор вверял управление подвластным городом. Времена изменились, город уже не подчинялся сеньору и его ставленникам, но спесивые потомки епископских и графских чиновников продолжали жить в городе, по-прежнему отгораживая себя от всех прочих граждан. В ряды патрициата вливались и дворяне, окончательно переселявшиеся в город или предпочитавшие проводить в нем долгие зимние месяцы. Городской патрициат понемногу пополнялся также самыми богатыми купцами, стремившимися причислить себя к привилегиро-



В доме богатого горожанина.

ванному и «благородному» сословию. В руках патрициев издавна сосредоточилась значительная часть земель, расположенных в черте города и извне примыкавших к его стенам. Ремесленный люд, не имевший собственной земли, был вынужден проживать на участках, принадлежавших патрициям, и размещать на них свои мастерские. За пользование всеми этими участками ремесленники из года в год платили немалые деньги жадным патрициям, а те, не тратя никаких усилий, получали изрядный доход. Не утруждая себя работой, презирая физический труд как занятие, недостойное их сословия, патриции считали себя избранной частью городского населения. Упорно уклоняясь от каких бы то ни было налогов, патриции всегда перекладывали бремя городских расходов на плечи скромных тружеников.

Строительные работы, ремонт городских стен, укреплений, закупка оружия, нужного городу, оплата военных наемников — за все это, по мнению патрициев, должны были расплачиваться одни только ремесленники, которых опутывали хитроумными поборами и взысканиями.

Когда город освободился от власти сеньора и им стал управлять выборный совет, патриции заполонили этот совет, не допуская туда рядовых граждан. Патриции собирались в особые заведения, носившие цветистые названия, куда не было доступа простым людям. Здесь они неторопливо потягивали местное вино из резных кубков, сплетничали и злословили по адресу рядовых горожан. Здесь же устраивались пиры и танцы, музыка услаждала слух щеголей и нарядных девиц, веселившихся и плясавших до поздней ночи при свете смоляных плошек и восковых свечей. Переселившиеся в город дворяне вели себя особенно дерзко. Они задевали на улице скромных бюргеров, оскорбляли их, а когда бюргеры давали им отпор, обидчикам приходилось подолгу отсиживаться в своих похожих на крепости каменных домах, боясь выйти оттуда и столкнуться с оскорбленными негодующими горожанами.

Но не надменные патриции и не заносчивые дворяне создали славу средневековому городу. Города средневековья крепли и богатели, став средоточием ремесла и торговли. Скромные ремесленники заслуживают нашего особого внимания, и речь о них пойдет в другом очерке.

ЛАНСКАЯ КОММУНА

Сразу же после крестоносных завоеваний в Европу хлынул поток новых товаров: драгоценности, яркие шелковые ткани, пестрые ковры, невиданные плоды и пряности — все это шло на ярмарки и городские рынки, а оттуда растекалось, попадая в замки герцогов, графов и баронов.

Рассказы о заморских диковинках проникали и в те замки, где вовсе не видывали этих заманчивых новинок. И в богатом замке герцога, и в одинокой башне, служившей жилищем рыцарской семье, молва о «дарах Востока» кружила головы гордых феодалов и буйных рыцарей. В ту пору знатные сеньоры любили изрекать: «Тот, кто довольствуется необходимым, только существует, а для того, чтобы жить и познать прелесть жизни, нужен избыток, нужна роскошь!»

Феодалы, как никогда, жаждали денег. Чтобы их раздобыть, прибегали к любым средствам: обременяли крестьян лишними поборами и старались запустить руку в карман горожанина. Участник первого крестового похода Тома́ де Марль грабил купцов на большой дороге. Сеньоры считали себя безнаказанными, зная, что на их стороне сила.

Молодые постепенно крепнувшие города начинали понимать, что силе недругов пора противопоставить собственную силу. Снаряжая торговые караваны, купцы сопровождали их с мечом у пояса. Похожие на воинов, они были готовы к любым опасностям и дорожным невзгодам.

Однако горожане страдали не только от нападений знатных разбойников. Подчас им приходилось терпеть не меньше от своих сеньоров-покровителей, от их грубого самоуправства и вымогательства.

Купцы и ремесленники заботились о безопасности дорог и в то же время сами стремились к управлению городом, к тому, чтобы стать его настоящими и полными хозяевами.

Один за другим города Франции вступали в трудную и упорную борьбу со своими сеньорами. Ценой больших жертв они освобождались от власти сеньора и добивались коммуны — самоуправления в отныне вольном и независимом городе.

Картину такой борьбы мы находим в пожелтевших хрониках аббата Гиберта Ножанского...

Солнце клонилось к западу. По дороге к Лану двигалась небольшая группа людей, часть их ехала на тяжело груженных телегах, часть — верхом. Костюмы и речь половины всадников выдавали в них англичан и итальянцев. Впереди всех, почти касаясь друг друга стременами, гарцевали два всадника, ведя негромкую беседу. Плотный высокий француз, доверительно наклонившись, говорил своему соседу:

— Лан, куда Вы изволите ехать, город богатый. Но все его несчастье в том, что король от него далеко, а почти два года перед моим отъездом мы не имели даже епископа. Город без хозяина, без главы, а значит, и без порядка. Сеньоры и их слуги открыто грабят, не боясь ни бога, ни властей, сообразуясь лишь со своими силами и прихотью. С тех пор, как погиб в походе против неверных наш прежний владыка-епископ, два года никто не сумел предложить его королевскому величеству достаточно денег, чтобы получить инвеституру[1] в Лане. Я слышал по дороге, что недавно в Лан назначен епископ. Но стало ли там лучше — неизвестно.

Ехавший рядом всадник, по-видимому, итальянец, перебил говорившего:

— Так почему же сами горожане не возьмут управление городом в свои руки и не прекратят злодеяний? Ведь совсем недавно в Нуайоне король утвердил коммуну.

— О Лане ходят легенды, достойные варваров, — продолжал всадник после минутного молчания. — В Суассоне один аббат рассказывал, что не далее как в прошлое воскресенье произошел страшный случай. Навстречу крестьянам, стекавшимся в Лан из всех окрестных деревень, чтобы обменять свои продукты и запастись всем необходимым на рынке, вышли горожане. Они вынесли в корзинах образцы различных товаров и предлагали их крестьянам. Сойдясь в цене, горожанин говорил крестьянину: «Следуй за мной в мой дом, чтобы убедиться, что весь товар по качеству так же хорош, как эти образцы». В доме, куда доверчиво являлся приглашенный, происходило примерно следующее: хозяин подводил крестьянина к большому сундуку и, приподняв крышку, говорил: «Нагнись над сундуком и своими глазами осмотри товары, выбери, что нравится, сам». Но стоило крестьянину просунуть голову под крышку, как наглый горожанин хватал его за ноги, вталкивал в сундук и, заперев несчастного, требовал выкупа.

Лицо французского купца, слышавшего этот рассказ, потемнело, в глазах вспыхнуло возмущение, рот искривился в горькой усмешке.

— Клянусь всевышним, это клевета проклятых рыцарей и клириков! — воскликнул он. — Я не знаю, кто рассказал эту басню Вашей милости, но, даю слово Рауля Гастина, этот человек из ста-

[1] *Инвеститура* — посвящение в церковный сан при назначении епископа.

на врагов всех честных и почтенных жителей Лана. Что же, по-вашему, ланцы хотят разрушить свою собственную торговлю и ремесло? Ведь ни один крестьянин или купец не стал бы приезжать на ланский рынок, если бы вместо торговли горожане занимались подобным разбоем. Клевеща на нас, знать желает скрыть свои бесстыдные набеги, грабежи и преступления.

— Почему же вы не обратитесь к его величеству Людовику VI, чтобы обуздать тех, кто творит беззакония? — упорно спрашивал итальянец.

Рауль Гастин стал еще мрачнее.

— Я говорил уже, что в нашем злополучном городе знать не страшится ни бога, ни законных властей. Что всего ужаснее, даже сам король, когда ему случалось бывать в Лане, испытывал постыдные притеснения во всем... В прошлый его приезд молодчики какого-то сеньора избили слуг короля и отняли у них силой коней, которых те вели на водопой. И король не наказал виновных, так как не мог отыскать их. Какую же защиту может он оказать нам? Его величество, новый наш король, храбр на войне, но, говорят, он слишком легко доверяется дурным людям, испорченным жадностью и сластолюбием. Людовик VI сам слишком любит деньги и слишком часто в них нуждается, а потому зависит от своих богатых вассалов и не хочет ссориться с некоторыми могущественными сеньорами. Впрочем, — закончил Гастин задумчиво, — деньги есть и у нас, и мы посмотрим, у кого их больше...

Тем временем маленький караван выехал из небольшого леска и перед глазами путников над рекой Ардон раскинулся живописный город. Заходящее солнце освещало красноватым светом зубчатые стены, башни епископского дворца, высокие, крутые кровли городских построек и церквей. За городом поднимались невысокие покрытые лесом горы. Между узкой лентой реки и городскими стенами виднелась группа домов селенья Люлльи. С противоположной стороны тянулись виноградники и поля, покрытые весенними всходами.

— Вот и Лан!

Разговор прервался. Оба спутника молча смотрели на город. Вскоре показался Сурдский мост, перед которым толпился народ и стояла вереница телег, плотно окруженных всадниками.

Рауль Гастин — богатый и предприимчивый глава ланских купцов, имевших свои особые ряды на ярмарке в Труа, — возвращался в свой город после долгого путешествия в Иерусалимское королевство. Поездка оказалась на редкость удачной. Используя свои родственные и большие деловые связи в Руане и южнофранцузских портах, он заключил контракт на поставку ко двору иерусалимского короля Балдуина оружия, вин и различных изделий Северной Франции. На обратном пути Рауль Гастин побывал в Руане и Бордо и теперь спешил в Лан, надеясь хорошо подготовиться к знаменитой весенней ярмарке в Труа, в провинции Шампань. Его

караван благополучно миновал дорожные опасности и приключения, которых встретилось немало, и теперь, уже у ворот родного Лана, купец побаивался последнего препятствия, подстерегавшего его на Сурдском мосту через Ардон.

Здесь была устроена застава для сбора дорожной пошлины в пользу сеньора Ангеррана де Куси, во владениях которого раньше находился наиболее удобный брод, позднее — мост через реку. С Сурдским мостом люди связывали страшные рассказы об ограбленных путешественниках, о беззаконных поборах и разбойных нападениях. Называли имена несчастных купцов, которых молодчики де Куси утопили в омуте под мостом, чтобы те не могли пожаловаться на ограбление.

Было еще светло. При виде сгрудившихся перед мостом повозок и людей Гастин с тревогой подумал, что его могут задержать до ночи. А с наступлением мрака только собственная сила и находчивость могли бы сохранить дорогие левантийские товары.

Но опасения оказались напрасными.

— Мы ждали вас, — тихо сообщил новоприбывшему встретивший его у заставы, известный в городе кузнец, глава ланских оружейников Тейдего, человек богатырской силы и могучего телосложения. — В Лане много новостей.

— Я слышал, назначен новый епископ, — начал Гастин.

— Да, — прозвучал ответ. — Год назад в Лан прибыл новый епископ, некто Годри́. Его никто в городе не знал. Да что я говорю, — в городе. Этого нормандца, сподвижника короля Генриха I Английского, только деньги, добытые грабежом в Англии, привели к сану епископа. Аббат Гиберт Ножанский сам рассказывал, при каких странных обстоятельствах Годри получил посвящение в сан. Неизвестно лишь, как велика сумма, которую Годри заплатил за королевский приказ о его назначении епископом Лана.

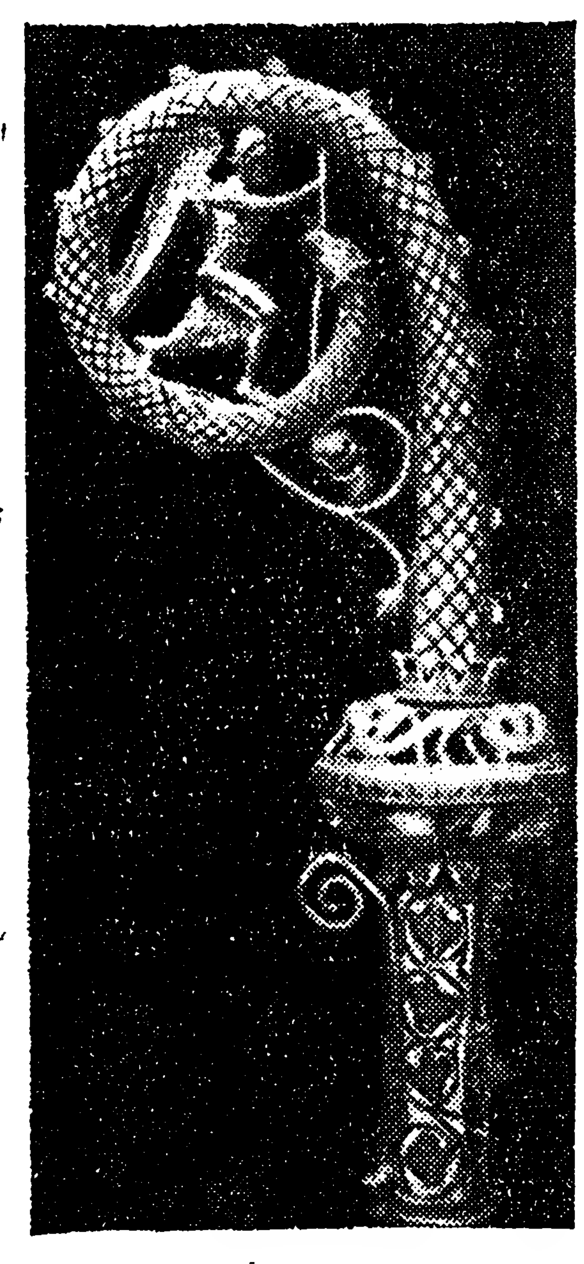
— Теперь мы пожинаем плоды поспешности и жадности его величества, — сумрачно продолжал Тейдего. — Едва добравшись до Лана, новый епископ быстро договорился с сеньорами. Годри приблизил к себе Ансельма, магистра [1] монастыря святого Винцента, кастеляна [2] Гильома, архидьякона [3] Готье, а мошенника Гюи сделал казначеем. И эта клика, ободренная доверием и попустительством самого епископа, начала творить беззакония и грабежи, заниматься вымогательством еще беспощаднее, чем прежде. Сам же епископ Годри превзошел их всех. За то, что он безграмотно отправляет богослужение, пусть его рассудит бог, но его дела в самом Лане не поддаются описанию. Он любит похваляться участи-

---

[1] *Магистр* — средневековая ученая степень.

[2] *Кастелян* — от латинского castellum (замок) — комендант, начальник замка.

[3] *Архидьякон* — церковная должность — старший помощник священника.


Епископский посох.

ем в сражениях, завел отличную конюшню. Половина посевов вокруг Лана была в прошлом году вытоптана епископом и его свитой во время охоты, которую он страстно любит. Желая запугать недовольных, Годри по примеру придворной знати привез однажды с Востока некоего Жана и назначил его палачом... Храни бог попасть в лапы этого исчадия дьявола. Бодена, которого епископ заподозрил в сношениях с его врагами, епископские слуги схватили в собственной постели, а на утро вернули домой без памяти, с выколотыми глазами, истекающего кровью. Когда я сам прошлым летом обратился к Ангеррану де Куси, а затем к епископу с просьбой дать мне свободу, этот негодяй... — Тут Тейдего, задыхаясь от негодования, замолк, чтобы перевести дух, — этот негодяй прежде всего приказал слугам отнять у меня деньги, которые я принес в уплату за себя, потом вышвырнул меня за дверь, крича вдогонку, что моя рожа слишком напоминает ему волчью морду, что дать мне волю — это все равно, что в стадо овец выпустить Изегрима (волка)...

— Теперь епископ в Лане? — прервал Гастин говорившего.

— Нет, — ответил тот. — На прошлой неделе Годри уехал в Англию. Видно, получил известие, что там вновь запахло какимнибудь походом и добычей.

— А слышали ли вы о коммуне в Нуайоне? — спросил в свою очередь кузнец.

— Да, как же. Не только слышал, но и сам успел побывать там и могу кое-что рассказать.

В это время загрохотали телеги и застучали копыта проезжавших по мосту всадников каравана Гастина и итальянца, и разговор прекратился.

Установление коммуны в Лане

Положение в Лане действительно становилось нестерпимым. Пример Нуайона, недавно завоевавшего коммуну, отъезд епископа, бесчинства рыцарей, приближенных Годри и их слуг вконец расстраивали городскую жизнь.

Даже рынок опустел, так как и продавцы и покупатели опасались его посещать. Все это ускоряло события.

Крепостные крестьяне, прожившие в черте города «год и один день», с установлением коммуны жаждали получить полное при-

знание своей личной свободы. Эти люди имели в Лане мастерские или лавки. Многие из них сумели кое-что скопить, так как их доход превышал ту сумму, которую они были обязаны платить своему господину, разрешившему им жить в городе.

Лично свободные купцы и ремесленники-мастера, наслышавшись о спокойной жизни горожан Нуайона и Сен-Кантена, отвоевавших независимость, ожидали, что коммуна спасет их от самоуправства и произвола.

Люди, управлявшие Ланом от имени епископа, в его отсутствие были и сами не прочь продать за большую цену населению города свое согласие на установление коммуны. Вскоре по возвращении в Лан, Рауль Гастин вступил с ними в переговоры об условиях, на которых те согласны установить коммуну.

В Лане царило всеобщее возбуждение. На площади у церкви, возле рынка, у городских ворот часто собирались сходки горожан. Они с негодованием перечисляли злодеяния и несправедливости, чинимые знатью. В то же время рассказывали о порядках, восторжествовавших в Нуайоне после учреждения коммуны. Купцы, ремесленники, даже крестьяне близких к Лану деревень несли пожертвования, не жалели последних денег, чтобы добиться коммуны. Сотни золотых ливров собрали зачинщики борьбы за коммуну во главе с Гастином и оружейником Тейдего.

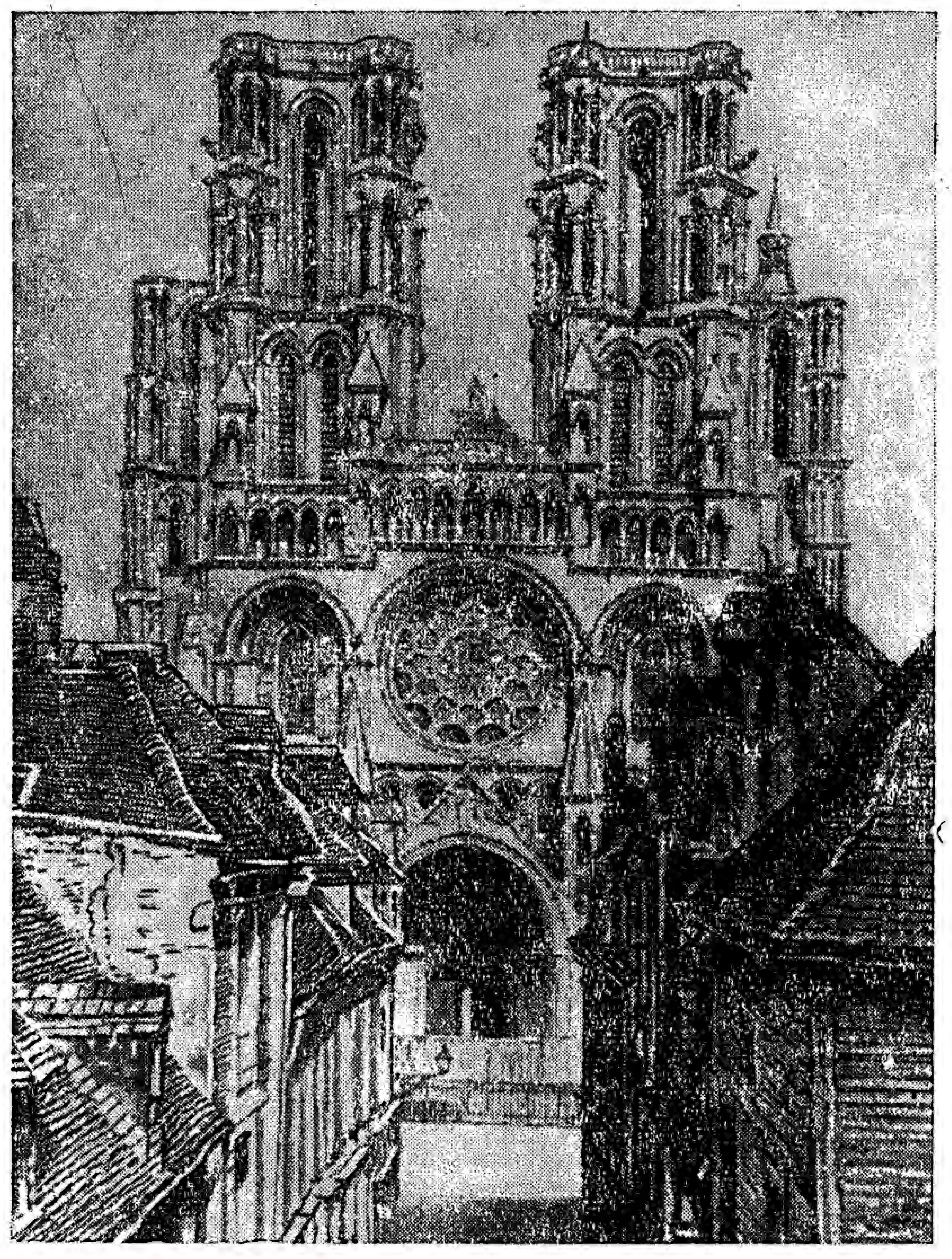
Наконец, к зиме 1108 года часть сеньоров и клириков, также недовольных властью «чужеземца-епископа», дали согласие на учреждение в Лане коммуны. Вот как описывает эти события их современник аббат Гиберт Ножанский: «Все жители должны были выплачивать однажды в год своему сеньору обычные крепостные повинности и платить законно установленный штраф в случаях, когда ими совершен какой-нибудь проступок. Горожане совершенно избавлялись от всех повинностей и взносов, которые обычно налагаются на сервов (крепостных).

Пользуясь возможностью откупиться от множества притеснений, простолюдины дали кучу денег сребролюбцам, руки коих подобны бездонной яме, которую нужно наполнить. Сделавшись сговорчивее от падавшего на них золотого дождя, духовенство и сеньоры пообещали народу точно соблюдать заключенный договор и скрепили свое обещание присягой».

Отныне Лан должен был управляться советом коммуны из 36 самых богатых и почтенных горожан, выбранных членами коммуны. Судиться все жители Лана могли теперь у эшевенов — судей, избранных горожанами.

Наконец, всякий, принятый в члены коммуны, обязывался в течение года выстроить себе дом, купить виноградник или привезти в город достаточно имущества, чтобы суметь уплатить штраф, если совершит какой-нибудь проступок в черте города.

Весть об учреждении коммуны в Лане вызвала общее ликование горожан и сельских жителей, крепостных крестьян и мелких



Собор в городе Лане.

ремесленников окрестных селений. Но эта же весть возбудила гнев и раздражение соседних феодалов и рыцарей.

Как же! Подневольное мужичье осмелилось заговорить о праве и законе, возымело дерзость противиться хозяевам, привыкшим считать их своей бессловесной собственностью! Господин отныне уже не смеет ударить, схватить и заточить без суда в темницу граждан, переставших быть его зависимыми людьми!

Однако оказалось, что ланцам еще слишком рано радоваться. Предстояло получить согласие и освящение коммуны сначала от епископа Годри, прибытие которого ожидалось, а затем и от короля. Стали готовить посольство к королевскому двору во главе с неутомимым Раулем Гастином и оружейником Ренбером. Горожане надеялись главным образом на силу золота и не жалели денег, отчисляемых в фонд коммуны.

Торжественно, в присутствии всех жителей города, состоялась закладка огромной башни для колокола коммуны. Лучшему граверу заказали особую печать совета. Самые умелые и опытные мастерицы усердно расшивали пожертвованную Гастином для нового знамени Ланской коммуны дорогую восточную ткань.

И вот однажды к Гастину прискакал гонец с известием, что к Лану приближается епископ Годри с огромной свитой. Начались спешные приготовления к встрече. Однако Годри, узнав о Ланской коммуне еще в дороге, невероятно взбешенный, отказался ее признать. Епископ заявил, что не въедет в Лан, пока не будет уничтожен заключенный без него договор. Проехав через Сурдский мост, он расположился лагерем прямо под открытым небом в полуверсте от городских стен.

Упорство Годри вновь окрылило ту часть знати, которая жила надеждой на возвращение старых порядков. Сеньоры и клирики, в том числе и те, которые получили от горожан немалые деньги и совсем недавно перед алтарем клятвенно подтвердили незыблемость коммуны, теперь дневали и ночевали у Годри. Они злорадствовали по поводу того, что столь ловко провели народ: и деньги выманили и ненавистный договор вскоре удастся отменить.

На четвертый день к Годри с утра направилась большая депутация совета коммуны. Народ с волнением ждал результатов, готовый стать на защиту своих прав.

После долгого, томительного ожидания по городу разнеслась неожиданная весть: епископ Годри приближается к воротам Лана. Действительно, епископ въехал в город, сопровождаемый пышной свитой, похожий скорее на главаря военной дружины, чем на духовную особу.

Отслужив краткий молебен, епископ Годри вышел в полном облачении, с евангелием в руках, сопровождаемый священниками, и остановился перед распятием. Все опустились на колени. И тогда, рассказывает современник, в наступившей глубокой тишине Годри «принес присягу, что будет соблюдать права коммуны Лана, которые имеют те же основания, что и права, установленные и написанные для городов Нуайона и Сен-Кантена».

В Лане началось ликование. В каждом доме появление коммуны праздновали, словно рождение долгожданного первенца. Из уст в уста передавали, как бушевал Годри, когда первая депутация от Лана прибыла в его лагерь, какими страшными карами грозил он ланцам, особенно зачинщикам коммуны.

Но едва он услышал, что совет коммуны предлагает ему больше 200 ливров золота и серебра, так сразу же пошел на уступки, приказав своей свите сниматься с места и возвращаться в Лан.

В начале 1109 года горожане с нетерпением ожидали возвращения своей депутации, посланной с богатыми дарами в Париж, чтобы получить от короля утверждение коммуны. Боясь обмана со стороны Годри и знати, горожане хотели заручиться поддержкой самой высшей в государстве власти — власти короля.

Позднее, в конце XII и в XIII столетии, при Людовике VII и Филиппе II Августе сами короли увидели в независимых городах-коммунах надежных союзников в борьбе против своеволия и заговоров крупных феодалов и могучих епископов. Но в более раннюю пору короли, слишком слабые для такой борьбы, еще колебались, не зная, на чью сторону склониться.

Наконец, горожане дождались и депутации из Паража. Она привезла хартию Ланской коммуны, скрепленную большой королевской печатью. Кроме древних обычных повинностей, город в случае войны обязался три раза в год предоставлять бесплатные пристанища королю со свитой, когда он прибудет в Лан, либо платить по 20 ливров деньгами вместо этой услуги.

На следующий день по получении королевской хартии епископ Годри назначил освящение границ коммуны Лана. С раннего утра в церкви святого Винцента началась торжественная служба. Затем из церкви двинулась огромная процессия, которая останавливалась на границах городской земли. После обряда освящения на окраине города водрузили виселицу и пограничный столб в знак того, что в пределах коммуны суд выборных судей — эшевенов властен наказывать виновных любой карой — от штрафа до смертной казни...

Клятвы нарушены. Борьба за коммуну

Прошло три года со дня установления коммуны. Добившись независимости, город быстро расцветал. На ланском рынке становилось все теснее и многолюднее. На площади недалеко от епископского дворца над городом вознеслась четырехугольная башня. Ее постройка стоила многих денег и усилий. Из Фландрии были приглашены знаменитые зодчие.

В нижнем этаже башни размещались арестанты. В следующем этаже находилась зала суда, где собирались эшевены. Еще выше хранились архив, печать и казна коммуны. По утрам и вечерам, а также в особые дни, когда созывался общий сход всех членов коммуны, звучали удары башенного колокола. В праздничные дни на башне гордо развевалось знамя коммуны Лана.

Город в установленные сроки исправно вносил все платежи сеньорам, епископу и королю. Знать и рыцари не смели творить

бесчинств в черте города, опасались затрагивать горожан, снабженных охранной грамотой коммуны.

Однако спокойствие в городе длилось недолго. Аббат Гиберт Ножанский пишет: «Боже мой, кто бы мог рассказать о той борьбе, которая разгорелась, когда после того, как были приняты дары от народа и дано столько клятв, те же самые люди пытались разрушить то, что они же недавно клялись поддерживать... и стремились вернуть в прежнее рабское состояние людей, однажды освобожденных и избавленных от всех тягостей ярма? Необузданная зависть к горожанам снедала епископа и сеньоров. Пастырь... томился ненасытной жадностью и забывал все обязанности, налагаемые на него епископским саном».

Говорили, что Годри на заре больше любил слушать охотничий рог, чем перезвон колоколов, и раньше всего посылал будить птицеловов и псарей, а не викариев, капелланов и привратников храма.

Во дворце епископа развлекались борьбой и кулачным боем, на дворе устраивали травлю медведя собаками. Гостей тешили шуты и жонглеры. Рекой лилось старое дорогое вино, пока гости и хозяева не напивались допьяна. Но вот деньги, полученные за установление коммуны, иссякли, и тогда епископ созвал во дворце своих приспешников. Когда все разместились за столами, Годри встал, подняв над головой огромную чашу вина. Гости затихли, предчувствуя, что им предстоит узнать нечто особенно важное.

— Любезные гости, сеньоры и рыцари! — начал величественно хозяин дворца.— На этом свете есть три рода крикунов, которых трудно заставить замолчать: коммуна мужиков, возомнивших себя сеньорами, спорящие женщины и стадо хрюкающих свиней. Мы смеемся над вторыми, презираем третьих, но да избавит нас господь от первых.

Годри сообщил присутствующим о предстоящем приезде короля и своем намерении убедить его величество отменить хартию, дарованную Лану.

— За приезд короля и за успех нашего дела!

Епископ осушил чашу до дна не отрываясь. Собравшиеся дружно поддержали хозяина и принялись пировать, обсуждая услышанное.

Когда в апреле 1112 года в Лан прибыл король Людовик VI, по прозвищу Толстый, Годри стал убеждать его, что нет ничего страшного в нарушении клятвы, данной мужичью. Он, епископ Годри, берется освободить короля и всех присягнувших коммуне от произнесенных перед алтарем обещаний. Кроме того, как он надеется, его величество, отменив коммуну, не откажется принять от слуги своего в подарок некую значительную сумму в знак благодарности за совершенное королем благодеяние...

Совет коммуны, проведав об измене епископа, решил превзойти его и, более щедро одарив короля, спасти коммуну. Узнав, что

город предложил королю 400 ливров, Годри неожиданно пообещал ему 700.

После этого в совет коммуны пришел королевский приказ, гласивший, что Лан обязан передать епископу знамя и печать коммуны, а висевший на башне колокол коммуны должен навсегда умолкнуть.

Ланцы гневом и проклятиями встретили весть о подкупе короля и о нарушении королевских обещаний. Испуганный Людовик тайком перебрался в епископский дворец, а на следующий день на рассвете постыдно бежал вместе со свитой, решив отпраздновать пасху подальше от Лана.

Духовенство и знать ликовали. Одно тревожило их: откуда взять деньги для расплаты с королем? Но Годри отвечал с усмешкой: «Положитесь на меня, деньги будут. Если я не сдержу данного вам слова, посадите меня в королевскую тюрьму и заставьте внести за себя выкуп».

План Годри оказался на диво простым: за отмену коммуны по приказу епископа каждый горожанин обязан уплатить столько же, сколько внес три года назад, чтобы купить согласие епископа и короля на создание коммуны. По всем домам начали рыскать казначей Гюи и слуги Годри, оценивая имущество горожан.

Между тем в городе царила обманчивая тишина — предвестье грядущего взрыва.

«Нарушение договоров, создавших Ланскую коммуну, — рассказывает хроника, — наполнило сердца горожан гневом и изумлением; все лица, занимавшие должности, прекратили исполнение своих обязанностей. Сапожники и башмачники закрыли свои лавочки; трактирщики и харчевники не выставляли никаких товаров, и никто не надеялся, чтобы в будущем что-нибудь оставили им господа, жадные к добыче...»

В ночь накануне пасхи к дому Рауля Гастина, оглядываясь, подходили одна за другой темные фигуры. Дверь бесшумно раскрывалась, пропуская входивших. Пройдя коридор и несколько комнат, гости попадали в лоджию — небольшую пристройку к дому. Отсюда дверь вела в примыкавшую к основному строению часовню, где прибывших встречал хозяин.

К полуночи в часовне собралось около 40 человек. Неровный дрожащий свет свечей у резного деревянного распятия падал на лица, горевшие решимостью. Тут были купцы и мастера, владельцы загородных виноградников и крепостные люди епископа. Среди собравшихся находились два сына Бодена, искалеченного епископским палачом Жаном, и родные убитого Герарда. В первом ряду заговорщиков стоял Тейдего, бывший крепостной кузнец, уже два года считавшийся полноправным членом коммуны.

На ночном совещании единодушно пришли к решению — оказать вооруженное сопротивление вероломному посягательству епископа и сеньоров на коммуну.

Собравшиеся восклицали:

— Смерть Годри! Да здравствует коммуна!

Неведомым образом слух о заговоре горожан дошел до архидиакона Ансельма. Напуганный, поспешил он сообщить епископу эту неожиданную весть. В ответ на предостережение Годри презрительно усмехнулся. Пытаясь скрыть охвативший его страх, он заносчиво ответил:

— Тьфу, чтоб я погиб от этих низких и трусливых тварей?! Не бойся, Ансельм, и продолжай спокойно заниматься своими делами!

Однако епископ не вышел даже к заутрене. Вызвав несколько слуг и рыцарей, Годри приказал им спрятать под одежду оружие и сопровождать его во время пасхальной процессии, которая по древнему ланскому обычаю каждый год на второй день пасхи направлялась из епископской церкви через весь город к монастырю святого Винцента.

Из епископских поместий Годри вызвал крестьян, вооружил их и образовал из них отряды для защиты дворца, башен и церквей. Но крестьяне оказались ненадежными. Как говорит старая хроника, «было очевидно, что эти люди враждебны ему, ибо они знали, что кучи денег, обещанных епископом королю, будут извлечены также и из их собственных кошельков».

Годри не кормил и не оплачивал крестьянские отряды, надеясь натравить их на членов коммуны. Но на четвертый день пасхи у самого автора хроники аббата Гиберта Ножанского голодные крестьяне разграбили припасенный хлеб и украли несколько окороков. Разгневанный, поспешил он к епископу и потребовал, чтобы тот прекратил наконец беспорядок, иначе дело дойдет до открытого восстания. Годри встретил своего аббата насмешливо: «Как вы думаете, чего эти люди смогут добиться своими мятежами? Да если мой Жан потащит за нос самого свирепого и наглого из них, тот не посмеет даже пикнуть в ответ. Ведь я их заставил на время моей жизни отказаться от того, что они называли своей коммуной. Что же касается крестьян, то я распорядился уже распустить их по домам. Мы справимся с мятежным сбродом и сами».

На случай восстания епископ приказал укрепить дворец, заготовить большие камни, чтобы обрушить их на головы тех, кто посмеет на него напасть.

Утром на пятый день пасхи до ушей епископа донесся отдаленный гул, заставивший его проснуться и броситься к окну. Огромная толпа горожан с громкими криками: «Коммуна! Коммуна!», «Смерть врагам коммуны! Смерть Годри!» — приближалась ко дворцу. Мечи и секиры, дубины и копья, топоры и вилы, кто что имел, захватили с собой горожане для расправы с ненавистным епископом. Бежать было некуда и некогда. Покинуть дворец означало быть немедленно растерзанным толпой. Оставалось

одно — защищаться, пока не подоспеет помощь сеньоров и рыцарей из ближайших к Лану поместий. Такова была единственная надежда Годри.

Несколько рыцарей посмелее, из числа живших в городе, действительно поспешили на помощь и яростно сражались с толпой. Но их было немного. Большинство приближенных епископа попряталось в своих домах.

Толпе пытался преградить путь кастелян Ганимар. У самого входа во дворец исполин оружейник Ренбер сверкающей секирой, выкованной собственными руками, раскроил Ганимару череп.

Кровавые схватки происходили и у другого входа во дворец, на придворцовой площади против башни с колоколом коммуны. Начался штурм дворца. Из окон на головы горожан сыпались стрелы и дротики, обрушивались камни. Сам епископ с несколькими десятками слуг, вооруженные до зубов, пытались сдержать натиск осаждавших. Но с каждой минутой это становилось все труднее и безнадежнее. Четверо слуг, залитые кровью, уже не могли сражаться. Архидиакон Готье упал, пронзенный чьим-то метким копьем. В самое горло палача Жана вонзилась стрела, и он, умирая, корчился у ног епископа.

Горожане приставили большую лестницу к боковому окну. Одновременно снизу раздался треск разбиваемых тараном дверей. Годри, охваченный страхом, бежал в подземелье, ища, где бы укрыться. Переодевшись в платье кого-то из убитых, он спрятался в одной из пустых винных бочек, обещая помогавшему ему слуге щедрую награду за молчание. Дрожа перед ожидавшим его возмездием, Годри вполз в заплесневевшую бочку и притаился в ней, согнувшись в три погибели, задыхаясь от ужаса и зловония.

Ворвавшиеся в епископский замок горожане нигде не могли найти его владельца. Годри словно провалился сквозь землю. Стали допрашивать слуг, но никто из них ничего не знал. Наконец, один из них кивком головы указал на подвал. Дверь, ведущую в подвал, сорвали с петель, и народ заполнил подземелье. Свет дня проникал туда лишь через крохотное оконце. В поисках епископа восставшие катали наполненные вином бочки, а у пустых дубинами вышибали донья.

Дошла очередь и до бочки, в которой сидел полумертвый от страха Годри. Тейдего, ударив по бочке дубиной, спросил, кто там находится. Раздался стон: «Здесь томится несчастный пленник». Но Тейдего, узнав голос своего врага, расхохотался: «Ах, это господин Изегрим!» И могучей рукой, ухватив Годри за волосы, выволок его из бочки. Епископ с трудом стоял на ногах, весь в плесени, бледный и растрепанный. Горожане едва узнавали в этом оборванце своего надменного и жестокого владыку. Прерывающимся голосом лепетал Годри мольбы о пощаде и, ползая на коленях, клялся, что навсегда откажется от епископства и хорошо воз-

наградит горожан, если они даруют ему жизнь. Но епископа не слушали, вытащили на площадь и убили ударом секиры.

Ланцы поджигали и разрушали дома наиболее ненавистных приспешников Годри. Огонь перебросился на соседние церкви и храм Святой девы. Солнце уже давно зашло, но было светло, как днем, от полыхавшего пожара.

Всю ночь, переодевшись в чужие платья (мужчины — в женские, а женщины — в мужские), тайком пробирались клирики, рыцари и сеньоры из города, прятались в виноградниках, скрывались в монастырских кельях. Горожане установили на улицах сторожевые посты, вылавливая беглецов.

Месть короля

Итак, жители Лана торжествовали победу. Главный враг был мертв. Знать присмирела. Казалось, теперь остается лишь заручиться новым разрешением короля на восстановление коммуны. Но вскоре разнесся слух, что король, собрав ополчение, движется к Лану. Совет коммуны призадумался над тем, как склонить короля на свою сторону. Решили искать союзников среди сеньоров.

Выбор ланцев пал на соседнего с городом могущественного феодала Тома де Марля. Это было страшное имя. О жестокости Тома де Марля, об ужасах и пытках в подземельях его замка Креси в народе слагались сказания. Но выбора у коммуны не оставалось. Тома де Марль славился силой и, что самое главное, являлся непримиримым личным врагом Людовика Толстого. Всего несколько лет назад он, объединившись с Гюи де Рошфором и другими сеньорами, даже пытался воспрепятствовать коронации короля Людовика в Реймсе. Горожане полагали, что этот своевольный сеньор не упустит возможности возобновить борьбу с королем.

К Тома де Марлю совет коммуны отправил посольство, чтобы передать просьбу Лана защитить город от королевского гнева. Тома де Марль сам прибыл в Лан и заявил, что о своем окончательном решении он скажет в открытом поле на полдороге между городскими воротами и воротами замка Креси. Отъехав от города, Тома де Марль заявил руководителям коммуны и сопровождавшим их горожанам: «Лан — главный город королевства; я не могу помешать королю владеть им. Если вы боитесь королевских войск, следуйте за мною в мою землю — там вы найдете во мне друга и покровителя».

Восставшим не оставалось выбора. Король продвигался к Лану. Преступление коммуны — убийство епископа — являлось слишком вызывающим, оно не оставляло надежды искупить его только деньгами. Приближенные короля, феодалы, духовенство не допустили бы этого. И участники восстания во главе с Тейде-

го решили покинуть родной город. Часть горожан вернулась обратно в Лан, покорно ожидая решения своей участи.

Когда в Лане и его окрестностях стало известно, что главные силы восставших ушли и приближается войско короля, сеньоры снова подняли головы. Знать и рыцари как саранча бросились на беззащитный город. Они вели за собой отряды слуг и крестьян, стремясь поскорее войти в Лан, чтобы поживиться за счет горожан. Для города наступили дни подлинного бедствия. Сеньоры мстили за восстание и свое недавнее унижение.

Богатые горожане прятались и осмеливались выходить лишь украдкой, в одеждах бедняков. Враги Лана разбивали хлебные амбары, взламывали двери винных погребов и кладовых. Спасшиеся во время восстания против Годри сеньоры теперь, как гласит хроника, «уносили из домов беглецов все продовольствие, все хозяйственные принадлежности, вплоть до дверных крюков и засовов».

В то время, когда подлинные участники восстания отсиживались за стенами замка Креси, озверевшие противники коммуны чинили расправу над их беззащитными согражданами. Горожан, прежде высказывавших свое сочувствие коммуне, привязывали к хвостам коней, которых затем пускали вскачь по улицам Лана. Замученных людей, большей частью ни в чем не повинных, вешали на зубцах городской стены.

Зверства длились до прихода королевских отрядов.

Людовик VI во главе ополчения верных ему сеньоров и рыцарей осадил Креси — главную крепость Тома де Марля. Жителей Лана, уцелевших после резни, заставили принять участие в этой осаде. Королю было важно привести к повиновению одного из непокорных и могущественных феодалов Франции, чтобы тем самым показать всем другим сеньорам неизбежность подчинения королевской власти. Замок Креси не выдержал осады.

После падения Креси, Тома де Марль купил себе жизнь присягой королю, огромным выкупом и выдачей ланцев, ранее отдавшихся под его защиту. Этих людей публично казнили, а их трупы бросили на съедение собакам. «Коммуна уничтожалась навеки» — так гласил королевский приказ.

На исходе июля 1112 года в Лан приехал архиепископ Реймсский. После искупительных богослужений и торжественных похорон останков Годри, архиепископ обратился к народу с грозной проповедью. Он предавал анафеме самое слово «коммуна». «Горожане, — говорил он, — превзошли в лютости ехидн, посмев учредить коммуну». Договоры с коммунами, неистовствовал архиепископ, ни для кого не обязательны и не имеют силы, ибо они противны церковным законам. «Рабы, — привел он слова апостола Павла, — со всяким страхом повинуйтесь своим господам!» А чтобы рабы не смели роптать против жестокости господ, пусть все выслушают еще и другие слова апостола: «Подчиняйтесь не

только добрым и кротким, но суровым!» Архиепископ Реймсский закончил свою проповедь провозглашением анафемы[1] всем, кто внушает рабам намерение не подчиняться своим господам, всем, дерзавшим произнести запретное слово «коммуна».

Шли годы... Город медленно оправлялся от пожаров и разрушений. Хотя и открылся городской рынок, молчали колокола. Печально и мрачно зияли темные окна храма Святой девы и других церквей. Духовенство все еще не снимало с города отлучения за убийство епископа.

Время не могло стереть воспоминания о коммуне. Окрепнув, город снова проявлял свое недовольство. Новый епископ, желая избежать волнений и укрепить свое положение и, в то же время боясь разделить участь Годри, восстановил коммуну. Король не замедлил за особую плату утвердить решение епископа. Почти полвека просуществовала вторая Ланская коммуна. Но борьба за коммуну не кончилась. Когда в 1174 году очередной епископ Лана Роже де Розуа посягнул на коммуну, ланцы взялись за оружие. Но на этот раз король Людовик VII поддержал горожан. Теперь королевская власть искала поддержки городов, деньги и силы которых были необходимы для того, чтобы покончить с независимостью и полновластием воинственных феодалов.

Совет коммуны Лана, заручившись поддержкой короля, заключил военный союз с другими городами-коммунами — Суассоном, Велли, Крепи. Однако через 16 лет Роже де Розуа добился временной победы над коммуной. В 1190 году король Филипп II Август, собираясь в третий крестовый поход и крайне нуждаясь в деньгах, решил отступить от политики союза с городами. Этим и воспользовался тогдашний ланский епископ, предложив королю крупную сумму за уничтожение коммуны.

Отказавшись вскоре от дальнейшего участия в крестовом походе и возвратившись на родину, Филипп II Август в 1191 году снова предоставил Лану права коммуны. С этого времени она держалась в Лане более ста лет.

История Ланской коммуны говорит о том, что средневековым городам приходилось в долгой, упорной, очень тяжелой борьбе отстаивать свою свободу.

Превращение зависимых феодальных городов в вольные города средневековья стало возможным благодаря энергии и самоотверженному мужеству горожан, порой не щадивших ни средств, ни жизни в борьбе за свои интересы.

Подобно Лану, за независимость и самоуправление настойчиво и успешно боролись и другие города во Франции и за ее пределами, в том числе и в России. Но горожане, ставившие границы

---

[1] *Анафема* — страшное для средневековых людей церковное проклятие, означавшее, что человек, преданный анафеме, неизбежно обречен на адские муки.

безраздельному владычеству и произволу феодальных сеньоров, не создали в своих «вольных» городах такого строя, при котором хорошо жилось бы бедным труженикам, подлинным создателям всех богатств.

В выборных городских советах с самого начала прочно обосновались городские патриции — местные дворяне, богатые и знатные горожане. Позже к власти приходят руководители и наиболее богатые представители ремесленных цехов и купеческих гильдий.

Засилье именитой и богатой купеческой и ремесленно-цеховой верхушки приносило широким массам ремесленного люда тяжелые налоги и нищенское существование. И хотя беднота вместе с богачами беззаветно боролась против засилья и власти феодальной знати, полноправными членами «вольных городов» становились только те, кто владел достаточным состоянием — домами, лавками, мастерскими, мельницами, трактирами, кто имел «свое дело» в городской черте или в прилегавших поселениях. По мере укрепления и роста «вольных городов» в них возникали новые противоречия — между богачами и беднотой, не причастной к управлению городом.

Проявлением недовольства бедноты являются многочисленные движения и бунты городских низов, особенно ярким примером которых было восстание «чомпи» в богатейшем итальянском городе — Флоренции.

В городе Лане автономное управление городом (коммуна) пало, когда окрепшая королевская власть в лице Филиппа IV Красивого (1285—1314) объявила Лан «королевским городом» и подчинила его королевской администрации.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ РЕМЕСЛЕННИКИ

Множество старинных рисунков рассказывает нам о средневековых ремесленниках. Почти всегда они изображаются за работой, сосредоточенными, всецело поглощенными своим занятием.

Их взора не разглядишь, потому что он прикован к сукну, либо к натянутым на колодку башмакам, или к лежащему на наковальне металлу.

Но вот на более позднем рисунке перед нами четыре средневековых ремесленника. Случайно встретившись, они пошли вместе, пока их не остановила какая-то неожиданность: быть может, плывшая по реке баржа или громыхавшая по мосту епископская карета? Не будем гадать! Лучше воспользуемся минутной задержкой и присмотримся к этим людям.

На фоне расположенных невдалеке городских зданий в непринужденных позах стоят портной, сапожник, кузнец и плотник. Перехваченная поясом, не стесняющая движений, очень простая одежда подчеркивает их фигуры. И хотя все четверо люди разного возраста и телосложения, в их облике сразу заметно что-то общее. Вглядимся пристальнее: на лицах лежит не только печать усталости. Во внимательных взглядах невольно читается глубоко затаенная тревожная озабоченность.

Видно, с беспокойными думами им также трудно расстаться, как и с неразлучными инструментами — их верными друзьями и кормильцами.

Слева тщедушная фигурка портного. Хоть он и молод, но, видимо, успел овладеть ремеслом. Об этом говорит готовый, с уже пришитыми пуговицами, камзол, переброшенный через левую руку. В правой руке внушительные портновские ножницы, главное орудие при раскрое ткани и вместе с тем горделивое отличие мастера, признанного цехом портных.

Коренастый пожилой сапожник несет стоптанные, видавшие виды и не в первый раз чиненные сапоги. Не расстался он и с легким молоточком, без которого не вгонишь гвоздики ни в каблуки, ни в подошвы. У бородатого осанистого кузнеца на плече, подобно солдатскому ружью, покоятся длинные железные клещи, которыми схватывают и удерживают на наковальне раскаленное железо. Мускулистая рука сжимает рукоять тяжелого кузнечного молота, под ударами которого удлиняется и изгибается огненная



Средневековые ремесленники.

полоса расплавленного металла. Торчащий за поясом небольшой молоток придает изделию точную и окончательную форму.

Стоящий последним в ряду молодой плотник не оставил на постройке, а прихватил с собой все свое снаряжение: драгоценный для него остро отточенный топор, надежно выверенный угольник и уровень.

Загадка средневекового ремесла

И не только на нашем рисунке, но и на всех изображениях, которые нам оставило средневековье, ремесленники неизменно предстают перед зрителем вместе с их неразлучными инструментами, которыми они умело пользовались и заслуженно гордились.



Крылатый шлем работы итальянских оружейников.

Неразрывную связь между городским тружеником былых времен и его инструментом Маркс выразил в ярком и образном сравнении. Он писал, что средневековый ремесленник так же неотделим от своих орудий труда, как улитка от своей раковины.

Иными словами, ремесленник средневековья привык и полюбил своих бессловесных, но верных, надежных помощников, сжился с теми инструментами, которые были нужны для того, чтобы угождать заказчикам и покупателям.

Почему же средневековые ремесленники так ценили свои инструменты? И почему, лишившись их, наш ремесленник оказывался в таком же отчаянном и безнадежном положении, как и улитка, насильно оторванная от своей раковины?

При взгляде на очень простые, зачастую самодельные инструменты невольно возникает предположение, что изделия старинных ремесленников были грубы, непрочны, неказисты...

Но это совсем не так! Изделия ремесленников нередко изумляют нас своей добротностью и красотой, порой даже любовно вы-

полненной художественной отделкой. Особенно поражают работы средневековых ювелиров, резчиков, оружейников.

Сколько труда, терпения и вкуса понадобилось мастеру, чтобы изготовить затейливый крылатый железный шлем или металлический панцирь, покрытый сложным узором золотой насечки! Сколько опыта, долгих наблюдений, терпеливых испытаний нужно было мастеру, создавшему прекрасные музыкальные инструменты, изумительные органы и скрипки!

Ведь до сих пор остаются непревзойденными знаменитые скрипки Страдивариуса (хотя его жизнь и выходит за рамки средневековья, тем не менее он продолжал быть подлинным представителем средневекового ремесла). Эти скрипки, мелодичный голос которых и теперь звучит в лучших концертных залах мира, также являются изделиями мастера-ремесленника, подарившего имя своим прославленным творениям.

И если множество предметов утвари и вооружения, вышедших 500 или 600 лет назад из мастерской средневекового ремесленника, — сокровища современных музеев, произведения замечательного искусства, то, само собой, возникает вопрос: как мог средневековый ремесленник создавать столь совершенные изделия, пользуясь лишь самыми простыми, подчас убогими ручными инструментами?

Два поставленных здесь вопроса составляют основную загадку средневекового ремесла. Ответить на оба эти вопроса значит понять особенности этого ремесла.

Средневековая ремесленная специализация

Все дело в том, что несовершенство ручного инструмента возмещалось умелой, твердой и тренированной рукой мастера, виртуозно быстрыми пальцами, искусными приемами работы, особой сноровкой, опытом долгих лет. Чем более прост и примитивен был инструмент, тем точнее и искуснее должна была быть опытная и уверенная рука ремесленника. Но искусство и опыт средневекового ремесленника, даже при долголетней выучке позволяли добиться успеха только в узкоограниченной области, только в создании определенного изделия. Поэтому в средневековом ремесле господствовала очень узкая специализация, и только она позволяла создавать хорошие изделия!.. Но как не похожа тогдашняя специализация на современную! В наше время рабочий становится слесарем, токарем, сборщиком. Он является участником большого и сложного дела — производства, осуществляемого усилиями многих рабочих.

Современный рабочий специализируется на определенной операции, выполняет порученную ему маленькую задачу, и такая задача (как говорят, такая функция отдельного рабочего) составляет необходимую частицу общей работы всего завода. Каждый кусок

ткани, каждая машина, выпускаемая современным предприятием, представляют собой результат совместного коллективного труда многих рабочих, техников и инженеров, управляющих сложными машинами.

Средневековый ремесленник-одиночка специализировался не на одной операции, не на какой-либо узкой производственной задаче. Он специализировался на изделии, которое он должен был изготовить от начала и до конца сам, собственными руками.

В мастерской золотых дел мастера

Заглянем в мастерскую золотых дел мастера. Окошко разделено сеткой густого переплета на цветные квадратики, и скупой свет падает через них на стоящий под самым окном стол-верстак, настолько высокий, что, сидя за ним, почти не сгибаясь, можно обтачивать кольцо, зажатое тисками. Тисков двое: одни побольше, другие совсем крохотные.

Если взглянуть на полку, висящую на стене, станет ясно, зачем понадобились разные тиски. Вот, отсвечивая матовым блеском, красуются два кубка. Один — большой серебряный, другой поменьше — золотой. Чашу серебряного кубка поддерживают две поднявшиеся на задние ноги лани, а основанием миниатюрному золотому кубку служат лепестки распустившегося тюльпана...

Тут же, на продолговатой бархатной подушечке мерцающими огоньками сверкают рубиновые и сапфировые перстни. Легкий угар носится в воздухе душной мастерской. Откуда он исходит? Вот под пушистым слоем мягкого пепла дотлевают красновато-черные угли. Они согревали днище внушительной цилиндрической печи, из пасти которой извлекали расплавленный металл.

Подмастерью придется сотню раз прислуживать мастеру и всякий раз внимательно приглядываться к тому, как плавятся драгоценные металлы. Надо знать, каким должно быть пламя, когда и как открывать дорогу вязкому ручейку размягченного золота и серебра, чтобы ни одна капля не затвердела на внутренних стенках плавильни.

Но благородные металлы слишком мягки. Чтобы будущее кольцо или чаша не сломались, надо создать надежный сплав: пусть крепость и неподатливая твердость простого и более дешевого металла сообщит готовому изделию желанную прочность, а золото или серебро обезопасит его от ржавчины и придаст заманчивое сияние.

Только опытный мастер знает, сколько благородного и простого металла следует каждый раз соединять в сплаве, в одном случае предназначенном для тяжелого кубка, а в другом для ажурного девичьего колечка.

Особые лотки, массивные молотки и круглые катки ожидают сплав, который надо плющить, вытягивать, делать податливым и гибким, чтобы затем чеканить его, придавая желанную форму задуманному изделию. Тут уж нужен целый набор молотков и молоточков, долбильных стамесок, клещей, резцов, щипцов. Напильники, подпилки, куски замши помогают шлифовать и полировать гладкую поверхность. Некоторые изделия отделывают разноцветной блестящей эмалью, а если на серебро или золото должен лечь рисунок или надпись, тонким инструментом производится гравирование.

Дела и заботы средневековых оружейников

Многое могли бы рассказать о своих трудах и заботах мастера-оружейники. Не так-то легко было выковать прочное оборонительное и наступательное оружие. Уже в XIV веке сетчатую кольчугу сменили латы: искусно сочлененные широкие листы гнутого литого железа, охватывающие со всех сторон корпус рыцаря, его руки и ноги.

Чтобы латы не пробивались и не прогибались под ударом вражеского копья, их пытались делать толще. Однако и без того большой вес снаряжения от этого непомерно возрастал и очень быстро доводил рыцаря до полного изнеможения. Точно так же нельзя было чрезмерно утяжелять щит и шлем.

Оружейник не мог оставаться только кузнецом. Волей-неволей приходилось становиться и металлургом. Ведь для того чтобы получить металл нужной крепости, надо было вникать в секреты плавки.

Еще бо́льших забот требовал меч. Будучи слишком тяжелым, он быстро утомлял даже самую сильную руку. Его стремились сделать очень твердым, не утолщая лезвия. Но одной твердости было явно недостаточно. Вытянутый вперед меч под сокрушительным ударом обрушившейся на него тяжкой палицы мог треснуть и надломиться. Спасала только гибкость. Желанным и ценным был мечь легкий, твердый и гибкий, способный рассекать шлем и эластично гнуться под тяжестью тупых ударов.

Крепость и ценность меча зависели не только от плавки стали, они еще больше зависели от закалки лезвия.

И в странах христианской Европы и на мусульманском Востоке гремела слава мечей несравненной дамасской и толедской стали.

Когда толедский оружейник ковал меч у пылающего горна, подле настежь растворенной двери кузницы слышался храп коня и позванивающий звук нетерпеливо стучащего конского копыта. Едва раздавался последний удар кузнечного молота, шустрый подмастерье схватывал толстой рукавицей рукоять беловато-красно-

го, еще пылающего на наковальне меча, в два прыжка оказывался у двери, где наклонившийся в седле, вытянувший руку вперед всадник мгновенно перехватывал поданную ему рукоять, вонзал шпоры в бока арабского скакуна и с места пускал его вскачь.

Кузнец-оружейник в кожаном фартуке поспешно выходил из кузницы и, вытирая с лица обильно струившийся пот, внимательно глядел вослед всаднику... Тот мчался накренившись вперед всем телом, левой рукой держа свободно отпущенные поводья, тогда как его правая рука оставалась выброшенной вперед, с зажатым в ней мечом, постепенно темневшим в охлаждавшем его потоке встречного воздуха.

Теперь мы знаем чудодейственный секрет толедских оружейников, секрет закалки стального лезвия. Но в средние века он тщательно оберегался.

Изобретение пороха, появление огнестрельного оружия и артиллерии (первый выстрел пушек прогремел уже в XIV веке на севере Испании) вызвали переворот не только в военном деле, но и в производстве оружия.

Возникли совершенно новые профессии и мастерские. В одних мастерских изготовляли мушкеты, в других — пистолеты. Появились и такие, где отливали пушечные стволы, производили пули и тяжелые пушечные ядра.

И так как пули стали пробивать рыцарские латы, а утолщение лат делало железные доспехи слишком тяжелыми и непосильными для рыцаря, казалось, что пришел навсегда конец прежнему оружейному делу. Но именно в ту пору, когда старые рыцарские доспехи утратили боевое значение и уже не могли защитить воина на поле боя, старые мастера-оружейники получали новые и новые заказы.

Отныне требовалось во много раз меньше панцирей, лат, щитов, шлемов, копий и мечей. Зато каждое изделие становилось произведением искусства и дорого оплачивалось. Именно тогда, когда на полях сражений рыцарство уступило первенство регулярным полкам и батальонам наемного войска, знатные сеньоры, а следом за ними и рыцари, с особым упорством стремились поддержать свои старинные обычаи. Именно в это время участились турниры при королевских и герцогских дворах. И сотни сеньоров, участвуя в турнирах, выезжая ко двору, похвалялись один перед другим пышным убранством своих коней, яркими перьями, колыхавшимися над головой, сверкающим великолепием лат и шлемов, покрытых узорчатой вязью художественной отделки.

Мастера в XV и XVI веках заботились не столько о прочности доспехов, сколько о внешнем виде оружия и снаряжения. Угождая именитым заказчикам, они давали им возможность удовлетворять свое пустое барское тщеславие.

Ведь чем больше походили друг на друга одинаково чванные и одинаково невежественные феодалы, тем настойчивее они

пытались затмить и превзойти один другого показной роскошью и хвастливым щегольством.

Не надеясь блеснуть умом, они стремились блеснуть сверкающим посеребренным шлемом, узорчатым золоченым панцирем, резными фигурами на рукояти меча, сиянием перстней, размером кубков на пиршественном столе.

Мастера, изготовлявшие знаменитые миланские панцири с золотой насечкой, отправляли свой товар ко всем дворам королей, герцогов, графов и баронов. Они были, пожалуй, в большей мере золотых дел мастерами, чем оружейниками. Не мудрено, что такого рода мастерские, так же как и мастерские прославленных ювелиров, порой казались маленькими музеями.

Далеко не просто и не легко было создать такие сходные по назначению предметы вооружения, которые поражали бы глаз не только красотой, но и своим разнообразием. Для этого нужно было знать важные секреты трудного ремесла, владеть неприметными навыками мастерства, располагать умелыми, послушными помощниками.

Но, пожалуй, самым необходимым условием успеха было наличие денег, без которых не запасешься ни золотом, ни серебром для отделки лат, ни сталью надлежащего закала. Немало денег нужно было и для того, чтобы терпеливо ждать, пока будут куплены и оплачены готовые латы и шлемы, а тем временем платить подмастерьям, кормить как их, так и учеников, нести расходы по содержанию мастерской.

И ювелиры, и золотых дел мастера, и создатели изысканного и богатого вооружения рассчитывали на щедрость тех сеньоров, которым они старательно угождали. Именно заносчивые феодалы, и только они, могли за пленившую их безделушку или красивый панцирь отсыпать горсть золотых монет, стоившую многим крестьянским семьям долгих трудов и лишений.

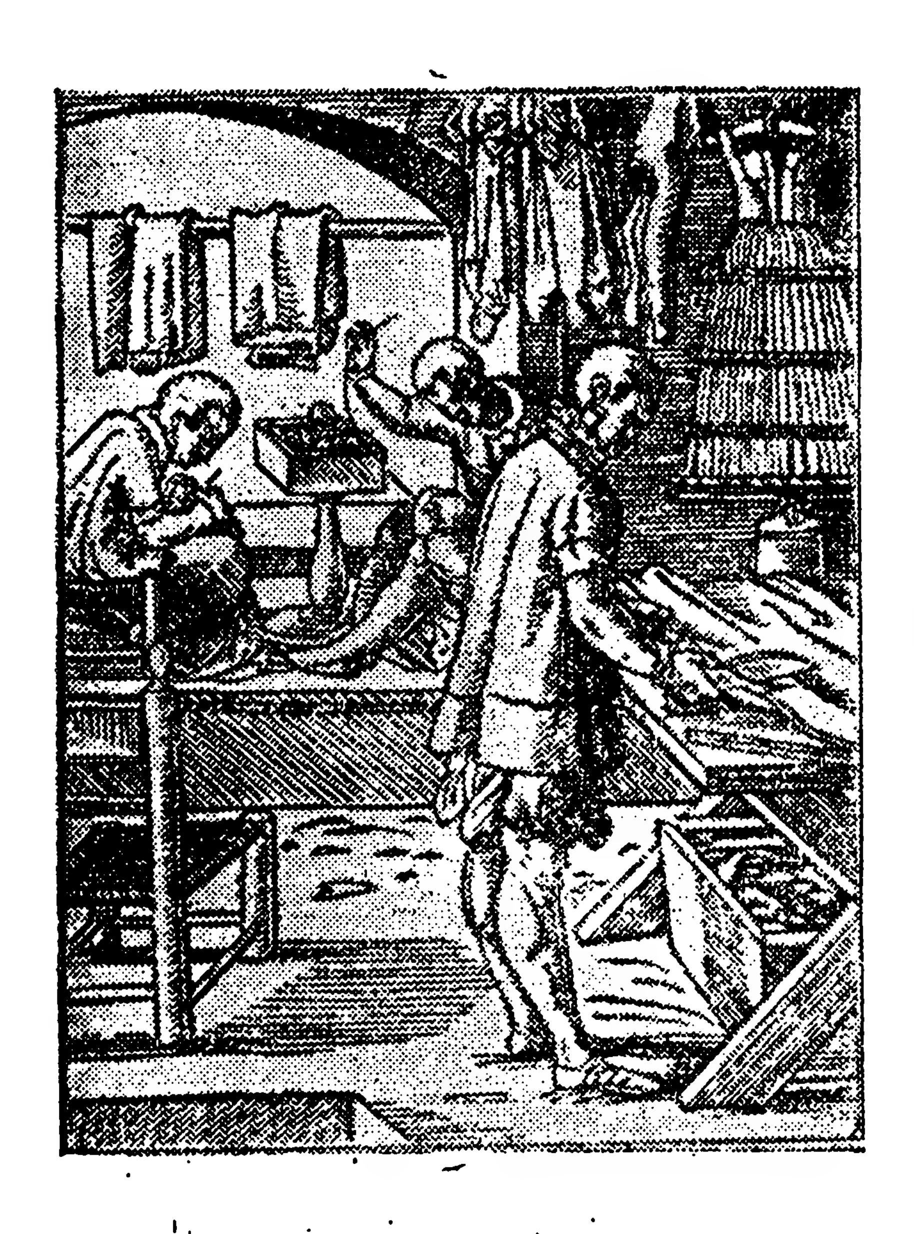
Таким образом, мастерам, которые являлись придворными поставщиками, из года в год перепадала частица грабительских доходов их покровителей-феодалов. Не удивительно, если эти придворные мастера смотрели на многое их глазами, невольно подражали им и, гордясь своим положением, званием, достатком, презрительно, сверху вниз взирали не только на своих помощников, подмастерьев, но и на всех остальных ремесленников, служивших своим трудом не знати, а простому народу. Поэтому-то в среде ремесленников возникло неравенство. Так, например, члены цеха золотых дел мастеров не принимали в ряды своего богатого цеха новичка, родители которого принадлежали к скромному цеху кожевников. Подобно тому, как у феодалов существовали ступени иерархии, а с ними и неравенство между рядовыми рыцарями и баронами, графами и герцогами, у средневековых ремесленников также сложилась своя иерархия как внутри цеха (о чем еще предстоит сказать), так и между отдельными цехами.

В мастерской кожевника

Если уж мы упомянули о кожевниках, нам следует заглянуть к такому мастеру. Окинув взглядом помещение, в котором он работает, мы сразу убеждаемся, что оно нисколько не похоже на музей. В одном из углов свалены в кучу покрытые шерстью, издающие неприятный острый запах, недавно содранные на бойне бычьи шкуры. На стене сушится несколько полуготовых неотделанных кож. Под ними стол, на котором растягивают и скоблят отмоченные кожи, а посередине мастерской громоздится большущий чан, возле которого суетятся мастер и его единственный подмастерье. Из чана торчит кольцо — это верхний конец длинного железного шеста, им время от времени помешивают кожи, погруженные в дубильный раствор.

Как и у большинства ремесленников, заказчиками и покупателями нашего кожевника были не надменные сеньоры, а простые крестьяне и скромные горожане. Он и сам был скромным тружеником. И вот, чтобы с помощью очень простых инструментов и нехитрых, дешевых приспособлений вырабатывать добротные изделия, приходилось очень строго ограничивать свою специализацию.

Именно поэтому наш мастер вырабатывал только грубые, простые кожи, тогда как мягкие, эластичные кожи, нужные для изго-



Портной.



Седельщики.

товления туфель и легких сапожек, было делом «белокожевников», составлявших особый цех. И не только кожевенное, но также и сапожное и кузнечное дело дробилось на узкие подразделения. Сапожники составляли несколько цехов, выпускавших различные виды обуви, а кузнецы, ковавшие подковы и лемеха плугов, отделялись от мастеров, ковавших мечи, и от «ножовщиков», тоже составлявших особый цех. Некоторые цехи ограничивались изготовлением одного-единственного изделия. Об этом говорят названия цехов кошелечников, перчаточников, седельщиков.

Несколько слов о цехе и причинах, которые его породили

О том, что слово «цех» имело в средние века совсем не то значение, какое оно имеет в наши дни, мы знаем из учебника.

На протяжении всего средневековья (иногда и в более поздние времена) ремесленники работали разобщенно, но при этом мастера, создававшие одинаковые изделия, входили в союз ремесленников данной специальности, называемый цехом.

Если каждый ремесленник-мастер самостоятельно трудился в своей мастерской, то должны были существовать причины, которые толкали таких работников к объединению. Немецкое название цеха — «кунфт» считают сокращением более длинного слова «цузамменкунфт», означающего «сходка».

Итак, цех вырос как собрание ремесленников, сообща защищавших свои интересы.

Там, где ремесленник-одиночка не мог защититься от разбойничьего дворянства, его вымогательств и злоупотреблений феодальных властей, от наплыва иногородних соперников, отбивавших у него покупателей, на его защиту поднимался цех.

Однако цех не только ограждал своих членов от насилий и разорения. Он ими руководил, требовательно контролировал всю их работу, воспитывал в каждом ремесленнике глубокую заинтересованность в наилучшем качестве изделий, чувство профессиональной гордости, которое называли честью цеха.

Чем же объясняется это всепроникающее, настойчивое вмешательство цеха в жизнь и работу каждого ремесленника?

Почему цех так внимательно наблюдал за своими членами, почему он всеми силами добивался высокого и безупречного качества тех изделий, которые создавал каждый член цеха?

Цехи зарождались, росли и крепли в ту раннюю пору, когда многие средневековые крестьяне, избегая лишних затрат, еще пытались обходиться самодельными, доморощенными изделиями. Этих крестьян нельзя было силой заставить покупать городские товары. Их можно было и надо было завоевать только безупречным качеством ремесленных изделий. Надо было во что бы то ни стало



Медники.



Сукностриг.

добиться, чтобы бережливые, недоверчивые сельские жители убедились, что городские изделия лучше, прочнее, удобнее, долговечнее своих, самодельных. От этого зависела судьба цехов, размеры их доходов, уровень благосостояния большинства ремесленников.

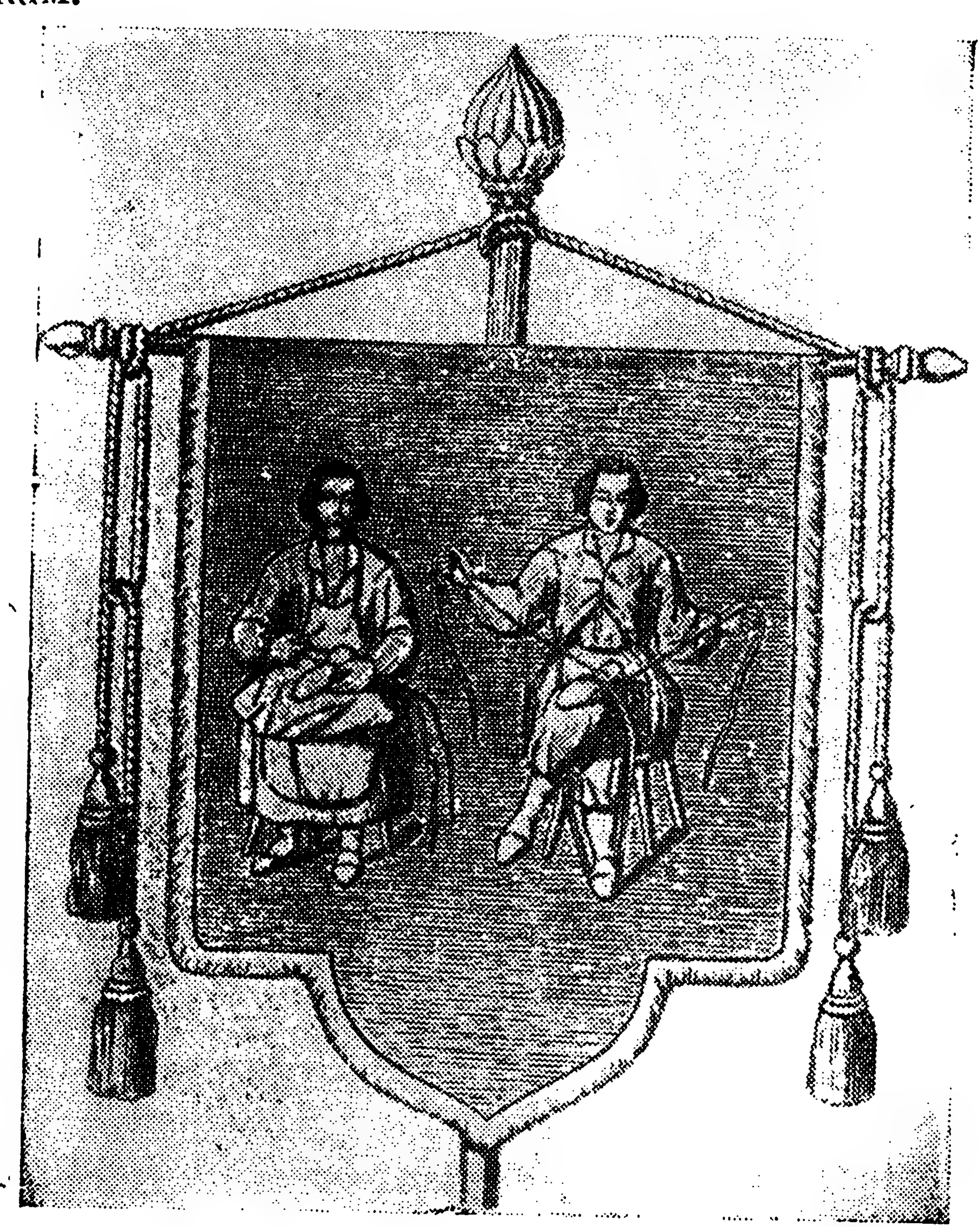
И если по вине нерадивого или недобросовестного ремесленника появлялись изделия невысокого качества, то окрестные крестьяне имели возможность сказать: «В городе Нюрнберге мастера кузнечного цеха работают плохо». Заказчики могли обратиться к услугам ремесленников другого города или обойтись собственными силами. Поэтому-то цех ревниво оберегал свою славу, сурово опекал своих членов и взыскательно требовал от них безупречной работы.

И хотя каждый трудился в собственной мастерской, он не был вполне независимым в своей деятельности. Над этим одиночкой-ремесленником простиралась властная рука цеха. В мастерскую рядового ремесленника не раз заглядывали цеховые старейшины. Они внимательно разглядывали готовые изделия, присматривались к приемам работы. И горе было тому, кто, нарушая предписания цеха, работал не так, как велено, ошибкой или небрежностью бросая тень на доброе имя своего цеха. Такого ремесленника штрафовали, а то и вовсе изгоняли из цеха, запрещая заниматься данным ремеслом. Устав франкфуртских сукноделов гласил: «Если мастер станет ворсить сукно, а два мастера обнаружат, что оно было плохо промыто, то виновный вносит фердунг (название монеты) штрафа и дает четверть вина в цеховый дом».

Строгий и неослабный надзор за работой отдельных ремесленников способствовал успехам ремесленного производства, он обязывал всех ремесленников старательно, упорно работать, создавать добротные, красивые изделия. И не только в раннюю пору средневекового ремесла, но и значительно позже подобный надзор цехов играл большую и полезную роль. Лишь в позднее средневековье застывшие, как бы окостеневшие правила производства превратились в оковы, стеснявшие дальнейшее развитие ремесла.

Быт и празднества цехов

Весь ремесленный люд средневековья группировался по цехам и в дни труда и в праздники. Каждый цех строил свое особое здание, где заседали цеховые старейшины и где время от времени рядовые члены цеха собирались на совещания и для пирушек. В домах, построенных более богатыми цехами, порой ярко светились окна и раздавалась веселая музыка. Заправилы цеха давали молодежи поплясать до глубокой ночи, стараясь по возможности не отставать от патрициата, пировавшего в ратуше и развлекавшегося в особых «танцевальных домах», куда не было никакого доступа цеховым ремесленникам.



Знамя цеха сапожников

Каждый цех имел свои распорядки и обычаи, свои оркестры, свои танцы и даже своих святых, считавшихся покровителями того или иного цеха. Когда наступал праздник, повседневная работа прекращалась. Наглухо запирались мастерские и лавки, а в положенный час начиналось торжественное шествие. Каждый цех шел особой колонной, предводимый выборными старейшинами и знаменосцами. Над пестрой толпой реяли разноцветные цеховые знамена с изображенными на них эмблемами ремесла.

Сложенные ремесленниками песни звучали как гимн того или другого цехового содружества. Порой толпа останавливалась, расступалась, освобождая место для танцев. Некоторые цехи славились своими особыми массовыми танцами. Такова пляска нюрнбергских ножовщиков. Ее участники располагались широким кругом и, ритмично двигаясь по окружности, бросали вверх ножи, которые затем на лету ловко подхватывали плясуны.

Но возвратимся от праздничной суеты к деловым будням. Посмотрим на тех, кто трудился рядом с мастером! Мастер работал не один. Ему помогали ученики и подмастерья. Родители, желавшие позаботиться о будущем своего сына, отдавали его в ученики мастеру. Срок ученичества был различный, в среднем три года. В цехе золотых дел мастеров он доходил до восьми лет.

Ученики мастера

О положении ученика говорит любопытный документ. Старый бюргер Кёльна Иоганн Тойнбург заключил в 1404 году договор с золотых дел мастером Айльфом Брувером, которому он отдавал своего сына Тениса на восьмилетний срок. Ученик должен был жить в доме мастера и кормиться за его столом. Отец брался снабжать сына необходимой одеждой и, кроме того, оплачивать его обучение.

В этом договоре сказано, что если ученик Тенис убежит от мастера до истечения восьмилетнего срока и станет самостоятельно заниматься ремеслом, то хозяин вправе взыскать с него 42 гульдена. Это условие ясно показывает, что даже в таком сложном деле, как выработка изделий из благородных металлов, терпеливый и внимательный ученик мог овладеть нужными приемами ремесла задолго до окончания срока.

Но выгода мастера в том и заключалась, чтобы, обучив ученика, затем удержать его при себе и использовать его умелые руки, не только не платя никакого вознаграждения, но получая еще и плату с родителей юного умельца.

Безотрадной была доля ученика-подростка. Мастер не спешил посвятить его в секреты своего ремесла, и ученику долгое время приходилось выполнять в доме мастера обязанности слуги: убирать помещение, чистить платье и обувь хозяина и членов его семьи,



Раскрой кожи.

быть на побегушках, безропотно исполняя как все его поручения, так и поручения его жены, угождая им исполнительностью и беспрекословным послушанием. Постепенно мальчика начинали допускать к работе в мастерской, сначала доверяя самые простые вспомогательные работы, а позднее приучая и к более трудному делу. Медленно, томительно долго тянулись годы ученичества. Ученик страдал не только от того, что хозяин-мастер эксплуатировал его и намеренно затягивал срок ученичества, но также и, быть может, еще больше из-за своего бесправия, придирок, несправедливых попреков, из-за грубого, пренебрежительного к нему отношения.

День за днем, год за годом он должен был терпеть, приспосабливаясь к причудам и капризам своих хозяев, безмолвно снося их крутой нрав и сварливость. Суду приходилось не раз разбирать дела о нанесении увечий беззащитному ученику. Один из источников рассказывает, что юная ученица скончалась, так как «мастер бил ее, топтал ногами, нанес смертельный удар».

Не мудрено, что ученики-подростки искали спасения в бегстве. Цеховые заправилы, выясняя причины побега, не раз убеждались, что он был вызван бесчеловечным обращением. В таких случаях они разрешали потерпевшему перебраться к другому хозяину, оставляя при этом безнаказанным виновника насилий. Если же, по мнению цеховых заправил, особой жестокости проявлено не было, выносилось решение, что ученик бежал «по легкомыслию и безрассудству». Ругань, оскорбления, унижение человеческого достоинства, которые перенес подросток, ни в какой степени не смущали судей. Беглый ученик чаще всего был обязан вернуться к прежнему хозяину, чтобы отбыть весь срок своего ученичества.

Но вот наставал давно желанный день — последний день ученичества. Ученик получал от мастера удостоверение, свидетельствовавшее о том, что ученичество пройдено и отныне ученик может работать, может стать подмастерьем и получать от мастера вознаграждение за свою работу.

Подмастерье

Подмастерье был ближайшим помощником мастера. Он трудился в его мастерской и, сидя рядом с ним, старался делать все так, как делает мастер. Терпеливо изучая все приемы работы, он постепенно перенимал все навыки опытного наставника и заменял его там, где только мог.

На старинном рисунке изображена сапожная мастерская. Пожилой бородатый мастер склонился над большим куском кожи, разостланным на столе. Он закраивает; острым ножом уверенно вырезает куски кожи, из которых будут сделаны башмаки. Рядом с ним молодые подмастерья. Они, натянув кожу на колодки, изготовляют обувь. Можно не сомневаться: каждый из этих юношей успевает бросить внимательный взгляд на мастера, чтобы еще раз приглядеться к тому, как производится закройка, как экономно расходует кожу мастер, как мало он оставляет обрезков. Пройдет некоторое время, и молодому подмастерью будет поручено выкроить кусок кожи для башмаков или туфель, и выполнение этой задачи потребует внимания, сметки и глазомера. Труд и время должны постепенно сгладить различие в опытности и сноровке, отличавшее мастера от его ближайшего помощника. И каждый подмастерье надеялся со временем стать умелым мастером, имеющим собственную мастерскую, своих заказчиков и покупателей, своих помощников и, разумеется, свой обеспеченный и надежный доход. А покуда, говорил он себе, надо терпеть! И, работая с мастером в одной мастерской, живя с ним под одной кровлей, он заставлял себя мириться со всеми неудобствами и тяготами.

Приходилось работать от восхода и до заката солнца. Кёльнские подмастерья-оружейники были обязаны работать с 5 часов утра до 9 часов вечера. В статуте любекского янтарного цеха их рабочий день был определен в 15 часов летом и 14 часов зимой. Каменщики в Штеттине в XV веке работали летом с 4 часов утра, а зимой с 5—6 часов утра.

Жалкой была плата, получаемая подмастерьями. Подмастерьям-кожевникам города Амьена в 1349 году была установлена ничтожная оплата в размере трех су; подмастерья, не подчинявшиеся данному постановлению, подвергались строгому наказанию.

В Брюсселе было запрещено платить подмастерью-валяльщику более того, что установлено. В противном случае подмастерье подвергался штрафу в 5 су, мастер же, дающий более высокую плату, — в 20 су.

Цехи портных 20 прирейнских городов, в том числе Майнца, Вормса, заключили союз и в первом пункте совместно составленного статута определили, что впредь на 28 лет устанавливается определенная норма вознаграждения для подмастерьев. «Никто не вправе, согласно постановлению, платить подмастерью более двух фунтов, как это существует с давних пор» (в фунте было около 11 г



Мастер, подмастерье и ученик.

серебра). Таким образом мастера-портные рейнских городов сговорились сохранить жалкий уровень оплаты своих помощников.

Положение подмастерьев стало постепенно ухудшаться. В вольный город со всех сторон стекались крестьяне, бежавшие от своих сеньоров. Их манила пословица «Городской воздух делает свободным». Они хотели во что бы то ни стало дышать «вольным воздухом» города, желали освободиться от ненавистных оброков и барщины. Сотни юношей крестьян, придя в город, становились подмастерьями; эта армия росла год от года. Но каждый из подмастерьев, приобретая знания и опыт, притязал на звание мастера. Старейшины цеха с тревогой взирали на это явление, оно им казалось угрожающим. Мастера боялись, что их доход станет ничтожным, если число мастеров сильно возрастет. Поэтому цех превращался в замкнутую организацию, доступ в нее новым людям старались преградить.

Как достигалось звание мастера

От подмастерьев стали требовать «аттестат о добром поведении». Малейшее проявление возмущения, сгоряча сказанное слово, резкий ответ на незаслуженный упрек хозяина — всего этого было достаточно, чтобы подмастерье был лишен аттестата, а с ним и права притязать на звание мастера. Если ценой терпения и выдержки подмастерье добивался аттестата, его ждал экзамен. Он был обязан перед лицом недоброжелательных мастеров доказать, что безупречно знает свое ремесло. Мастера предлагали подмастерью доказать свое искусство на деле и изготовить по их заказу образцовое изделие (то, что немцы называли «Meisterwerk», а французы — chef-d'œuvre).

При этом цеховые старейшины сознательно давали трудноисполнимое задание. Подмастерье должен был выполнить заказ из собственного материала, на покупку которого у него, как правило, не было денег.

Если все эти трудности удавалось преодолеть, если придирчивые заправилы цеха не находили ни одного изъяна в образцовом произведении будущего мастера, последнего ждала еще одна преграда. Члены цеха требовали, чтобы будущий мастер не только обнаружил свое уменье в работе, но и доказал, что он будет добрым сотоварищем всем членам цехового содружества. Кандидат в мастера был обязан устроить банкет, то есть пирушку для всех многочисленных членов цеха. Это было не по силам, не по средствам бедняку-подмастерью, которому никакое трудолюбие не помогало сколотить нужные сбережения. Все эти искусственно создаваемые ограничения были рассчитаны на то, чтобы лишить тысячи подмастерьев доступа к званию мастера. Это звание со временем стало уделом немногих. Лишь сын мастера, зять мастера, мог надеяться стать мастером, унаследовать это звание, а с ним вместе обеспеченное положение и достаток.

Вечные подмастерья

Все это привело к тому, что в средневековых городах сложился многолюдный слой так называемых вечных подмастерьев. Никакое уменье, никакая сноровка не могли им доставить звание мастера. Вечный подмастерье мог превзойти мастера в своем искусстве, он мог состариться, и все же он оставался только подручным работником, подмастерьем. Если в более раннюю пору подмастерья мирились с эксплуатацией, утешая себя надеждой на будущее, то теперь, когда их положение при недоступности звания мастера стало беспросветным, они начали особенно остро ощущать гнет эксплуатации. Отныне они видели в мастере уже не взыскательного учителя, а алчного хозяина, стремящегося выжать из их мускулов все, что возможно. Подмастерья стали чаще покидать своих мастеров, менять место работы, перебираться из города в город. Появление странствующих подмастерьев обычно объясняли их желанием пополнить свои знания, воспринять новые приемы работы в незнакомом городе. Но здесь проявлялось и другое стремление.

Странствующий подмастерье, тяготясь своим положением, пытался найти за пределами родного города какой-то выход, возможность «выбиться в люди», стать самостоятельным ремесленником-мастером.

Весна возвращается снова,
Бодрей подмастерья глядят,
Возьмут они палки и шпаги,
Шпаги, да шпаги,
И мастера стол окружат:

— Хозяин, пора рассчитаться,
Настал для странствия час,
Держали вы нас эту зиму,
Зиму, да зиму,
Не слишком заботясь о нас!

Так поется в старой песне немецких подмастерьев. Нужда толкала их к сплочению, к созданию собственного содружества. Так возникли «братства подмастерьев».

Борьба подмастерьев за свои права

Сначала члены братства ограничивались делом взаимопомощи, оказывали поддержку заболевшим товарищам.

С течением времени подмастерья вступают на путь борьбы за свои интересы. Они стали требовать менее продолжительного рабочего дня, более высокой оплаты, настаивали на своих требованиях и, встретив противодействие, объявляли забастовку. В городе Амьене в 1349 году совет запретил подмастерьям-кожевникам «устраивать заговоры для достижения более высокой платы без всяких оснований». В городе Шалоне в 1328 году потребовалось вмешательство королевской власти, чтобы заставить подмастерьев работать рано утром и в послеобеденное время. В 1385 году данцигские власти грозили отрезать уши подмастерьям — участникам стачки.

Со временем подмастерья все яснее осознавали общность своих интересов и оказывали братскую поддержку даже иногородним друзьям. Об этом говорит замечательный документ 1470 года. Подмастерья-скорняки Вильштедта обратились к своим собратьям в Страсбурге с призывом: «Сердечный привет, дорогие друзья-подмастерья! Мы просим вас, дорогие друзья, чтобы вы прекратили работу в Страсбурге до тех пор, пока наши мастера не согласятся соблюдать наши старые обычаи и грамоты, скрепленные печатями. Если же вы не сделаете этого, о чем мы просим, то знайте, что все добрые подмастерья поставят вам это в вину, и вам придется отвечать за это... Мы надеемся, что вы не пойдете против всех добрых подмастерьев и не дадите уговорить себя. Если бы это случилось, то подмастерья лет 10—20 не забыли бы вам этого. Упаси вас бог от этого. Делайте нам то, что вы хотели бы, чтобы мы делали вам. Порядки же, которые хотят ввести наши мастера, не существуют нигде, ни в итальянских, ни в языческих странах. Мы, подмастерья, должны крепко держаться друг друга, ибо мастера других городов поддерживают страсбургских мастеров...»

В этом замечательном призыве проявляется та ясно осознанная солидарность, которая с некоторых пор стала связывать эксплуатируемых тружеников-подмастерьев, то понимание общности бед и задач, которое преодолевает расстояние и побуждает подмастерьев одного города поддержать своих собратьев в другом.

Окостеневший цех и требования производства

Итак, старый ремесленный цех превратился в замкнутую корпорацию мастеров-хозяев. Он окостенел, придерживаясь одних и тех же давно сложившихся правил и приемов. Мастеру указывали, какой ширины должна быть изготовленная им ткань, на каком расстоянии от края ткани должна находиться кайма, какой краской надлежит данную ткань окрашивать.

Когда-то подобные предписания были полезны, но позднее они становились помехой. Они лишали мастера возможности создавать изделия нового образца, проявлять свою находчивость, инициативу. В прежние времена цех диктовал свои наставления отдельному ремесленнику, опасаясь, как бы отступление от них не привело к созданию дурного, недоброкачественного изделия. Теперь цех повторял все те же, давно устаревшие указания из боязни, как бы отдельный мастер, в совершенстве знающий свое дело, не стал выпускать необычных изделий и не привлек заманчивой новинкой большого числа заказчиков и таким путем не отбил их у других мастеров—членов цеха.

Мастеру указывали, сколько подмастерьев он вправе держать, сколько изделий может изготовляться в его мастерской. Цех опасался, как бы мастер не ухитрился производить больше изделий, чем положено, и этим путем не нанес ущерба собратьям по цеху. Стеснительный запрет ограничивал возможности мастера, мешал ему расширить свое производство и выпускать больше полезных и нужных товаров.

Цех устанавливал цены на каждое изделие и строго следил за тем, чтобы ни один мастер не продавал своих изделий ниже этой цены. Заправилы цеха боялись, как бы умелый мастер, удешевив свое изделие, не перетянул к себе заказчиков. Так создавалась преграда для удешевления того, что производили ремесленники.

Мы видим, что цех своими устаревшими правилами сковывал ремесленника. Он мешал ему добиться и увеличения, и улучшения, и удешевления своих изделий. Цеховые запреты означали, что производить надо не «больше и дешевле», а, напротив, «меньше и дороже», работая обязательно по старинке, рабски следуя старым образцам.

О поразительном явлении говорит документ, относящийся к 1412 году.

Вражда к новшествам и цеховая уравниловка

«Да будет известно, что к нам в Кёльн явился Вальтер Кезингер, предложивший построить колесо для прядения и сучения шелка. Но, подумавши, посоветовавшись со своими друзьями, совет нашел, что многие в нашем городе, которые кормятся этим

ремеслом, тогда погибнут. Поэтому было постановлено, что не надо строить и ставить колесо ни теперь, ни когда-либо впоследствии».

Как могло случиться, что изобретатель встретил в Кёльне не ликование, не готовность воспользоваться его изобретением, а, наоборот, неудовольствие и холодный отказ?.. Механическое колесо для прядения и сучения шелка, приводимое в движение силой воды, заменило бы не один десяток шелкопрядильщиц.

Однако подобная возможность вовсе не обрадовала, а, напротив, испугала городской совет. Оберегая интересы цеха шелкопрядильщиц, он решил, что предлагаемое изобретение принесет всем членам этого цеха несомненный вред и поэтому должно быть решительно отвергнуто.

Если бы цеховых заправил спросили, какова главная задача ремесла, они бы ответили: «Ремесло — это наш общий источник пропитания». По тогдашним понятиям это означало, что всякий член цеха должен извлекать из ремесла точно такой же доход, как и любой другой его собрат по цеху.

Средневековый ремесленник был и тружеником, и хозяином своей небольшой мастерской. Не желая допускать, чтобы его доход оказался хотя бы на один грош ниже дохода другого мастера, он ревниво следил за ним. Это назойливое стремление к равенству доходов стало преградой развитию техники и расширению ремесленного производства.

Как же удавалось обходить запреты цеха?

Несмотря на мертвящее влияние цеховых порядков, производство не застыло на одном и том же уровне. Находчивый, предприимчивый мастер, которому навязывали устаревшие правила и приемы работы, которому запрещали нанять лишнего подмастерья, ухитрялся найти способ, позволяющий обойти все затруднения. Он находил рабочие руки вне города. Обычно никто из тех, кто стоял вне цеха, не имел права заниматься ремеслом ни в самом городе, ни в его окрестностях радиусом в одну милю. Однако за пределами «заповедной мили», там, куда не простирался надзор городских властей, могли проживать деревенские прядильщицы и ткачи. Расторопный мастер снабжал их сырьем, принимал от них готовую продукцию, оплачивал труд полунищих деревенских жителей грошовым вознаграждением. В одной деревне на мастера работали валяльщики и шерстобиты, в другой—прядильщицы, в третьей—ткачи и красильщики. Все эти люди могли не знать друг друга. Их связывал воедино новый расторопный хозяин-скупщик. Такой вездесущий скупщик был не только эксплуататором, он выступал организатором производства нового типа — мануфактуры.

Если цехи были замкнутыми, обособленными организациями, то мануфактура, напротив, вовлекала в производство всех, кто нуждался в заработке. Если цех был союзом ремесленников одной спе-

циальности, то, в отличие от него, рождавшаяся за пределами средневекового города мануфактура объединяла тружеников разных специальностей.

Если цеховой мастер вырабатывал свое изделие сам, собственными руками, то изделия мануфактуры создавались руками многих людей, каждый из которых вносил частицу своего труда в общую работу.

Новое заключалось в разделении труда между всеми участниками этой общей работы. Сукно, к примеру, создавалось последовательным трудом валяльщика, трепальщика шерсти, шерстобита, прядильщика, ткача, красильщика.

Новое производство в первоначальной форме было рассеянной мануфактурой, так как его участники, живя в различных селениях, оставались территориально разобщенными, рассеянными на значительном пространстве.

Ловкий, расторопный скупщик быстро богател. Его изделия благодаря разделению труда и в силу неорганизованности и разобщенности, а стало быть, и беззащитности полуголодных тружеников оказывались не только дешевле, но подчас даже лучше цеховых изделий.

Новая форма производства — мануфактура своей всепобеждающей дешевизной теснила старое цеховое производство. Каждая ярмарка становилась полем битвы, и это поле битвы все расширялось. В этой новой, бескровной, но упорной борьбе горожан не защитили ни каменные стены, ни цеховые привилегии. Под напором мануфактуры цеховые мастера теряли своих прежних заказчиков и покупателей. Никакие постановления не помогали.

Разложение цеха

Мастеру и его подмастерью приходилось все еще сидеть сложа руки. Членам цеха никакими ухищрениями не удавалось обеспечить равенство доходов. Наступили такие времена, когда многие члены цеха, полноправные мастера, стали разоряться, не находя сбыта своим изделиям. И вот мастер, рассчитав своих подмастерьев, чтобы спастись от нужды, пытается найти хоть какой-нибудь заработок. Он вынужден предложить свои услуги преуспевающему скупщику. Долгое время это делается тайно, так как гордое звание цехового мастера несовместимо с работой на другое лицо. Злополучный мастер делал вид, будто для него ничего не изменилось. Он пытался показать, что работает якобы на себя, скрывал, что использует чужое сырье, а не свое собственное. Но тайное делалось явным, и вскоре все узнавали, что на одного человека работают десятки лиц, сохраняющих звание мастера, но фактически ставших наемными рабочими, получающими такую же оплату, как и деревенские труженики, попавшие в когти того же скупщика. Так

победоносная мануфактура вторгалась в самый город. Она разлагала цех, хотя и оставляла незатронутой его внешнюю форму. Все большее количество ремесленников, разоряясь, попадало в положение эксплуатируемых работников.

В Аугсбурге, богатом южногерманском городе, неимущие ремесленники в 1475 году составляли 60,3% взрослого мужского населения. И так как эти люди не имели никакого имущества, город полностью освобождал их от поимущественной подати. В число таких людей входили и подмастерья и мастера.

Недаром в конце XV века в том же Аугсбурге быстро росло число нищих. К давно просившим подаяния старикам, калекам, немощным присоединялись люди, которые хотели и могли работать.

Ремесленник-нищий!.. Он не был калекой и не был бездельником! Как и отец и дед, он видел свое призвание в роли самостоятельного мастера-хозяина, роли, которая отныне становилась для него невозможной. Должая и урезывая издержки своей семьи, он тщетно пытался сохранить верность своему призванию. Он просиживал в мастерской, изредка работая, но чаще бесплодно ожидая работы... Таясь, посылал он своих детей и жену за хлебом, за несколькими пфеннигами к сердобольным соседям.

Но аугсбургский совет, блюдя интересы богачей, объявил тайный сбор милостыни преступлением. Совет заставлял жену ремесленника занять место подле церкви рядом со слепыми и калеками. Он вручал ей жетон нищенки в подтверждение ее права на милостыню. Желая сделать тайное явным, совет потребовал, чтобы и сам обнищавший ремесленник в воскресный день стал рядом с женой подле церкви и тем самым публично признал себя нищим. Упорствующий ревнитель обреченной старины, ревнитель своего исчезающего права на вольный труд был принужден, вопреки своей воле и своему понятию о чести мастера, раз в неделю на глазах у всех протянуть руку за подаянием. Но совет недаром желал сломить гордость ремесленника, которому шесть дней упорного труда не обеспечивали пропитания. Человек, простоявший хотя бы день со значком нищего на груди, фактически переставал считаться бюргером. Он становился поднадзорным лицом, вынужденным бояться окрика особых попечителей, всегда грозивших изгнанием из города. Опекаемый и презираемый теми, кто его опекал, ремесленник-нищий должен был трепетать и повиноваться. Его переводили из мастеров в подмастерья, его, как бесправное существо, могли бросить в тюремный застенок и подвергнуть физическому наказанию.

Такова лишь одна из многих, очень многих мрачных страниц, которыми богата история западноевропейского города в позднем средневековье.

Однако та картина разложения цеха, которую мы находим в конце XV века в Аугсбурге, вовсе не являлась общим правилом.

Раннее и далеко зашедшее разложение цеха характерно для таких промышленных центров средневековья, как Аугсбург в Германии и Флоренция в Италии.

В большей части средневековых городов разложение цеха происходило медленно. Это означало, что старые цехи с их мало поколебленными порядками еще долго продолжали существовать. В немецких городах мы встречаем эти цехи в той или иной мере затронутыми разложением, но все еще жизнеспособными, даже на исходе XVIII века.

Иногда средневековый город изображали мирным, спокойным и счастливым. Было совсем не так. Жестокая борьба всегда составляла содержание жизни средневекового города. Город боролся со своим сеньором. В городе, освободившемся от власти сеньора, ремесленники боролись с засильем патрициата. С мастерами боролись подмастерья, а в пору разложения цехов и возникновения ранних капиталистических отношений началась новая борьба, которую обездоленным труженикам пришлось вести со своими хозяевами — скупщиками-капиталистами и с советом, всегда державшим сторону последних.

НАЧАЛО КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Весна 1096 года выдалась ранняя и дружная. Словно торопясь, солнце высушило дороги рейнской долины, одело кудрявой листвой придорожный кустарник, устлало сочным пологом светлой зелени луга, за которыми встала синеватая дымка лесной дали.

Но недолго вились птицы над просохшими дорогами. Разом смолкло их беззаботное пение, когда невесть откуда нежданно нахлынули тысячи путников. На путях-дорогах их голоса, скрип телег, мычание волов, собачий лай слились в тревожный шум, вызываемый движением огромного скопища людей, устремившихся в одном и том же направлении.

Таких гостей до той поры никогда не видели рощи и луга рейнской долины. Подчас их зеленое безмолвие нарушалось звуком охотничьего рога, топотом кавалькады знатных всадников, сопровождаемых загонщиками, псарями и сворой охотничьих собак. Не раз здесь появлялись вооруженные рыцари, спешившие в разбойничий набег, или на турнир, или на зов сеньора.

Но никогда не случалось так, чтобы от утренней зари и до самой ночи нескончаемой пестрой лентой двигались сотни людей, совсем не похожих на охотников и воинов. Грязь и пыль покрывала этих путников, молодых и старых, загорелых и обветренных. Грубые шерстяные плащи и дырявые холщовые одежды не скрывали зловещей худобы изможденных тел.

Почти ни у кого не было кожаной обуви. Многие шли в деревянных башмаках, дробный стук которых напоминал звук рассыпавшегося гороха. Некоторые передвигались босиком. Их почерневшие израненные ноги были покрыты волдырями и струпьями.

Вот прошла пара усталых запыленных быков. Взметая пыль, они с трудом поднимали отяжелевшие ноги, на которых поблескивали ловко прилаженные к копытам подковы. Налегая грудью на ярмо, быки тянули за собой переполненную домашним скарбом двухколесную высокобортную повозку, которая скрипела и подскакивала на кочках неровной дороги.

Из-под перехваченного веревками сена торчали глиняные горшки, корзины с припасами, треножник, вилы и лопаты. На этой куче тряслась, примостившись к ней, ветхая старушка, которую ее семья не захотела оставить в опустевшей хижине. За

повозкой плелись две тощие козы, подгоняемые мальчуганом, воинственно размахивавшим хворостиной.

За ним шли следом отец и трое старших братьев с котомками за спинами и длинными палками в руках, дальше тянулись усталые односельчане.

То растягиваясь, то сжимаясь, наплывал и неудержимо полз вперед гигантский многоголовый змей—нескончаемый переселенческий поток изголодавшихся французских крестьян. Казалось, какой-то вихрь внезапно сорвал с места, оторвал от родных хижин и полей тысячи деревенских семей и разом бросил их на проезжую дорогу, навстречу зною и пыли, дождям, ветрам и всем невзгодам чужбины.

Сгустились сумерки, когда за дальним поворотом дороги переселенцы увидели серебристую ленту Рейна.

Струившийся по дороге змей дрогнул, замер, остановился. Истомленные люди один за другим опускались на землю, растягивались на траве, на плащах. Сначала несколько, а затем сотни костров протянулись золотой цепью в сумраке весеннего вечера... Тысячи воспаленных глаз внимательно вглядывались в смутно различимые зарейнские дали.

И вот у одного из костров громко прозвучало заветное слово — название древнего города. Подобно пламени, быстро перебегающему по разложенному на земле хворосту, оно тотчас повторилось у другого, у третьего костра.

Указывая на тонувший в туманной мгле неясный контур далекого города, сидевшие у костров люди озадаченно, изумленно, встревоженно и обрадованно спрашивали: «Не Иерусалим ли это?»

Так вопрошали друг друга темные и невежественные крестьяне-крестоносцы, искавшие на берегах Рейна сказочный город средиземноморского Востока... Что всколыхнуло их и увлекло в опасный путь, что заставило их возомнить себя крестоносцами?

* * *

Людям, жившим в конце XI века, казалось, что близится «конец света» и не за горами грозный час «страшного суда», час, когда из могил поднимутся умершие и вместе с живыми предстанут перед разгневанным богом, готовым сохранить лишь немногих праведников и без всякой пощады низвергнуть в клокочущее адское пламя миллионы грешников.

Суеверное воображение удрученных и невежественных людей того времени рисовало картины всеобщей гибели. В совершенно непонятных им и казавшихся загадочными явлениях природы эти люди видели мрачные знамения неотвратимо надвигавшихся бедствий.

Тогдашние собеседники, сойдясь невзначай у деревенской околицы или мельничной плотины, либо на широких ступенях собо-

ра, испуганно воспринимали диковинные толки о таинственных знамениях.

В подобных рассказах правдивые сведения причудливо смешивались с чудовищными небылицами. Доверчивые слушатели, сокрушенно качая головами, неизменно принимали все сказанное за чистую монету.

В 1093 году хронист (летописец) Максенций записал: «В последнюю ночь августа было видно, как звезды падали с неба, подобно гаснущим факелам».

Средневековый историк, как и все его современники, был убежден, что все события, все судьбы его народа зависят от положения небесных светил, которые он даже не умел отличить от метеоритов.

Годом позже тот же хронист снова записывал: «В апреле явилось грозное знамение. От полуночи до утра бесчисленные звезды кучами и в одиночку, переплетаясь и догоняя друг друга, срывались с разных углов неба и сбегали на землю...»

В 1095 году наш хронист объяснял землетрясение и наводнение внезапным появлением кометы.

Сообщения о приметах и знамениях сыпались отовсюду. Говорили о «кровавых небесах», о помрачениях солнца. И то, что эти непрестанные вести все учащались, было лишь отзвуком глубокой и повсеместной тревоги, к тому времени охватившей все население европейского Запада.

Тот же хронист Максенций в 1096 году писал, что в апрельскую ночь все звезды устремились в бегство, словно пыль, гонимая ветром, и это бегство длилось от пения петуха до зари. И тут же, сразу, не переводя дыхания, он добавлял: «И все христиане двинулись с оружием в руках в Иерусалим...»

Не только наш хронист, но и все его современники не сомневались, что небеса повелительно требуют всеобщего похода, священной войны на Востоке, отвоевания у мусульман земли, некогда служившей колыбелью христианства.

В ту пору из переживаемых бедствий и тревог выросла твердая уверенность, что только эта, угодная богу, война избавит народы Запада от небывалых лишений. Такой уверенностью прониклись и гордый владетель замка, и скромный ремесленник, и даже нищий обитатель деревенской хижины. К этой уверенности, к отчаянной решимости покинуть семью и родину приводили непереносимые беды и жестокие потрясения тяжелого и тревожного века, о которых и пойдет наш рассказ.

Люди преклонного возраста часто сетуют на новые времена и хвалят ушедшую пору своей юности. Но старики, жившие во второй половине XI века, имели все основания жалеть о прошлом и ужасаться настоящему. Ведь на их глазах, именно на памяти их поколения совершились мрачные перемены, которым они искали объяснения.

И раньше военные столкновения феодалов были делом обычным. Но в более ранние времена эти вооруженные распри были сродни разрозненным вспышкам мгновенно возникавшего и быстро погасавшего пламени.

Отныне же они уподобились неукротимому лесному пожару, бушующему на необъятном пространстве.

Казалось, что идет война всех против всех. Граф ополчался на графа, барон поднимал меч против барона, рыцарь в засаде подстерегал своего соседа-рыцаря. Трудно было понять, кто с кем воюет. Вчерашние противники неожиданно объединялись, чтобы совместно обрушиться на нового врага и поделить его владения. Недолгие перемирия скрывали тлеющие искры новой войны. Временные соглашения соратников оказывались такими же шаткими, как и узы повиновения и покровительства, связывавшие вассалов и сеньоров. Рыцарь-вассал готов был переметнуться от своего сеньора к его противнику, а подозрительный сеньор, желая предотвратить измену, вероломно нападал на заподозренного вассала.

Поля и рощи то и дело оглашались звоном оружия. Отряды, осаждавшие замки, старательно опустошали владения врага. Они расхищали запасы, угоняли скот, и над амбарами, над хлевами, нередко и над деревнями взвивались языки пламени, а ветер далеко вокруг разносил чадную гарь пожаров. Вихрем проносились взад и вперед вооруженные всадники.

Иной раз это были разбойничьи шайки, состоявшие из окончательно разорившихся рыцарей, которым было не под силу брать приступом каменные замки. Поэтому они повсюду рыскали в поисках добычи, наводя страх на путников и мирных поселян.

Купцы-горожане все реже отваживались выезжать за городские ворота и решались снаряжать только очень большие караваны, сопровождаемые многочисленной стражей.

Но хуже всего приходилось крестьянам. Война вторгалась в их поля. Конница вытаптывала нивы. Нельзя было пасти скот, так как он попадал в руки бесчинствующих рыцарей. Крестьянину часто приходилось укрываться от внезапной опасности в лощинах да в оврагах, терять погожие дни посева и летней страды и с отчаянием думать, что урожай может остаться неубранным и тогда в двери его хижины постучится голодная зима.

В ту пору горько было не только беднякам, но и людям, имевшим кое-какой достаток. Зажиточный крестьянин, деревенский мельник, священник ломали голову над тем, как уберечь свое добро и сохранить запасы. Все, что можно, прятали в лесной чаще, в глубоких пещерах, в тщательно скрытых густыми зарослями тайниках, вырытых на склонах оврагов.

Таясь от взоров соседей, под покровом ночной темноты в этих укромных местах зарывали вместе с одеждой и утварью запасы хлеба, вина, соли. Случалось, что разбойники ухитрялись оты-

скать спрятанное. Если же хищникам не давалось в руки хозяйское добро, они связывали и уводили самого хозяина, которого затем швыряли в тесную и темную нору сырого подземелья, морили голодом, томили жаждой, подвергали избиениям и пыткам до тех пор, пока он не выдавал тайны своих запасов. С полным правом писал тогда хронист Вильгельм Тирский: «Никто не был уверен в том, что чем-нибудь владеет...»

Люди XI века тщетно пытались понять и объяснить причины происшедших перемен. «Бесстыднейшая корысть овладела сердцами всех», — писал монах Рауль Глабер. Ему вторил другой автор, Гиберт Ножанский: «Сердца людей воспламенила необузданная жажда приобретения...»; «Исчезла всякая добродетель, — писал Вильгельм Тирский, — все было проникнуто злобою, повсюду воцарились обман, хитрость, коварство...»

Если бы названных ученых-монахов спросили, откуда же взялась лютая жадность и исступленная злоба их воинственных современников и почему тридцать или сорок лет назад не было ничего подобного, они развели бы руками и непременно сказали, что именно в их время дьявол сумел овладеть душами баронов и рыцарей и заразить их ядом корысти и беспощадности.

Но дьявол был здесь ни при чем! Он был неповинен в происшедших переменах.

В более ранние времена далеко не все земли были захвачены феодалами. На широком пространстве европейской равнины еще стояли дремучие леса и шумели на ветру дикие травы полей, не тронутых рукой человека.

Крестьяне, желавшие дышать вольным воздухом, спасаясь от феодальной неволи, уходили в эти привольные места. Чем дальше они забирались, тем труднее было их прежнему сеньору настигнуть и вернуть беглецов. Но переселенцы недолго сохраняли свою свободу. Церковь спешила завладеть вольными землями далеких окраин и подчинить себе осевших на этих землях тружеников.

Как только на тесной лесной вырубке отстраивался небольшой монастырь, сразу же окрестные леса и луга объявлялись собственностью святого Мартина, святого Якоба или святой Анны.

Вслед за этим монастырь, считая себя полным хозяином лесных просторов, принимался зазывать крестьян-переселенцев. Каждому новоприбывшему выкраивался участок земли, и ему обещали в течение пятнадцати или двадцати лет не брать с него никаких поборов. За это новосела обязывали вырубить на своем участке деревья, расчистить почву от кустарника и превратить ее в пашню.

Бежало время, истекал льготный срок, и крестьянин становился «человеком святого Мартина», по сути дела крепостным монастыря.

А со временем на новые места являлись знатные господа с королевской грамотой в руках и объявляли себя владельцами той

земли, которую им пожаловал король. Нередко новые владения приходилось отвоевывать у беспощадно истребляемых древних племен славян и литовцев, эстов и ливов.

Разрастались монастыри, становились выше монастырские башни, обширнее строения, росло и число баронских и рыцарских замков. И чем более ширились поля монастырей и знатных господ, тем меньше оставалось свободных крестьян.

Требование феодалов «нет земли без сеньора!» к концу XI века повсюду стало бесспорным правилом. К этому времени и в самом деле почти совершенно исчезли неподвластные феодалам земли.

Между тем население росло. Росли и семьи феодалов. Но ни один барон и рыцарь не желал дробить свое владение, ибо сила феодала зависела от числа покорных ему крестьян, от количества доставляемых ими продуктов, а стало быть, от величины феодального владения.

Для того чтобы выступить в поход на боевом коне и в железных доспехах, надо было обладать не жалким клочком земли, а настоящим поместьем.

Потому-то каждый сеньор и стремился передать свои владения неподеленными и неурезанными одному-единственному наследнику, чаще всего старшему сыну.

Но и младшие сыновья баронов и рыцарей хотели, подобно отцам и дедам, жить вольготно и весело за счет подневольных крестьян. Однако с некоторого времени им уже не удавалось отыскивать свободную землю, еще не занятую другим феодалом, так как все уже было захвачено и поделено.

И тогда воинственные отпрыски баронских и рыцарских родов, лишенные всяких надежд на отцовское наследство и к тому же всякой возможности найти для себя никем не занятую землю, брались за меч. Они проникались бесповоротной решимостью выкроить для себя владение вооружённой рукой: потеснить, согнать прочь законных владельцев, чтобы занять их место.

Найти повод для того, чтобы затеять войну, было совсем нетрудно. С той поры, как под пятой феодалов оказалось все пространство Европы и не осталось никем не захваченных полей и никому не подвластных крестьян, все, кто жаждал новых владений, уподобились голодным псам, рвущим добычу друг у друга из глотки.

Очень близким к истине оказался монах Роберт, который вложил в уста папы Урбана II следующие слова, обращенные к графам, баронам и рыцарям Запада: «Земля, которую вы населяете, сдавлена отовсюду морем и горными хребтами, и вследствие этого она сделалась тесной при вашей многочисленности; богатством она не обильна и едва дает хлеб тем, кто ее обрабатывает. Отсюда происходит то, что вы друг друга кусаете и пожираете, ведете войны и наносите смертельные раны».

И в самом деле: ни общая площадь возделанных полей тогдашней Европы, ни тяжкий труд ее долготерпеливого крестьянства уже не могли доставить быстро растущему числу жадных феодалов ни желанных богатств, ни достаточного количества владений.

Неутоленная жадность рвавшихся к богатству феодалов толкала их к непрерывной войне друг с другом, а стало быть, и к таким опустошениям, которые устрашали все население и серьезно встревожили церковь.

Ведь епископы и монастыри сами были не только крупнейшими землевладельцами, но и хозяевами, заботившимися о накоплении запасов и увеличении доходов.

Вширь и вдаль разносилась слава монастырского виноделия; монастырские мельницы, маслобойни, солеварни считались образцовыми. В монастырских амбарах и погребах хранились самые большие запасы, без которых не могли обходиться ни короли, ни сколько-нибудь значительное войско. Отныне все это оказалось под угрозой.

Церковь пробовала пресечь бушевавшую повсюду войну провозглашением «божьего мира» и «божьего перемирия»[1]. Но никого из феодалов не остановило сообщение, что их война противна божьей воле, и никто из них не вложил меч в ножны.

Феодальная Европа напоминала в XI веке готовый взорваться кипящий котел. Когда клокотавший в этом котле пар понемногу стал вырываться отдельными струйками наружу, владыки католической церкви увидели спасительный выход в том, чтобы позволить ему выплеснуться из котла широкой рекой и таким путем избежать всех бед.

События показывали, что завоевания могут происходить и вдалеке от Европы. Они подсказывали простую мысль, что именно завоевание отдаленных земель может отвлечь воинственных хищников от опустошительных раздоров на родине.

В страны Запада с давних времен проникала молва о далеких и в то время труднодоступных землях средиземноморского Востока. В рассказах об этих краях общий интерес вызывало и благочестивое воспоминание о Палестине, как родине почитаемого церковью основателя христианства, и очень настойчивое, хотя и совсем не благочестивое, желание разузнать о богатствах Востока.

Чем более бедной и растерзанной войнами казалась собственная страна, тем пленительнее представлялась далекая и священная родина «сына божьего» — Христа. Чем более горестной была нищета у себя дома, тем с большей доверчивостью воспринимались расцвеченные пылкой фантазией рассказы. То были явно преувеличенные вести об огромных городах восточного Среди-

---

[1] О «божьем мире» и «божьем перемирии» см. выше — статью «Три короля» (стр. 155—177).

земноморья, об оживленных тамошних рынках, о диковинных заморских товарах. Жадных баронов и рыцарей волновали толки о коврах, драгоценностях, шелках, пурпурных тканях, о величественных дворцах эмиров и шейхов, о палатах арабских купцов и о многих других достопримечательностях и сокровищах, действительных и мнимых.

С каждым годом все большее число паломников решалось преодолеть все трудности и опасности долгого и изнурительного пути, чтобы посетить сказочный Иерусалим. Преклонив колени у «гроба господня», они получали за это прощение всех ранее совершенных преступлений. Церковь уверяла, что перед каждым возвратившимся из Иерусалима паломником в час его смерти настежь распахнутся ворота рая.

Священники и монахи всячески уговаривали знатных господ отправиться в «святую землю». На всем пути, в ближних и дальних странах, их освобождали от пошлин. Баронам и рыцарям у околицы покидаемых владений устраивали пышные проводы. Священники в торжественном облачении провожали отъезжавших с зажженными свечами в руках. Епископ в минуту расставания собственноручно благословлял уходившего и вручал ему дорожный посох и особый «паспорт», в который вписывалась обращенная ко всем христианам просьба давать ему приют и оказывать помощь.

Окружая знатных паломников знаками исключительного внимания, щедро осыпая их обещаниями, церковь надеялась таким способом отвлечь непослушных и воинственных феодалов от разорительных для епископов и монастырей войн на родине.

Одним из таких знатных паломников был граф Фулько Анжуйский, по прозвищу Черный. Одни объясняли это странное прозвище иссиня-черным цветом волос графа, другие считали, что он заслужил его своими черными делами. Фулько Анжуйский убил жену, на его совести были и жизни тех, кого он считал своими врагами, и гибель обманутых вассалов.

Жестокий и коварный, Фулько оставался сыном своего века: всех обманывая и никому не доверяя, он тем не менее верил, что церковь сумеет избавить его от адского пламени и примирить с небом. К тому же острое любопытство и жадность влекли его к сказочному Востоку.

Как только Фулько объявил, что собирается к «святым местам», тамошний епископ распространил слух, будто грешному Фулько во сне привиделись тени замученных им жертв и благодаря этому грозный властитель разом превратился в кроткого пилигрима. Вскоре граф двинулся в путь, но не бедным странником, а могущественным сеньором, окруженным вассалами, оруженосцами, сопровождаемый поварами, священником и даже шутом.

Трудно сказать, кто именно — священник ли, шут ли — придумал ту комедию, которая была разыграна по прибытии в Иеруса-

лим. Жители этого города и паломники неожиданно увидели Фулько босиком, с веревкой на шее, с низко опущенной головой, медленно бредущим по улице. При этом несколько вымуштрованных слуг, делая зверские гримасы, громко щелкали бичами и, грозно размахнувшись ими, бережно опускали их на согбенную спину своего господина... Один из слуг зычно вопил: «Господи, сжалься над неверным христианином, над грешником, странствующим вдалеке от дома!»

Умело разыгранная комедия не повредила здоровью Фулько и не лишила его аппетита. В тот же день, сменив рубище кающегося грешника на одеяние знатного графа, он отобедал у Иерусалимского патриарха и, по совету последнего, велел слугам раздать деньги беднякам-паломникам, которых турецкие власти не впускали в Иерусалим без уплаты положенного взноса.

Благополучно возвратившись на родину, Фулько был отныне твердо уверен, что все его былые преступления забыты и прощены и рай гостеприимно ожидает своего покаявшегося сына после смерти. И тем не менее граф совершил еще два путешествия. Очевидно, он их затеял не ради уже полученного «небесного прощения».

С тех пор, как первое паломничество познакомило его с землями и городами Востока, давнее любопытство, вызываемое заморским краем, не угасало. Оно, напротив, превратилось в жгучий интерес к заманчивым чужим богатствам. То был особый интерес завоевателя, интерес расчетливого полководца, умеющего трезво оценить особенности чужой страны и соразмерить собственные силы с силами возможного противника.

Нетерпение жадного феодала укрощалось холодным рассудком старого воина, подсказавшим ему ту истину, что на знойных нагорьях чужбины, вдалеке от родины две-три сотни воинов-рыцарей, предводимых сеньором, не представляют серьезной силы.

До поры до времени приходилось не воевать, а присматриваться и изучать. Сдерживая своих запальчивых вассалов, Фулько не допустил ни одного неосторожного, преждевременного столкновения с хозяевами восточной страны. Это тем более примечательно, что, очутившись на обратном пути из своего второго палестинского путешествия в Италии, Фулько повел себя совершенно иначе.

Едва узнав, что папским владениям грозят противники, Фулько устремился им навстречу и победоносно отразил их натиск.

Если расчетливая осторожность оказалась разом отброшенной в Италии, это лишь показывает, до какой степени воинственный паломник опасался необдуманно затеянной преждевременной войны на Востоке.

Долгие недели провел Фулько в Риме. Долго советовался папа с Анжуйским графом, от которого получил важную боевую услугу и опыт которого справедливо ценил. В этих беседах уже не в первый раз глава католической церкви взвешивал и проверял на-

меченные планы большого общеевропейского похода западных феодалов на Восток.

К мысли о невозможности вести малыми силами войну на Востоке постепенно приходили и другие знатные паломники. Так думал Роберт Нормандский (отец Вильгельма Завоевателя). После убийства родного брата — Ричарда он, подобно Фулько Анжуйскому, отправился добывать «небесное спасение». Он тоже понимал, что сопровождавший его внушительный отряд достаточен в качестве почетного конвоя, но явно не годится как завоевательная сила.

Так же рассуждали и немецкие епископы, выступившие на Восток в 1064 году во главе семи тысяч воинов и мирно удалившиеся восвояси.

Многое показал плачевный исход паломничества, предпринятого в 1054 году епископом Камбрейским Лиутбертом. Большинство его спутников сложило головы в Болгарии, жители которой не позволили пришельцам вооруженной рукой раздобывать припасы. Немалое число людей погубила буря у берегов Кипра. Из 3000 отправившихся с Лиутбертом уцелела лишь жалкая кучка, не дошедшая до Палестины и бесславно вернувшаяся на родину.

В 1073 году нормандский военачальник Руссель де Байель увлек за собой на Восток дружину отчаянных головорезов. Захватив врасплох небольшое княжество в Малой Азии, он дерзко провозгласил себя основателем нового христианского государства. Миновал всего год, и это «государство» рухнуло под напором мусульманских сил.

В ту пору папой стал один из наиболее умных, упорных и властных деятелей римской церкви — Григорий VII. Он стремился к полному торжеству римской церкви, к тому, чтобы ей подчинилась православная Византия и мусульманский Восток.

Будучи расчетливым политиком, Григорий VII внимательно изучал происходившие события. Он знал, что в 1071 году византийская армия понесла неслыханное поражение при Манцикерте, отдавшее в руки турок все азиатские владения Византии, кроме клочка, удержанного на западе Малой Азии. Плененный при Манцикерте, византийский император Роман Диоген подвергся крайним унижениям. Распростертый у подножия трона султана, он на глазах турецкого двора и воинов должен был служить подставкой, ступив ногой на которую султан усаживался на престоле.

Григорию VII было ясно, что разрозненные горсточки феодалов не могут ни помочь Византии, ни отвоевать захваченные турками земли.

С той же настойчивостью, с какой паук плетет паутину, Григорий VII стал вырабатывать план всеобщего похода на Восток. Такой поход должен был разом решить несколько задач: унять опасные для церкви раздоры в Европе, отвлечь европейских феодалов от ожесточенной грызни друг с другом, сплотить этих враж-

дующих и разноязычных воинов в единую, послушную церкви силу, способную завоевать земли и богатства Востока. Тем самым задуманный поход несказанно усилил бы папство как вдохновителя, как будущую верховную власть, безраздельно господствующую и над Западом и над Востоком.

Смерть прервала замыслы и действия Григория VII. Но к этим замыслам вскоре вернулись его преемники.

Хотя церковь толкала к паломничеству именно феодалов, на этот путь, помимо ее воли, вступало множество простых людей: ремесленников, торговцев, крестьян.

Чем бо́льшие лишения терпели труженики Запада, тем более манящей и многообещающей им представлялась «святая земля». Им казалось, что сам бог утешит и вознаградит всякого, кто посетит эту землю.

Страшные испытания выпали в XI веке на долю крестьянства западноевропейских стран. Хроники тех времен насчитывают 49 голодных лет. Неурожайные и голодные годы бывали и раньше. И в прежние столетия и в XI веке эти тяжелые годы чередовались с благополучными годами плодородия и обильных урожаев.

Но в прежние времена недород либо неурожай, случавшийся в тот или иной год, полностью или частично восполнялся избытком, накопленным запасливым деревенским людом в изобильные годы.

Совсем не так обстояло дело во второй половине XI века. В ту пору, как мы уже знаем, господство феодалов стало простираться на всю площадь западноевропейских стран. Нигде не было такого уголка, где крестьянин являлся бы хозяином своей земли, где он мог бы и сам спастись и укрыть свой хлеб и живность от своего жадного сеньора и от еще более ненасытной жадности его воинственных, всюду рыскавших противников.

Вся беда крестьян заключалась не в том, что XI век принес большее количество голодных лет, а в том, что эти годы отныне приходилось встречать без всяких запасов. Именно поэтому неурожаи стали означать страшные бедствия, сопровождались неслыханными прежде болезнями и преступлениями и приводили к вымиранию целых селений.

Вот что рассказывает монах Рауль Глабер: «Сильные земли́, люди средние и бедные равно испытывали голод, и у всех чело покрывалось бледностью. Насилия и жестокости баронов смолкли перед всеобщим голодом. Если кто-нибудь хотел продать съестное, то мог спросить самую высокую цену. Почти везде мера зернового хлеба продавалась по 60 золотых солидов. Когда переели весь скот и птиц, когда и этот запас истощился, голод сделался еще чувствительнее, и, чтобы его унять, поедали падаль. Иногда выкапывали из земли древесные коренья, собирали травы по берегам ручьев, но все было тщетно... О ужас!.. поверят ли тому, свирепство голода породило примеры редкой в истории жестокости и люди ели мясо людей? Путник, подвергшись нападению, падал

на дороге под ударами убийц, они разрывали его члены на части, жарили и пожирали. Это безумие, эта ярость дошла до того, что существование животного было безопаснее, нежели человека. Один злодей в городе Турнюс осмелился выставить на рынке для продажи человеческое мясо. Его схватили, и он не запирался. Суд приказал связать его и сжечь. Но нашелся другой, который в ту же ночь украл это самое мясо и пожрал его. Он также был сожжен.

Многие начали мешать последние остатки муки и отрубей с белой землей, похожей на глину, и делали из такой смеси хлеб. Эта пища служила им последней надеждой на спасение. Но «их лица делались бледными, кожа натягивалась и пухла, голос слабел и напоминал собой жалобный крик умирающей птицы».

Свидетели постоянных кровопролитий стали жертвами беспримерного голода. Они видели заросшие сорняками нивы, опустевшие селения, вздувшиеся трупы, валявшиеся у дорог. Потрясенные всем виденным и пережитым, подавленные беспросветным отчаянием, бессильные понять и объяснить причины происходившего, они растерянно твердили, что никогда прежде не было таких страданий и испытаний, и с ужасом приходили к страшной для себя догадке — божья кара!

Темные и глубоко потрясенные средневековые люди делали единственно возможный вывод из этой догадки, казавшейся бесспорной: только большая заслуга перед богом способна избавить от ниспосланных терзаний и мук... Рассказы паломников, слухи о владычестве «нехристей» над «святой землей», толки о богатствах этой далекой и сказочной земли — все это сплеталось воедино, и мрак беспросветного отчаяния как бы озарялся манящей надеждой на божью милость, ожидающую всех, кто пойдет освобождать легендарную родину Христа от врагов христианской веры... Любой случайный толчок мог привести в движение тысячи изможденных, голодных, отчаявшихся и легковерных людей.

В Северной Франции такой толчок исходил от странного человека, имя которого стало повторяться все чаще и чаще. То был Петр Амьенский, или Петр Пустынник, обязанный своим прозвищем тому, что долгие годы, никому не известный, он прожил в уединенной пещере вблизи города Амьена.

Людей, подобных Петру Амьенскому, называли аскетами. Все они стремились добровольными лишениями и многочасовой молитвой достигнуть «небесного спасения». Петр Пустынник ежедневно простаивал часами в глубине пещеры перед несколькими образками, прибитыми к задней ее стене. Тускло мерцавший огонек лампады освещал его склоненную полысевшую голову, худое, иссеченное морщинами лицо, сплетенные в молитвенном жесте пальцы рук.

Стоя спиной к выходу из пещеры, Петр старался не оборачиваться назад и не обращать никакого внимания на любопытных,

пришедших поглядеть на праведника, видевших обычно только его согнутую спину и едва слышавших его молитвы.

Лишь после долгого стояния, когда сами собой подгибались занемевшие ноги, а тенистый сумрак пещеры сгущался до мрака, Петр устало присаживался на лежавший у входа в пещеру камень и замечал рядом с собой скудные припасы, незаметно положенные туда ушедшими почитателями благочестивого пустынника.

Дни сменялись днями, незаметно уплывали месяцы. Уходившие годы ничего не меняли в жизни пустынника до той самой поры, пока его слуха не коснулась молва о «святой земле». Слепо уверовав в то, что посещение этой дальней земли — самый короткий путь к «небесному спасению», Петр Амьенский без колебаний расстался со своим уединением и в числе других паломников пустился в трудный путь.

О пребывании Петра Амьенского в Палестине говорят созданные церковью фантастические легенды, в которых очень мало правды. Известно лишь, что, возвратившись на родину, Петр круто изменил свой образ жизни. Его видели на ярмарках, он переходил из одной деревни в другую и всюду пылко и убежденно взывал к толпившимся вокруг него людям. Он укорял их и сочувствовал, осуждал и прощал, он обещал все дары земли и все блага рая тем, кто с божьим именем на устах пойдет на войну с «неверными» и станет отвоевывать родину христианства.

Толпа угрюмых, изведавших все невзгоды поселян видела перед собой поднявшегося на пень или камень невысокого, худого монаха. Его тело облегала грубая шерстяная туника, поверх которой был наброшен стянутый на плече пряжкой темный плащ. Ноги оратора были босы. Руки, то взлетавшие вверх, то выброшенные вперед, то поникшие вниз, поражали своей худобой и подвижностью. Опаленное солнцем юга, потемневшее суровое лицо обрамлялось падавшей на грудь седой бородой. Над длинным горбатым носом, сходясь над переносицей, изгибались неспокойные клочковатые брови. Нависая над глубоко запавшими глазами, они как бы усиливали горевший в этих глазах огонь, который останавливал все взоры, завладевал вниманием, заставлял вслушиваться в сбивчивую, прерываемую вздохами и стонами речь монаха-оратора.

Сила этой нескладной, но пылкой речи таилась в том, что она являлась горячим отзвуком глубокой душевной потрясенности тех, кто ее слушал.

Проповедь Петра Пустынника пробуждала в крестьянах затаенную жажду решительного поворота, похожую на желание во что бы то ни стало пробудиться от тяжелого сна, стряхнуть с себя мучительный кошмар.

Не мудрено, если неожиданно прозвучавший призыв почти косноязычного, но искреннего монаха встречали слепой доверчи-

востью, радостным изумлением и даже восторгом. В дрожавшем от волнения голосе проповедника чувствовалась вера в то, что он говорил, его слова возбуждали надежду и воспринимались как истина.

А когда Петр Пустынник замолкал и из его груди вырывались сдавленные рыдания, слушавшие его благоговейно опускались на колени, разделяя все чувства «святого человека».

Его призыву отправиться на Восток охотно следовали, зная, что он сам проделал этот путь. Ему легко верили, когда он рассказывал о богатствах, которыми бог одарил свою любимую землю. С ним вместе негодовали, когда из его уст слышали, что все богатства «земли господней» коварно захватили враги господа. Измученные люди с бьющимся сердцем ликовали, слыша, что даров этой земли хватит, чтобы удовлетворить всех земляков Петра Пустынника. И, наконец, восторгом исступления они встречали звучавшие набатом слова о том, что «святая земля» требует вместо сотен мирных паломников тысячи тысяч воинов-освободителей.

Можно ли считать, что речи Петра Пустынника и ему подобных проповедников были причиной крестоносного движения крестьян?

Случайная искра никогда не воспламенит груду железа. Буйное пламя разгорится лишь в том случае, если эта искра упадет на скопившийся горючий материал.

Петр Пустынник не смог бы всколыхнуть и увлечь множество людей, если бы выступил столетием раньше. Его успех объяснялся тем, что перемены, происшедшие в положении крестьянства, превратили его к концу XI века в легковоспламенимую массу, готовую вспыхнуть от любой искры. Потому-то горячие призывы Петра Амьенского и других проповедников явились тем дополнительным толчком, который привел в движение крестьянство.

Мы видели уже французских крестьян, пришедших в долину Рейна. Они не представляли себе огромной протяженности предстоявшего пути, не знали тех мест, по которым он пролегал, и были готовы искать Иерусалим на Рейне и Дунае.

Странной и жалкой была эта армия оборванных крестоносцев, которым нужно было пересечь почти весь Европейский материк, чтобы затем сражаться с грозной турецкой силой. Их вооружение состояло из палок, кос и граблей, кое у кого были самодельные луки и дротики. Они гордились тем, что их бесконечно растянувшуюся походную колонну ведет сам Петр Пустынник. Он ехал верхом на осле. Благочестивые почитатели незаметно выдергивали пучки шерсти у этого осла и бережно прятали их у себя на груди как память о «святом человеке», как чудодейственный талисман, предохраняющий от опасности. К концу пути, как говорят современники, осел оказался почти оголенным.

Мало похож был на полководца крестьянский предводитель. Библия заменяла ему походные карты, а молитвы — приказы и рас-

поряжения. Он не задумывался о силе и численности противника и его вооружении, всецело полагаясь на божью помощь. Не понимая нужд и требований дальнего похода, он ничего не мог заранее предусмотреть. Любое происшествие становилось неожиданностью, ставило его в тупик и заставляло проливать слезы и усердно молиться. Не знал Петр Пустынник, сколько продовольствия понадобится его голодному войску и где его добывать.

На долгом своем пути крестьяне в поисках пропитания кое-что выпрашивали и выменивали у местных феодалов и монастырей. Но все чаще от главной колонны отделялись и уходили в сторону небольшие группы, чтобы раздобыть силой хлеб или скот. Тщетно пытался Петр Пустынник отговаривать своих соратников от насильственных захватов.

Голод, зной, непогода, ночевки под открытым небом, дети, умершие от неведомых болезней и наспех зарытые в чужой земле, все лишения дальнего и тяжкого пути — все это, вместе взятое, усиливало их давнее ожесточение против всякого, кто был сыт и имел запасы.

Отнимая, грабя, поджигая, они не считались с тем, что жители венгерских, болгарских, затем и греческих селений были такими же тружениками-земледельцами и такими же христианами, как они сами.

Оберегая свои земли, венгерские и болгарские рыцари, через владения которых шла рать крестьян-крестоносцев, не только подстерегали и уничтожали мелкие отряды. Они не раз обрушивались и на главные силы крестьян. Эти неожиданные сражения становились гибельными для горе-воинов вследствие их полной неподготовленности к войне. В пути и на привалах они не выставляли часовых и поэтому оказывались застигнутыми врасплох. Их вооружение никуда не годилось в сравнении с рыцарским, и, наконец, крестьяне не умели сражаться в строю и согласованно действовать, повинуясь командованию.

Голод, болезни, бесславные битвы с теми, кто защищал свою страну и достояние, унесли множество жизней. Лишь остатки крестьянской рати добрались до Византии, император которой поспешил переправить уцелевших через Босфор. Здесь, на пустынных нагорьях Малой Азии, остро ощущалось отсутствие воды и было еще труднее добывать припасы. Покинув своих соратников, Петр отправился в Константинополь выпрашивать у императора продовольственную помощь. Часть оставшихся безрассудно решилась напасть на турецкую армию и расплатилась за это полным разгромом; другая часть на ночном привале была неожиданно окружена турецкой конницей, зарубившей тех, кто сопротивлялся, и обратившей в рабство всех прочих.

Таков был плачевный исход похода крестьян-крестоносцев.

Судьба крестьянского ополчения не удивила властителей Римской церкви. Все свои надежды они возлагали не на безоружную

массу отчаявшихся людей, а на испытанную силу железных рыцарей, гордых своими доспехами и своим воинским опытом.

Со времени Григория VII (1073—1085) при папском дворе продолжали заботиться о том, чтобы избавить церковь от разорявших ее усобиц, объединить феодалов и толкнуть их на большое завоевание, сулившее церкви огромные выгоды. Когда для этих планов создалась благоприятная обстановка, к их осуществлению приступил папа Урбан II.

Византии, потерявшей после битвы при Манцикерте свои владения в Малой Азии, продолжали грозить турки. Одновременно византийская империя подверглась частым и ожесточенным набегам печенегов. Оказавшись под двусторонним напором, император Алексей Комнин был вынужден просить папу и европейских государей о помощи. В грамотах, содержавших эту просьбу, неосторожно упоминались богатства константинопольского двора, от которых следовало отвратить хищную руку Турции.

Отныне папа мог пугать опасностью турецкого проникновения в Европу, призывать к помощи обессилевшей Византии, разжигать воображение описанием богатств византийской столицы, которые необходимо вырвать из пасти надвигавшегося чудовища. Все это можно было добавить к прежним призывам освободить родину христианства от владычества мусульман.



Статуя конного крестоносца с крестом на плече.

Церковь старательно и деловито подготовила созыв неслыханно многолюдного собора, открывшегося в 1095 году во французском городе Клермоне. С пышной свитой туда прибыли 13 архиепископов, 225 епископов и аббатов, сотни священников и несчетное множество светской знати и рыцарства. Со всех сторон вокруг Клермона выросли целые лагеря, в которых звучала северофранцузская и немецкая речь, слышался быстрый говор Южной Франции, раздавались певучие итальянские фразы и гортанные восклицания басков.

Казалось странным, что при таком стечении разноязычной знати и рыцарства не возникало обычных ссор и столкновений, не обнажались мечи и не проливалась кровь.

Это миролюбие объяснялось тем, что съехавшиеся со всех сторон феодалы были охвачены нетерпеливым ожиданием призыва к совместной большой войне, перед которой померкнут все прежние распри.

Однако отцы собора, увидев, что многие именитые сеньоры запаздывают, занялись неторопливым обсуждением вопросов чисто церковных, отодвигая то главное, ради чего издалека притащились даже престарелые бароны со своими сыновьями и взрослыми внуками.

Наконец, наступила долгожданная минута, когда папа Урбан II поднялся на высокий деревянный помост и, окинув взором казавшееся необозримым море голов, заговорил.

Француз по происхождению, Урбан II держал свою речь на родном языке. Но в те времена не существовало никаких приспособлений, усиливающих человеческий голос, и голос папы, как он его ни напрягал, не доносился до дальних рядов. Урбан II это вскоре понял и постарался не затягивать своего выступления. Необыкновенная в столь многолюдном сборище тишина ясно свидетельствовала о том значении, какое собравшиеся придавали папской речи... Едва прозвучало последнее слово, как настороженная тишина, продлившись еще с минуту, сменилась слитным многоголосым ревом, оглушающим, неистовым и ликующим! В этом со всех сторон несущемся потоке звуков явственно улавливался один нестройно, но единодушно повторяемый возглас: «Dieu le veut!» («Этого хочет бог!»).

Папа не сразу догадался, как могла отозваться этим возгласом на его речь стоявшая вокруг помоста толпа, которая, в своем подавляющем большинстве, явно не слышала ее. Стоявший рядом кардинал с угодливой улыбкой склонился к папскому уху и, превозмогая окружающий шум, почти прокричал: «Они были заранее готовы к призыву Вашего святейшества, и вот...» Дальнейших разъяснений не потребовалось...

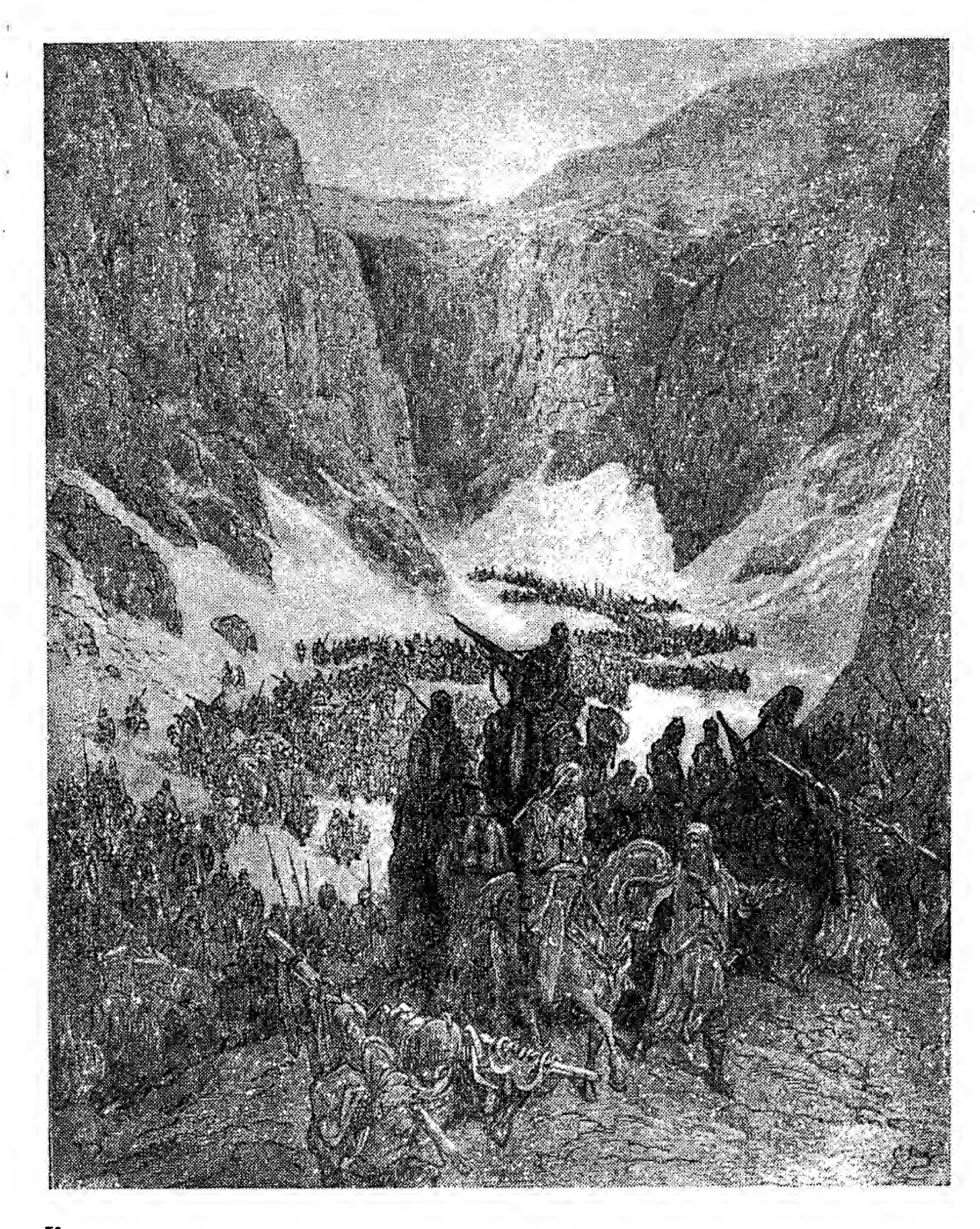
Воинственные феодалы давно ждали сигнала к пленявшей их воображение небывалой войне, и важным для них было не то, что говорил папа, а то, о чем он должен был сказать. Именно это было



Роберт Нормандский.

заранее известно, обдумано в долгие вечера, проведенные в замках... Желанный сигнал к большой войне прозвучал. Не успели смолкнуть воинственные возгласы, как тут же сотни людей стали накладывать на свою одежду крестообразно пересекавшиеся полоски алой ткани, поспешно пришивая к плечу знак креста, означавший их участие в предстоящем походе. И то, что вместе с иголками и нитками были заблаговременно припасены нужные клочки ткани, и та торопливость, с какой собравшиеся украшали себя знаками крестоносцев, — все это яснее слов говорило о полной готовности к долгожданной заморской войне, готовности, которая чувствовалась не только в Риме, но и в каменных замках баронов и в скрытых лесною чащей лагерях разбойников-рыцарей.

Не было в ту пору стенографии, и не сохранилось точной записи папской речи, воодушевившей на Клермонском поле даже тех, кому не удалось ее расслышать. Однако монахи постарались передать эту речь в своих хрониках. При этом каждый из них вкладывал сочиненные им самим слова в уста папы. Но, несмотря на это, хронистам удалось верно передать дух и смысл папской речи.



Крестоносцы в походе.

«Теперь, — писал монах Роберт, — может прекратиться ваша ненависть, смолкнет вражда, стихнут войны... исторгните у нечестивого народа и подчините себе ту землю, где Иерусалим — плодоноснейший перл земли, второй рай утех...» О том же говорят строки Фульхерия Шартрского: «Да станут ныне воинами те, кто раньше являлся грабителем. Пусть ныне ведут справедливый бой с варварами те, кто в прежние времена сражался против братьев и соплеменников. Да получат ныне вечную награду те, кто прежде за малую мзду были наемниками. Пусть двойная честь увенчает труды тех, кто не щадил себя во вред и телу и душе. Кто здесь горестен и беден, там будет богат, кто здесь недруг богу, там станет другом ему!..»

«Подружиться с богом» значило твердо рассчитывать на райское блаженство. Еще заманчивее для тысяч рыцарей, не ожидавших отцовского наследства, было превратиться из «горестных и бедных» в заморских богачей.

Нищим крестьянам-крестоносцам не требовалось долгих сборов. Им, лишенным запасов и оружия, упрямо сопутствовала та самая нищета, которую они хотели оставить дома. Не так обстояло дело с баронами и рыцарями, знатоками военного дела. Они долго и старательно готовились к дальнему походу, чистили оружие, подбирали коней, готовили обозы, припасали все нужное для войны. Церковь освобождала уходивших от всех долгов и брала под защиту покидаемые владения.

Крестоносцы торопились купить все, чего требовала война. Они сбывали по неслыханно дешевой цене все, что считалось ненужным для войны. Случалось, что семь овец продавали за один медный денарий. Свидетели такой продажи смеялись над продавшим, а через несколько дней сами отдавали за бесценок собственное добро и присоединялись к крестоносцам, боясь опоздать со сборами.

Подобно заразной болезни, лихорадка сборов овладевала теми, кто жертвовал всем привычным: покоем, хозяйством, близостью к семье.

Епископы и священники твердили, что эта лихорадка вызвана желанием послужить богу... В те дни почти никто не понимал, что порыв воинственного нетерпения срывал с места гордых баронов и бедных рыцарей и гнал их вдаль именно потому, что их сердца сжигала ненасытная алчность, жажда тех богатств и владений, которые церковь делала приманкой, объявляла божьей наградой за участие в крестоносном завоевании.

Лишь через год после Клермонского собора, в 1096 году в путь тронулись феодальные силы целых провинций, управляемые своими властителями. Чего искали они на Востоке?

Правдивый ответ на этот вопрос дают не слова служителей церкви, а дела самих крестоносцев.

КНЯЗЬ НИКЛОТ И КРЕСТОНОСЦЫ

Не прошло и полувека с тех пор, как на Востоке были созданы государства крестоносцев, когда разнеслась весть, что христиане потерпели там жесточайшее поражение. Под ударами мусульман пала Эдесса. Турки-сельджуки усиливали натиск. Судьба завоеванных рыцарями земель висела на волоске.

Католическая церковь стала настойчиво призывать к новому крестовому походу. Особенно пылкими были речи аббата Бернара Клервосского. Под его влиянием Людовик VII, король Франции, согласился участвовать в походе. Бернару удалось уговорить и германского императора Конрада III. Аббат, одержимый мыслью о мести неверным, разъезжал по Южной Германии и выступал с проповедями. Каждый-де грешник, отправившись в святую землю, спасет душу и попадет в рай, прощены будут и разбойники и поджигатели, если с оружием в руках поднимутся на защиту гроба господня. Обнищавших рыцарей Бернар Клервосский соблазнял рассказами о богатствах Востока. Весной 1147 года он, не жалея красноречия, выступал во Франкфурте на съезде немецкой знати. Среди южногерманских рыцарей он достиг успеха, но князья с севера не поддавались его увещаниям. У них были иные заботы, и иные края разжигали их вожделение.

Широкая полоса земель, прилегающих к Балтийскому морю, — от датских владений до рубежей пруссов[1] — издавна была заселена полабскими и поморскими славянами. Край был щедрый, привольный, манящий: хорошие пашни и луга, леса, полные дичи, озера и реки, изобилующие рыбой. Кому доводилось бывать в этих областях, рассказывали о тамошних богатствах, оживленной торговле, крупных приморских городах. Велеград, Росток, Волегощ, Щецин и Волынь хорошо были известны иноземным купцам. Особенно славились Волынь и Щецин, важнейшие центры балтийской торговли. Сюда постоянно прибывали купцы из Скандинавии, из Германии, с Руси, а нередко — из Византии и с арабского Востока.

Давно уже немецкие феодалы и католическая церковь зарились на эти земли. Всеми правдами и неправдами старались они

[1] *Пруссы* — литовский народ, обитавший в те времена к востоку от низовьев Вислы.

подчинить себе славянских князей, посылали миссионеров, разведчиков-купцов, колонистов. То и дело снаряжали войско, чтобы огнем и мечом покорить этот край, но неизменно терпели поражение, даже если вначале и добивались успеха. Ободриты и лютичи изгоняли иноземцев, разрушали пограничные укрепления, совершали набеги в земли обидчиков—саксов. Славянские мореходы, особенно жители острова Руяны [1], успешно соперничали со скандинавами и в торговле и в военном деле. В ответ на нападения викингов они, естественно, не оставались в долгу и подвергали опустошительным налетам берега Дании. В долгой и упорной борьбе полабские и поморские славяне отстаивали свою независимость, свой уклад жизни, верность своим обычаям. Попытки силой навязать им христианскую веру неоднократно терпели провал.

Когда призывы к новому крестовому походу стали особенно настойчивы и упреки в равнодушии к божьему делу посыпались на саксонских князей, кому-то из них пришла в голову «счастливая» мысль. Конечно, они, саксы, тоже готовы ради торжества церкви пролить кровь неверных. Но им нельзя отправиться в «святую землю». Воспользовавшись их отсутствием, славяне вторгнутся в Саксонию, захватят в рабство христиан, разорят храмы, посрамят имя божие. Да и зачем им идти за тридевять земель биться с турками, когда у них под самым носом, сразу же за Лабой [2], простирается край идолопоклонников? Лучше уж устроить крестовый поход против язычников-славян и либо обратить их в христианство, либо искоренить. Пора, мол, давно пора, собравши силы со всей немецкой земли, пойти войной на Никлота, князя ободритов, и сокрушить языческое княжество, процветающее у рубежей Саксонии.

Бернар Клервосский понял, что ему не удастся соблазнить рыцарское воинство Северной Германии сомнительными выгодами далекого похода на мусульманский Восток, когда жаждет оно добычи куда более реальной и близкой. Аббат убедил императора пойти саксам навстречу. Истребление язычников — всегда богоугодное дело, где бы оно ни свершалось. А раз есть возможность приобрести для христианства земли в самом сердце Европы, это надо всячески поддержать. Было решено направить послов к папе римскому и добиться у него для саксов позволения идти крестовым походом против язычников-славян.

В середине апреля 1147 года папа ответил согласием и издал соответствующую грамоту. Он не заблуждался относительно истинных побуждений немецких князей. Зная, что ими движет низкая корысть, он запретил крестоносцам вступать со славянами в

[1] *Руяна* — ныне остров Рюген.
[2] *Лаба* — Эльба.

соглашение и наказывал им ни за какие деньги не оставлять их в язычестве.

«Люди шли в крестовый поход, — замечал летописец, — с разными помыслами. Одним надоели беспросветные будни, и они мечтали повидать чужие края. Другие, гонимые нуждой, готовы были сражаться не только против врагов Христа, но и против его сторонников, лишь бы побыстрее поправить свои дела. Третьи, запутавшись в долгах, думали таким путем увильнуть от выполнения взятых на себя обязательств. Четвертые хотели избежать кары за совершенные злодейства. Все они, ища избавления от своих тягот, лишь прикрывались ревностью к божьему делу. Людей, искренне готовых из пламенной любви к богу пролить свою кровь, было очень мало».

Послания Бернара Клервосского дышали непримиримостью. Из них явствовало, что ждет славян, если они не сумеют отбиться. Какую подать ни пообещают славяне, твердил Бернар Клервосский, о мире не может быть и речи, пока с лица земли не будет стерто либо язычество, либо самый род славянский.

* * *

О тревожных событиях Никлот, князь ободритов, узнал от купцов и лазутчиков. Неприятель собирает великие силы. Повсюду объявляются охотники пограбить чужие края, приходят не только немецкие епископы и князья, но прибыли уже французы и бургундцы. Оба датских конунга, Свейн и Кнуд, долго притязавшие на единоличную власть и истощавшие страну междоусобицей, помирились и примкнули к немецким князьям. Крестовый поход в славянские земли должны возглавить Генрих Лев, герцог Саксонии, и Альбрехт Медведь, маркграф Бранденбургский. Никлот хорошо их знал. Вражда Альбрехта к славянам была давней, а Генрих, из молодых, да ранних, даже во сне видел себя завоевателем.

В немецкой земле шла подготовка к крестовому походу. Никлот тоже не терял времени, собирал силы. О грозящей опасности он поставил в известность лютичей, обратился за помощью к руянам. Его не устрашили вести о размахе военных приготовлений. Какой бы тяжелой ни была борьба, славяне от нее не откажутся.

С запада к ободритским землям примыкали владения Адольфа, графа Голштинии. Они с Никлотом заключили союз и обещали в случае опасности помогать друг другу. Но у Никлота были основания не доверять Адольфу. Похоже, что граф, прельстившись возможной добычей, нарушит клятву и переметнется на сторону крестоносцев. Нельзя было допустить, чтобы его владения и Любек, отстроенный недавно около сожженного славянского города, превратились в оплот неприятеля.

В Велеграде, главном городе ободритов, Никлот созвал старейшин. Они собрались в самом просторном здании города. Зал был украшен резными фигурами зверей, сценами охоты, жатвы и войны. На стенах висели медвежьи шкуры и рога оленей. Вокруг большого стола стояли тяжелые скамьи. Здесь обычно обсуждали общественные дела, справляли победные праздники, в долгие зимние вечера пили мед, слушали сказителей.

Никлот рассказал об угрозе вторжения. Один за другим поднимались и брали слово знатные люди всей ободритской земли. Решили первым делом направить посланцев к Адольфу.

Тот принял послов дружелюбно, но от встречи с Никлотом отказался, говоря, что было бы величайшим безумием дразнить сейчас немецких князей. Тогда послы объявили, что считают Адольфа нарушившим союз — пенять ему придется на себя.

Обеспокоенный Адольф тут же послал к Никлоту своих людей, чтобы оправдаться и усыпить его подозрения. Никлот тоже пока не обострял конфликта. Он разгадал ухищрения Адольфа. Тот, вероятно, уже давно вступил в тайный сговор с крестоносцами. Его послы уверяли ободритов в дружбе, а тем временем Адольф приказал жителям подвластных ему земель, забрав ценное имущество и скот, постепенно уходить в укрепленные места и остерегаться набегов славян. Хорош союзник!

Мало того, вскоре разведчики донесли, что в Любек из Бремена и Гамбурга пришла целая флотилия торговых кораблей с военными припасами. Адольф разрешил им встать на якорь в любекской гавани, хотя, конечно, прекрасно знал, что́ именно они привезли. Никлот не стал мешкать. Немцы хотят превратить Любек в опорную базу своего грабительского похода. Это им не удастся!

Никлот приказал погрузить на корабли войско и лошадей. Ночью вышли в море. На рассвете приблизились к устью Травы, стали подниматься вверх по течению, неподалеку от Любека высадились. Никлот отправил гонца в Зегеберг, замок Адольфа — пусть на поле боя встречает союзников, которых предал!

Конные и пешие отряды устремились к городу. Первая вражеская застава была мгновенно смята и уничтожена. Когда жители Любека подняли тревогу, было уже поздно. Всадники Никлота ворвались на пристань. Гамбургские и бременские купцы были застигнуты врасплох. Накануне они изрядно напились и теперь с похмелья даже не могли понять, что происходит. Многие так и не успели повскакать с постелей. Они дорого заплатили за свое стремление нажиться на войне. В это утро было перебито больше трехсот стражников и купцов.

Коннице Никлот повелел перейти Траву, вторгнуться в Вагрию и уничтожить поселения иноземных колонистов. Приказ был исполнен. Все поселения голландцев, вестфальцев и фризов были преданы огню. Пришельцев, которые во что бы то ни стало

хотели утвердиться на чужой земле, постигла заслуженная расплата.

Однако гользатов, исполняя строжайший приказ Никлота, ободриты пощадили. Конные отряды прошли мимо их деревень, не причинив ущерба. Для гользатов по неведомой причине было сделано исключение.

Пока конница совершала набег на Вагрию, пешие воины Никлота громили Любек. Адольф в городе так и не показался. Одни говорили будто он был в отъезде, другие — что просто струсил. Немцы отсиживались в замке. Постройки вокруг рынка и гавани были сожжены. В руки славян попала огромная добыча. Когда вернулись конные отряды, Никлот приказал грузиться на корабли. Налет увенчался успехом: Любек и Вагрия не станут теперь оплотом крестоносцев. Да и немало им придется потратить времени, чтобы возместить военные припасы, ставшие добычей ободритов.

Силы Адольфа были подорваны. Он не мог теперь рассчитывать ни на колонистов, ни на давних своих подданных. В Вагрии были посеяны семена раздора. Почему вдруг Никлот пощадил одних гользатов? Да потому, что именно они, ненавидя иноземцев, и подговорили его учинять колонистам разгром!

Вернувшись в Велеград, Никлот приказал созвать вече. На главной площади собралась огромная толпа. Князь в сопровождении старейшин, военачальников и жрецов поднялся на вечевой помост. Стало совсем тихо. Никлот сказал:

— Сегодня старейшины держали со мной совет и решили объявить народу, что несметное вражеское войско готовится к походу на нашу землю. Согнуться ли нам, принять чужого немецкого бога, пустить на свои поля иноземцев, надеть на собственную шею ярмо или, взяв в руки оружие, стеной стать на защиту отчизны? Откупиться от нашествия серебром или отбиться булатом?

«Смерть врагам! — пронеслось над толпой. — Не пристало славянам склоняться перед немцами!»

Люди на площади потрясали копьями и мечами, ударяли щитом о щит. Было единодушно решено вести войну не на живот, а на смерть, не идти на уступки и не пускать к себе христианских проповедников. Вече постановило тотчас же сообщить руянам о происшедшем и поторопить их с присылкой флота. Купцы поднимались на помост, кланялись народу и говорили, что отдают свои корабли и товары на нужды войны.

Из храма бога Сварожича раздались трубные звуки. Когда воцарилась тишина, жрецы принялись гадать, удачной ли будет война. Они дали знак вывести священного коня. Белый конь, покрытый расшитой золотом попоной, появился на площади. Грива его почти касалась травы. Жрецы воткнули в землю крест-накрест копья. Народ, затаив дыхание, следил, как гадают жрецы. Если



Славянский жрец.

конь, переступая копья, сперва поднимет правую ногу — это счастливое предзнаменование, если же — левую, то грозит беда.

Первой конь поднял правую ногу. Раздались ликующие крики. Бог обещает удачу! Служители Сварожича снова затрубили в трубы, священного коня увели. Жрецы вынесли к народу боевые стяги и под одобрительные возгласы вручили их самым храбрым воинам.

Налет на Любек и Вагрию сорвал тайные планы крестоносцев и вынудил их отложить день выступления. Только в начале августа смогли они двинуться в поход. Это было на руку Никлоту. Пустыми надеждами он себя не тешил. Знал, что с таким сильным войском, как на этот раз, славянам никогда еще не приходилось сталкиваться. У врага были десятки тысяч отлично вооруженных воинов, тяжелая конница, рыцари, с головы до пят закованные в железо, отряды лучников, обозы со снаряжением, мощные осадные машины. И, наконец, флот, грозный датский флот.

Крестоносное войско, как доносили Никлоту, разделилось на две армии: одна во главе с Генрихом Львом шла с нижней Лабы в ободритские земли, другая под водительством Альбрехта Медведя направилась из Магдебурга против лютичей.

Безумие думать, что можно одолеть такую тьму врагов, затеяв решающую битву в открытом поле. Никлот выбрал другую тактику. Он будет избегать крупных сражений, изматывать неприятеля ночными налетами, засадами. Он будет ждать, когда осенние дожди размоют дороги — тяжеловооруженные рыцари и громоздкие осадные машины начнут вязнуть в грязи. Крестоносцы рассчитывают на недолгий поход и быструю победу, но он-то, Никлот, знает, что борьба будет затяжной и тяжкой. Он запрется с частью войска в крепости Дубин и преградит врагу путь к богатым ободритским городам — Велеграду, Илову, Ростоку. Другие его военные отряды до поры до времени рассеются в густых лесах.

Князь велел укрепить Дубин и снабдить его необходимыми запасами. Крепость стояла у моря, на берегу залива. С трех сторон ее окружал залитый водой ров. Высоко поднимался земляной вал

с мощной стеной: пространство между рядами дубовых бревен было забито глиной.

Вступление крестоносцев в славянский край ознаменовалось пожарами. Они жгли обезлюдевшие деревни, убивали или обращали в рабство редких жителей, которых им удавалось захватить. Славянскую землю топтал жестокий, неумолимый и коварный враг.

Борьба с такой огромной армией могла казаться безнадежной, но Никлот не падал духом. У неприятеля отличное оружие, но низменные цели, а они не рождают героев. Никлот знал, в чем слабость крестоносцев. Их самонадеянности он противопоставит выдержку, авантюризму — расчет, воинственному бахвальству — воинскую сметливость, злодейскому вероломству — военную хитрость.

Крестоносное войско, двигаясь по лесным дорогам, все ближе подходило к Дубину. Однажды на исходе дня Никлот с крепостной башни увидел приближающееся войско. Немцы остановились неподалеку от крепости и стали разбивать лагерь. На следующее утро началась осада. Князь остался доволен своими воинами. Великое множество немцев, их сверкающие доспехи и внушительные осадные машины не испугали славян. Победа приходит не от блеска оружия, а от силы духа!

Стрелы и камни, выпускаемые из метательных орудий, осыпали Дубин. Таран с тяжелым грохотом бил в дубовые ворота. Немцы пытались подложить огонь, но не тут-то было. Никлот с дружиной предпринял смелую вылазку, отбил таран, отогнал немцев. Стычка была короткой и ожесточенной. Генрих Лев не успел ввести в бой основные силы, а у ворот уже лежали десятки убитых.

Герцог был озадачен. Осаду, выходит, придется вести по всем правилам. Он приказал заготовить необходимый лес, запастись фашинами[1].

Руяне почему-то задерживались. А Никлот так нуждался в их помощи! С дозорной вышки все время наблюдали за морем. Прошло несколько дней. И вот однажды в предрассветных сумерках на светлеющей линии горизонта появились силуэты кораблей. Руяне?

Когда поднялось солнце и флот вошел в залив, сомнения рассеялись. Красные паруса, резные драконы на носу кораблей, разноцветные щиты вдоль бортов. Датчане! Недобрые вести подтвердились: оба конунга, Свейн и Кнуд, явились за лаврами крестоносцев и своей долей добычи, забыв ради нее о недавней вражде.

Под Дубином создалось отчаянное положение. Флот руян все еще не приходил. На море господствовали датчане. На суше, обложив крепость с трех сторон, стояла огромная армия. Если в бли-

---

[1] *Фашины* — приспособления из связанных прутьев и жердей, которыми заваливали крепостной ров при осаде.

жайшие дни датчане и саксы сумеют договориться и начнут дружно штурмовать Дубин, то защитникам крепости долго не продержаться.

Умудренный опытом, Никлот не верил в единство, рожденное жаждой добычи. Тот, кто ищет в войне обогащения, не будет надежным союзником. Он тут же забудет о клятвах, коль скоро увидит выгоду в чем-либо другом. Поэтому надо всеми средствами оттягивать решающее сражение, разжигать несогласия в стане неприятеля, сеять рознь. Пусть-ка алчные вояки передерутся, деля шкуру еще не убитого медведя!

Датчане не успели разбить свой лагерь на суше, как Никлот послал к Генриху доверенных людей. У них, мол, с саксами давние споры, но они могут разрешить их к обоюдному согласию, лишь бы не вмешались датчане — эти заклятые враги ободритов. Если датские разбойники уберутся восвояси, то Никлот готов пойти саксам на большие уступки. Пусть герцог посоветуется со своими вассалами, но переговоры эти держит в тайне.

О случившемся неведомыми путями стало известно датчанам. Доброе начало для дружной осады — Генрих Лев за спиной у них ведет какие-то переговоры с послами Никлота вместо того, чтобы вздернуть их на первой попавшейся осине! Датчане затаили неприязнь.

В лагере Генриха Льва прибытие датского войска встретили без особого ликования. Немцы были уверены в своих силах и полагали, что сами справятся с ободритами. Датчане-то ведь теперь тоже станут притязать на долю добычи!

Вскоре, однако, стало ясно, что взять Дубин будет не очень легко. Самые тяжелые и неблагодарные задачи каждый из союзников хотел переложить на соседа. Начались споры. Взаимная подозрительность росла. Слухи, один тревожнее другого, передавались из палатки в палатку. Кто их распространяет? Какие-то сомнительные люди, торговцы, пришедшие вслед за войском, бродячие рыцари. Среди немцев они постоянно твердили: датчане, мол, нарочно не торопятся идти на приступ, берегут силы, а когда Генрих Лев одолеет Никлота, они тут же натянут саксам нос: быстренько сядут на свои корабли и захватят богатые прибрежные города славян. В датском лагере говорили о другом, ревниво следили за действиями немцев, сетовали на их коварство. Конечно, саксы неспроста щадят своих рыцарей, они (по всему видно!) хотят заставить других лезть на крепостные стены. Их главная сила на суше, и пока датчане будут возиться со своими кораблями у берегов, они займут все ободритские земли, и оба конунга останутся в дураках.

Нет, слава богу, и Кнуд и Свейн еще в состоянии постоять за свои интересы. Они объяснились с предводителями немцев. Прежде всего надо-де договориться о разделе славянских земель, а потом уже определять, кто какую военную задачу берет на себя.

Взаимные упреки были очень резкими. Каждый хотел поменьше рисковать, но побольше получить. Притязания датчан казались чрезмерными. О главном не договорились. Славянских земель, на которые зарились, так и не поделили — поделили только занятые войском подступы к Дубину. Было решено, что датчане будут осаждать крепость с запада, а немцы с востока. Спор чуть было не закончился ссорой.

А когда на следующее утро у западных ворот Дубина обычные стычки переросли в кровопролитное сражение, саксы не приняли в нем участия. Битва-то шла на датской стороне! Сначала немцы посмеивались над вялостью датчан. Храбры, мол, они только дома, на печи. Когда же увидели, что ободриты порубили датчан, отказавшихся сдаться, то не скрывали своего злорадства: датчане-де своими телами неплохо удобрят землю!

Свейн и Кнуд не остались в долгу. Вскоре случай для этого представился. Саксы, сосредоточив в одном месте осадные орудия, повредили часть стены. Опрокинуть лестницы, по которым взбирались крестоносцы, ободритам не удавалось. Они с трудом сдерживали натиск осаждающих. Вот бы ударить по Дубину с другой стороны! Но датчане и пальцем не пошевельнули. Штурм окончился неудачей.

Пролом следовало немедленно заделать. Чинить стену в непосредственной близости от неприятеля было опасно, и Никлот послал туда с надежной охраной группу пленников. Завидя это, саксы пришли в ярость, выхватив мечи, бросились к пролому, отбили пленных.

Когда их привели в лагерь, то выяснилось, что многие из них знают важные вещи. Священник-гользат, которого Никлот в ожидании выкупа использовал иногда в качестве толмача, рассказывал им о случайно подслушанном разговоре. Ободриты готовятся к большой вылазке. Их князь задумал отвлекающий маневр, первая вылазка будет произведена против датчан. А как только саксы поспешат им на помощь, распахнутся другие ворота и Никлот с основными силами ударит саксам в тыл.

Действительно, через несколько дней сведения о вылазке подтвердились. Утром, славяне, выскочив из западных ворот, устремились на датчан. Генрих Лев, ожидая главного удара с другой стороны, подтянул свои отряды к восточным воротам. Но они не открылись. Пока саксы ждали здесь вылазки, ободриты успели уложить немало датчан. Этот эпизод не имел бы большого военного значения, если бы не одно обстоятельство. Накануне рядом с датским часовым вонзилась в землю стрела, пущенная кем-то из-за стен Дубина. К стреле была прикреплена крохотная записка. Датчанин, давно томящийся в неволе, сообщал землякам, что Никлот подкупил саксов и те обещали не оказывать помощи ни Кнуду, ни Свейну. Известие это сочли ложным и не придали ему значения. А, оказывается, нет дыма без огня!

Датчане возненавидели саксов. Раз они не торопятся на помощь, когда ободриты совершают вылазку, то пусть и сами не рассчитывают на поддержку. Пусть рукав залива, разделяющий оба лагеря, станет рубежом и каждый ведет осаду Дубина только со своей стороны.

Никлот был доволен. Своего он добился. Часть задуманного им плана уже удалось осуществить. Теперь основное внимание надо было обратить на датчан. Хотя Кнуд и Свейн дрались бок о бок, доверия между ними не было, а это как нельзя лучше соответствовало замыслам Никлота.

В Дубине, несмотря на тяготы осады, праздник Сварожича отмечали с особым размахом, не поскупились на жертвоприношения, устроили пир, выкатили на площадь последние бочки с пивом. По случаю торжества князь велел без выкупа отпустить на волю большую партию захваченных в плен датчан. Но свободу даровали только людям Кнуда, ни одного из приверженцев Свейна среди освобожденных не было. Это заставляло насторожиться.

Однажды на лесной дороге, довольно далеко от Дубина, Прибыслав, сын Никлота, захватил обоз. Хозяин его, любекский купец, прослышав, что крестоносцы дают хорошую цену за продовольствие, решил рискнуть. И потерпел неудачу. Он приготовился было к смерти, когда Прибыслав вдруг предложил ему взять на себя опасное, но прибыльное поручение. Обоз ему возвратят, но он должен, добравшись до лагеря крестоносцев, незаметно вступить в сношения с датским конунгом Кнудом. Надо передать ему подарки и объяснить, что их прислали из Дании его приверженцы, которые ждут не дождутся его возвращения, дабы воспользоваться моментом и обеспечить ему единоличную власть над всем королевством. Если купец выполнит поручение, то на обратном пути получит большую награду, а коль пойдет на измену, то подосланные люди убьют его прямо в лагере.

Купец согласился. Ему удалось повидать Кнуда. Конунг недоумевал, но от дорогих подарков не отказался. Купец уже собирался в обратный путь, когда люди Свейна откуда-то узнали о его происках и силой затащили к себе. Под пытками он признался, что получил подарки для конунга не от датчан, а от ободритов.

Так вот почему Никлот освободил из плена только дружинников Кнуда! Он тайком сговаривается с Кнудом и одаривает его золотом, чтобы склонить к предательству! В датском лагере чуть было не вспыхнула междоусобица. Только вмешательство саксов охладило слишком горячие головы. Распря не вылилась в кровавое столкновение, но до крайности обострила подозрительность. Тщетно клялся Кнуд в своем полном неведении. Лживые оправдания! Станет ли князь ободритов ни за что ни про что присылать ему подарки столь великой ценности?

Защитники Дубина смогли, наконец, вздохнуть с облегчением — от руян прибыли первые лодки. Никлоту сообщили о при-

ближении флота и спрашивали, где и когда лучше нанести удар. Настало время как следует проучить ненавистных пришельцев. Само расположение датского флота подсказало Никлоту план нападения. Корабли Кнуда из Ютландии и Шлезвига[1] стояли у берега, а суда зеландцев и сконийцев, приверженцев Свейна, находились у выхода из залива. Командовать ими был оставлен Аскер, епископ Роскильдский. Руяне получили строгий приказ напасть только на корабли Свейна и ни в коем случае не трогать даже находящихся поблизости судов с припасами Кнуда.

Когда дружинники Никлота, совершив вылазку, начали у ворот жаркую битву с датчанами, внезапно из-за мыса появились быстроходные ладьи руян. Они налетели на корабли Свейна. Закипело морское сражение. Суда сталкивались бортами, в ход пошли мечи и секиры. Сконийцы, чтобы удержать трусливых от бегства, связали свои корабли канатами и бились с ожесточением. Руянам приходилось нелегко. Но странное дело, они отчаянно дрались со сконийцами, но даже не попытались захватить завидную добычу, которая так и просилась в руки — суда с припасами Кнуда!

На боевых кораблях, принадлежащих Кнуду, медлили. Может быть, конунг на самом деле тайно помирился со славянами и хочет их руками обессилить ненавистных ему сконийцев, чтобы потом, на родине, добиться решающего перевеса? Ютландцы остались у берега.

Флоту сконийцев был нанесен непоправимый ущерб. Они потеряли сотни убитых, многие корабли были захвачены руянами. Главный корабль Свейна был подожжен и уничтожен. Аскер не выдержал. Поддавшись панике, он постыдно бежал на какой-то лодочке, забился в трюм торгового судна, и его долго не могли найти.

Свейн, узнав о разгроме, бросился к морю, увидел тела своих воинов, остатки разбитого флота. А мощные боевые корабли ютландцев целым-целехоньки стояли у берега! Ютландцы хладнокровно смотрели, как избивали их соплеменников. Даже вспомогательных судов Кнуда не тронули руяне. Недаром, выходит, говорили о тайном сговоре Кнуда с Никлотом. Свейн жаждал мести. В Дании он сведет с ненавистником все счеты. Ему нечего здесь больше делать! Хотя битва у ворот Дубина была в самом разгаре, Свейн приказал своим отрядам немедленно уходить и грузиться на оставшиеся корабли.

Кнуду тут же донесли о гневных речах Свейна. Уж не хочет ли тот, спешно вернувшись на родину, воспользоваться его отсутствием, чтобы в борьбе за власть добиться решающих преимуществ? Не раздумывая, Кнуд тоже велел своим людям прекратить сражение, собирать лагерь и готовиться к отплытию.

---

[1] *Ютландия, Шлезвиг, Зеландия, Сконе* — части Датского королевства.

У Кнуда еще оставался сильный флот. Нападать па его тяжелые корабли руяне считали делом почти безнадежным, но хотели отбить у датчан охоту к новому морскому сражению. Они уплыли в открытое море, уводя за собой захваченные датские корабли. Людей у руян на все суда не хватало. Там, вдали от берега, из холста и досок они соорудили навесы, чтобы неприятель не мог разглядеть, сколько у них гребцов и воинов. Через некоторое время они вернулись к заливу, и казалось, что флот их увеличился вдвое.

Ночью часть руянских кораблей снялась с якоря и незаметно ушла в море. За высоким мысом, невидимые с берега, они ждали рассвета. А когда солнце поднялось и на пристани началось движение, эти корабли с шумом и воинственными кликами гребцов появились в заливе. С Руяны прибыли свежие подкрепления!

О битве Кнуд и не помышлял. Как только приготовления были закончены, он дал приказ отплывать. На значительном расстоянии от его кораблей впереди шли корабли Свейна. Датчане с необычайной поспешностью убирались восвояси, разъединенные враждой и взаимными подозрениями. Аскер, епископ Роскильдский, один из вдохновителей крестового похода, до смерти напуганный руянами, долго не решался вылезти из трюма.

В осажденном Дубине ободриты и руяне с ликованием праздновали победу.

Поспешный уход датчан произвел в лагере крестоносцев тягостное впечатление. Многие заколебались. Не последовать ли их примеру? Ждали-то ведь от похода легких побед и богатой добычи, а что получили? Чувство постоянной тревоги, жизнь впроголодь, тяготы и раны.

Вскоре вассалы одного убитого в сражении графа, сославшись на неотложные дела, решили возвращаться домой. Они ушли, а спустя несколько дней и другая группа рыцарей двинулась в обратный путь. Среди крестоносцев поползли слухи, что это лазутчики Никлота, не пожалевшие золота, уговорили их прекратить войну.

Осада затягивалась. Настала осень, зарядили дожди. Лагерь крестоносцев строился с расчетом на близкую победу. В легких палатках и сколоченных на скорую руку хижинах было сыро и холодно. Настроение осаждающих портилось с каждым днем. Мало кому улыбалось бежать под дождем с тяжелыми осадными лестницами на себе к крепости, когда ноги глубоко вязли в грязи, а со стен били меткие лучники Никлота.

Генрих Лев с нетерпением ждал хорошей погоды, чтобы еще раз попытаться взять Дубин приступом. В первый же погожий день он велел выступать. Схватка была жестокой и многим стоила жизни. Герцог решил на завтра возобновить сражение. Но тут вдруг от Никлота явились послы и предложили заключить на трое суток перемирие: христиане-де должны по всем правилам

предать земле своих убитых, да и им, славянам, тоже надо отдать последние почести погибшим соратникам. Генрих Лев стал было возражать, но священники поддержали послов, и ему, скрепя сердце, пришлось согласиться. А когда срок перемирия истек, опять, как на зло, захлестали дожди.

Никлот намеренно затягивал ход военных действий. Он знал, что у крестоносцев вдоволь оружия, но мало провианта и нет теплой одежды. Отправляясь в поход, они надеялись обосноваться в покоренных славянских городах до наступления холодов. Никлот всячески разрушал их планы. Накануне одного из церковных праздников он вновь прислал своих людей с предложением перемирия. Расчет его был безошибочен: в неприятельском лагере охотников воевать становилось все меньше.

Однажды толмачи Никлота объявили с крепостных стен, что иноземцам, которые хотят живыми возвратиться домой, князь обещает неприкосновенность и свободный проход по ободритской земле. Они должны только не таясь идти обратно на запад по лесным дорогам, предварительно в знак мира и раскаяния сорвав с одежды нашитые кресты. Остальным же, алчным и упрямым, князь не обещает ничего, кроме гибели или плена.

Призыв Никлота подействовал. Отряды крестоносцев стали таять. Под покровом ночи лагерь покидали и в одиночку, и группами.

В то время как Генрих Лев топтался под Дубином, второе крестоносное войско во главе с Альбрехтом Медведем пыталось добиться победы в земле лютичей. Выступив из Магдебурга, эта огромная армия сделала остановку в Гавельберге. Здесь вожди похода после долгих споров решили идти в страну язычников напрямик через дремучий лес. Целую неделю крестоносцы с трудом пробирались сквозь чащу. Только у озера Мюриц они наткнулись на первые славянские селения. Наконец-то им попались язычники! Возликовав, крестоносцы перебили жителей и спалили деревню. В мирный край пришла война.

Лютичи сами стали жечь свои избы, уничтожали оставшийся на полях хлеб, уходили в леса, угоняли скот. По ночам, неуловимые и стремительные, они нападали па крестоносцев.

Альбрехту Медведю сообщили, что основные силы лютичей сосредоточены у крепости Дымин, до нее еще далеко. Зато поблизости отсюда город Мальхов, где осталась лишь небольшая дружина. Там в почитаемом славянами храме Сварожича собраны великие сокровища.

Мальхов лежал на берегу озера. Перед воротами на холме возвышался посвященный Сварожичу храм. Он был построен почти целиком из дерева, только ярко-красную кровлю поддерживали какие-то огромные рога. Резьба покрывала стены. Фигуры были столь выразительны, что казались живыми. Крестоносцы в изумлении остановились. Дóма они ничего подобного не видели. Но

через мгновение алчность взяла верх над восхищением. Рыцари бросились выламывать двери. Ворвавшись в святилище, они сразили мечами жрецов, пытавшихся их остановить, опрокинули изображение Сварожича и начали расхватывать драгоценности. В свалке при разграблении сокровищницы несколько человек получили увечья.

Другой отряд бесчинствовал в Мальхове. Пылали дома. Жителей, искавших спасения в бегстве, убивали без всякой пощады. Когда войско крестоносцев ушло, на месте цветущего Мальхова тлели груды головешек. Тела убитых остались непогребенными. Над пепелищем воцарилась мертвая, зловещая тишина.

Продвигаясь вперед, крестоносцы достигли Дымина. Рассчитывая на легкий успех, вожди похода еще раньше послали часть войска в земли поморян. Они хотели во что бы то ни стало захватить Щецин, богатейший торговый город Балтики. Альбрехт Медведь и архиепископ Магдебургский нарочно скрыли от своих рыцарей, что поморяне давно исповедуют христианство и поэтому нет надобности огнем и мечом приобщать их к «истинной вере». Для Альбрехта не имело особого значения, какой религии держатся жители Щецина, — он должен стать хозяином этого города!

Дымин встретил врага крепкими стенами, тучей стрел. Первые приступы были отбиты с великим уроном для немцев. По ночам лютичи тревожили неприятеля внезапными нападениями. Днем защитники Дымина сбрасывали на головы осаждающих бревна, лили кипящую смолу. Лучники стреляли с поразительной меткостью: многих рыцарей не спасали даже доспехи. Воинственность крестоносцев заметно остыла. А тут еще к Альбрехту прискакали гонцы: поход в Поморье закончился полной неудачей! Когда крестоносцы подошли к Щецину, они увидели на видных местах кресты в знак того, что жители города исповедуют христианскую веру. На это можно было бы закрыть глаза — уж больно лакомым кусочком для крестоносцев был этот город! — но щецинцы, не полагаясь на благочестие пришельцев, поставили на крепостные стены целое войско, а на холм втянули метательные орудия внушительных размеров. Это произвело отрезвляющее действие. Вспыхнуло недовольство. Звали-то ведь их сражаться за веру, а, выходит, князья гонят их в бой только ради своей корысти!

Тщетно пытались вожди разжечь воинственный пыл посулами богатой добычи. Вид щецинской твердыни действовал сильнее, чем уговоры. А тем временем из города явилось посольство во главе с самим епископом Поморским. Он спросил крестоносцев, зачем они пришли сюда с мечами в руках. «Если, — сказал он не без иронии, — они пекутся об укреплении веры христианской, то должны прибегать не к оружию, а к проповеди!»

Вождям похода, особенно епископам, не оставалось ничего иного, как отказаться от осады и заключить мир с Ратибором, кня-

зем Поморья. Это было тем более своевременно, что в их войске все громче раздавались голоса недовольных. Крестоносцы из простого народа, поняв, что вожди их обманули, не захотели продолжать поход. Многие в беспорядке покинули лагерь.

Щецинцы в свою очередь настойчиво советовали оставшимся побыстрее отправляться назад. Они не могут ручаться, что лютичи не станут мстить за уничтожение Мальхова.

С позором повернули крестоносцы обратно. Настали дни расплаты. То и дело натыкались крестоносцы на засады, теряли много убитых, оставляли обозы, бросали награбленное. Лютичи и поморяне преследовали отходящую армию. Крестоносцы мечтали теперь лишь об одном — как бы побыстрее выбраться из леса и соединиться с войском Альбрехта Медведя.

Осада Дымина продолжала изматывать немцев. Альбрехт возлагал большие надежды на воинов, возвращающихся из Поморья. Но планы его рухнули: в лагерь вошли люди, напуганные вечными засадами, утратившие всякий вкус к ратным подвигам.

Прибывшее пополнение не усилило Альбрехта, а только увеличило беспорядок. Дыминцы удачно выбрали время для вылазки. С большим трудом и огромными потерями немцам удалось отбить нападение. Лютичи отрезали дорогу. Гонец от Генриха Льва лишь чудом смог доставить Альбрехту весть о морской победе руян и позорном бегстве датского войска.

Эта новость произвела ошеломляющее впечатление. Ведь вассалы Альбрехта были уверены, что Дубин давным-давно захвачен саксонским герцогом. Когда они узнали правду, то потребовали, чтобы маркграф немедля отдал приказ о выступлении в обратный путь. Они должны, пока не поздно, уходить из этих проклятых мест, если не хотят попасть в смертельную ловушку!

Выбора у Альбрехта не оставалось. Лютичи нападали все сильнее, потери росли. Маркграф велел свертывать лагерь. Войско крестоносцев двинулось в обратный путь по землям, ими же опустошенным. Пепелища и разоренные села пугали своим безлюдьем. Нигде не было ни зерна, ни скотины. Начался голод. Съели всех лошадей, побросали повозки. Отходили торопливо, боялись преследователей.

Долго пробирались через лес, отделяющий земли лютичей от гаволян. Вздохнули с облегчением лишь тогда, когда наконец увидели перед собой башни Гавельберга. В город вошла толпа оборванных и голодных людей — все, что осталось от грозной армии, которая, как уверяли три месяца назад, без особого труда подчинит полабских славян и либо обратит их в христианство, либо искоренит. Поход был закончен, но бесславие отныне покрыло его участников.

Крестоносцы, застрявшие под Дубином, тоже не могли похвалиться успехом. Настала зима. Лагерь крестоносцев сам оказался в осаде — невидимое кольцо таящихся в лесу маленьких и

подвижных отрядов окружало его со всех сторон. Никлот изнурял неприятеля мелкими стычками и ночными налетами. То славяне перебили людей, посланных за дровами, то сняли часовых, то вдруг в самом лагере среди ночи подожгли последние запасы сена, то как-то, несмотря на охрану, нашвыряли колесной мази в бочки с солониной.

Среди крестоносцев росло ощущение тревоги и неуверенности. Только в дни перемирия они чувствовали себя спокойно. Никлот же, казалось, угадывал их желания. Он согласился не воевать по церковным праздникам, будто был не язычник, а набожнейший христианин. Однажды он пошел еще дальше и предложил по воскресеньям вообще не вести военных действий. Генрих Лев взорвался. Каждый день промедления уменьшает шансы на успех; если он не захватит Дубин, то все его замыслы напрасны. Он носился по лагерю как одержимый, пытаясь воодушевить своих людей картинами близкой победы, но не находил поддержки. Рыцари не хотели штурмовать крепость, ссылались на усталость, на недостаток еды, на растущее ожесточение славян. Они рады были любому предлогу, лишь бы не идти на приступ. Генрих отклонил предложение Никлота вопреки их воле. Но популярности это ему не прибавило. В лагере начался ропот.

В субботу Никлот освободил из плена немецкого священника и направил его к крестоносцам. Тот во всеуслышание объявил о повторном предложении Никлота. Герцог пришел в ярость. Эта хитрая лиса, Никлот, знает, на чем играть, он рассчитывает на леность тех, кто предпочтет лишний день мирно посидеть у костра, чем подставлять грудь вражеским стрелам!

Священник осмелился возражать: они так никогда не обратят славян в христианство, князь-де уже склоняется к мысли, что проливать кровь по воскресеньям грех. Кругом загалдели. Раз Никлот согласен не браться по воскресеньям за оружие, то к лицу ли воинам, сражающимся под знаком креста, уступать язычникам в благочестии?

Герцогу пришлось смириться. Он знал, что многие уже помышляют о снятии осады и возвращении домой. Тщетно ломал он голову, как найти выход из положения. Холода пугали его, но вместе с тем пробуждали и последнюю надежду. Может быть, когда мороз скует землю, ему удастся пустить в ход все осадные машины и взять Дубин.

Никлот по-прежнему медлил, избегал крупных сражений, всякий раз строго соблюдал перемирие. Он был уверен, что каждый час передышки обойдется врагу дорого. Он снова прислал послов, спрашивал, на каких условиях согласны крестоносцы даровать ему мир. Послы вели себя без тени заносчивости, они производили впечатление людей, смертельно измученных осадой. Генрих и его вассалы возликовали. Наконец-то славяне дрогнули! Выходит прав был герцог, когда настаивал на продолжении осады. Никло-

ту велели передать, что столь желанный для него мир будет заключен, если он изъявит покорность, выплатит огромную дань, освободит пленников и со всем народом примет христианство. В заложники немцам он должен предоставить своих сыновей. Никлот выслушал послов и пообещал в ближайшее же время дать ответ.

Он тщательно выбирал день нападения. По всем приметам не сегодня-завтра ударят морозы. В ожидании, что вода покроется льдом, Генрих приказал подтащить осадные машины к самому краю опоясывающего Дубин рва.

Погода стояла отвратительная. Весь день шел дождь вперемешку со снегом. Уже начало смеркаться, когда Никлот предпринял внезапную вылазку. Отборная дружина бросилась к лагерю крестоносцев. Неподалеку от шатра саксонского герцога завязалась ожесточенная битва. А тем временем сотни воинов из ополчения с веревками и огромными рычагами бежали к осадным машинам. Повредить их или поджечь было не так-то просто, на это требовалось время. Приказ был иной: их следовало во что бы то ни стало столкнуть в ров.

Крестоносцы окружили дружинников Никлота, потом подоспели тяжеловооруженные рыцари, и мало кому из славян удалось прорвать их железное кольцо. Генрих Лев торжествовал победу. Его даже не очень встревожила весть, что все штурмовые лестницы славяне побросали в воду, а осадные машины спихнули вниз. Ров у берега был неглубок, вода доходила до пояса. Завтра, когда рассветет, он велит выловить лестницы и вытянуть на берег машины.

Ночью ударил мороз. Осадные машины и лестницы сковало льдом. Пусть-ка теперь немцы вырубят их изо льда топорами или секирами, когда со стен чуть ли не в упор будут разить лучники!

Генрих понял: рассчитывать не на что. Несколько дней он еще надеялся, что наступит оттепель. Но морозы крепчали. Декабрь обещал быть лютым. Никлот, как и говорил, прислал послов: принять условия крестоносцев он не может, но, со своей стороны, предлагает заключить перемирие до весны. Когда растает лед, немцы вытащат свои машины и, если будут в состоянии, то опять смогут брать Дубин штурмом!

Герцог неистовствовал. Советники пытались его охладить. Правда, он и сам, несмотря на молодость, понимал, что планы его окончательно провалились. Надо было завершить войну, пока не дошло до явного поражения. Натиск славян становился все упорнее. Воинственность крестоносцев испарилась. Зима не сулила им ничего хорошего.

Неудачу надо было прикрыть хотя бы видимостью частичного успеха. К Никлоту вновь отрядили послов. Они объявили, что герцог отказывается от прежнего требования дани, не требует княжеских сыновей в заложники и согласен заключить мир, если

Никлот пообещает принять христианство и отпустить пленных. На этот раз послы были очень покладисты и даже дали понять, что герцог заинтересован лишь в прекращении военных действий, а вовсе не в соблюдении отдельных статей договора.

Князь, посовещавшись с войском, ответил согласием. Послы герцога присягнули на Евангелии, а послы Никлота в знак клятвы отрезали по пряди волос и смешали их с сухой травой. Некоторые славяне, чтобы исполнить условия договора, притворно крестились, а затем тотчас же побежали в баню «смывать чужую веру» и принесли искупительные жертвы Сварожичу. Пленных же отпускали с большим разбором. Вернули крестоносцам только хворых и немощных, а остальных оставили у себя на положении рабов.

Генрих Лев уже не имел ни сил, ни охоты оспаривать действия ободритов. Его беспокоило другое. Как вернуться в свои владения хотя бы с меньшим позором, чем тот, который выпал на долю маркграфа Альбрехта? Не настаивая на твердом соблюдении договора, Генрих Лев повернул свое войско обратно и бесславно возвратился туда, откуда пришел. Даже летописец, близкий к саксонскому герцогу, вынужден был написать о походе 1147 года: «Так великий этот поход закончился малым успехом. Ведь тотчас же после него славяне укрепились в наихудшем: они и крещения не сохранили и от набегов на датчан не отказались».

Последние отряды крестоносцев убрались восвояси, на земле ободритов и лютичей воцарился мир. Князь Никлот отстроил разоренные села, восстановил пристани, разослал повсюду купцов. Снова на славянских берегах Балтики появились торговые люди из Швеции и Норвегии, из Англии, с Руси, а то даже из Византии и подвластных арабам стран.

В Аркону, стольный город острова Руяны, князь Никлот послал богатые дары и множество военных трофеев: отбитое у врага оружие, боевые знамена, рыцарские доспехи и шлемы. Отсылая подарки, князь велел передать руянам, чтобы они, глядя на эти трофеи в храме Святовита, помнили: дни славянской славы наступают тогда, когда, забыв мелкие распри, славяне собираются в единую дружину и плечом к плечу сообща отражают натиск иноземцев.

Великой бедой для всех балтийских и полабских славян было то, что они не следовали мудрому совету князя Никлота. Оберегая свою самостоятельность, славянские племенные союзы и отдельные племена противились объединению.

Коварные и хищные феодалы Германии воспользовались разобщенностью и раздорами славян. Завоевывая лежавшие к востоку от Лабы и Солявы славянские земли, они беспощадно истребляли и порабощали их коренное население.

КРЕСТОНОСЦЫ В ВИЗАНТИИ

Летом 1147 года к границам Византии подступали две большие армии. Впереди двигались немецкие рыцари во главе с императором Конрадом III. Вслед за ними шли французские рыцари со своим королем Людовиком VII.

Путь этих армий лежал на Восток. Отряды рыцарей спешили вступить в борьбу с сарацинами, отвоевать у них обратно княжество Эдесское, которое незадолго до того было отнято у крестоносцев.

Все ближе к границам Византии продвигались силы немецких и французских рыцарей-крестоносцев. Слух об их приближении встревожил все население Византии, вызвал всевозможные толки и споры. Лишь немногие беззаботно твердили, что опасаться нечего. Ведь рыцари Запада идут на Восток со святой целью. Они спешат сразиться с врагами христианства — мусульманами — и пройдут всю страну, никого не затронув. Чего же бояться мирному христианскому населению Византии?

Но большинство греков было иного мнения: «Ничего хорошего нельзя ждать от жадных и грубых рыцарей». Чем дальше, тем шире расползались по стране тревожные слухи о численности и мощи рыцарей. «Шли они в бесчисленном множестве, превосходя собой морской песок, так что и Ксеркс в древности, переплывая Геллеспонт, не мог гордиться столькими тысячами», — рассказывает византийский историк Иоанн Кинам.

При переправе через Дунай крестоносцев встретили чиновники византийского императора. Им было приказано вести счет всем, кто переправляется через Дунай. Чиновники будто бы насчитали 90 000 и сбились со счета. Император Византии Мануил полагал, что крестоносцы несут большую угрозу его стране. Благочестивые цели, которыми прикрывалось движение рыцарей, не рассеивали его опасений. По выражению византийского историка, «император боялся, что под овечьей шкурой идут волки, или, как говорится в греческой басне, под ослиною шкурою лев, а под львиною — лисица прикрылась».

Император созвал своих военачальников. Он призывает их быть наготове: в страну вторгается огромная армия. У неприятеля много конницы, тяжеловооруженных людей, облаченных в крепкие доспехи.

Тут же были отданы необходимые распоряжения. Часть византийских военных сил была оставлена для защиты Константинополя. Остальным войскам было приказано следовать на некотором расстоянии за армией крестоносцев и препятствовать тем, кто ради грабежа будет отделяться от походной колонны.

Военачальники поспешно удалились. Закипела лихорадочная работа. Строители восстанавливали городские башни, вереницы телег, груженных камнем, подъезжали к столице. Спешно чинили стены, заделывали проломы. Войскам выдавалось новое вооружение, старые, заржавевшие панцири заменялись новыми. Коннице были розданы длинные копья с железными наконечниками.

Воинов щедро наделяли деньгами из императорской казны. Полководцам было строго наказано не вступать в столкновения, не затрагивать рыцарей, но неотступно следить за ними и пускать оружие в ход лишь для защиты населения.

С какими намерениями идут крестоносцы? Мир или войну несут они грекам? Этот вопрос волновал всех.

Послы императора явились наконец к вождям крестоносцев и заявили им: «Начать без объявления войну с людьми, которые вам не причинили никакой обиды, — этого еще никто не считал делом святым и честным». Императорские послы требовали от крестоносцев, чтобы те, вступая на греческую землю, поклялись не чинить обид и оскорблений ни императору, ни населению страны. «Если вы не желаете дать этой клятвы, почему бы вам не объявить войны открыто?» — спрашивали греческие послы. Император Конрад успокоил их. Он высказал готовность дать требуемую клятву, так как его люди всецело охвачены стремлением поскорее попасть на Восток и начать войну с «неверными».

Послы вернулись в столицу. Армия немецких рыцарей прошла Дакию (нынешнюю Румынию) и начала продвигаться в глубь византийской территории. И сразу же возникли осложнения.

Крестоносцы вели себя необузданно и грубо. Они захватывали скот, запасы хлеба, продукты, ничего не желали покупать. С мечом в руках рыцари все отнимали силой. Тех, кто сопротивлялся, убивали без колебаний.

Тщетно пытались обиженные греческие крестьяне и землевладельцы жаловаться вождю крестоносцев — императору Конраду. Немецкий государь равнодушно пожимал плечами; ему досаждали эти жалобы, и он раздраженно отвечал, что его своевольных рыцарей немыслимо сдержать.

Конрад продолжал вести себя как завоеватель в покоренной стране. Он потребовал от византийского императора, чтобы тот встретил его на пути к столице. Не получив ответа, Конрад с частью своего войска подошел к стенам Константинополя и занял загородный дворец Филопатион.

Зная о негодовании, вызванном грабежами крестоносцев, Конрад пишет послание императору Мануилу: «Не обвиняй нас в тех

преступных действиях, которые недавно совершены в твоей земле толпами нашего войска, и не досадуй на это, потому что не мы сами были причиной того, — все это произведено безумной стремительностью толпы, своевольно покушавшейся на такие преступления... Ведь где блуждает и скитается иноземное и пришлое войско, — либо для обозрения страны, либо для добывания необходимых припасов, —там подобные преступления с обеих сторон, думаю, естественны».

Коварное и лицемерное послание немецкого государя вызвало справедливое негодование при византийском дворе. Император Мануил вложил в свой вежливый ответ самую ядовитую иронию: «И нашему величеству небезызвестно, что стремительность толпы — явление необузданное и труднопоправимое. Потому-то, конечно, мы озаботились, как бы не обидеть вас, как бы вам, людям иностранным и пришлым, пройти по нашей земле безвредно, так, чтобы мы не нарушили свой долг гостеприимства... Но коль скоро вы, как мудрецы, представляете порывы войска делом, не подлежащим обвинению, за то мы даже благодарим вас. Впредь мы уже не будем стараться удерживать народного порыва и свалим все на безумие толпы, чему вы нас научили своим примером».

Между тем византийские полководцы не теряли времени даром. Два лучших, испытанных военачальника — Василий Чикандил и Просух — сообщили императору свое мнение о немецком войске. По их отзыву, немецкие рыцари закованы в хорошие латы, но конница их на бегу нелегка, идут они беспорядочной массой, и дисциплинированное войско в столкновении с немецкими рыцарями может рассчитывать на победу.

Чикандилу и Просуху было приказано вступить в бой с главными силами немецких крестоносцев. Пока Конрад, ничего не подозревая, жил в загородном дворце около столицы Византии, вдалеке от своего войска, его главные силы подверглись нападению.

Византийская армия была умело построена против неприятеля. Сзади располагались нестроевые части, а перед ними непроницаемой стеной разместились тяжеловооруженные латники. Еще ближе к неприятелю стояла легкая конница и, наконец, впереди, лицом к противнику, наемные отряды скифов вперемежку с византийской пехотой.

Стремительный натиск немецких рыцарей разбился о твердо стоявшую на своих позициях византийскую армию. Рыцари, встретив стойкое сопротивление, дрогнули и стали отступать в таком же беспорядке, в каком и наступали, видимо, намереваясь повторить свой натиск еще раз. Но тут их расчеты спутала легкая скифская конница. Она била их, опережая и настигая отдельные группы медленно скакавших вспять неповоротливых рыцарей.

Известие об исходе сражения было получено византийским императором в тот момент, когда Конрад еще оставался в полном неведении о неудачном сражении его армии.

Император Мануил не упустил случая посрамить Конрада. Скрыв злую насмешку под маской вежливости, он писал ему: «Каждому из нас должно быть хорошо известно, что войско, если оно не повинуется военачальникам, большей частью подвергает опасностям правителей. Поэтому нам — тому и другому — не следовало бы позволять своим войскам увлекаться собственными порывами.

Теперь сообрази, к чему приводит нас своеволие толпы. Мне доносят, что и небольшое римское войско, схватившись с немалочисленным войском германским, привело его в весьма худое состояние, потому что туземец у себя дома большей частью одолевает пришельца и иностранца. А между тем за такое буйство нам даже нельзя и наказать свою толпу. Да и как это можно, раз мы однажды позволили им следовать собственной воле?»

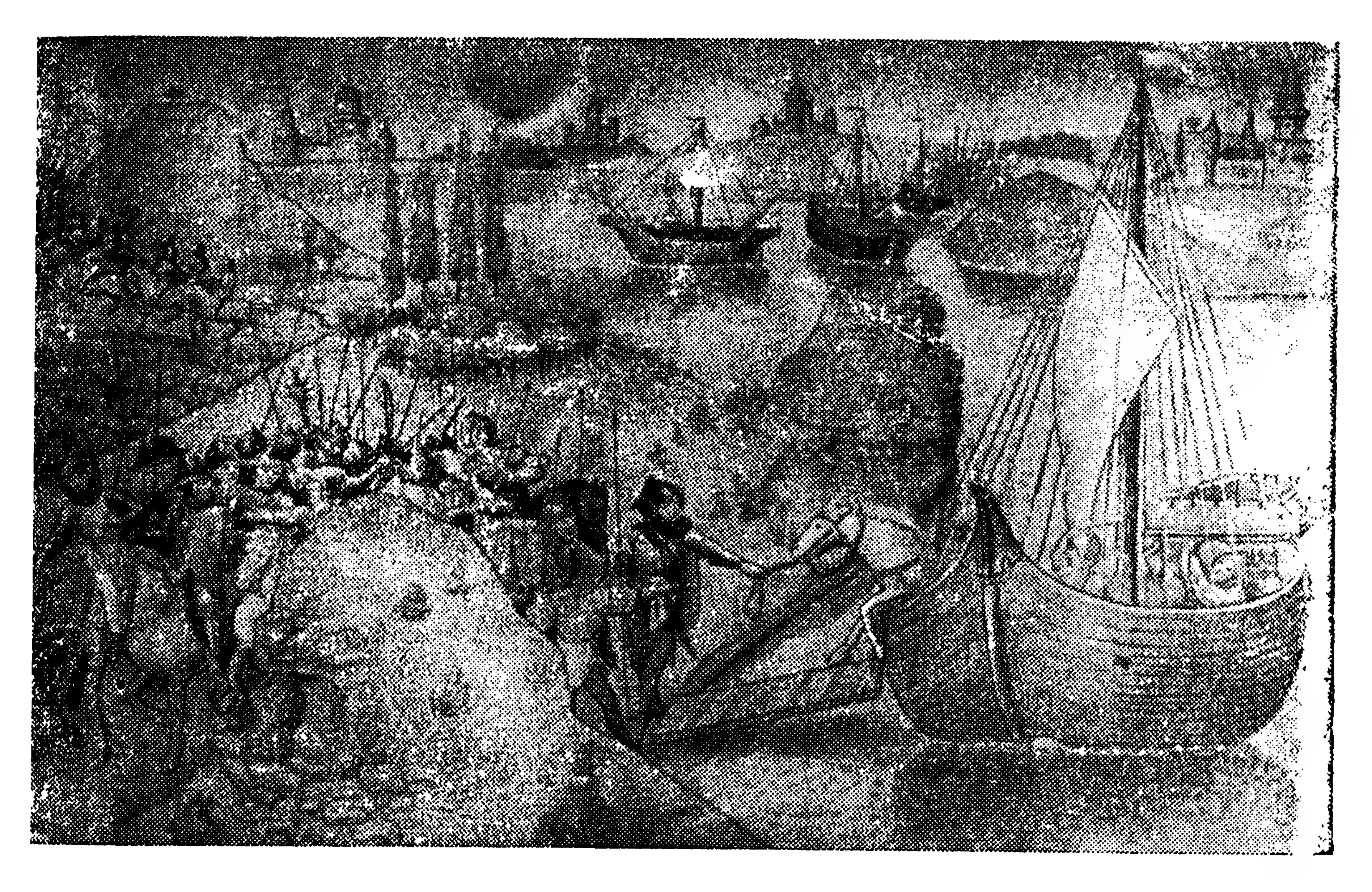
Не подозревая о понесенном поражении и не веря императору, Конрад высокомерно потребовал подарков и трирем (больших судов с тремя рядами весел) для переправы в Малую Азию, грозя осадить Константинополь. Но вскоре весть о проигранной битве заставила немецкого государя принять те средства переправы, которые ему предоставлял император.

Когда непрошенные гости покидали на судах византийскую землю, толпы людей собрались в гавани Золотого Рога. Тысячи глаз насмешливо и враждебно следили за теми, кто пытался разгромить Византию и понес бесславное поражение. То был счастливый день для всего населения Константинополя. Колкие насмешки, слова жгучего презрения и гнева раздавались там и здесь. Но вот подняты якоря, заскрипели весла на галерах... Ветер вздул паруса кораблей и понес крестоносцев вдаль, навстречу новым неудачам и поражениям.

Не успели смолкнуть разговоры о недавних стычках с немецкими рыцарями, как разнеслась весть о приближении французских крестоносцев.

Молодой король Людовик VII со своими приближенными и рыцарским воинством шел по старой дороге крестовых походов. Путь королевского войска пролегал вдоль великих водных лент — Рейна и Дуная.

У самых вод Дуная в зеленой долине расположился французский лагерь. В середине, на возвышенном месте был раскинут шатер короля, окруженный шатрами его приближенных. Слева от королевского шатра, в небольшой палатке помещался королевский капеллан Одон Диогильский — трудолюбивый монах, заносивший в свою хронику все события похода и оставивший о нем потомству подробный рассказ. Справа, в большом просторном шатре, поместился Годфруа, епископ Лангрский, суровый и честолюбивый че-



Флот крестоносцев в Босфоре.

ловек, слывший среди крестоносцев мудрым и дальновидным. Далее стояли шатры епископа Аррасского Альвиза, епископа Лизье Арнульфа, шатры баронов и рыцарей. Сюда в лагерь были приведены послы византийского императора Мануила.

Людовик VII приготовился к приему послов. Он ожидал их, окруженный приближенными и рыцарской свитой, сидя подле своего шатра.

Греческие послы приблизились к королю и почтительно склонились перед ним до самой земли. После приветствий послы вручили королю свои грамоты и молчаливо застыли на месте. Шепот изумления пробежал по рядам французских рыцарей. Их поражала диковинная наружность византийцев, их странное, невиданное поведение. Одежда послов была великолепной и яркой, держали они себя необычным образом. Французские рыцари в то время еще не знали придворных церемоний, они привыкли разговаривать с королем запросто, в простых словах излагать свои мысли.

Византийские послы разговаривали с королем стоя, отвешивая поклоны при каждом обращении к королю, но всего более удивляла их речь. То, что французский рыцарь изложил бы в нескольких словах, византийский царедворец изъяснял долго, витиевато, уснащая свою речь неумеренными льстивыми, лицемерно преувеличенными похвалами по адресу короля. Да и грамота императора Мануила состояла из таких же выражений преувеличенного восхищения королем Людовиком.

Уже полчаса длилось чтение императорской грамоты, а послы все еще не добрались до сути дела. Двадцатипятилетний король сначала терпеливо воспринимал весь этот поток изысканных похвал, но постепенно густая краска стала заливать его щеки. А между тем каждые пять минут оратора-грека сменял переводчик, и казалось, конца не будет утомительному хвалебному красноречию. Тогда тяжеловесной походкой вышел вперед Годфруа — епископ Лангрский, жестом остановил оратора и сказал: «Братья мои, не говорите так часто о славе, величии, мудрости и благочестии нашего короля; он знает себя, и мы его знаем; скажите скорее и без всяких отступлений, чего вы желаете».

Смущенные послы были вынуждены перейти к деловому содержанию грамоты. Два требования выдвигал император Византии: 1) король и его люди не должны отнимать у императора Мануила ни одного города, ни одного замка; 2) все земли, откуда французы изгонят турок, должны быть возвращены Византии.

Если первое требование казалось разумным и законным, то против второго резко восстали бароны и рыцари. Один из баронов запальчиво возразил послам: «Ведь ваш император может приобретать у турок то, что он считает своим; он это может делать с помощью договоров, денег, наконец, силой; но почему же мы не можем делать того же самого, если нам случится овладеть чем-нибудь?»

Долго в тот день шли споры. Они возобновились и на следующий день. Но король Людовик медлил с окончательным ответом.

Наконец послы стали торопить короля с ответом, предупреждая, что дальнейшее промедление побудит императора принять свои меры. «Так как император подозревает вас в неприязненных намерениях,— заявили послы,— он в случае дальнейших проволочек прикажет сжечь все посевы на вашем пути и разрушить все укрепления, а если он исполнит это, то вы не найдете в дороге того, что вам необходимо».

Перед этим доводом склонилось большинство баронов. От имени короля бароны и рыцари дали торжественную клятву сохранить владения императора неприкосновенными. Со своей стороны послы клялись обеспечить крестоносцам дешевые продукты, доставку всего необходимого. Один из греческих послов, Димитрий, отправился в Константинополь с донесением. Вместе с ним поехали в византийскую столицу епископ Аррасский Альвиз, канцлер Бартоломей, Аркамбод де Бурбон и еще несколько баронов.

Вслед за посланцами, медленно двигалось вперед крестоносное войско. Оно прошло равнины Венгрии, пересекло Болгарию и, дойдя до Адрианополя, остановилось и разбило лагерь.

В памяти жителей Византии были еще свежи грабежи и жестокости немецких рыцарей. При вести о приближении французских крестоносцев многие предпочитали укрывать в лесах и тайных

убежищах свои запасы, не осмеливаясь ни обнаруживать их, ни продавать.

Вежливые речи послов и византийских чиновников плохо сочетались с тем настороженным и недоверчиво-враждебным настроением, которое проявляло население страны—и горожане и деревенские жители. Рыцари роптали; нередко кто-нибудь из них, сурово сдвинув брови, жаловался на вероломство греков: «Вот каковы эти хитрые обманщики-греки: так много наобещали и так плохо оправдывают свои обещания: не хватает продовольствия, нет подвоза припасов».

Большинство рыцарей винило во всем греков, осыпало их проклятиями и угрозами. Учащались случаи насилия. Вооруженной рукой французские рыцари добывали себе все необходимое. В испуге разбегались крестьяне, заслышав о близости французских войск, увозили подальше свое добро купцы. Проницательный автор хроники, капеллан Одон Диогильский писал: «Все это можно было бы перенести, и даже следует сознаться, что мы сами заслужили испытанные нами бедствия в наказание за то зло, которое мы причиняли со своей стороны грекам, если бы греки ко всему тому не присоединяли богохульства».

В чем же состояло «богохульство» греков? Из рассказа Одона Диогильского мы узнаем, что греки относились к крестоносцам с презрением и даже склонны были не считать их христианами (греки были православными, французы — католиками). Если французские священники служили обедню в греческих церквах, греки считали эти церкви оскверненными. Они предпринимали тщательное омовение алтарей, совершали очистительные церемонии и лишь после этого начинали свое богослужение.

Если рыцарь-француз выражал желание жениться на гречанке, ему предлагали креститься по православному обряду, считая его нехристем. «Греки внушали нашим ненависть к себе, — рассказывает Одон Диогильский, — и наши не считали греков христианами; убить грека было нипочем; по той же причине было трудно удержать наших от грабежа и хищничества».

Конечно, не различие вероисповеданий было причиной начавшихся грабежей. Религиозные разногласия были только внешним выражением погромного разгула и взаимного ожесточения.

И тот, кто грабил, и тот, кто противился грабителям, в одинаковой мере считали, что им, как добрым христианам, покровительствует бог.

Все усилия греческих послов сводились к тому, чтобы побудить короля Людовика VII отправиться прямо из Адрианополя, минуя столицу Византии, к морю. Греки хотели скорейшей переправы французов в Малую Азию. Только тогда они смогли бы вздохнуть свободно.

Но король не поддавался увещаниям и держал свой путь на Константинополь. У самой столицы Людовик был встречен теми

баронами, которых он выслал вперед. Они рассказали ему о том, что видели при императорском дворе. Среди королевских советников оказались люди, которые тогда же предлагали Людовику силой захватить византийские крепости, города и замки, договориться с сицилийским королем о совместных действиях против императора, а потом уже подступить к стенам столицы. Но король отклонил эти планы. Его удерживал недавний пример немецких рыцарей.

Короля ожидала торжественная встреча... Открылись массивные ворота Константинополя. Духовенство столицы, знать, а за ними народ вышли навстречу королю и передали ему просьбу императора посетить его.

В сопровождении небольшой свиты Людовик VII вошел в город. Под портиком дворца он был встречен императором, который любезно приветствовал своего гостя, обнял его, расцеловал...

Оба государя вошли во дворец и воссели рядом на специально приготовленном месте. Через переводчика император осыпал короля дружескими излияниями. Тем, кто наблюдал это свидание, могло бы показаться, что во дворце происходит беседа двух сердечных друзей. Но в действительности оба собеседника старались выведать намерения и планы друг друга.

День, когда французские рыцари очутились в стенах византийской столицы, был для них днем радости и торжества. Лучшие здания и пригородные дворцы были отведены надменным крестоносцам.

Утром следующего дня толпы рыцарей заполнили площади и улицы столицы. Многие слышали о Константинополе, но то, что им пришлось увидеть, превзошло их ожидания.

Великая столица Восточной империи раскинулась наподобие гигантского треугольника, острый конец которого выдавался вперед, омываемый морем. В переднем углу треугольника высился древний дворец Константина и широкий купол храма св. Софии. На низменном месте, у пролива св. Георгия, взорам крестоносцев представился Влахернский дворец. С изумлением вступили французские рыцари в просторный двор, выстланный мраморными плитами. Разнообразие красок и тонов ошеломило зрителей. Их очам предстали зеленые малахитовые колонны, стены светлого мрамора, яркая мозаика прихотливого рисунка, статуи из мрамора и бронзы, застывшие в глубоких нишах из оникса и порфира [1].

Рыцарей изумляло все: и драгоценные материалы и искусство зодчих.

Но вот группа рыцарей поднимается по отлогим ступеням дворцовой лестницы, и их взорам открывается панорама города, моря и далеких полей, чуть подернутых туманной дымкой.

---

[1] Ценные минералы, применяемые для отделки дворцовых помещений.



Вступление Людовика VII в Константинополь.

Впрочем, недолго задерживаются здесь рыцари. Нетерпеливое любопытство толкает их дальше. Французов поражает водопровод. Подобного сооружения им не приходилось видеть на родине. В каменном ложе подземных каналов струилась студеная прозрачная влага, и таким образом огромный город извне снабжался пресной водой. Долго стоял на одном месте Годфруа, епископ Лангрский, сосредоточенно, задумчиво. Затем кивнул головой, как бы отвечая на собственные мысли, и двинулся дальше.

«С двух сторон город защищен морем... Какова же защита города с третьей стороны?»—такой вопрос задал себе один из баронов. И с группой других рыцарей он отправляется на разведку. Оказывается, третья сторона Константинополя примыкает к полям; она защищена двойной цепью стен, которые тянутся от Влахернского дворца до моря на протяжении двух миль.

От зоркого взгляда опытных воинов не укрылось и то, что башни и укрепления невысоки, стены местами в трещинах и обветшали от времени. Кое-где видны следы недавних трудов—наспех заделанные проломы. Разрушительная работа времени и беспеч-

ность правителей сделали свое дело. Молча переглядываются бароны; без слов понимая друг друга, они идут дальше.

Вот уже позади остался богатый квартал с его площадями, пышными жилищами и храмами. Улицы суживаются, становятся теснее и теснее. Нога скользит в непросыхающей грязи, с каждым шагом все труднее идти. Рыцари бредут по извилистым, путаным уличкам. Здесь ютится беднота столицы: разносчики, матросы, грузчики, полуголодные ремесленники, прачки... Дома, изъеденные временем, кособокие, лепятся друг к другу; почти сходятся крыши противоположных строений. В узком промежутке улочек мало света; вокруг сумрак и сырость. От дома к дому протянуты веревки, ветер треплет развешанные для просушки платья-лохмотья. Нечистоты и помои под каждым окном. Зловоние, нестерпимый смрад поднимается от непросыхающих луж. В этих лужах копошатся покрытые грязью и коростой ребятишки...

Рыцари поворачивают назад: им нечего делать в этом царстве грязи и нищеты. Их привлекает рынок, знаменитый рынок Константинополя, о котором они слышали столько рассказов.

Да, здесь есть на что посмотреть! На широком пространстве столичного рынка царят сутолока и несмолкаемый шум. Кажется, будто какой-то смерч завертел, закружил, смешал в беспорядочную кучу тысячи людей, десятки палаток и шатров. Пестрят одежды, шелковые камзолы, полосатые халаты, войлочные шляпы, фески. Разноголосый говор, в котором слышатся греческие, славянские, еврейские слова, отчаянные выкрики рыночных торговцев, протяжный и резкий рев мулов заглушают слова рыцарей.

Понемногу глаз осваивается, ухо привыкает. Вон там мерной походкой, покачиваясь, прошел верблюд, еще никогда не виданный рыцарями. Там, дальше виднеется красный купол рыночного балагана; подле него маленький негритенок неистово колотит в огромный барабан, зазывая зрителей. Там и здесь в толпе снуют бродячие музыканты, танцовщицы, фокусники; они хватают прохожего за рукав, предлагают показать свое искусство.

Ближе к лавкам теснятся нищие, калеки, слепцы, безногие, безрукие; их много, они тянут надорванными голосами заунывную песню, просят подаяния именем Христа и богородицы. Огромный монах прокладывает себе дорогу в толпе. Медленно и важно идет усатый полицейский, расталкивая народ длинным жезлом.

Рыцари проходят мимо столов, заваленных пряностями. Чего только здесь нет: мускатный орех, ящики с корицей, тюки драгоценного восточного перца, остро пахнущий имбирь. Дальше идут плоды: горы яблок и слив, румяные душистые персики, целые россыпи винограда, прозрачного, как слеза... А вот и иконописный ряд. Здесь можно купить изображение любого святого, любых размеров, за любую цену... Но рыцари не интересуются святыми. Их привлекают лавки. Теплой ароматной струей повеяло справа. Это лавка продавца аравийских благовоний. Чернобородый купец,

прижав руку к сердцу, вкрадчиво убеждает покупательницу: «Это баночка—единственная во всем Константинополе... Втирайте, госпожа, мою мазь после вечерней зари, и ваша кожа станет белой, как шея лебедя, и упругою, как тетива лука». ...Вот лавка шерстяных тканей. Тонкие брабантские сукна и легкие кашемировые материи скользят в проворных, ловких руках купца. Далее яркими цветами выделяются шелка: полупрозрачные одноцветные полотнища легчайшего шелка и тяжелые тисненые китайские ткани. Купец, подняв тяжелую узорчатую материю левой рукой, правой любовно ее поглаживает. На синем поле—изображение золотых драконов. Купец вздыхает, он дает понять, как трудно расстаться с такой замечательной китайской тканью.

Рыцари проходят мимо лавки изделий из слоновой кости; здесь выставлены массивные молочно-белые запястья и подобные кружеву браслеты затейливой узорчатой вязи.

В изумлении останавливаются рыцари перед лавкой перса, продающего ковры. Над коврами склонился дородный купец с пурпурно-красной бородой. Антуан де Брие, юный паж королевы, рванулся вперед, желая во что бы то ни стало потрогать руками необыкновенную бороду. Осторожный переводчик мягко, но настойчиво потянул его назад и пояснил рыцарям: «Борода перса окрашена киноварью!».

Рыцари идут дальше. Вот, наконец, и долгожданная лавка ювелира. На подушке черного бархата белеют две жемчужные нити. Рядом с ними серьги, бирюзовые застежки для плащей, а посреди прилавка, в ларце, обтянутом кожей кобры,—чудесное ожерелье. Вспыхивая искрами, мерцают дымчатые топазы, зеленые изумруды, кроваво-красные рубины. Но что это? Ювелир заметил приближение рыцарей; он сдвинул брови, и мгновенно исчез куда-то чудесный ларец с ожерельем, а рядом с ювелиром выросли два атлетически сложенных черных телохранителя. Они застыли неподвижно, как изваяния; только под шелковистой кожей обнаженных до пояса тел чуть заметна игра могучих мускулов, да движение огромных белков выдает пристальный взгляд, следящий за рыцарями.

За лавкой ювелира рыцарей внезапно остановил громкий оклик на родном языке. Ба, да это молодой граф де Блуа, весельчак и любимец короля. В чем дело?

Король велел всем рыцарям, вступившим в город, собраться в католической церкви, а к ней надо идти по улице Башмачников, все прямо до итальянского квартала. «Разве вы позабыли, что завтра день святого Дениса—заступника и покровителя нашего королевства?»

День святого Дениса, патрона Французского королевства, — праздник для двора и рыцарства. Католическая церковь итальянского квартала была переполнена. Король, епископы, бароны, рыцари—все, кто вместе с королем вступил в Константинополь, —

собрались под сводами церкви. Служба в этот раз обещала быть особенно торжественной.

Там и здесь толпились рыцари. Под наплывом новых впечатлений они почти не понижали голосов, забыв о том, что находятся в храме. У статуи богоматери о чем-то спорили неугомонные гасконцы, слышались отрывистые звуки их быстрой, гортанной речи. К ним подошел высокий горбоносый рыцарь. Это Аркамбод де Бурбон, один из самых надменных сеньоров. «Слышали ли вы,— спросил он,—что позволяют себе эти вероломные, гнусные греки? Они заперли все городские ворота и не впускают больше в город наших рыцарей, часть которых осталась там, за стенами Константинополя!» Возгласы возмущения были ответом на эту речь. Гасконцы подняли такой шум, что королевский капеллан бросился их унимать, напоминая о должном уважении к святому месту.

В это время у портала церкви появились греческие священники. Эти избранные представители константинопольского духовенства по поручению императора пришли поздравить короля и его свиту с праздником. Священники шли вереницей—за парой пара. Поверх длинных ряс—пурпурных, оранжевых, лиловых—были надеты золоченые парчовые ризы. Каждый священник держал в руках по огромной свече, украшенной золотом и разрисованной цветами. «Просто поразительна эта угодливость византийцев,— сказал шепотом капеллан Одон, нагнувшись к уху канцлера Бартоломея.—Я думаю, что если бы у греков были на уме хорошие мысли, они не были бы в такой степени услужливы. От них всякий час надо ждать предательства».

Между тем началось богослужение. Раздались стройные звуки хора. Незадолго до полуночи, служба закончилась. Король предложил рыцарям задержаться. Канцлер Бартоломей обошел церковь и, убедившись, что в ней нет посторонних, что-то шепнул королю. Затем, водворив молчание, канцлер начал свою речь. Это был сухонький старичок; нервным движением он теребил свою жиденькую бородку и скрипучим голосом, растягивая слова, заговорил:

— Светлейший король, высокородные бароны и доблестные рыцари! Вы, верно, знаете, что городские ворота заперты и греки не желают впускать наших друзей в столицу. Нашлись между нами безумцы, которые сожгли много домов и оливковых рощ—то ли по недостатку дров, то ли по дерзости или в пьяном виде. Король приказал отрезать этим безумцам уши, руки и ноги. Но и этих мер недостаточно, чтобы укротить их неистовства. Надобно одно из двух: или погубить несколько тысяч человек, или терпеть их злодеяния. Ведь мы не можем теперь даже упрекать греков за то, что заперты городские ворота!

Рев негодования прервал эту речь. Гневно поднялись руки: «Как смеет канцлер оправдывать проклятых греков—коварных

нехристей!» Рыцари кричали до хрипоты... Еще немного, и злополучного канцлера стащили бы с кафедры.

Тогда среди всеобщего шума на кафедру поднялся епископ Годфруа. Руками атлета он уперся в кафедру, слегка накренившись вперед. Коричневая шерстяная ряса, перехваченная кожаным поясом, плотно облегала его большое, крепкое тело. Над широкими плечами склонилась седеющая голова. Епископ устремил на собравшихся свой пронизывающий, острый взгляд. Он явно взволнован: это выдавала краска, залившая его лицо, и огромный разом потемневший шрам — след рыцарских забав молодости.

Епископ откашливается. Во внезапно наступившей тишине раздаются звуки его уверенного, мягкого баса. «Благочестивый король и благородные сеньоры!» — начинает епископ и далее говорит о греках, бичует их вероломство, угодливость, низкопоклонство византийских царедворцев. Епископ Годфруа предсказывает французским рыцарям неминуемые бедствия, если они доверятся грекам, и, наконец, повысив голос, советует немедленно овладеть городом.

—Вы сами видели городские стены,—говорит епископ,—они ветхи, передняя их часть разваливается на наших глазах, народ презрен и бессилен... Знаете ли вы, что без особого труда можно отвести воду каналов и лишить жителей осажденного Константинополя пресной воды?

В этом месте епископской речи сидящий в переднем ряду граф де Блуа не выдерживает; он порывисто хватает за плечо сидящего рядом с ним аббата:

—Ах, отец аббат, этот епископ—изумительный человек... Я видел сам, как он пристально разглядывал устройство канала. Клянусь святым духом, я тогда же догадался, что он замышляет какой-то интересный план.

—Да,—отвечал аббат шепотом,—епископ Лангрский, человек мудрый, святых нравов.—Вы сами убедились, что он постоянно занят благочестивыми размышлениями...

Графу де Блуа на миг показалось, что тучное тело аббата всколыхнулось при этих словах от сдержанного смеха. Он внимательно взглянул на него. По румяному, благодушному лицу толстяка аббата решительно нельзя было разобрать, говорит ли он серьезно или шутит.

Тем временем речь епископа продолжалась. Он уверял, что с захватом столицы все остальные города Византии без сопротивления подчинятся крестоносцам.

Наконец, епископ приостановился... После долгой паузы он вкрадчивым, тихим голосом заговорил о том, что захват Константинополя вовсе не противоречит христианству и святым целям крестоносцев. По сути дела христианское воинство вправе покарать безбожных, вероломных греков. Разве греки не заслужили

подобной участи? Разве они не запятнали себя тем, что постоянно пренебрегали святой и истинной католической верой?

Начав тихим, размеренным голосом, епископ постепенно менял тон, и последние его слова были произнесены громко, повелительно и разнеслись под сводами церкви как призывный клич. Подняв над кафедрой властно вытянутую руку, епископ Годфруа громовым голосом объявил, что каждый христианин должен бестрепетной рукою разить нехристей-греков.

Молчание длилось еще несколько мгновений. Казалось, свинцовая тишина сковала всех присутствующих. Слышалось только потрескивание восковых свечей, мерцавших в массивных золоченых подсвечниках. Этот звук почему-то еще более подчеркивал напряженную, гнетущую тишину.

Но вот сразу тишина взорвалась сотней голосов и звуков: множество рук, вскинутых вверх, опрокинутые скамьи, десятки людей, стремящихся заглушить друг друга, бессвязные слова гнева, радости, воодушевления, вспыхнувшего при мысли о возможной расправе с греками...

Вот один из беснующихся рыцарей. Сегодня утром он слонялся по площадям Константинополя, часами бродил по рынку, любуясь его чудесами. Этот рынок живет в его памяти со своими драгоценностями, коврами и тканями, словно незабываемый сказочный сон. И вдруг—все это будет принадлежать рыцарям, можно будет отнять сокровища у вероломных, жадных, скупых греков.

С быстротой молнии проносятся мысли в голове грабителя. Не помня себя, он вскакивает на дубовую скамью, пытаясь стать еще выше, очутиться над головами окружающих. Стремясь перекричать всех, побагровев от натуги, он вопит: «Епископ Годфруа — святой человек! Смерть нехристям-грекам!» Впрочем, этих слов никто не расслышал, все голоса и звуки смешались в один сплошной, неистовый рев и грохот. Немедленный разгром Константинополя—этого хотели все.

Тщетно пытался канцлер Бартоломей унять беснующихся рыцарей, ему никто не отвечал, никто не желал его слушать. Растерянный король не знал, на что решиться. Наконец, с помощью епископа Годфруа, удалось кое-как водворить тишину. Наиболее опытные советовали, не начиная дела наобум, тщательно подготовить удар и затем нанести его грекам внезапно и решительно. Лишь меньшинство колебалось, все-таки предпочитая грабежу Константинополя продолжение похода на Восток.

Спор все еще длился, когда одна за другой стали гаснуть свечи и серый сумрак рассвета заглянул в церковь сквозь узкие стрельчатые окна. Король Людовик призвал собравшихся разойтись и ничем не выдавать грекам тех замыслов, которые зародились у крестоносцев.

Однако никакие уловки не смогли скрыть затаенных намерений. К услугам византийского императора было множество тай-

ных доносчиков. Да и необузданность этих грубых варваров, их поведение, угрозы, многозначительные взгляды и неосторожные слова подтверждали полученные донесения.

Долго шептался император Мануил в тишине своей опочивальни с опытными, искушенными царедворцами. Задача была не из легких. Напасть самим на крестоносцев, не дожидаясь их выступления? Нет, это был бы опрометчивый и пагубный шаг. Даже в случае удачи он мог бы навлечь на Византию тяжелые бедствия. По Европе разнеслась бы весть о том, что император Византии предательски напал на своих гостей-крестоносцев и учинил резню над теми, кто шел на Восток со святой целью. И тогда Европа двинула бы на Византию новую огромную рать с целью мщения и расправы.

Что же делать? Ожидать нападения крестоносцев? Но это невозможно! Часами ломали себе голову император и его советники над этой неразрешимой задачей. Наконец, один из них — старый, хитрый, как лиса, царедворец подал нужный совет: надо распустить слух, будто ушедшая вперед немецкая армия без особых трудов добилась блестящих побед, будто турки в панике бегут, оставляя в руках немецких рыцарей военные трофеи, города и рынки Востока со всеми своими богатствами.

Словно внезапный луч прорезал темноту. Император пришел в восторг от этого простого плана.

Десятки людей на рынке, на улицах и площадях вдруг заговорили о чудесных победах Конрада III. Они на все лады восхищались доблестью немецких рыцарей, подробно рассказывали о неисчислимых сокровищах, доставшихся победителям.

Вовремя пущенные слухи оказали свое воздействие на крестоносцев. Мысль о богатой добыче, которую немецкие рыцари захватили без особых усилий, была для них нестерпимой. Сотни рыцарей с жаром разом заговорили о необходимости продолжить путь на Восток. Всех страшило опасение, что они запоздают, придут слишком поздно, когда вся ценная добыча целиком достанется немцам.

А между тем слухи росли и росли. Передавали о новых победах, легко добытых рыцарями Конрада III. Говорили, что турки собрали многочисленную армию и что немцы убили 14 тысяч человек, сами не потеряв ни одного.

На другой день рассказывали о еще более счастливом случае: передавали, будто немецкие рыцари прибыли в Иконий, а еще до их прибытия население этого города разбежалось, пораженное ужасом. При этом добавляли, что немцы торопятся идти дальше и что их император обратился к греческому императору с просьбой принять под свою власть все, что ими завоевано. Византийские царедворцы при встречах с французскими баронами лицемерно вздыхали и высказывали сожаление, что столь доблестные рыцари уступают славу победы и честь захвата добычи немецкому воинству. Гнев и нетерпение быстро овладели крестоносцами. Вчера еще предпочитав-

шие оставаться в Константинополе, сегодня они уже нетерпеливо рвались вперед, требуя возобновления похода. Такова была отныне воля большинства. Король Людовик VII был вынужден подчиниться. Как говорит летописец похода, «король, побежденный рассказами греков и жалобами своих, решился переплыть море».

Византийский император немедленно доставил нужное для переправы число кораблей. Но окончательная отправка всего французского войска задерживалась. Отставшие в пути отряды еще не подошли к Константинополю. Король со всеми наличными силами переправился через пролив св. Георгия, но на азиатском берегу был вынужден 15 дней ожидать, пока подойдет арьергард его армии.

В это тягостное для французов время и разыгрались новые столкновения между рыцарями и греческим населением. У самого азиатского берега, рядом с кораблями, перевозившими французов, покачивались на волнах лодки греческих купцов и менял. На берегу, вблизи рыцарского лагеря, выросли наспех сколоченные столы и скамьи. Здесь подвижные и говорливые греческие купцы и менялы предлагали рыцарям все необходимое: продукты, одежду, уборы. Тут же менялы разменивали французскую монету на греческую и сирийскую, скупали за наличные деньги кольца, драгоценности, шейные цепи рыцарей.

Крестоносцы нуждались в деньгах, и потому эти операции шли довольно бойко. Понемногу на столах менял выросли кучки золота и серебра, заблистали всевозможные ценные предметы, сбытые отъезжавшими.

Это зрелище не могло оставить равнодушными многих рыцарей, у которых при виде столов менял загорались глаза, руки сами собой тянулись к рукояткам мечей. Наконец, какой-то фландрский рыцарь, которого летописец похода называет достойным батогов или костра, не выдержал. С воинственным кличем «haro, haro!» он бросился к столам менял, сгребая руками все, что попадалось.

Следом за ним устремились и другие рыцари, хватая сосуды и пригоршни монет, лежавших на столах.

Менялы с судорожной поспешностью прятали свое добро в мешки и карманы и, отбиваясь от рыцарей, бежали к кораблям, чтобы как можно скорее отбыть назад, к греческому берегу пролива.

Корабли поспешно приняли на борт бегущих в ужасе греков и отчалили, не давая сойти обратно на берег тем довольно многочисленным рыцарям, которые незадолго до того поднялись на них, желая отправиться на константинопольский базар за более дешевыми продуктами. Этих-то злосчастных рыцарей ожидала на противоположном берегу скорая и жестокая расправа: все они были ограблены и перебиты. Те рыцари, которые случайно в это время оказались в городе, были также задержаны и ограблены. Их ожидала смерть.

Чтобы спасти жизнь этих рыцарей, король Людовик принял крутые меры. Прежде всего он потребовал выдачи того фландрского рыцаря, который был зачинщиком происшедших беспоряд-

ков. Граф Фландрский подчинился королю и отдал в его руки провинившегося. Его повесили у самого берега, на виду у города, с таким расчетом, чтобы греки, находившиеся по другую сторону пролива, видели, как свершилось королевское правосудие. Вслед за тем Людовик приказал разыскать все похищенные у греков вещи, обещая простить тех, кто сам возвратит награбленное, и грозя жесточайшими наказаниями всем, кто осмелится утаить похищенное. Чтобы стыд перед королем не стеснял рыцарей, предусмотрительный Людовик распорядился сдавать все украденные вещи епископу Лангрскому. На следующий день в лагерь крестоносцев были приглашены потерпевшие — греческие менялы, и им были возвращены похищенные у них ценности.

Только после этого были выпущены на волю те рыцари, которые томились в константинопольской тюрьме в качестве заложников. Наконец, с прибытием отставших отрядов, французские крестоносцы тронулись вперед, оставляя по себе недобрую память в византийской земле.

ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И ВЕНЕЦИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Неудача третьего крестового похода

В 1187 году выдающийся полководец Востока Салах ад Дин (Саладин) взял приступом Иерусалим. С этого момента западные рыцари не переставали думать об ответном ударе. Епископы, бароны и графы, сам папа, могущественные европейские государи строили планы новых походов и новых завоеваний. В 1190 году три крупнейших государя Западной Европы выступили во главе своих армий на Восток.

Вождями третьего крестового похода были осторожный и расчетливый король Франции Филипп II Август, германский император Фридрих I Барбаросса, старый и опытный полководец, прошедший суровую школу в бесчисленных походах, и, наконец, отважный и жестокий король Англии Ричард Львиное Сердце, герой и неизменный победитель турниров, имя которого было овеяно в такой же мере славой подвигов и рыцарских похождений, как и ужасом кровавых расправ с побежденными.

Казалось, все предвещало успех этого похода: и имена вождей, и огромные силы, брошенные на завоевание Иерусалима... Но прошло всего два года, и грандиозное предприятие крестоносцев пришло к бесславному концу. С трудом собранные силы распались, и в октябре 1192 года Ричард Львиное Сердце вынужден был последним покинуть Сирию.

Германский император в самом начале похода утонул при переправе через небольшую, но бурную горную речку в Малой Азии. Гибель вождя побудила бóльшую часть немецких рыцарей возвратиться на родину.

Филипп и Ричард Львиное Сердце были плохими союзниками. Их разделяла давняя и упорная вражда, и Филипп II Август, сражаясь вместе с английским королем против общего врага, ни на минуту не мог забыть, что Ричард его соперник. Под знойным солнцем Сирии Филипп II помнил, что там, на далекой родине, во Франции, плодородные приморские западные области принадлежат английскому королевскому дому Плантагенетов[1]. Поэтому каждое затруднение, малейшая неудача вызывали столкновения и ссоры. Наконец, французский король решил возвратиться на родину и лишить Ричарда всякой поддержки.

---

[1] См. стр. 174—177.

Покинутый союзниками, Ричард Львиное Сердце оказался перед лицом грозного противника — Салах ад Дина, руководившего превосходно снаряженной и дисциплинированной армией.

Ричард недаром был прозван Львиным Сердцем. Он отличался дерзкой отвагой. С горстью храбрецов Ричард пускался на самые смелые и рискованные предприятия. С мечом в руке бросался он в атаку, увлекая рыцарей личным примером. Под покровом ночи он производил самые неожиданные нападения.

Отвага сочеталась в нем с беспримерной жестокостью. Так, во время перемирия Ричард приказал заколоть до 2000 знатных мусульман, которые находились в его руках в качестве заложников. Эта жестокая казнь беззащитных людей последовала только потому, что Салах ад Дин запаздывал с выполнением некоторых условий перемирия.

Но личной отваги и лютой жестокости было недостаточно для того, чтобы бороться с таким противником, как Салах ад Дин. Ричард Львиное Сердце был слишком пылким для роли полководца и политика. Он оказался бессильным перед лицом осторожного, расчетливого Салах ад Дина, умелого политика и опытного полководца. На стороне Салах ад Дина было не только его личное превосходство над молодым английским королем — на его стороне были и мусульманская армия и все население Сирии и Палестины, проникнутые ненавистью к чужеземным завоевателям. Не только мусульмане, но и местные сирийские христиане ощутили на себе тяжелую руку грабителей-рыцарей. Они на собственном опыте убедились, что господство крестоносцев несет с собой невыносимый гнет крепостной зависимости и личной кабалы.

Английские рыцари столкнулись с непреодолимой силой сопротивления. Об эту силу разбились все их завоевательные попытки.

Третий крестовый поход, предпринятый могущественнейшими королями Западной Европы, несмотря на все радужные предзнаменования, закончился полным поражением.

Проповедь четвертого крестового похода

В 1198 году на папский престол вступил неутомимый Иннокентий III, один из самых энергичных и виднейших деятелей церкви.

Иннокентий III стремился к безграничному усилению папского могущества, домогаясь, чтобы короли и сеньоры безропотно склонились перед авторитетом папы и признали над собой его беспредельную власть.

Подобно своему предшественнику Григорию VII, Иннокентий III терпеливо добивался заветной цели. Новый папа умел вникать во все события политической жизни, из всего извлекать для себя пользу.

Обширная переписка связывала его со всеми государями Европы. Папа деятельно поддерживал постоянные сношения не только с королями, но и с феодалами, аббатами монастырей, рассылая свои послания, то гневные, обличающие, то наставительно-суровые, то, наконец, вкрадчиво-любезные. Изумительный мастер слова, тонкий политик и выдающийся оратор своего времени, Иннокентий стремился подчинять людей своей воле и постепенно превращать их в послушных исполнителей тех замыслов и планов, которые намечались при папском дворе.

Иннокентий III поставил себе целью воодушевить рыцарей на новый крестовый поход, сплотить все силы западного мира для предстоящей борьбы и завоевания Востока.

Успех этого крестового похода обещал необычайные выгоды прежде всего папству. Поэтому уже в первый год своего пребывания на папском престоле Иннокентий рассылает епископам Италии свое послание, содержащее призыв к походу: «Плачем плачет церковь, жалобный голос ее разносится по всей земле до ее пределов, ибо за грехи христианских народов язычники ворвались в вотчину Христа, затопили кровью нивы Иерусалима, и не осталось там никого, чтобы похоронить трупы убитых...»

Папа рисует в этом послании горестную, но отнюдь не правдивую картину. Салах ад Дин, овладев Иерусалимом, даровал жизнь его христианскому населению, ограничившись выкупом, и предоставил тысячам крестоносцев возможность невредимыми вернуться на родину.

Между тем, когда в свое время первые крестоносцы захватили Иерусалим, они вырезали все нехристианское население этого города.

Иннокентий III все это, конечно, знал, но, желая придать своему посланию особую убедительность и пафос отчаяния, пренебрег истиной и сгустил краски.

Осуществлению нового крестового похода мешала все та же вражда королей Англии и Франции, и папа гневно осудил эту вражду, как помеху святому делу: «Пока наши государи взаимно преследуют друг друга с неугасимой ненавистью, пока один пытается отомстить другому за обиду, нет никого между нами, кто принял бы к сердцу обиду Христа». Но и эта укоризна не помешала давним соперникам по-прежнему враждовать друг с другом. Тогда неутомимый папа пытается разжечь в умах и сердцах европейцев жгучее чувство обиды, мстительное чувство побежденных по отношению к победителям-мусульманам. Он вкладывает в уста вымышленного оратора-мусульманина оскорбительные речи, полные пренебрежения и высокомерного глумления над крестоносцами.

«Где же ваш господь, что он не в состоянии ни себя, ни вас избавить от наших рук? Мы осквернили вашу святыню. Мы протянули наши руки на заветные для вас места и против вашей воли удерживаем в нашей власти колыбель, где возникло, по вашему вымыс-

лу ваше суеверие [христинство]. ... Мы изломали копья французов, отвратили козни англичан, сокрушили силу немцев, победили высокомерных испанцев! Где же ваш господь? Пусть он воскреснет и поможет вам... Теперь нам остается, перебив мечом тех, кого вы оставили здесь, совершить натиск на ваши земли и истребить вас так, чтобы о вас впредь и помину не было...»

Эту презрительную и хвастливую речь, разумеется, никто из мусульман никогда не произносил. Ее сочинил сам папа Иннокентий, чтобы таким путем воздействовать на рыцарей, подзадорить, разгневать и ожесточить их. Свое послание папа заканчивает призывом «ко всем и каждому» опоясаться мечом для защиты святой земли, с тем чтобы к началу марта следующего года (1199) графы и бароны выслали отряды воинов, снаряженных всем необходимым для двухлетнего похода. Иннокентий облагает все церкви и монастыри особым сбором на проведение похода и посылает двух своих кардиналов для подготовки и руководства этим походом. Один из них едет во Францию, чтобы добиться мира между Францией и Англией, другой направляется в Венецию, где предстоит обеспечить все необходимое для перевозки крестоносцев морем.

Однако все пошло совсем не так, как намечал папа. Установленный им срок — март 1199 года прошел, миновали еще два года, и лишь к весне 1202 года стали собираться рыцарские силы.

На одном из блестящих турниров, происходивших во Франции, множество собравшихся там баронов и рыцарей, жаждавших воинских подвигов, добычи и славы, приняло под влиянием пылкого проповедника обет крестоносцев. Это было осенью 1199 года, то есть позже того срока, к которому папа намечал общее выступление крестоносцев. Французские бароны избрали своим предводителем графа Тибо Шампанского и порешили отправить послов в Италию, чтобы договориться о перевозке весной 1202 года крестоносного войска, состоявшего из 4500 рыцарей, 9000 оруженосцев, 20 000 воинов и 4500 лошадей.

Посланцы крестоносцев в Венеции

На специально собранном съезде во французском городе Компьене было избрано шесть доверенных лиц, которым предстояло отправиться в Италию и заключить договор о перевозке крестоносного войска морем. Чтобы послы внушали к себе доверие, им были вручены особые грамоты от крупнейших феодалов: графов Тибо Шампанского, Людовика Блуа и Балдуина Фландрского. В 1201 году шестеро послов благополучно прибыли в богатейший город Италии — Венецию, слывшую в те времена могущественной морской державой.

Шесть французских послов по прибытии в Венецию тотчас же стали добиваться встречи с главой венецианского правительства, всемогущим дожем Энрико Дандоло.

С момента прибытия послы жили в непривычном напряжении. Новая обстановка, великолепное жилище, гостеприимно предоставленное им в Венеции, непривычная роскошь покоев, драгоценная утварь наполняли их удивлением. Но всего более поражал сам своеобразный город, необычайный, пленительный своей особой красотой.

Этот город, казалось, врос в море. Его дома и стены омывались соленой водой бесчисленных каналов; казалось, будто уступы стен, дома и башни поднялись из морской пучины, будто прихотливо очерченные кварталы города — островки, отвоеванные у моря. Вместо грязных мостовых — журчащая вода каналов; нигде не видно коней, не слышно скрипа телег.

Вдоль узких набережных по улицам-каналам бесшумно скользят остроносые ладьи-гондолы, и в открытое окно вместе с приглушенным шумом города доносится далекий рокот волн и свежее дыхание морского ветра.

Как ни интересны были гондолы, улицы-каналы и отраженные их зеркальной поверхностью каменные дома, новоприбывших влекло море. Им не терпелось повидать поскорее то самое море, которое от венецианских причалов простиралось до далеких, полусказочных земель, о завоевании которых мечтали крестоносцы.

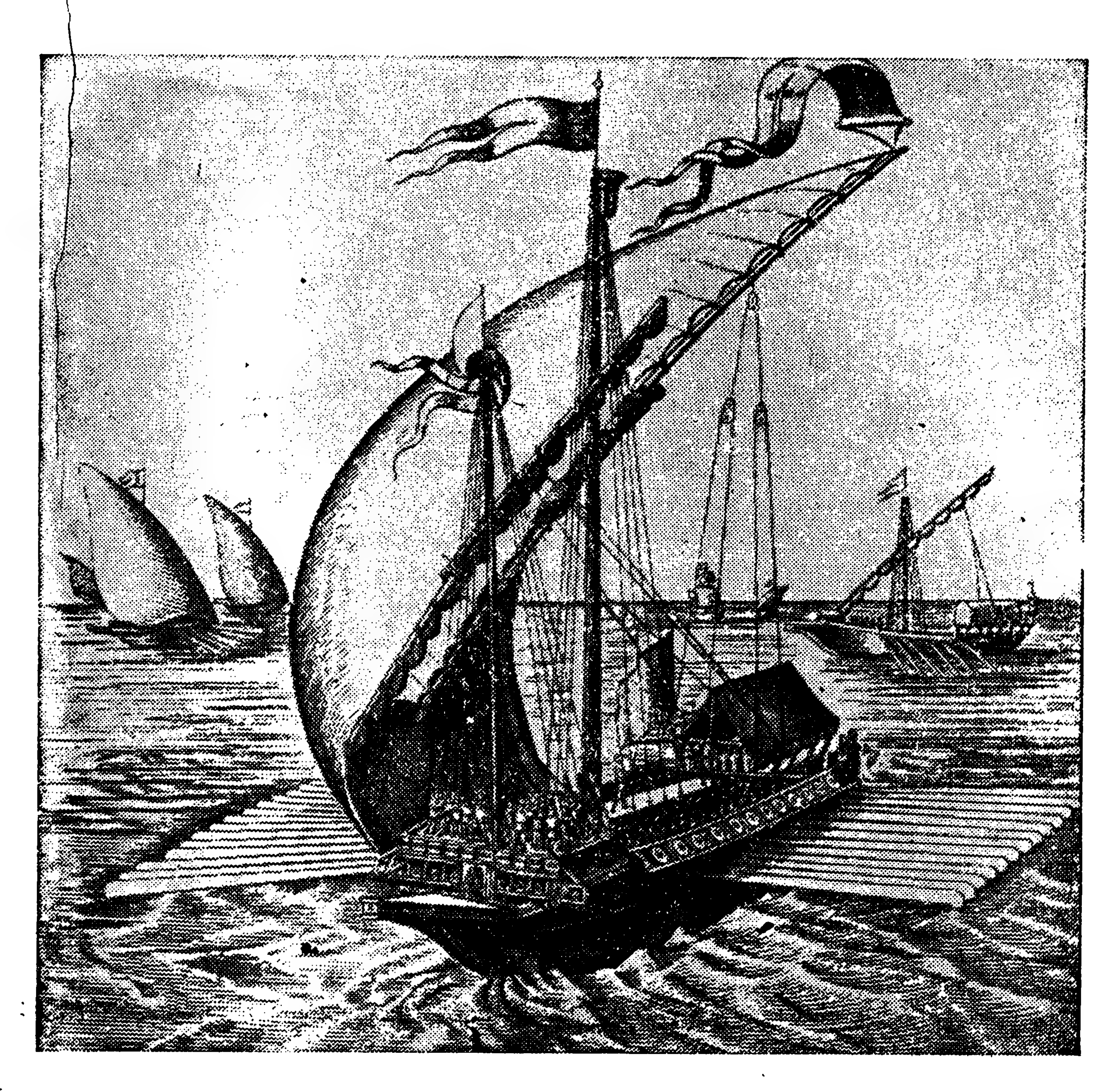
Когда они высказали свое желание приставленному к ним переводчику, тот, с минуту помолчав, сказал: «Море можно повидать всегда, но всякий час оно другое. Дамы и сеньоры приходят полюбоваться морским прибоем. Их привлекает игра волн, они любуются блеском моря. Но для нас, венецианцев, море — великий труженик и кормилец. Тому, кто хочет это понять, надо прийти к его причалам в ранний утренний час».

Слова переводчика заинтересовали послов и разожгли их любопытство. Они попросили его разбудить их на заре и отвести к причалам венецианской гавани.

На следующее утро французские гости покинули свое жилище в тот ранний час, когда рассвет начинает медленно вытеснять уходящую ночь. Нарядная гондола быстро доставила их к той крайней черте города, где обрываются улицы-каналы и где уже плещет и широко расстилается необъятное море.

От поднявшегося солнечного диска простерлась до самого берега солнечная дорожка; нестерпимо слепящая на горизонте, она сверкала расплавленным золотом на середине и гасла посветлевшей лазурью у причалов.

Но рыцари-послы недолго любовались этой игрой красок. Их внимание было привлечено звуками ожившего берега. Здесь теснились корабли самой разнообразной формы, самых различных размеров и оснастки. Подальше от берега выделялись темным корпусом неуклюжие, тяжеловесные галеры — три ряда отверстий и три ряда весел вдоль каждого борта. У каждого весла работает раб-гребец, прикованный к своему месту железной цепью. С протяж-



Венецианская галера.

ным сигналом трубы десятки рабов налягут на весла, с лязгом поднимутся якорные цепи, и галера, дрогнув, двинется в открытое море, унося бережно сложенный в ее трюме груз. А вокруг галер — стройные военные корабли с приподнятыми носами, украшенными затейливой резьбой, с боевыми башнями и парусами. Там и здесь легкие, подвижные лодки, быстроходные и неустойчивые фелюги и целый ряд других судов с непонятным для рыцарей устройством.

У берега непрестанная суета — грузчики с засученными рукавами вкатывают по мосткам на один из кораблей огромные, пахнущие смолой бочки. Тут же идет разгрузка судов, прибывших с Кипра: один за другим спускаются с кораблей матросы, сгибаясь под тяжестью громадных тюков хлопка.

Рыцари подсчитывают число кораблей и покачивают головами. Не подлежит сомнению: если кто и возьмется отвезти за море крестоносную рать, — это, бесспорно, Венеция... Именно ей такая задача по плечу!

Как ни старались посланцы крестоносцев ускорить свою встречу с правителем Венеции, эта желанная встреча почему-то откладывалась. Поневоле приходилось терпеливо ждать и заполнять вынужденный досуг скитаниями по необыкновенному городу.

Не раз останавливались французские гости перед дворцом дожей, который, к их великому сожалению, не спешил отворить перед ними двери. Расположенный у моря, на главной набережной, этот дворец, не похожий ни на какое другое здание, невольно приковывал к себе взоры. Его легкая двухъярусная колоннада, поддерживающая резные арки, казалась вблизи внушительной. Но стоило отойти от дворца на некоторое расстояние, и сразу же вытянутая вдоль всего фасада колоннада двух нижних этажей представлялась непривычно малой, как бы прижатой к земле глухой и несоразмерно большой узорчатой стеной третьего этажа, за светлой поверхностью которой угадывались парадные покои венецианских властителей и своды торжественных залов.

Один из послов предложил обойти дворец и осмотреть его с боковой и задней стороны. Это предложение почему-то явно не по-



«Мост вздохов».

нравилось переводчику, но, после безуспешных попыток отговорить гостей от этой затеи, он со вздохом поплелся за ними.

Оказалось, что задний фасад дворца примыкал к узкому каналу, в воде которого отражались и его светлая стена и непроглядная чернота противоположной совершенно глухой, безглазой стены, соединенной с ним переброшенной через канал короткой галереей крытого моста. «Это — мост вздохов», — односложно заметил переводчик. Из дальнейших расспросов и неохотных ответов на них выяснилось, что странное название моста возникло потому, что через его крохотные оконца видели в последний раз небо и солнце осужденные, которых из зала суда, расположенного во дворце, вели по «мосту вздохов» в тюрьму, отделенную от дворца водою канала.

Мрак заточения для узников не был вечным только потому, что нагретая солнцем свинцовая крыша наполняла тюремные камеры ядовитыми испарениями, отравлявшими тех, кто прогневал купеческую знать Венецианской республики...

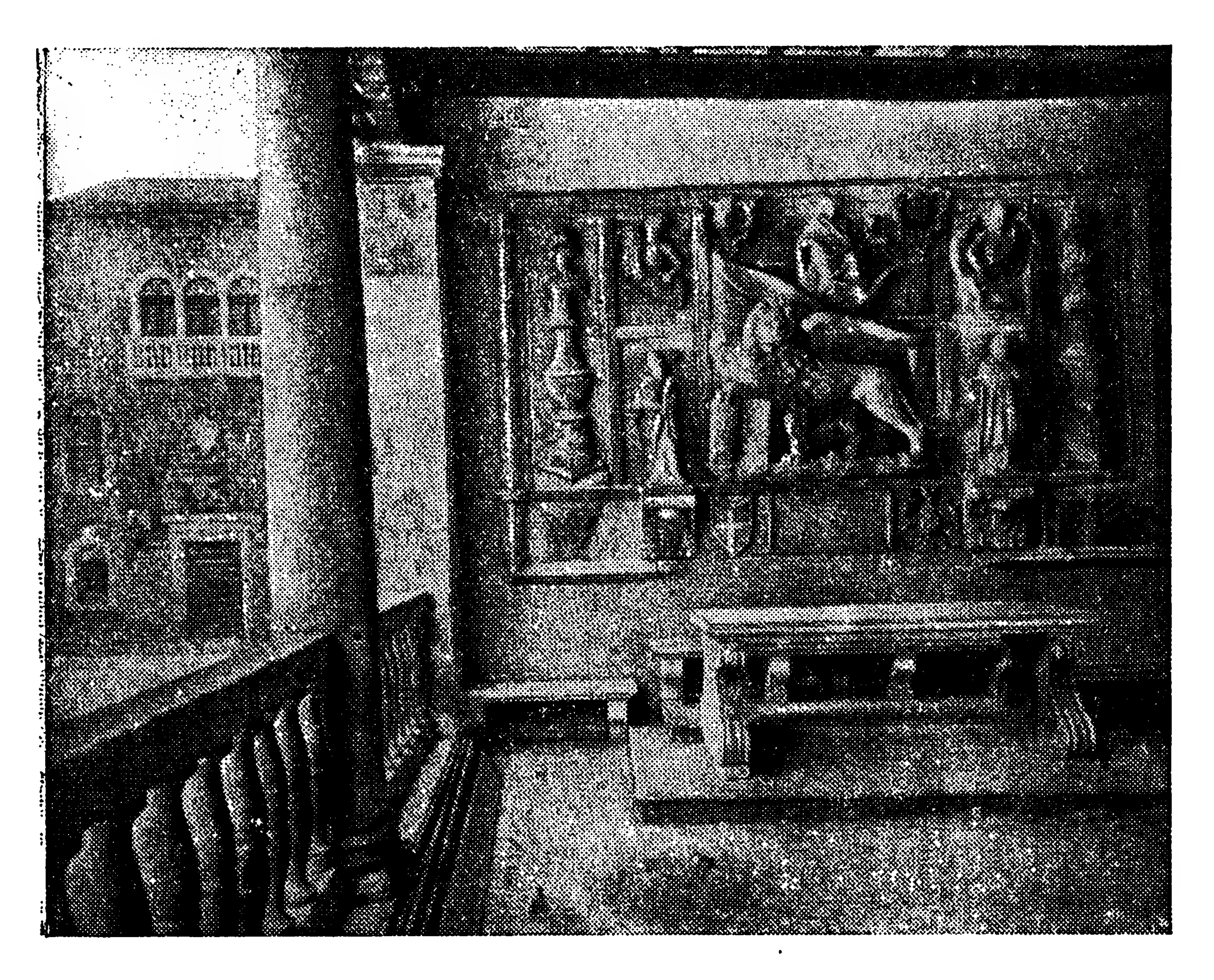
Энрико Дандоло и его переговоры с послами крестоносцев

Настал, наконец, день, когда шесть послов предстали перед всесильным венецианским дожем. Молчаливый провожатый распахнул перед ними массивную дубовую дверь, ведущую в залу приемов, где послов ожидал Энрико Дандоло. Провожатый склонился перед дожем в почтительном поклоне, дав рыцарям знак сделать то же самое.

Покой, в котором находились рыцари, представлял собой небольшую залу с тройным окном, разделенным узкими колоннами. Довольно низкие каменные своды, пол, составленный из одноцветных дубовых плит.

На небольшом возвышении — массивная мраморная скамья, над которой нависло вделанное в стену рельефное изображение огромного льва, опирающегося лапой на щит. Этот лев сразу бросился в глаза вошедшим, и лишь затем привлекла их внимание неподвижная сутулая фигура сухощавого старика, слегка наклонившегося вперед. Под львом св. Марка, олицетворяющим могущество Венеции, сидел ее глава — дож Дандоло.

Правителю Венеции минуло 94 года; за плечами у него долгая жизнь, полная приключений, трудов, событий. Много, очень много мог бы о себе рассказать этот властный старик, помнивший себя купцом, мореплавателем, суровым воином и хитрым дипломатом. Он мог бы рассказать о смелых экспедициях к берегам Черного моря, о морских битвах с турками, генуэзцами и пизанцами, о сожженных вражеских факториях и крепостях.



Скамья под изображением льва св. Марка.

На памяти дожа — дерзновенно смелые экспедиции к чужим неприветливым берегам, ловкие, сказочно выгодные операции по сбыту индийских пряностей, славяне и горцы, проданные на невольничьих рынках Африки. На его памяти потоки крови, пролитой в битвах, и та непрестанная извечная борьба, которую Венеция вела со своими врагами, борьба за торговое первенство, за власть над морями, борьба с Византией и итальянскими городами-соперниками. Этих врагов он хотел во что бы то ни стало одолеть и подавить. И не только о битвах, но об интригах и убийствах, о лести и подкупе, об обмане и коварстве, о беспримерной жестокости к врагу мог бы поведать этот высохший седой человек, глядевший на мир своими навсегда остановившимися незрячими глазами.

С недоумением смотрели рыцари-послы на дожа. В их взорах как бы застыл неразрешимый вопрос: «Неужто этот хилый, слепой старик и есть тот самый дож Дандоло, который слывет могущественным и дальновидным хитрым политиком? Неужели он — тот самый Дандоло, который водил на приступ венецианские армии и выходил сухим из воды в самых рискованных морских предприятиях?»

Но раздумывать было некогда. Один из приближенных дожа, подойдя к послам, попросил вручить их грамоты. Дож наклонени-

ем головы ответил на приветствие послов и молчаливо выслушал содержание грамот. Графы, подписавшие эти грамоты, просили верить послам и высказывали готовность исполнить все, что они пообещают от их имени. Помолчав еще немного, дож сказал:

— Господа, я прослушал ваши грамоты. Мы видим, что ваши повелители принадлежат к числу могущественнейших людей из тех, которые не носят королевской короны. Они просят нас верить вам во всем и считать правильным все то, что вы скажете и подпишите. Скажите же, что вам угодно.

Послы отвечали: «Государь, мы желаем, чтобы вы собрали свой совет, и перед вашим советом мы вам доложим, о чем вас просят наши государи, если угодно, завтра». В ответ на это дож заявил, что просит послов отложить изложение их просьбы на четыре дня, и тогда они будут выслушаны Большим советом Венецианской республики.

Послам осталось лишь откланяться. Была причина, побуждавшая их изложить свое дело не перед одним дожем, а перед Большим советом. Они наивно полагали, будто дож и не догадывается, зачем они прибыли в Венецию. Им казалось, что сухой и суровый старик не пожелает оказать никакой услуги крестоносцам, отвергнет их просьбы, тогда как в Совете, вероятно, найдутся добрые христиане, готовые поддержать «святое дело» крестоносцев.

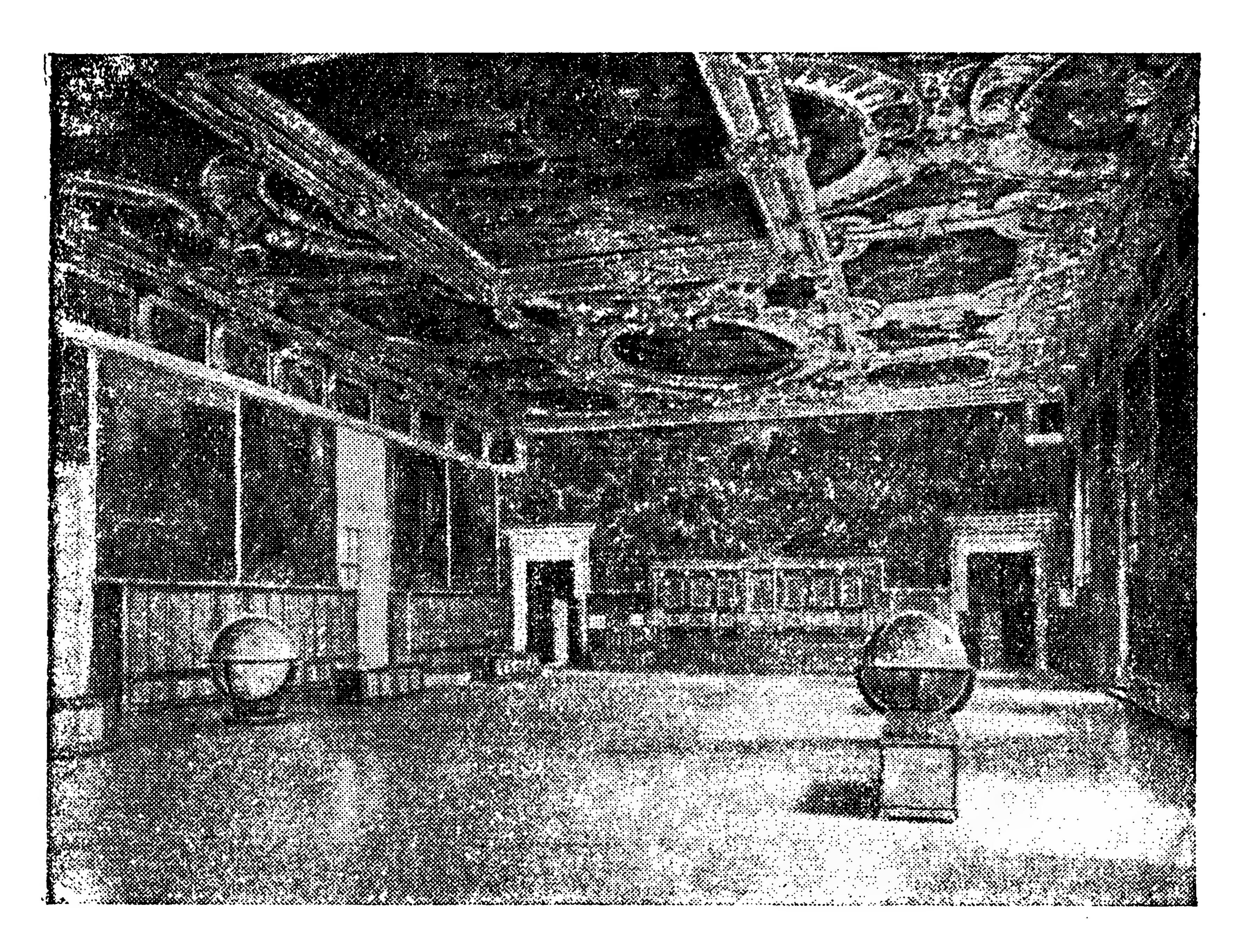
Между тем дож Дандоло был давно осведомлен о замыслах крестоносцев и прикидывал в уме, какие выгоды может дать Венеции новая затея. Ни одна неожиданность не застигала врасплох старого Дандоло.

Прошли установленные четыре дня. Послы-рыцари предстали перед Советом. На этот раз они были приняты в более обширном и великолепном покое, где послов ожидали все члены Совета во главе с дожем.

Один из послов произнес речь: «Государь, мы пришли к тебе от имени высоких баронов Франции, которые приняли знамение креста, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное Иисусу Христу, и завоевать Иерусалим, если бог это допустит. И так как государи наши знают, что никто не имеет столь великого могущества, как вы и ваш народ, то они и просят вас, бога ради, сжалиться над заморской землей и отомстить за оскорбление Иисуса Христа, дав нам корабли и все необходимое».

Оратор ждал возгласов и знаков одобрения: он думал, что венецианцы тотчас вступятся за обиженного Христа. Но Дандоло деловито осведомился: «А на каких условиях должны мы предоставить вам корабли?»

— На любых условиях, которые вы предложите, лишь бы мы смогли их выполнить, — неосторожно ответил недальновидный посол. Еле заметная улыбка скользнула по лицу слепого дожа. Поднявшись со своего места, он ответил крестоносцам, что через восемь дней они получат решительный ответ...



Зал заседаний Большого совета Венеции.

Ровно через восемь дней дож держал перед послами следующую речь:

— Господа, мы вам предоставим то, что определили в Совете, в ожидании нашего Большого совета и всей республики, а вы переговорите друг с другом о том, можете ли вы принять наши условия. Мы дадим вам перевозочные суда для 4500 лошадей, 9000 оруженосцев, 4500 рыцарей и 20 000 пехотинцев; и люди и лошади обеспечиваются съестными припасами на девять месяцев. Вы нам заплатите за каждую лошадь 4 марки и за каждого человека по 2 марки. Мы выполним свои обязательства в течение одного года, считая со дня отплытия из Венеции отправившихся на службу богу и христианству. Вышесказанное составляет сумму в 85 000 марок. И сверх того мы поставим от себя 50 галер из любви к богу, с тем условием, чтобы в течение всего похода от всех завоеваний, которые все мы сообща сделаем и на море и на суше, — половина нам, а половина вам. Теперь думайте: исполнимо ли это для вас и согласитесь ли вы?

Послы удалились на совещание. Просовещались целую ночь и наутро дали свое согласие на хитрый план дожа.

Так, по выражению Маркса, «Энрико Дандоло сделал из крестоносной глупости торговую операцию». План дожа был до крайно-

сти прост и выгоден. Содрать с крестоносцев огромную сумму за перевоз, обеспечив при этом за Венецией половину всей добычи, завоеванной руками крестоносцев... Но этого мало: хитрый дож не сомневался, что крестоносцы не сумеют расплатиться полностью, и тогда задолжавшим завоевателям дож навяжет свою волю, толкнет их на захваты, необходимые Венеции.

Но, сознавая всю выгодность задуманного, предвидя, что незадачливые рыцари станут источником неслыханной наживы, Энрико Дандоло не торопился. Чем заманчивее и соблазнительнее казалось предприятие крестоносцев, тем больше проявлял старый дож свою осторожность, свою медлительную расчетливость. Десятками уловок обставлял он каждый решительный шаг.

Крестоносцы не должны заподозрить, что попались в силки старого Дандоло. Поэтому им не следует давать окончательного ответа. И Дандоло делает вид, что не от него зависит последнее решение, будто для заключения желанного договора надо еще действовать, просить, добиваться, вымаливать благоприятное решение у всего венецианского народа.

И если через год венецианские корабли вернутся с повисшими парусами и пробитыми бортами, если на дне моря останутся сотни матросов и воинов Венеции, тогда... тогда пусть никто не осмелится сказать, что поход решен был одним дожем!

Настал торжественный день, когда десятитысячная толпа венецианцев во главе с членами Большого совета и дожем собралась в величественном соборе св. Марка прослушать обедню и молить бога, чтобы он просветил народ и внушил ему, как следует ответить послам.

После обедни ввели послов, и дож предложил им просить собравшийся народ утвердить договор. От лица послов взял слово Жоффруа Виллардуэн, маршал Шампани. Его повелительный и громкий голос полководца гулко прокатился под сводами собора: «Господа, самые высокие и самые могущественные бароны Франции прислали нас к вам с мольбой о том, чтобы вы сжалились над Иерусалимом, порабощенным турками, чтобы вы ради господа бога согласились сопутствовать им в походе, ради отмщения оскорблений, нанесенных Иисусу Христу. Обратились же они к вам, ибо знали, что ни один народ не имеет такого могущества на море, как вы и ваши люди; они повелели нам припасть к вашим ногам и не подниматься, пока вы не согласитесь на их просьбу и не сжалитесь над святой землей, лежащей за морем...»

При последних словах своей краткой речи Жоффруа Виллардуэн пал на колени, и следом за ним опустились на колени остальные пять послов.

И сразу же в разных углах собора раздались возгласы: «Мы согласны, согласны!» Эти возгласы все нарастали, и вскоре наступил такой шум, что нельзя было расслышать ни одного слова. Живые, восприимчивые, быстро воспламеняющиеся венецианцы со



Дож Венеции перед львом св. Марка.

всею пылкостью южан выражали свое сочувствие крестоносцам. Когда шум немного стих, дож Дондоло поднялся на кафедру и, низко поклонившись народу, сказал:

— Господа, посмотрите на честь, которую оказал нам бог, когда лучшие люди в мире оставили без внимания все другие народы и порешили искать вашей помощи, чтобы вместе с вами совершить столь важное дело, как избавление нашего господа от рук неверных.

С удивлением взирали послы на дожа. Куда девалась его обычная холодность? Голос его звучал необыкновенно тепло и проникновенно; казалось, дож всегда думал о спасении гроба господня и теперь благоговейно ликовал, сознавая себя участником святого дела. Перед собравшимися в храме выступал не купец и не политик, а благочестивый старец, далекий от всяких мирских расчетов и погони за выгодой.

Так закончилось это знаменитое собрание в соборе св. Марка, где, по выражению Маркса, «дож заставил глупых французских князей разыгрывать комедию».

На следующий день были изготовлены договорные грамоты. Вручая их послам, дож клялся перед изображением святых верно и нерушимо соблюдать условия договора. Присягу блюсти договор принесли в свою очередь и послы; в тот же день они, по настоянию дожа, заняли в городе 2000 марок серебра и внесли их как задаток, с тем чтобы немедленно началось снаряжение кораблей.

Было решено, что через год, то есть в 1202 году, в день св. Иоанна бароны и рыцари прибудут в Венецию и к этому времени их будут ждать корабли.

Договор, заключенный между крестоносцами и дожем, был послан на одобрение папы. Долго раздумывал Иннокентий III, склонясь над присланным ему пергаментом. Читая и перечитывая договор, он убеждался в том, что дож Дандоло задумал какую-то дьявольскую затею: 85 000 марок!

Подобной суммы дожу никогда не удастся получить от жадных крестоносцев!

Впрочем, сам дож это великолепно понимает, и, если уж он заломил такую баснословную цену за услуги венецианцев, стало быть, он хочет поймать крестоносцев на удочку, превратить их в своих должников, а затем толкнуть их на какое-нибудь завоевание, выгодное для Венеции. Видимо, таков замысел дожа, так как в договоре не указано даже, куда именно венецианский флот должен доставить крестоносцев, сказано лишь, что их перевезут за море... Затея дожа, чего доброго, может помешать крестовому походу, собьет с пути крестоносцев, отвлечет их от прямой цели.

И дальновидный папа диктует свой ответ. Он соглашается утвердить договор лишь в том случае, если крестоносцы и венецианцы дадут обет не поднимать оружия против христиан.

Дандоло выслушал папский ответ весьма хладнокровно и столь же хладнокровно сказал своему секретарю: «Обойдемся и без папского одобрения».

Начало четвертого крестового похода

Весной 1202 года стали понемногу прибывать в Венецию первые отряды крестоносцев, но общий сбор рыцарских сил вследствие опоздания большинства отрядов задержался, и лишь в июле крестоносцы оказались готовыми к отплытию. Прибывший из Рима папский легат, Петр Капуанский, нашел много непорядков в лагере крестоносцев. Здесь было немало женщин, стариков, людей слабых, бедных и плохо вооруженных.

Папский легат проявил настойчивость и сумел добиться отправки непригодных для войны людей обратно на родину. Дож Дандоло вызвал энергичного легата к себе для беседы, похвалил его решительность, а затем, немного помедлив, заявил, что легат может отправиться в поход, но не на правах представителя святейшего престола, а в качестве обыкновенного священника.

Возмущенный легат отвечал, что на подобных условиях он, посланец папы, не намерен сопровождать крестоносцев. Дож Дандоло учтиво поклонился легату и попросил передать папе изъявления своего смиренного почтения.

Теперь для дожа настало время показать крестоносцам свою силу. Для этого все было заранее подготовлено.

Рыцарей, прибывавших отдельными группами, венецианцы по приказу дожа отвозили на пустынный остров Лидо, где крестоносцы страдали от невыносимой жары, недостатка припасов и в особенности из-за отсутствия пресной воды. Окруженные морем, рыцари оказались в прямой зависимости от своих хозяев-венецианцев.

Однажды к острову Лидо пристала раззолоченная гондола дожа. Сам Дандоло сошел на берег и, приказав созвать рыцарей, об-

ратился к ним с гневной речью. Он обвинил их в опоздании, в вынужденной проволочке, в том, что по их вине венецианский флот простоял без всякого дела целое лето на рейде. Наконец, окончательно выйдя из себя, дож прокричал, что крестоносцы немедленно должны внести обещанные 85 000 марок, иначе они будут оставлены на острове без пищи и воды.

С этими словами слепой дож повернулся спиной к рыцарям, и раньше, чем те успели опомниться и что-либо ответить, Дандоло очутился в своей гондоле, бесшумно отчалившей от берега.

После горячих толков и споров растерявшиеся крестоносцы порешили собрать требуемую сумму. Рыцари жертвовали свои кольца, драгоценности, деньги. Казначей дожа, внимательно просмотрев и взвесив собранные рыцарями сокровища, оценил их в 50 000 марок. Недоставало 35 000 марок. Дож продолжал стоять на своем, требуя всю сумму сполна.

Наконец сам Дандоло предложил выход из положения. Недостающую сумму рыцари могут восполнить своей службой, своими ратными трудами на пользу Венеции. На противоположном берегу Адриатического моря, на далматинском побережье Балканского полуострова, лежит город Зара. Этот город уже в пятый раз выходит из подчинения Венеции. Непокорные жители Зары отдались теперь под покровительство венгерского короля.

Если западные рыцари на пути в «святую землю» штурмом возьмут Зару и возвратят этот город Венеции, то благодарные венецианцы, не требуя взноса недостающей суммы, возьмутся везти крестоносцев дальше.

Некоторым рыцарям это неожиданное предложение пришлось не по душе. Их смущала необходимость воевать с населением христианского города. Но большинству рыцарей так опостылело вынужденное пребывание на острове Лидо, ставшем для них западней, что они без особых размышлений были готовы принять новый план, лишь бы из нее поскорее вырваться, начать войну, а с нею и погоню за добычей.

Гневу и раздражению папы Иннокентия III не было пределов. Возмущенный кознями Дандоло и постыдным возвращением из Венеции папского легата Петра Капуанского, Иннокентий резко восстал против нового плана. Нападение крестоносцев на Зару казалось ему тем более недопустимым, что повелитель Зары, венгерский король, давно объявил себя крестоносцем, и, таким образом, благодаря интригам дожа крестоносцы будут воевать против крестоносцев же.

Один из четырех аббатов, которым ввиду отъезда легата Иннокентий поручил сопровождать крестоносцев, Ги де Во де Серне предъявил рыцарям папское запрещение, грозившее им отлучением от церкви, если они возьмут Зару, так как это христианский город, а они крестоносцы!

Но ни прямое запрещение папы, ни угрозы отлучения от церк-

ви не поколебали решения дожа. Он невозмутимо ответил аббату: «Я не откажусь из-за папы от намерения отомстить жителям Зары».

В воскресный день, при огромном стечении народа, старый дож снова держал речь к жителям Венеции:

— Господа, вы вступили в союз с лучшими людьми во вселенной и стали за самое великое дело, какое когда-нибудь предпринималось. Я уже стар и слаб, нуждаюсь в покое и страдаю телесными недугами, но тем не менее я вижу, что между вами нет никого, кто мог бы распоряжаться, как я. Если вы дадите свое согласие, чтобы я взял крест для управления вами и руководства, то я оставлю на своем месте сына, и он будет править Венецией, я же пойду жить и умирать вместе с пилигримами.

Крестоносцы, которых недавно тот же дож грозил заморить голодом и жаждой среди соленых лагун, были необычайно польщены, услышав, что они «лучшие люди вселенной». И они, так же как и растроганный народ, просили дожа участвовать в руководстве походом.

Вопреки папе, несмотря на сомнения наиболее осмотрительных и благочестивых крестоносцев, воля дожа восторжествовала. В октябре 1202 года из венецианской гавани вышел флот из 72 галер и 140 транспортных кораблей. Этот флот держал путь к Заре.

Завоевание Зары

Город Зара был взят приступом. Тщетно взывали жители осажденного города к христианскому милосердию крестоносцев. Когда торжествующие рыцари ворвались в стены Зары, начался разгром. Произошло побоище между самими победителями; то были кровавые стычки из-за добычи, которую рыцари вырывали друг у друга из рук.

«Почти не было улицы, где бы не происходило большой сечи мечами, луками, копьями, — рассказывает летописец похода Виллардуэн. — И было много людей ранено и убито. Благоразумные люди явились также с оружием и стали разнимать сражающихся, и когда им удавалось разнять их в одном месте, сеча закипала в другом. Это было самое великое бедствие, когда-либо постигавшее войско, и здесь чуть не произошла гибель всей армии».

Весть об ослушании крестоносцев и взятии Зары вызвала новое послание папы, полное гневной укоризны. Но оно имело не больше успеха, чем прежние его попытки вмешательства.

Крестоносцы, застигнутые осенью под Зарой, были вынуждены остаться здесь на зимовку. Лишь весной можно было возобновить дальний поход. Так решил новый предводитель крестоносцев — маркиз Бонифаций Монферратский, избранный военным вождем вместо внезапно умершего Тибо Шампанского. Потяну-

лись томительно унылые дни ожидания. Бесцельно слонялись по лагерю французские и немецкие рыцари (значительный отряд последних присоединился к крестоносной армии еще в Венеции), кляня судьбу, отсутствие денег и вынужденное ожидание.

Гости из Византии и их просьба

Сюда-то, в зимний лагерь крестоносцев, неожиданно прибыли люди, которые разом всколыхнули его спокойствие, взволновали одних, возбудили других. Этими людьми были послы византийского царевича Алексея, искавшего поддержки крестоносцев.

В 1195 году в византийской столице — Константинополе — произошел один из тех дворцовых переворотов, которые там бывали нередко.

Император Исаак Ангел был свергнут с престола, ослеплен и вместе со своим сыном, молодым царевичем Алексеем, брошен в темницу. Переворот произвел родной брат императора — Алексей, которого Исаак незадолго перед тем выкупил из турецкого плена. Этот человек, убрав со своего пути брата и племянника, занял престол под именем Алексея III. Царевичу Алексею удалось бежать из тюрьмы. Спрятанный в бочку, он был доставлен на пизанский корабль и на нем привезен в Италию. Царевич Алексей безуспешно добивался поддержки папы и нашел помощь лишь у германского императора Филиппа Швабского, женатого на сестре царевича. С письмом от этого покровителя и от самого царевича прибыли теперь послы в лагерь крестоносцев, чтобы искать у них помощи. Для того чтобы расшевелить и привлечь на свою сторону рыцарей, нужны были деньги. У царевича их не было.

Но тут положение облегчил дож. Просьба молодого Алексея давала старому Дандоло возможность выполнить его скрытые, давно лелеемые планы.

Внимательно, очень спокойно, ничем не выдавая своего волнения, слушал старый дож сбивчивый рассказ посла, присланного царевичем. В ответ на горячие просьбы он обещал подумать.

И когда гости оставили своего собеседника одного, старый Дандоло преобразился. Мигом исчезло внешнее спокойствие. Нервно сжимались кулаки, с тонких старческих губ по временам слетали чудовищные проклятия, привычные лишь людям гаваней и портовых трущоб. Дож вспоминал, думал, рассчитывал и вспоминал снова...

Воспоминания дожа, его счеты с Византией

Когда-то, более ста лет назад, Венеция своим флотом оказала поддержку Византии в борьбе против норманнов. За это венецианские купцы получили исключительные привилегии в Византии. Они приобрели возможность торговать без всяких пошлин и

сборов во всей Византийской империи. В самом Константинополе появился богатейший квартал, где жили венецианские купцы, независимые от местных властей, окруженные почетом.

Венецианцам принадлежал не только отдельный квартал, но и три специальные пристани, так называемые Скалы, где только венецианские суда могли свободно грузиться и разгружаться.

Так продолжалось долго, и все это время торговые преимущества венецианцев пробуждали злобу и ожесточение среди константинопольского торгового люда... И вот настал страшный для венецианцев 1182 год — год «константинопольской бани».

В тот год престол Византии захватил смелый честолюбец Андроник Комнин. Чтобы привлечь к себе симпатии народа, этот государь не только отменил все привилегии иноземцев, но и толкнул константинопольских горожан на кровавый погром. В пламени и дыму рушились дома венецианцев и других итальянских купцов. Избивали всех — и мужчин и женщин. С горящими факелами во мраке ночи разыскивали укрывшихся.

Помнит, никогда не забудет «константинопольскую баню» старый Дандоло. Да, он был там, в объятом дымом, залитом кровью итальянском квартале. Тогда он лишился зрения. Никто не дерзает спросить у дожа, как именно это произошло. Об этом ходят смутные толки. Говорят, что 75-летний посол Венеции тогда получил тяжкое ранение в голову и ослеп. Говорят также, будто еще до погрома старого посла вероломно ослепили.

С тех пор более 20 лет не расстается Дандоло с мыслью о мщении. Это мщение должно стать развязкой векового соперничества, бесповоротно разрешить вопрос о том, кому будет принадлежать господство над морями Востока.

И, наконец, царевич Алексей, малодушный болтун... Разве эта жалкая фигура не поможет одурачить крестоносцев? Разве при помощи этой живой приманки не удастся увлечь их к стенам Константинополя?..

Дерзкий план, давно намеченный, теперь окончательно слагается, принимает законченную форму. При помощи денег, одолженных дожем, на крестоносцев действуют от имени царевича Алексея. Им обещают все, что угодно, за верную помощь, за возврат престола, отнятого Алексеем III.

Рыцарей, ощущавших постоянный недостаток денег, томимых вынужденным бездельем, было нетрудно соблазнить. Вскоре почти все рыцари склоняются к плану, намеченному дожем. Этот план прост: идти на Константинополь, свергнуть захватчика престола Алексея III, вернуть престол престарелому императору Исааку и получить от него и сына его, царевича Алексея, обещанную щедрую награду, в счет которой от имени царевича уже начали выдавать кое-какие суммы.

В гавани Зары закипела работа. Спешно приводятся в порядок корабли, к пасхе вся флотилия готова к отплытию. Незадолго до намеченного отбытия флота в Заре появляется и царевич Алексей.

Поход в Византию

Когда ветер, вздув паруса кораблей, понес их к греческим берегам, в Византии царило полное спокойствие.

Позорную картину представляли собой в ту пору нравы византийского двора и византийского правительства. Страной правила порочная клика распущенной аристократии, продажная знать, окружавшая Алексея III, беспечного негодяя и легкомысленного государя. Императорский дворец тонул в роскоши и славился своей расточительной, пышной и пьяной жизнью.

«Какую бы бумагу ни поднес кто царю, — рассказывает византийский историк Никита Хониат, — он тотчас подписывал, будь то даже бессмысленный набор слов. Он ставил свою подпись, хотя бы проситель требовал, чтобы по суше плавали, а море пахали или чтобы переставили горы на середину морей».

Погруженный в развлечения двора, император не замечал никаких признаков надвигавшейся грозы. Он не обращал внимания на то, что в самой столице происходили жестокие побоища между пизанцами и венецианцами, так как последние стремились вернуть себе былое значение и уничтожить соперников.

Когда стало известно о движении рыцарей, император Алексей не предпринял никаких мер и, восседая за столом в кругу раболепных сотрапезников, высмеивал затею крестоносцев.

Между тем византийский флот находился в самом жалком состоянии. Флотом ведал некий Михаил Стрифн, женатый на сестре императрицы. Этот начальник морских сил, по выражению того же Никиты Хониата, «имел обыкновение превращать в золото не только рули и якоря, но даже паруса и весла». По милости этого сановного вора оказалось распроданным все снаряжение военных кораблей. Несколько десятков прогнивших и пришедших в явную негодность судов продолжали стоять на константинопольском рейде в виде печального памятника былой морской славы. И когда некоторые патриоты пожелали раздобыть лес для постройки новых кораблей, они натолкнулись на сопротивление чиновников, оберегавших леса для императорской охоты и не разрешавших производить какую-либо порубку. Наконец достоверные сведения о приближении вражеского флота побудили императора сделать запоздалые распоряжения. «И у него, — по ехидному замечанию историка, — палка родила ум». Император приказал срочно починить 20 полусгнивших деревянных судов и срыть здания, лежавшие с внешней стороны у самых городских стен.

Тем временем флот крестоносцев приближался. «Западные люди, — говорит Никита Хониат, — знали, что греческая империя

есть не что иное, как опьянелая и больная с перепою голова». 24 июля 1203 года корабли крестоносцев при попутном ветре достигли константинопольской гавани. По совету дожа корабли бросили якорь у Перы, отделенной от Константинополя заливом Золотой Рог.

Крестоносцы в Константинополе

Тщетно пытался Алексей III поладить с крестоносцами. Он через послов убеждал их отправиться дальше, в Палестину, обещая щедрые подарки. Но все эти предложения были отвергнуты.

На другой день после окончания бесплодных переговоров крестоносцы, отслужив обедню, собрались на совещание. Рыцари совещались, сидя на конях. Решено было разбить всю армию на шесть отрядов. Передовым был назначен отряд Болдуина Фландрского. Во главе последнего стал предводитель всего похода Бонифаций Монферратский. Несмотря на всю решимость крестоносцев, город с его величественными зданиями и стенами казался хорошо защищенным. По предложению епископов все исповедались и составили завещания, приготовясь к возможной смерти.

С конями и оруженосцами рыцари вступили на корабли. На противоположном берегу пролива стояли наготове войска Алексея III. Невдалеке от берега рыцари бросались в море и по пояс в воде спешили поскорее добраться до суши. Греки казались готовыми к бою, но как только выбравшиеся на берег лучники и арбалетчики стали приводить в порядок свои ряды, греки дрогнули и поспешно скрылись. С кораблей были спущены мостки, началась высадка конницы.

«И знайте, что никогда, — восклицает Жоффруа Виллардуэн, — никакая гавань не была взята с такой славой. На следующий день бой возобновился у стен огромной башни крепости Галаты, которая преграждала доступ во внутреннюю гавань Константинополя. Осажденные предприняли вылазку, но были сбиты натиском рыцарей. Многие греки бросились в море, большинство искало спасения в башне, однако они не успели закрыть за собой ее ворота. У этих ворот завязалась схватка. Крестоносцы, овладев воротами и перебив многих защитников, завладели и самой башней. К башне была прикреплена цепь, преграждавшая доступ во внутреннюю гавань. Венецианские корабли ее прорвали и проникли в гавань. Предстояло овладеть самим Константинополем. Французские рыцари хотели напасть на город с суши, тогда как венецианцы решили соорудить лестницы и, подведя корабли непосредственно к стенам города, начать штурм с моря. Общий натиск был отложен на четыре дня. Наконец навстречу атакующей рыцарской армии выступил император Алексей, который вывел за стены города до 10 000 воинов. Некоторое время обе армии стояли друг против друга, и ни одна сторона не решалась начать бит-

ву. Внезапно византийский император повернул назад, и его войско, не вступая в бой, скрылось за городскими стенами.

День и ночь прошли в ожидании и неизвестности. На утро разнеслась нежданная весть: император Алексей бежал из города. Второпях он оставил свою семью, но не забыл захватить с собой наиболее ценные сокровища императорской казны. Жители столицы, оправившись от неожиданности, поспешили к темнице, где томился в заключении ослепленный братом император Исаак. Этого слепого узника облачили в императорские одежды и с почетом отвели во Влахернский дворец, где, одетый в пурпур, Исаак воссел на высоком императорском троне.

Крестоносцы вовсе не спешили ускорить свидание императора с сыном, царевичем Алексеем. Напротив, царевич оставался в лагере крестоносцев в качестве заложника, а рыцари направили нескольких своих представителей к Исааку, чтобы принудить его дать согласие на все обещания, полученные от его сына перед выступлением в поход.

Рыцари-послы вошли в открытые ворота города и пешком направились к Влахернскому дворцу. На всем протяжении их пути стояли ряды наемных воинов — датчан и англичан, вооруженных секирами. Императора рыцари застали в великолепном одеянии, окруженного царедворцами и знатными дамами, празднично разодетыми. Вся эта шумная толпа наперебой прославляла императора, который для них еще вчера был забытым узником.

И сказал маршал Шампани Виллардуэн: «Государь, вы видите, какую услугу мы оказали вашему сыну и как мы выполнили заключенное с ним условие. Но он не может вступить в город, пока сам не выполнит условий со своей стороны. Он просит теперь, как ваш сын, чтобы вы утвердили его договор с нами».

На вопрос императора об условиях договора посол отвечал: «Во-первых, поставить всю империю в зависимость от Рима, затем дать войску 200 тысяч марок серебра и съестных припасов на год, всем, от мала до велика; отправить в крестовый поход 10 000 человек на своих кораблях и содержать их на свой счет в течение года».

Император нашел условия договора очень трудными, но при этом заявил, что крестоносцы оказали ему столь неоценимую услугу, что если бы им за это отдать империю, то и такое вознаграждение было бы вполне сообразно.

Несколько недель прошли мирно. Крестоносцы присутствовали на торжественной коронации обоих императоров, отца и сына, Исаака и Алексея, которые были совместно провозглашены носителями императорского титула. Пребывая под стенами города в своем лагере, крестоносцы жили ожиданием обещанной награды.

Прошло еще некоторое время; отношения крестоносцев и греков резко ухудшились. Город одновременно и восхищал рыцарей и вселял непреодолимое желание разграбить все собранные в нем богатства.

«Представьте себе, — рассказывает Виллардуэн, — как всматривались мы в этот город, ибо мы никогда не воображали, что на свете мог быть такой роскошный город. Вы легко себе представите, что многие из армии захотели видеть Константинополь и богатые дворцы, и высокие церкви, которых там так много, и сокровища, которых не найдешь ни в одном городе в таком огромном количестве».

Случаи грабежа и насилий со стороны рыцарей участились. Однажды по вине разгульной группы рыцарей вспыхнул пожар, уничтоживший несколько кварталов города. Все суровее смотрели вслед рыцарям жители столицы, и в их ненавидящих взорах можно было ясно прочесть отношение к непрошенным гостям.

На молодого императора Алексея IV пали тяжкие обвинения. Ему не могли простить, что он, пригласив крестоносцев, навлек на Византию беду. Уплата обещанной суммы затягивалась. Крестоносцы получили лишь половину ее — 100 тысяч марок. Укрепившись в пригороде столицы (Пера), рыцари стали угрожать городу. Они требовали денег и ругали Алексея скрягой и обманщиком. Когда при встрече с дожем император стал божиться в невозможности уплатить требуемую сумму, горячий Дандоло вскипел: «Подлый, мы вытащили тебя из грязи и туда же опять втопчем тебя!»

С этого момента между Константинополем и Перой началась открытая война.

В одну темную ночь гавань Золотой Рог озарилась ярким огненным заревом. Это греки, пользуясь попутным ветром, погнали прямо на крестоносный флот свои брандеры — зажженные корабли, связанные между собой цепями и могущие в несколько минут воспламенить весь вражеский флот.

Завязалась упорная борьба. Наконец, венецианским морякам удалось забить железные костыли в носы брандеров и с помощью галер вытащить их в открытое море, а там пустить эти плавучие факелы по воле ветра.

Через несколько дней в Константинополе совершился переворот. Престолом овладел приближенный императора Мурзуфл, который слыл сторонником решительных действий и яростным врагом крестоносцев. Мурзуфл, воспользовавшись доверием Алексея, арестовал его и собственноручно задушил. На утро, чтобы скрыть следы расправы, он устроил пышные похороны Алексея.

Однако крестоносцы узнали правду, и так как со смертью Алексея окончательно исчезала надежда заполучить оставшиеся 100 000 марок, они стали деятельно готовиться к взятию Константинополя.

Настал день штурма. Каждый корабль устремился к назначенному для него месту. По словам летописца, воинственные крики были такими громкими, что, казалось, земля распадется. Порывом ветра корабли крестоносцев были прижаты вплотную к стенам. При этом корабли епископов Труа и Суассона «Пилигрим» и

«Парадиз», связанные между собой, подошли к одной из городских башен так близко, что лестница «Пилигрима» достигла башни. Венецианцы и французы мигом оказались на ее вершине. Вслед за ними рыцари овладели еще четырьмя башнями.

Еще немного, и крестоносцы заполнили улицы города, с гиком преследуя гонимых страхом, поспешно бегущих греческих воинов. Сгустившаяся тьма прекратила и беспорядочное бегство и погоню. Рыцари расположились вблизи только что захваченных стен, опасаясь проникать в глубь города, который своими башнями, церквами и высокими дворцами все еще производил впечатление неприступного. Кто-то из боязни, чтобы греки не напали, поджег квартал, отделявший крестоносцев от греков. И город, объятый огнем, запылал. Опустошительный пожар свирепствовал всю ночь и весь следующий день. Не без торжества заявляет по этому поводу французский летописец: «При этом сгорело домов больше, чем находится в трех самых больших городах Франции».

Когда исчезло зловещее зарево над городом и понемногу стал рассеиваться густой, чадный дым, крестоносцы увидели опустевшие улицы, город, словно вымерший, обезлюдевший в жутком предчувствии расправы.

Без сопротивления достались крестоносцам дворцы Влахернский и Буколеон, в которых, по словам летописца, «сокровищ было столько, что не было им конца».

Группами разбежались по городу торжествующие рыцари, упоенные победой и добычей. И вне себя от ликования и восторга французский летописец восклицает: «Добыча же была так велика, что вам никто не в состоянии был бы определить количество найденного золота, серебра, сосудов, драгоценных камней, бархата, шелковых материй, меховых одежд и прочих предметов. Но Жоффруа Виллардуэн, маршал Шампани, свидетельствует вам по совести и по истине, что в течение многих веков никогда не находили столько добычи в одном городе!

Всякий брал себе дом, какой ему было угодно, и таких домов было достаточно для всех. Таким образом, армия пилигримов и венецианцев разместилась по домам и все радовались чести и победе, которую даровал им бог и вследствие которой они перешли от бедности к богатству и наслаждениям...»

Стоило ли церемониться с несчастным населением? Жителей выгоняли из домов пинками и ударами, а сопротивлявшихся поражали мечом.

Дом, мгновенно очищенный от прежних хозяев, становился достоянием рыцаря. Надо было торопиться, и ликующий крестоносец наспех прибивал над дверью дома свой щит в знак того, что дом отныне принадлежит ему. Это служило знаком для других рыцарей, которые, пробегая дальше, искали себе дома, еще не занятые.

Пока все это творилось во имя христанского бога, обезумевшие от горя горожане, содрогаясь, вопрошали себя: как могло случить-

ся, что христиане губят христиан, а бог терпит все злодеяния и весь позор православной столицы?

Горький рассказ потерпевшего ведет византийский историк Никита Хониат. Он рассказывает, что церкви не могли быть убежищем для страдальцев, которых оттуда вытаскивали, раздевали донага, чтобы найти спрятанное золото, и затем куда-то уводили. Сам Никита Хониат уцелел случайно...

Сцены дикого разгрома и варварства происходили повсюду. Не был пощажен и храм св. Софии, главная святыня православной церкви. С шумом и стуком оружия ворвались рыцари в огромный храм, залитый потоками света, струившегося сквозь верхние окна из-под высокого купола. Сотни икон в золотых окладах, усеянных жемчугом, налои, покрытые парчой, затканной драгоценностями, сосуды, золотые лампады, мерцавшие в уголках храма, серебряные кропильницы, раки с мощами — таковы были ценности этого храма.

С криками неистовой радости и исступления бросались рыцари на добычу. Грубым рывком сорваны парчовые покровы с налоев. С помощью меча делят два рыцаря между собой икону в богатом золотом окладе. Молодой оруженосец с ловкостью обезьяны взбирается вверх по высокой колонне и пытается сорвать серебряную лампаду, повисшую на большой высоте. Очередь доходит до священных сосудов, во множестве стоящих вблизи алтаря. Пинком ноги вываливает краснорожий немецкий рыцарь содержимое большой серебряной раки. Мощи святого с сухим стуком падают на изразцовый пол храма. Каждому хочется побыстрее забрать добычу. Этой добычи много. Уже вводят в притвор храма и в самый храм лошадей и мулов, тянут их к самому алтарю, чтобы поскорее навьючить награбленное.

Увидел крестоносцев в своих стенах и древний храм героев, служивший усыпальницей византийским императорам. С треском сорваны крышки гробов, жадные руки крестоносцев обшаривают истлевшие трупы византийских властителей. Золотые украшения и кольца прячутся за пазуху. Вызывает изумление труп Юстиниана. Более шестисот лет его прах оставался неприкосновенным. Но изумление длится недолго, и спустя минуту гробницу обшаривают торопливые воровские руки.

Жадности нет предела. Сосуды и статуи тонкой работы ценятся на вес. Их ломают и делят, пренебрегая работой художника, замечательным искусством резца, красотой отделки. Большая медная статуя богини Юноны украшала площадь. Юнона разделила участь многих женщин столицы, погибших от рук крестоносцев. Ее изваяние разбили на куски. В немом ужасе следил за крестоносцами стоявший поодаль византийский летописец.

Огромный Геркулес отдыхал в позе печали и утомления. Голова льва, свисавшая с плеча героя, взирала на варваров своими застывшими медными глазами.

Один из рыцарей снял свой пояс. Этот пояс с трудом сошелся вокруг мизинца исполина. Еще минута — и варвары начали сокрушать Геркулеса ударами ломов.

Не оглядываясь, торопливой походкой, все ускоряя шаг, удалялся византийский историк. Он заткнул пальцами уши, чтобы не слышать невыносимых звуков разрушения. Перед его взором, застланным слезами, стоял обреченный Геркулес. Казалось, будто вместе с ним умирает старая культура Греции, созданная поколениями зодчих, ваятелей и поэтов.

* * *

Несколько раз менял папа Иннокентий III гнев на милость. Сурово осудил он крестоносцев, дерзнувших отклониться от своего пути в «святую землю». Но когда до него дошла весть о покорении Византийской империи, когда растерявшийся Алексей IV, ставленник крестоносцев, раболепно изъявил свою готовность подчинить Византию папскому престолу, Иннокентий смягчился.

Но вот докатились до Рима слухи о беспощадном разграблении храмов и церквей, о дележе добычи между рыцарями, и тогда разгневанный папа снова посылает свое негодующее послание: «Вы, не имея никакого права, ни власти над Грецией, безрассудно уклонились от вашего чистого намерения, устремившись не на завоевание Иерусалима, а на завоевание Константинополя, предпочтя земные блага небесным... И недостаточно вам было исчерпать до дна богатства императора и обирать малых и великих, вы протянули руки к имуществу церкви и, что еще хуже, к святыне, снося с алтарей серебряные доски, разбивая ризницы, присваивали себе иконы, кресты, реликвии для того, чтобы греческая церковь... усматривала со стороны латинян лишь изуверства и дела дьявольские и была бы вправе относиться к ним с отвращением, как к собакам, для того, чтобы она в силу этого отказалась возвратиться к повиновению апостольскому [папскому] престолу».

Автор этой беспощадной оценки — Иннокентий отлично понимал, что не случайные обстоятельства отвлекли рыцарей от выполнения намеченной «святой цели крестового похода». Он знал, что подлинной причиной, побуждавшей и расчетливого дожа и меднолобых рыцарей, была та настойчивая, неутомимая жажда добычи, которая скрывалась под покровом «святых» целей.

В бесславной повести четвертого крестового похода, в повести кровавых дел и насилий над мирным населением христианской страны с непреложной ясностью обнажается подлинная цель и сущность крестоносного движения, его грабительская основа.

Созданное чужеземными захватчиками на развалинах Византии государство (Латинская империя) оказалось недолговечным. Оно пало в результате народных восстаний, положивших конец временному господству чужеземцев над греческой землей.

ИБН БАТТУТА И ЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

О величайшем путешественнике XIV века говорят его собственные рассказы. Из них мы узнаем о необычайно продолжительных дальних странствиях во все концы света: и в знойную Сахару, и в страну белых снегов — Россию, и в сказочную Индию, и в малоизвестный тогда Китай.

Одинаково интересны и наблюдения и приключения Ибн Баттуты, передвигавшегося и на выносливом верблюде, и под парусом морского корабля, и на легких нартах, влекомых собачьей упряжкой, и в башне, водруженной на спину степенно шагавшего слона.

Чтобы во времена Ибн Баттуты стать путешественником, впервые прокладывающим пути в самые отдаленные и неведомые уголки мира, надо было соединять в себе редкие качества: неутомимую любознательность и личную отвагу, готовность упорно и терпеливо выносить любые лишения и мужественно преодолевать любые трудности.

Рассказывая охотно и подробно о чужих краях, морских течениях и ветрах, диковинных лесах и плодах, о нравах дальних народов, Ибн Баттута, к сожалению, хранил молчание о годах своего детства и юности, о той поре, когда в нем возникло и окрепло его влечение к путешествиям. Но если мы хотим понять, почему Ибн Баттута стал неутомимым путешественником, нам придется познакомиться с городом и портом, где рос смуглый и шустрый мальчуган, ставший исследователем дальних земель.

Родной город будущего путешественника

Итак, перед нами Танжер XIV века. И в древности и в средние века этот город был большим и многолюдным. Иначе и быть не могло. Ведь он расположен на юго-западном берегу Гибралтарского пролива, всего лишь в 15 километрах морского пути от Пиренейского полуострова, от мавританской Испании.

С незапамятных времен стоит Танжер у великих морских дорог на стыке Африки и Европы. Не только душой и помыслами, но и лицом своим он обращен к морю. Если отвести взор от причалов, перед глазами встанет господствующая над городом возвышенность Казба, а на ней дворец правителя и Великая мечеть,

облицованная отсвечивающим на солнце зеленым фаянсом. За ними в просветах густой зелени, виднеется крепостная стена, защищающая город от частых набегов воинственных берберских племен. Она отгораживает город и от засушливых степей и от знойного дыхания Сахары, как бы говоря, что Танжер повернулся спиной к раскаленному материку, чтобы жить морем, принимать его дары, его гостей, его новости.

Недаром финикийцы, основавшие этот город в начале первого тысячелетия до н. э., назвали его Тигисис, что означало «порт». Сюда доставлялись товары со всего арабского мира. И хотя здесь сохранились финикийские и римские древности: гранитные колонны, развалины римского водопровода, остатки построек, с уцелевшими кое-где латинскими надписями, — местных жителей и заморских гостей привлекали не памятники седой старины, а те места, где разгружают корабли, где отправляют грузы, где громоздятся бочки и тюки, где бьется пульс торговой жизни Средиземного моря.

Сюда из разных стран арабского мира стекались пришельцы: одни по торговым делам, другие в поисках заработка. Здесь можно было видеть полураздетых, почерневших от солнца крестьян — феллахов, религиозных проповедников, дервишей [1] и жонглеров, наемных стрелков, нищих. Все они двигались по узеньким немощеным улицам города. И в то время как одни из этих улиц были совершенно пусты, постоянное оживление царило на пути от порта к рынку, сердцу города.

Танжерский базар

По-восточному красочен яркий базар. Прибывшего сюда разом оглушает водопад звуков и ослепляет море пестрых красок. Смесь непонятных запахов кружит голову. Ухо начинает различать хриплые выкрики верблюдов, ржание мулов, нестройный оркестр птичьего базара, в котором участвуют гуси, куры и чирикающие обитатели всевозможных клеток.

С другой стороны рынка слышатся мычание коров и блеяние овец. С этими звуками сливаются человеческие голоса. Живность, яйца, хлеб, лепешки, мясо доставили на базар окрестные феллахи.

Ткани, ковры, металлические изделия, бусы, украшения, оружие заполняют торговые ряды.

Разнолика и разноцветна толпа: в ней степенные торговые гости, крестьяне, торговцы-лоточники, ротозеи, бродяги, нищие. Над ними горделиво возвышаются одетые в белое шейхи [2], невозму-

---

[1] *Дервиш* — нищенствующий мусульманский монах.

[2] *Шейх* — глава рода или общины, представитель высшего духовенства.

тимо сидящие на верблюдах или в резных, похожих на кресло, высоких седлах на гарцующих конях. По знаку шейха услужливый мальчишка мгновенно приведет к ним нужного торговца и подберет с земли монетку, которой его вознаградят за услугу. В толпе светлолицых и темнокожих, среди полосатых халатов, широчайших шаровар яркой окраски изредка мелькнет черное длинное до пят одеяние женщины, темное покрывало с прорезями для глаз, скрывающее ее лицо.

Все чем-то заняты, что-то покупают, что-то продают, высматривают и при этом спорят и неистово торгуются, кричат, бьют себя в грудь, клянутся, уговаривают. Ротозеи толпятся вокруг фокусников, певцов и музыкантов. Но их особенно много подле заклинателей змей, по шее и рукам которых скользят, извиваясь, живыми лентами эти чудовища.

Несутся жалобные стоны одетых в лохмотья нищих. Некоторые из них выставляют напоказ свои немощи, именем аллаха требуя подаяния.

В этом хаосе чувствуют себя как рыба в воде юркие, босые и полуголые мальчишки. Они не только приведут к шейху нужного торговца, они куда угодно сбегают, отнесут купленную кладь, сгибаясь под тяжелой ношей, подержат за узду лошадь или осла, принесут напиться. Нет, никто из них не ворует: они знают, что провинившимся отсекают руку, как велит Коран. И они честно зарабатывают монетку или лепешку.

В поисках заработка, мальчишки обходят весь рынок, где все кажется интересным. Хочется во все глаза поглядеть на товары оружейников, где поблескивают панцири и шлемы, на узоры ковров, на кузнечную лавку, где слышится стук молота у переносного горна. Не только любопытство гонит их из одних рядов в другие. Осведомленностью можно и торговать. Вон приезжий спрашивает, где торгуют кожевники. Надо взять его за рукав и привести куда следует...

Как и многие его сверстники, тоненький быстроглазый мальчуган, будущий путешественник Ибн Баттута часами находился на базаре. Он многое здесь повидал и многого наслушался. Здесь на свой лад преподавалась география. Не все плоды отведаешь, не всякий плод тронешь рукой, зато любой безошибочно отличишь по виду и запаху. А уж о том, где и как растут плоды, как и когда их собирают, об этом Ибн Баттута мог рассказывать с видом знатока.

Уже тогда его заинтересовала жизнь разных народов и он пытался разузнать о ней побольше. Ибн Баттуте некогда было скучать. С некоторых пор он проводил часть времени у муллы [1], который обучал мальчиков молитвам и начальной арабской грамоте.

---

[1] *Мулла* — служитель религиозного культа у мусульман, он же учитель.

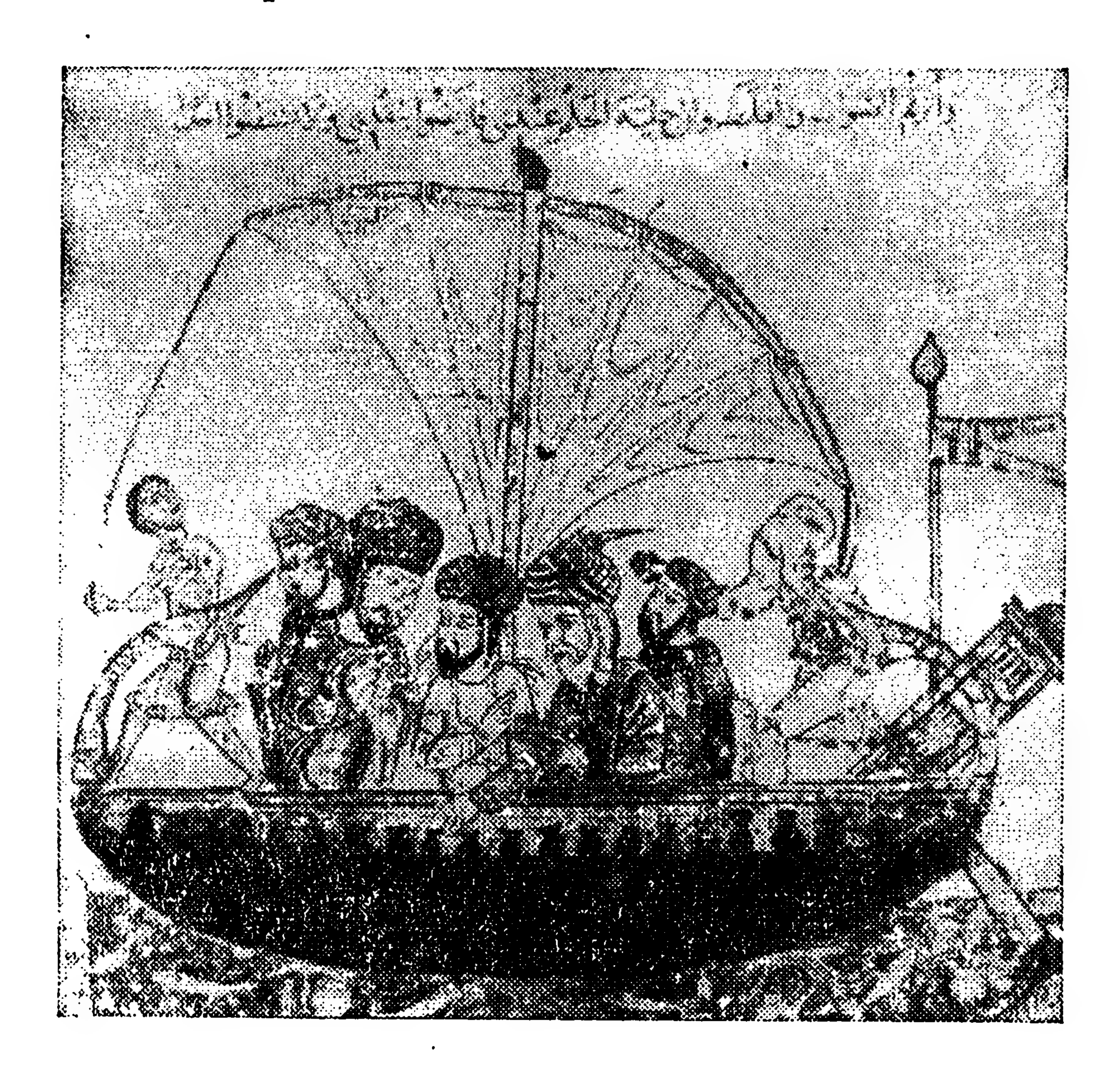
Мулла был добродушным стариком, но когда его ученики ленились, он, вздыхая, прибегал к розге.

Ибн Баттуте, обладавшему хорошей памятью, легко давалось и запоминание молитв и премудрость арабской грамоты. Он попрежнему проводил свободные часы на базаре. Однако его внимание все больше и больше привлекал порт. Рассуждая с самим собой, он оправдывал это тем, что в порту можно кое-что раздобыть, не хуже, чем на базаре. Оказывая услуги приезжим, можно поднести их кладь, помочь навьючить ее на спину осла, который вместе со своим хозяином поджидал приезжих вблизи причалов.

Зарождается мечта о путешествиях

Но дело было не в этом. Мальчику трудно было оторвать взор от моря, от покачивавшихся на волнах суденышек, от белых парусов, от бывалых моряков, каждое слово которых он ловил на лету. В порту можно было сделать интересное открытие — по клейму на бочках и тюках распознать, откуда, из какой страны прибыл товар. А разве по звучанию арабской речи нельзя было догадаться, являются ли новоприбывшие уроженцами Магриба (Западного Средиземноморья), жителями Аравии либо Палестины?

Вблизи порта тоже было много интересного. Вместе с товарищами Ибн Баттута обследовал странную полуразрушенную башню, увенчанную сверху плоской круглой площадкой... То была, как говорили, башня ученых звездочетов. Теперь она служила



Арабский корабль.

пристанищем летучим мышам, тогда как прежде мудрые грамотеи вели на ней наблюдение за Солнцем, Луной и звездами. Зачем и как они это делали?

Несколько раз Ибн Баттута с товарищами безуспешно пытались добраться до венчавшей башню площадки. Но каменные ступени верхней винтовой лестницы давно обвалились. До площадки нельзя было добраться, даже став на плечи товарища. Тогда Ибн Баттута решил вместе с другими мальчишками натаскать камней и по ним взобраться на такую высоту, с которой можно было бы прыгнуть на край заманчивой верхней площадки.

Но когда трудности были, наконец, преодолены, площадка сначала разочаровала мальчиков. Ее пол устилал густой слой пыли, лежавшей также на опоясывавшем ее барьере. Однако в этой пыли они заметили странные предметы. Они оказались почерневшей треногой и смятой трубой.

На одном конце этой продолговатой трубы сохранились остатки закопченного стекла, через которое старинные звездочеты когда-то терпеливо рассматривали солнце. Найденное сокровище перешло в руки мальчиков, и они долго спорили, кому и где его хранить.

Только при втором посещении башни Ибн Баттута заметил две надписи, вырезанные на каменном барьере, охватывавшем площадку. Их трудно было разобрать, так как некоторые буквы стерлись. Но прочитать было совершенно необходимо. То было не праздное любопытство, а властно требующая удовлетворения любознательность. И Ибн Баттута самым тщательным образом скопировал надпись, воспроизведя на гладкой доске все извилины ее вязи.

Эту доску он торжественно доставил мулле и попросил его разъяснить написанное. Пришлось, конечно, рассказать о посещении старой башни звездочетов. Мулла довольно быстро разобрал надпись.

— Хотя кое-что и стерлось, — сказал он, — но это старые пословицы, и я их знаю.

И, немного помедлив, снисходительно сообщил:

— Первая пословица гласит: «Перед тем, кто пускается в путь ради науки, аллах раскрывает двери рая». Вторая звучит так: «Чернила ученого столь же ценны, как и кровь мученика».

Посыпались расспросы, и мулле пришлось объяснить смысл обеих пословиц, означавших, что небу угодны ученые, которым за их труды и заслуги уготовано место в раю, куда они непременно попадут после смерти.

Ибн Баттуте особенно понравилась первая пословица. «Значит, — размышлял он, — аллах любит и ценит путешественников, которые едут в далекие земли, чтобы изучать и описать их...» С той поры эта пословица не выходила из его головы.

Может быть, путешественник Ибн Баттута появился именно тогда, когда его ребячьими помыслами овладела манящая даль, а старая пословица приобрела для него особый и значительный смысл.

Учение у муллы давалось Ибн Баттуте легко. Он был любознательный и старательный ученик, и ему редко доводилось получать подзатыльники и палочные удары, которыми учитель награждал нерадивых учеников за их ошибки. Однажды мулла обратился к Ибн Баттуте со следующими словами:

— Хаббиби [1], ты уже усвоил все, чему я могу тебя научить; милостью аллаха голова у тебя хорошая, и ты сможешь послужить ему. Тебе нужно пойти учиться в медресе [2], что находится там, на горе, при Великой мечети. В этой школе обучают большие знатоки ислама, которые могут открыть тебе истины мусульманской веры и посвятить во все науки. Я знаю, ты беден, но будешь хорошо учиться, тебе дадут одежду и пищу, получишь еще пару сандалий. Спроси у родителей, если согласятся, я тебя отведу туда.

Сообщив дома о предложении муллы, Баттута услышал возражения матери, говорившей:

— Как мы будем жить без тебя? Как раз тогда, когда ты уже можешь заняться торговлей на базаре, ты уйдешь от нас.

Сказав это, она заплакала.

— Молчи, женщина! — возразил отец, польщенный предложением муллы. — Если сын наш пойдет учиться и послужит аллаху, аллах нас не оставит, а на старости нам будет хорошо: сын займет должность писца или, еще лучше, кади (судьи).

Медресе

Велика была гордость муллы, когда мальчик выдержал вступительный экзамен и ему было приказано явиться в медресе утром следующего дня, сразу же после утренней молитвы.

Медресе представляло собой замкнутый двор, окруженный различными постройками — помещениями, в которых размещались комнаты для занятий и кельи, в которых жили учителя и ученики. Некоторые из предназначенных для занятий комнат были обширны, имели сводчатые потолки или даже купола, а их стены были украшены облицовкой. Кое-где пестрели разостланные на полах ковры. Но большей частью учебные помещения были полутемными и мрачными, плохо проветривались. Не было никакой мебели. Ученики и учителя по восточному обычаю сидели подогнув под себя ноги: учителя — на коврике, ученики — на полу.

---

[1] *Хаббиби* — дорогой, милый.

[2] *Медресе* — мусульманская духовная школа (см. ниже ее описание).

Окинув взглядом своих будущих товарищей, Ибн Баттута сразу же заметил их полное несходство. Они были совершенно различны по возрасту, одежде, повадкам. Наряду с подростками и безусыми юнцами бросались в глаза молодые и даже зрелые мужчины. Заметные различия объяснялись тем, что здесь собрались пришельцы из Гранады, Египта, Судана. Их смуглые лица резко отличались от темнокожих берберов и совсем черных суданских негров.

Каждый из сидевших на полу учеников был всецело поглощен заданным ему уроком. Одни заучивали молитвы, мерно покачиваясь и шевеля губами. Другие вполголоса читали нараспев стихи арабских поэтов. Некоторые шепотом произносили текст лежавших перед ними пергаментных рукописей[1]. Были и такие, которые бегло читали рукописные свитки[2], скользя взглядом по уже знакомым и не раз читанным строчкам.

Среди учеников медленно расхаживал помощник учителя, следя за порядком, наблюдая, чтобы голоса не звучали слишком громко и никто не мешал другому.

Баттута позднее понял, что при разнообразии изучаемых вперемежку предметов и кажущейся самостоятельности каждого ученика в этих занятиях соблюдалась строгая система. Все должны были изучать и молитвы, и произведения поэтов, и труды богословов и философов. Но рукописных книг было недостаточно, и одними и теми же свитками и книгами пользовались поочередно, задерживаясь на них столько, сколько требовали память и сообразительность.

Но в тот момент, когда растерянный и смущенный, он впервые вошел в учебное помещение, ему показалось, что здесь царит такой же хаос, как и на хорошо ему знакомом танжерском базаре. Внезапно раздался звук барабана, в который несколько раз ударил помощник учителя. Все головы поднялись. Отодвинув пергаменты, ученики приготовились слушать лекцию.

Учитель, до сих пор молчаливо сидевший с полузакрытыми глазами, стряхнул с себя дремоту и, оживившись, бережно взял в руки свиток Корана.

Прочитав суру (стих) Корана или ее часть, он останавливался, чтобы подробно разобрать содержание отрывка. Начиналось толкование прочитанного.

Седой учитель извлекал из своей неистощимой памяти суждения и мысли прославленных мусульманских мудрецов, толковавших смысл данных строчек Корана. Случалось, что эти мысли не совпадали. Ученики убеждались, что одно и то же место

---

[1] До того как бумага получила широкое распространение, материалом для рукописей служил пергамент — тонко выделанная телячья кожа, на гладкую поверхность которой писец пером наносил текст.

[2] *Свиток* — узкая полоса пергамента или бумаги, свернутая в трубку.

Корана понималось по-разному учеными людьми, которые в одних и тех же словах священной книги подчас видели различное содержание и на основании одних и тех же слов иной раз делали противоположные выводы.

С тем большим интересом воспитанники медресе следили за речью своего старого учителя.

Тот, сидя на коврике, то откидывался на прислоненные к стене подушки, то наклонялся вперед, то глубокомысленно поднимал кверху указательный палец, то недоуменно разводил руками, то, наконец, опускал их на колени поджатых под себя ног. Эти телодвижения, то плавные, то порывистые, производились в такт речи. Они как будто помогали учителю разбираться в размышлениях и доводах ученых знатоков Корана и подчеркивать, что именно в них правильно, а что кажется легковесным и ошибочным.

Сталкивая и сопоставляя мнения прежних истолкователей Корана, споря, возражая и соглашаясь с ними, опытный учитель все время заставлял своих слушателей задумываться, он учил их логике — умению соображать и строить выводы.

Лекция продолжалась до полудня. Потом все расходились по кельям, чтобы вернуться к занятиям, когда спадет дневной жар и минует час трапезы. Возобновившись, занятия продолжались до вечера, до призыва муэдзина[1] к пятикратной молитве.

Для Ибн Баттуты началась нелегкая жизнь. Его не тяготили занятия. Если толкования Корана казались скучными, то поэзия и начатки математики, а тем более астрономии и географии, вызывали острый интерес. Трудность заключалась в унылом затворничестве. Баттуте казалось, что он находится не то в тюрьме, не то на каком-то острове, оторванном от остального мира.

И когда прошло несколько лет, пришлось решать, оставаться ли ему в медресе для дальнейших занятий, открывавших путь к высотам мусульманского богословия, или покинуть его со скромным званием проповедника. Ибн Баттута избрал последнее. К счастью, можно было вполне чистосердечно сослаться на бедность родителей, ждавших сыновней поддержки, и распрощаться со школой.

По тогдашним обычаям деятельность проповедника можно было совмещать с занятием торговлей, и Ибн Баттута делил свое время между тем и другим.

Однако ни проповеди, произносимые в отведенном ему квартале Танжера, ни бойкая торговля не приносили удовлетворения.

Тот, похожий на мечту, зов неведомой дали, который он ощутил будучи мальчиком, теперь манил его с новой силой. Этому способствовали книги арабских географов, с которыми он позна-

[1] *Муэдзин* — служитель при мечети, с высоты минарета (башни) возглашающий, что наступил час молитвы.

комился в медресе. Описания заморских стран, встретившиеся ему в рассказах неутомимого путешественника X столетия — Масуди, не давали ему покоя. Однако ни друзьям, ни родным нельзя было признаться в задуманных планах.

Зато можно было, подобно сотням благочестивых мусульман, отправиться в Мекку, на поклонение святыням ислама. И Ибн Баттута решил начать с этого, заранее зная, что никто не посмеет ни осуждать, ни оспаривать необходимость такого путешествия.

В 1325 году, говорит сам Баттута, «решив расстаться со своими близкими, я покинул свою родину, как птица покидает свое гнездо. Отец и мать были еще живы, но все же я решил покинуть их, убитых горем». Ибн Баттуте шел тогда двадцать второй год.

Переход через Сахару

Ибн Баттута не преувеличивает, рассказывая о гóре, испытанном родителями при его отъезде в Мекку. Долог и опасен был тогда путь из Танжера, и многие невзгоды должен был перенести путешественник, прежде чем достигал цели путешествия.

Голод, жажда, болезни и всяческие напасти ждали его на всем пути. Опасность нападения грабителей и разбойников грозила путнику на каждом шагу, а по ночам его подстерегали хищные звери; днем приходилось терпеть невыносимый солнечный зной, а ночью — холод.

Особенно был опасен переход через пустыни Северной Африки. Не всегда спасал караван, к которому путник на время присоединялся: часто он-то и привлекал разбойников, и те нападали на него в надежде на богатую добычу. К этим неизбежным невзгодам прибавлялись и бедствия войны, довольно частой в то время. Горе путнику, если он попадал в ее зону. К тому же на дорогу требовались деньги и другое имущество, нужны были и средства передвижения.

Наибольшие трудности доставлял переход через безводные пески самой большой на земном шаре пустыни Сахары (от арабского слова «сахр» — пустыня), занимающей почти всю Северную Африку. Над песками этой пустыни тогда не перелетали на самолетах и вертолетах, как это делается теперь. Не было и железных дорог, пересекающих ныне различные ее части. Как тысячу лет назад, как много сотен лет позднее, вплоть до конца XIX века, единственным средством передвижения через Сахару был «корабль пустыни» — верблюд. Караван верблюдов, навьюченных поклажей с сидящими на них всадниками, часто сопровождался примкнувшими к нему пешими путниками, слишком бедными для того, чтобы внести свою долю в расходы по снаряжению каравана.

Вереница нагруженных верблюдов и пешеходов мерно двигалась от оазиса к оазису. Передвижение казалось медленным, хотя

путники спешили, чтобы поскорее раскинуть свои шатры у колодца под тенью пальмы. Шедшие с караваном люди мечтали об отдыхе, в котором нуждались и терпеливые животные.

Пристав к попутному каравану, Ибн Баттута двинулся по камням и ухабам пролегавшей через Сахару древней дороги. Караван шел, никуда с нее не сворачивая — ни вправо, ни влево от следов тысячелетней колеи, несмотря на соблазн сойти на гладкую и ровную поверхность бесконечной песчаной целины, по которой, как порой казалось, пролегал кратчайший путь.

Путники знали, что заманчивая целина обманчива и несет гибель всякому, кто отклонится от следов колеи.

Много поколений путешественников погибло, пока эта колея была натоптана, и если ветер пустыни наметал на нее песок, ее непременно надо было нащупать. Отыскать заметенную колею помогали и верблюды, каким-то чутьем определявшие ее местонахождение.

По дороге все молчали, плотно сжав потрескавшиеся от зноя губы, чтобы не глотать раскаленный, смешанный с пылью воздух. Молчал и Ибн Баттута. Вдруг на горизонте сквозь волнистое марево путники нежданно увидели ясно обрисовавшуюся темную зубчатую стену, напоминающую очертания пальмовой рощи.

— Смотрите, скоро отдых и вода, слава аллаху! — стали кричать впервые идущие через пустыню путешественники.

— А вы посмотрите, приблизимся ли мы к этой пальмовой роще при нашем дальнейшем продвижении или нет. Увидите, что нет!

— Это злая насмешка дьявола — мираж! [1] Такой мираж — самый опасный враг неопытных и легковерных путешественников, — ответил предводитель каравана.

Ибн Баттута знал из книг о миражах в пустыне. Поэтому он раньше своих спутников понял, что следует верить не собственным глазам, а трезвым словам предводителя каравана. Понял, несмотря на то что в тени было свыше 50 градусов жары и мучительно хотелось верить в близость воды и отдыха. На протяжении дальнейшего пути Ибн Баттуте и его спутникам не раз встречались миражи.

После захода солнца приходилось надевать теплую одежду, так как песок, камни, а с ними и воздух быстро остывали, а жара сменялась пронизывающим холодом. Ночью издали доносился протяжный голодный вой шакалов.

Беспокоили неведомо откуда идущие шорохи. Нервы были напряжены, и страх умереть, не достигнув цели, был велик.

Сам Ибн Баттута описывает свой переход через Сахару следующим образом: «Мы провели в Текказе (оазис в пустыне) десять неприятных дней перед тем как пересечь лежащую за ним пусты-

---

[1] *Мираж* — обманчивое видение.

ню, переход которой занимает десять ночей, причем воду нигде не встретишь». Путники обычно «шли впереди каравана и, когда обнаруживали подходящее место, пасли животных. Так продолжалось до тех пор, пока мы потеряли одного человека из нашей группы. После этого я уже никогда не уходил вперед и не замыкал караван».

Как видим, тому, кто отрывался или отставал от каравана, грозила гибель.

«Продолжая переход через Сахару,—рассказывает дальше Ибн Баттута, — мы прошли в Тасарало — место, где текут подземные ручьи и останавливаются караваны. Наш караван отдыхал здесь три дня. Мы починили тут бурдюки, наполнили их свежей водой, обшили их чехлами из грубой ткани, чтобы защитить от ветра. С этого места обычно отправляют такшифа — так называют человека из племени массуфа, которого нанимают погонщиком каравана для того, чтобы он поехал в Валату с письмом к друзьям, а те приготовили бы заранее жилища для путешественников. Эти люди выходят навстречу каравану на расстояние четырех дней пути и приносят с собой воду... Часто случается, что такшиф погибает в пустыне, и тогда жители Валаты ничего не знают о караване, и в результате весь он или бо́льшая его часть погибает».

Путешественники оказывались не только жертвами суровых испытаний, но также и собственных суеверий, рожденных невежеством. Пустыня вселяла страх своими миражами. Обманчивые видения приписывали козням злых духов и дьяволов. Ибн Баттута был суеверен, как и все его современники, и гибель людей в пустыне он часто объясняет происками дьяволов пустыни.

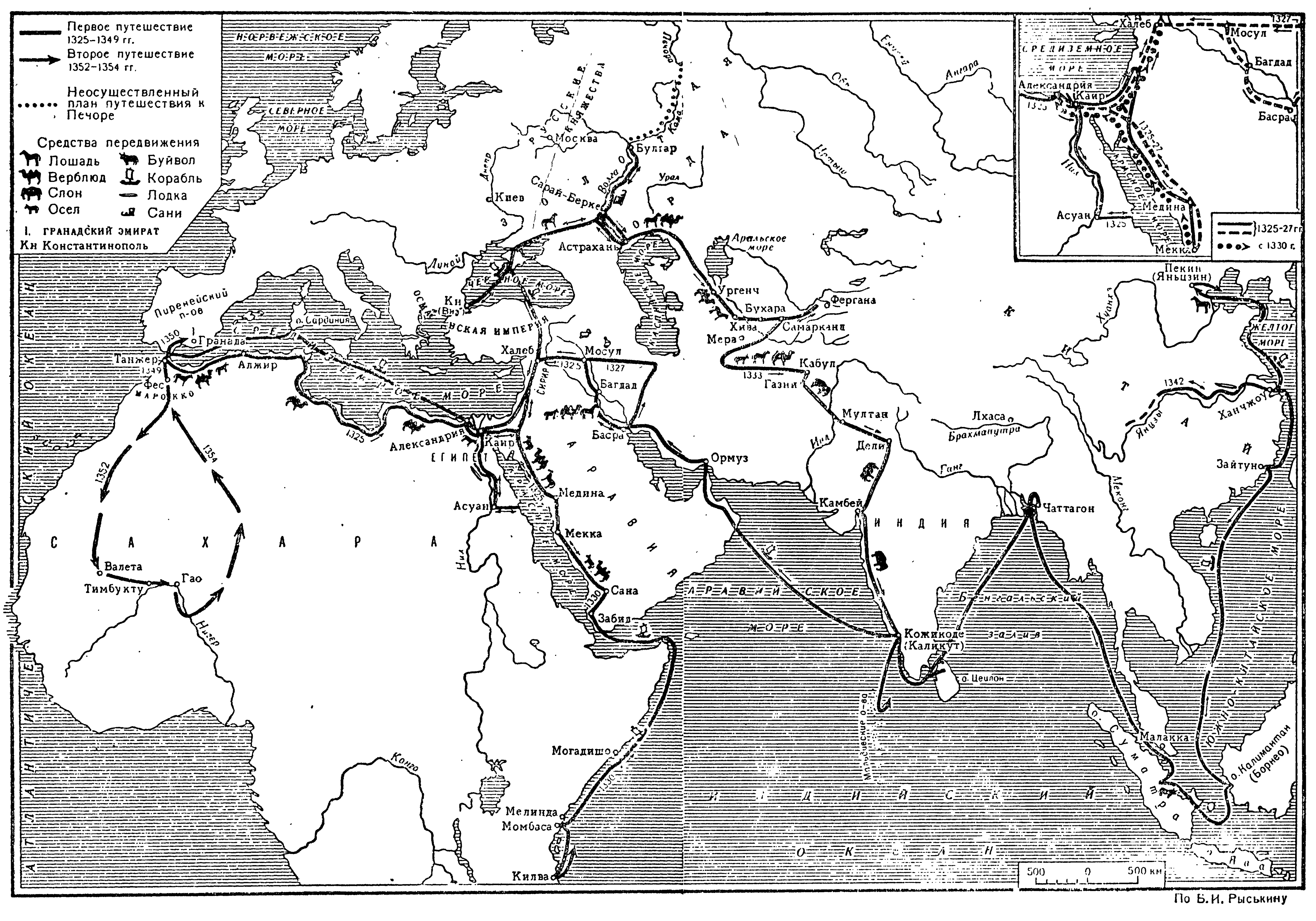
«В этой пустыне,— пишет он, — проживает множество дьяволов, и если такшиф идет один, они мучают его — затемняют его рассудок так, что он сбивается с пути и погибает, ибо здесь нет никаких дорог, ничего, кроме песка, несомого ветром. Вы видите песчаные холмы в одном месте, оглянетесь, и оказывается, что они передвинулись в другое место».

Мекка

Благополучно пройдя Северную Сахару с запада на восток, Ибн Баттута направился в Египет. Побывав в Александрии и Каире и ознакомившись с этими оживленными городами, с их шумными базарами, он поднялся вверх по Нилу до Асуана [1], а от Асуана повернул к Красному морю. Дойдя до побережья, он надеялся морем попасть в Аравию. Но это ему не удалось из-за неожиданного препятствия: там шла война восставших племен против египетских

---

[1] *Асуан* — город на юге Египта, на правом берегу Нила, место, где в наши дни с помощью Советского Союза возведена гигантская плотина.



Карта путешествий Ибн Баттуты.

властей. Пришлось вернуться в Нижний Египет и попытаться попасть в Мекку другим, более сложным путем — через Палестину.

Наконец путники прибыли в Мекку. Опоясанная грядой холмов, у источника слегка солоноватой воды расположилась Мекка.

После недолгого отдыха Ибн Баттута со спутниками поспешили к заветной святыне ислама — храму Каабы. На низком мраморном фундаменте в 25 *см* покоилось пятнадцатиметровое здание, сложенное из гладко отесанных глыб местного серого камня. Обращенные в разные стороны углы храма назывались йеменским, иракским и сирийским, и только один из них именовался черным, так как подле него находился вделанный в стену «священный» черный камень. То был кусок вулканического базальта, будто бы сброшенный с неба как знак божьего расположения к арабскому народу.

На протяжении одиннадцати месяцев Кааба скрыта от взоров плотной завесой черной парчи, специально доставлявшейся из Египта. Лишь когда наступал святой месяц паломничества, Каабу обряжали в наряд из белой парчи, а разодранные куски прежней черной парчи покупали на вес золота и сберегали благочестивые паломники.

Немалые для него деньги пришлось заплатить за один из таких кусочков и Ибн Баттуте. Вместе с другими он, по обычаю, семь раз обошел Каабу и благоговейно, как и все паломники, припал устами к черному камню.

Внимание его друзей привлекла дверь Каабы, расположенная на высоте двух метров от земли. Один из спутников спросил привратника: «Как войти в эту дверь?» — и получил ответ: «Жди дня, когда пророк удостоит правоверных войти в святилище. Тогда подкатят деревянную лестницу и, если ты заслужил божью милость, то взберешься по ней и войдешь во имя аллаха». Ибн Баттута укоризненно посмотрел на вопрошавшего. Как проповедник, учившийся в медресе, он хорошо знал, что доступ во внутреннее помещение Каабы открывается, как только заканчивают накладку на нее белого праздничного чехла.

Поэтому в положенный день он после омовения окрасил свои ногти, умастил тело благовониями, облекся в одежду, не имевшую ни одного шва и состоявшую из сплошного куска ткани, обернутого вокруг тела от пояса до колен, и из шали, прикрывавшей часть левого плеча, шею и грудь и завязанную на правом боку. С непокрытой головой он ждал, пока со стены минарета не раздались пронзительные выкрики. Под эти возгласы толпа паломников ожила, дрогнула и двинулась к мечети. Вместе с другими Ибн Баттута поднялся по лестнице и вошел в святилище. Он увидел три деревянные колонны, поддерживавшие кровлю, выложенный мраморными плитами пол, множество светильников, озарявших пустое помещение, вязь надписей на стенах, глубокую нишу в конце зала, а рядом с нею кафедру для проповедника.

Началось богослужение, во время которого все простерлись ниц. За ним последовала проповедь, которую Ибн Баттута старался запомнить, чтобы впоследствии повторить как можно точнее.

Однако ни посещение Каабы, ни поездка в Медину, к могиле Мухаммеда не помешали Ибн Баттуте заняться торговлей, которая была особенно оживленной именно в месяц паломничества, когда множество иноземцев наводняли Мекку. Располагая очень небольшими деньгами, Ибн Баттута ухитрялся завоевывать доверие и вступать в компанию с зажиточными купцами, ценившими его советы и находчивость. Раньше других узнавая о прибытии диковинных товаров из дальних стран, он тут же находил покупателей и получал свою долю от каждой сделки. За несколько недель он, на диво менее догадливым, нажил изрядное состояние.

Завершив паломничество, Ибн Баттута решил пока оставаться в Мекке, чтобы оттуда на правах либо проповедника, либо торговца отправиться в ближние и более отдаленные страны. Живя в Мекке, Ибн Баттута собирал сведения о различных странах, мусульманских и немусульманских. Разведав необходимое, он прежде всего направился в Северную Аравию, а оттуда через Басру в Персию, из которой возвратился новой дорогой — через Мосул и Турцию. Это сложное путешествие познакомило его с Месопотамией и Палестиной. Последовавшее затем двухлетнее пребывание в Мекке было не просто передышкой. Оно понадобилось не только для того, чтобы разузнать о предстоящих дорогах и условиях проезда. Именно в Мекке, где скрещивались пути тысяч арабов и иноземцев, можно было легче всего узнать, в каких товарах нуждается та или иная страна и каковы там цены на них. Все это улавливал и твердо запоминал общительный, разговорчивый выходец из Танжера.

Прибывший оттуда паломник едва ли признал бы земляка в степенном, богато одетом и уверенном купце. За несколько лет Ибн Баттута сильно изменился. Это произошло благодаря его наблюдательности, расчетливости, изворотливости, умению быстро принимать решения. Отныне Ибн Баттута отправлялся в дальние края не скромным паломником, а хозяином большого каравана. С ним ехали его жены и дети, рабы и рабыни. Вооруженная охрана сопровождала перевозимые товары, а с ними и тщательно подобранные подарки.

Ведь только с помощью подарков удавалось преодолевать постоянно возникавшие препятствия и смягчать сердца суровых правителей и их приближенных. Ибн Баттута был сыном своего времени. С детства изведав нужду и лишения, он торопился избавиться от них навсегда и как можно скорее.

Он знал, что беднякам приходится подавлять свои желания, отказываться от смелых намерений и заветных планов. А между тем всеми помыслами его владела мечта о далеких землях, о проникновении в чужие края, об изучении природы и нравов неведомых

стран. Бедным паломником, с именем аллаха на устах можно было примкнуть к каравану, идущему в Мекку.

Но здесь, в этом священном городе для бедняка обрывались все дороги. Путь отсюда в ближние и отдаленные земли был доступен только богачу. И с бесповоротной решимостью Ибн Баттута пустился в торговые затеи, стал оборотистым купцом, находчивым и ловким.

Богатство было для Ибн Баттуты не целью, а средством, той волшебной палочкой, с помощью которой он превращал мечту о путешествиях в действительность. И он пренебрегал всякими сомнениями о честности или бесчестности своих поступков и, не смущаясь, пользовался трудом рабов. Разве Коран не оправдывает рабство? Ну, а то, что допускает Коран, дозволено каждому мусульманину!

Ни Ибн Баттута, ни люди его времени даже не могли себе представить, что наступит такая пора, когда путешественники будут отправляться в далекую дорогу на средства государства или научных обществ. Такая возможность не могла им прийти в голову.

Путешествие в Йемен

В 1330 году Ибн Баттута направился в Йемен. Эта страна еще в древности считалась счастливым уголком Аравии, сплошным оазисом, благодатным краем плодов и злаков. Но ко времени путешествия Ибн Баттуты внутренние раздоры и нападения соседних племен привели к разрушению искусственной системы орошения, на которой покоилось все богатство этой зеленой страны. Лишь двум городам Йемена — Сане [1] и Забиду [2] удалось защитить от разрушения колодцы и каналы. Посетив Забид, Ибн Баттута писал с восхищением: «Этот город расположен среди орошаемых проточной водой роскошных садов, где зреют разнообразные фрукты, например бананы. Горожане обходительны в манерах, а горожанки невыразимо прекрасны».

Господствуя над проливами Красного моря и контролируя всю торговлю в этом районе, купцы Саны и Забида смело выходили в Индийский океан и участвовали в торговле, связывавшей Африку с Индией и Китаем.

Отважные пираты, они пересекали огромные просторы соленых вод, разделявшие Южную Аравию и Западную Индию. Их корабли ходили вдоль восточного побережья Африки и посещали расположенные там города: Килва, Кисивани, Сонго и другие.

Здесь, среди коренного африканского населения издавна селились арабские поселенцы, частью смешавшиеся с местным населе-

---

[1] *Сана* — расположена в плодородной горной долине центральной части Йемена, всегда играла важную роль в торговле.

[2] *Забид* — лежит на западе Йемена, близ Красного моря.

нием. Благодаря этому здесь сложился новый язык суахили — соединение арабского с языком тамошних африканских племен. Население восприняло арабскую письменность, и немалая его часть перешла от язычества к исламу.

Из Восточной Африки вывозили железо, золото и различные товары. Растущий спрос на них вызывал к жизни новые города, один из которых, Килву, описал посетивший его Ибн Баттута.

Вот что он рассказывает о своем путешествии к восточноафриканскому побережью. «И вот я сел на судно, направлявшееся к стране санхилей и к городу Кулуа (Килва) в стране зинджей. Мы прибыли на остров Монбас (Момбаса) — большой остров, лежащий в двух днях плавания от страны санхилей... Потом вышли в море и поплыли к Кильве, большому городу на побережье, где проживают в основном зинджи, отличающиеся необычайно черной кожей».

Ибн Баттута собирает сведения о путях, ведущих в соседние страны и города. Возвратившись в Мекку, он подготавливает новое путешествие.

Золотая Орда и поездка в Константинополь

Арабы распространили свое влияние не только на Африку и Азию, но и на восток Европы — Крым и Поволжье, где они вели торговлю и насаждали мусульманство. Хотя Ибн Баттута обо всем этом немало слышал, он был не из тех, кто может удовлетвориться сведениями, почерпнутыми из чужих рук. Он сам хотел все видеть. Так возник замысел путешествия в Золотую Орду.

Шел туда Ибн Баттута обычным для арабских купцов путем, через Египет и Сирию в Крым, оттуда реками в Астрахань, где начинался долгий путь вверх по Волге. В Астрахань наш путешественник прибыл к зиме и оказался тут в непривычных климатических условиях. Волгу сковал лед, холод казался совершенно невыносимым после тропического зноя Африки.

Однако Ибн Баттута, впервые увидевший снег и лед, и не думал возвращаться обратно. Подобрав бывалых спутников, он двинулся санным путем по белой скатерти Волги к северу, навстречу еще большим морозам. Сани останавливались перед громадами снежных заносов. Буран, разгулявшись на просторе, не раз заносил всю вереницу саней. Во мгле рано наступавших зимних ночей то справа, то слева зажигались мерцающие огоньки волчьих глаз, и голодный волчий вой предостерегал путников. Но трепетавшее на ветру пламя смоляных факелов, водруженных на нескольких санях, отпугивало хищников и не позволяло им приближаться.

Наперекор холоду, вьюге и заносам полузамерзший арабский путешественник прибыл в тогдашнюю столицу Золотой Орды Новый Сарай.

«Город Сарай, — писал он, — один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины на ровной земле, он переполнен людьми, имеет красивые базары и широкие улицы».

В Сарае неутомимый Ибн Баттута, быстро оправившись от невзгод зимней дороги, принялся торговать доставленными сюда товарами и внимательно знакомился с жизнью и порядками Золотой Орды.

Будучи принят самим ханом, он завоевал его доверие и расположение и взялся выполнить одно деликатное поручение хана. Речь шла о том, чтобы с соблюдением необходимых почестей доставить византийскому императору его дочь — одну из жен хана, которую он решил возвратить ее отцу. Это поручение сулило Ибн Баттуте не только благодарность хана, но также и ознакомление с Балканским полуостровом и знаменитой столицей Византии — Константинополем.

Успешно выполнив поручение, Ибн Баттута возвратился в Сарай, где благодаря ханскому покровительству укрепилось его положение. Теперь, опираясь на поддержку хана, он предпринял поездку из Сарая в Булгар Волжский, стоявший при впадении Камы в Волгу.

Здесь он разрабатывает новый маршрут в заманчивые для него лежащие на Печоре земли, богатые ценными мехами. Об этой загадочной стране арабские путешественники говорили как о «стране мрака». «Путешествие туда, —пишет Ибн Баттута, — занимает 40 дней пути. Оно совершается на маленьких повозках, которые везут большие собаки. Ведь в этой пустыне везде лед, на котором не держатся ни ноги человеческие, ни копыта скотины... Но туда проникают богатые купцы, и у иного из них около 100 повозок, груженных съестными припасами, напитками и дровами».

Далее дотошный Ибн Баттута переходит к ценам на собак, способу обращения с ними, описанию упряжки и кормления, а затем и к порядку закупок драгоценных шкурок соболя, белки и горностая.

Ибн Баттута терпеливо выясняет и записывает все подробности, которые могут оказаться полезными если не ему, то какому-нибудь другому арабскому купцу. Но его интересуют не только условия и особенности торговли. Вместе с жаждой наживы в нем живет и настойчивый интерес путешественника и географа к неведомым странам и незнакомым народам. И мы находим у него такую запись: «В одном дне пути от Сарая находится город русских, они — христиане, красноволосые, голубоглазые».

В Булгаре Волжском

На волжских и камских берегах старинные курганы хранят следы былых столетий. Археологи находят там клады монет и среди них немало арабских дирхемов. Вплоть до конца XIV века ры-

нок Булгара играл большую роль в торговле всей Восточной Европы с сопредельными странами. Сюда ежегодно стекались не только арабские, но также и калмыцкие, туркменские, узбекские купцы. Всех их пленяли прославленные меха, которые всего легче было купить на рынке Булгара, куда их доставляли охотники и скупщики охотничьей добычи, сборщики «мягкого ясака» — дани, которую покоренные племена были обязаны платить мехами.

К устью Камы пушнину привозили из печорского края, с Урала, из Сибири и лежавших к западу от Волги русских княжеств.

Подобранные иноземными купцами шкурки вывозили в отдаленные страны Востока, где их продавали втридорога.

Ибн Баттуту поразила дешевизна мехов на рынке Булгара. Он отмечает, что за шубу из горностая, легкого, совсем не теплого и чисто декоративного меха, в Индии платят 1000 динаров, и тут же поясняет, что это соответствует 250 марокканским динарам. Однако расчетливого купца как бы перебивает увлеченный поисками познаний географ. «Я слышал рассказы о Булгаре, — пишет он,— мне захотелось отправиться туда, чтобы собственными глазами узреть то, о чем мне рассказывали: увидеть в этом городе необычно короткую ночь в одно время года и небывало короткий день в другое».

Мечта увидеть изменчивые дни и ночи загадочного Севера не покидает выходца из Танжера, где почти незаметна смена времен года. Если Ибн Баттуте так и не довелось увидеть северное сияние и белые ночи, то особенности зимнего путешествия он снова испытал на себе уже не на низовьях Волги, а вблизи Камы: «Было это во время сильной стужи. Я одел три шубы, из которых одна была подбита мехом. На ногах у меня была шерстяная обувь, поверх нее обувь, подбитая холщовой материей, и сверх этого «бургали» — сапоги из конской кожи, подбитой снизу волчьей шкурой. Вблизи огня я умывался теплой водой, но вода тут же замерзала и в моей бороде застревали льдинки, а то, что течет из носу замерзало на усах. Из-за множества одежд, напяленных друг на друга, я был даже не в состоянии влезать в арбу, высокобортную телегу, и моим спутникам приходилось меня подсаживать».

На пути в Индию

На Севере Ибн Баттута обогатил свои познания и пополнил свой кошелек. И хотя в его распоряжении не было нужных географических карт, он отчетливо представлял себе маршрут нового большого путешествия, о котором он размышлял, слушая завывание метели в долгие зимние вечера, проведенные в Булгаре.

Сотни расспросов, множество запомнившихся данных понадобились для того, чтобы мысленно начертать линию пути, ведущего от берегов холодной Камы к пальмовым лесам Индии.

Но вот уже вереница лодок везет нашего неутомимого путешественника вниз по Волге, к бурным водам Каспия. Там он высаживается в кипчакских степях — в нынешнем Западном Казахстане. Оттуда, минуя Аральское море, путь ведет в среднеазиатские эмираты: Хиву, Бухару, Фергану, затем через Хорасан в Афганистан и, наконец, в Индию, о которой он так много слышал во времена своего путешествия в Восточную Африку.

То, о чем здесь сказано в нескольких строчках, было длинным и смелым предприятием, которое измерялось месяцами и требовало терпения и упорства. Больше всего Ибн Баттуте понравился тогдашний Хорезм: «Это один из самых больших и красивых тюркских городов,— пишет он, — богат славными базарами, просторными улицами, многочисленными постройками, отборными красотами. Он, точно волна морская, словно колеблется и волнуется, если смотреть издали на пестрые толпы его жителей».

Особенно пленила нашего путника знаменитая хорезмская дыня. «Подобного хорезмской дыне нет ничего на свете, — говорит этот знаток плодов и тут же добавляет: — За исключением бухарской дыни, за которой следует исфаганская!»

Восемь лет прошло со дня выезда Ибн Баттуты из родного Танжера. Повидав за это время разные страны и народы, пройдя много путей по морям, рекам и суше, наш путешественник не переставал считать Индию той сказочной страной, которую он раньше или позже должен внимательно изучить, проверить баснословные рассказы арабских купцов, отделить истину от вымысла, чтобы в свою очередь послужить и науке и собственным соотечественникам достоверными записями и точными сведениями.

Путешествие по Индии

После многих мытарств Ибн Баттута в Индии. Его глазам открылись морское побережье страны, ее острова, ее растительный и животный мир, ее древние города и храмы с их чудесами древней архитектуры. Он узнает населявшие Индию народы с их верованиями и обычаями, государственными порядками, земледелием, ремеслом и торговлей. Все привлекает его внимание, все он тщательно изучает.

Среди населявших Индию народов было много арабов. В Индии они стали селиться еще в VII веке. Ко времени прибытия Ибн Баттуты в стране насчитывалось немало арабских поселений, особенно в городах южноиндийского побережья. Велика была их роль в хозяйстве, культуре, политике и религии этой страны. Через арабских купцов осуществлялись торговые связи Индии с Востоком и Западом. Арабы способствовали распространению ислама [1] во многих провинциях. Было много мечетей, усвоены были и араб-

[1] *Ислам* — мусульманская религия.

ские обычаи. Арабы становились министрами, посланниками, военачальниками, флотоводцами, сборщиками налогов и другими чиновниками у раджей [1], которые их охотно принимали на службу. Раджи были неограниченными властителями находящихся в их подчинении провинций.

Ибн Баттута понимал, что успех его путешествия прежде всего зависит от этих капризных и своевольных правителей. Но у него был опыт и он знал, как угождать им.

О своем пребывании у одного пенджабского эмира [2] Ибн Баттута рассказывает следующее: «Когда я посетил его, он (то есть эмир) взял меня за руку и посадил рядом с собой. Я принес ему в дар раба, коня, немного изюма и миндаль... это самые ценные из всех подарков... ибо изюм и миндаль здесь не встречаются».

Установив добрые отношения с эмиром, путешественник обеспечил себе дальнейший путь в Дели, который продолжался 40 дней и пролегал среди превосходно возделанных полей.

В столицу Индии его сопровождали придворный и проводник, взявшие с собой, как он рассказывает, «20 поваров». Продукты для приготовления пищи они добывали, обирая население. «Чтобы приготовить еду и все необходимое, придворный ночью выезжал к нашей стоянке», — сообщает Ибн Баттута.

По дороге с Ибн Баттутой произошел чуть было не погубивший его случай.

Ибн Баттуте грозит смерть

Уже приблизившись к цели путешествия, он из любопытства решил посетить одного отшельника, жившего в пещере, которую тот сам для себя выкопал в окрестностях Дели.

Ознакомившись с жизнью отшельника и осмотрев пещеру, Ибн Баттута прибыл в Дели и направился к султану [3] во дворец. Но оказалось, что к этому времени султан приказал арестовать отшельника за какую-то провинность. «Когда султан заключил отшельника в тюрьму, он спросил его сыновей, кто посещал его, — рассказывает Ибн Баттута. — Они назвали ряд лиц, среди них и меня».

Ибн Баттуту задержали в приемном зале дворца. Много при этом он натерпелся страхов, так как «если повелитель кем-либо недоволен, то вызвавший неудовольствие вообще очень редко остается в живых». Десять томительных дней просидел под арестом Ибн Баттута, так как султан в это время болел, и некому было решить его судьбу. Спасло его лишь то, что на десятый день его ареста султан внезапно умер.

---

[1] *Раджа* — князь в средневековой Индии.

[2] *Эмир* — титул правителя края или области в мусульманских странах.

[3] *Султан* — наследственный титул монархов в некоторых мусульманских странах. Власть султана неограничена.

Новому делийскому султану Мухаммеду Туглуку (1325—1351) понравился арабский путешественник, умевший, как мы знаем, обворожить своими вкрадчивыми речами и произвести прекрасное впечатление своими познаниями и осведомленностью о множестве дел и вопросов, способных заинтересовать правителя.

На службе у делийского султана

Новому монарху, желавшему подчинить себе мелких князей своей страны, советы и широкая осведомленность освобожденного пленника показались очень полезными, и он стал возлагать на Ибн Баттуту важные поручения. Его посылают к эмирам (правителям) разных областей страны: он отвозит им подарки, ведет переговоры, судит, собирает деньги, войско и т. д. Много раз он плавает по морю, подвергается нападениям пиратов, терпит кораблекрушения и не раз теряет имущество.

В сообщении о своей поездке в Малабар Ибн Баттута рассказывает, что дорога проходит все время в тени деревьев. «Через каждые полмили стоит деревянный дом с нарами, и там могут располагаться странники — как неверные, так и мусульмане... Вдоль этой дороги... нет даже малых клочков невозделанной земли, не говоря уже о больших участках... У каждого свой сад, посередине которого стоит дом... Чаще всего богатые жители путешествуют в паланкинах [1], которые несут на плечах рабы или наемные слуги. У кого нет паланкина, тот идет пешком... Я никогда не видел дороги, более безопасной, чем эта, ибо индийцы убивают всякого, кто осмелится взять хотя бы один орех».

Путешественника поразило обилие высоко ценимых арабскими купцами корицы и красного дерева. «Здесь вдоль реки растут только коричные и красные деревья. Их используют там на дрова».

Рассказывает Ибн Баттута и о сказочных индийских рубинах, украшавших слонов индийской знати. «На лбу белого слона я видел семь рубинов, из которых каждый был больше куриного яйца, а у султана я приметил ложку из драгоценного камня величиной с ладонь, в которой находилось масло алоэ. Я очень удивился этому, но он сказал мне: «У нас есть вещи еще большей величины».

Перелистывая страницу за страницей записи выдающегося арабского путешественника, мы как бы слышим в его голосе нескрываемое восхищение, с которым он описывает блеск султанского двора и сказочную роскошь, окружавшую каждого эмира и раджу. Его интересуют правители, землевладельцы, купцы, богачи — те, кто, развалясь возлежат в парчовом паланкине.

Мечтавший о богатстве и наконец разбогатевший Ибн Баттута забыл о своем голодном детстве, о бедных родителях.

---

[1] *Паланкин* — нарядные крытые носилки.

В его рассказах перед нами сказочная Индия предстает как сверкающая сторона медали, но беглые, мимоходом сделанные невольные упоминания рабов или носильщиков раджи ясно доказывают, что Ибн Баттута не останавливал своего внимания на оборотной стороне медали: нищете пахарей, бесправии рабов — на той тяжкой цене, которой оплачивались блеск и внешнее великолепие сказочной Индии.

Люди, которые, обливаясь потом, трудились на полях и в мастерских, интересовали его куда меньше, чем плоды, ценные породы дерева, драгоценные камни и ткани, то есть те вещи, в которых он видел товары.

Погоня за купеческой наживой занимала слишком большое место в его жизни. И хотя первоначально она служила лишь средством для того, чтобы путешествовать, она постепенно наложила печать на Ибн Баттуту. Его ценные наблюдения оказываются односторонними и ограниченными. Они обрываются именно там, где нам хотелось бы узнать из его записей побольше и поподробнее не о сказочной Индии чудес и драгоценностей, а, напротив, о трудовой Индии, о тех, кто эти ценности создавал.

Путешествие в Китай

В 1342 году Ибн Баттута в роли султанского посла должен был посетить Цейлон и уладить с Китаем пограничные споры, грозившие войной. Но, разумеется, Ибн Баттута не был бы самим собой, если бы ограничился посещением Цейлона, не побывав на островах Индонезии. К тому же в те времена ни один правитель не смог бы заранее учесть, сколько времени потребуется его послу для деловой поездки и переговоров.

Ухитрившись познакомиться с Суматрой и другими островами, он невольно задержал свое прибытие в Китай. Пылкая любознательность географа оказалась сильнее исполнительности дипломата.

И все же переговоры на Цейлоне были успешно проведены. Из Индонезии легкая джонка доставила Ибн Баттуту в китайский порт Зайтун на берегу Восточно-Китайского моря. Оттуда он в течение 27 дней плыл по крупнейшей реке Китая Янцзы, знакомясь, по своему обыкновению, со страной и не торопясь сесть за стол переговоров. Наконец через Ханчжоу путешественник достиг Пекина.

В своей книге Ибн Баттута кратко замечает, что «Китай мне не понравился, хотя там много прекрасного». Была ли эта оценка связана с тем, что в Китае он не обнаружил мусульман, вызывалась ли она запоздалым и не очень успешным выполнением основного дипломатического поручения или какими-то иными причинами, сказать трудно!..

Пребыванием в Индии и посещением прилегающих к ней стран завершилось первое, длившееся 24 года, путешествие Ибн Батту-

ты. На востоке он дошел до Тихого океана, на юге до современного Мозамбика, на севере до Булгара. В 1347 году, когда уже не было в живых султана, который ему покровительствовал и сам делийский султанат явно клонился к упадку, Ибн Баттута возвратился на родину. На обратный путь он затратил два года, прибыв в Танжер в 1349 году.

Но недолго длился отдых путешественника. Страсть к перемене мест и жажда новых впечатлений снова овладела им. И вновь неутомимый Ибн Баттута отправляется в путь, на этот раз на Пиренейский полуостров, а затем в мусульманские страны Африки (Мали, Западный Судан).

Когда Ибн Баттута вернулся из своего второго путешествия, его призвал к себе султан Марокко. Милостиво выслушав подробный рассказ о совершенных путешествиях, султан сказал: «Ты славно послужил аллаху: побывал в святых местах, принес нам сведения о всех мусульманах, где бы они ни проживали, и поведал о дальних странах, с которыми мы могли бы наладить торговлю. Твоя торговля на чужбине принесла тебе богатство. Продолжай заниматься ею в Фесе, нашей столице. А пока я приставлю к тебе опытного писца. С твоих слов он запишет все, что ты сможешь рассказать о своих странствиях».

Волю султана выполнили. Через два года была написана на арабском языке великолепная книга, которая сразу же привлекла всеобщее внимание. Но ученые занятия не мешали Ибн Баттуте вести торговлю, которая продолжалась до конца его жизни, оборвавшейся в 1377 году.

* * *

Ибн Баттута был купцом, сочетавшим торговлю с любовью к путешествиям. Таких людей было немало среди арабских купцов, обитавших в разных концах обширнейшего в ту пору мусульманского мира. Эти купцы без страха отправлялись в продолжительные путешествия и, благополучно завершив торговлю, возвращались домой. Их не пугали ни далекие расстояния, ни продолжительное пребывание вдалеке от дома. Их путь пролегал не только по арабским землям, Аравийскому полуострову, Месопотамии, Ирану и Северной Африке. Они часто посещали Индию и Китай, а также Русь и Среднюю Азию. Многие из них бывали на Ближнем Востоке, в Индонезии, на Цейлоне и других местах.

Но ни одному из них не удавалось объехать все названные страны. Это удалось лишь Ибн Баттуте, которого недаром считали величайшим путешественником всего средневековья. Описание его странствий открыло человечеству глаза на многие страны и народы, о которых оно либо ничего не ведало, либо знало очень мало.

О путях, пройденных Ибн Баттутой, рассказывает карта его путешествий (см. стр. 330—331).

ОГЛАВЛЕНИЕ

К53 **Книга для чтения по истории средних веков.** Под ред. акад. С. Д. Сказкина. Ч. I. М., «Просвещение», 1969. 343 с. с илл., 150 000 экз., 66 коп.

Книга адресована школьникам для внеклассного чтения. Она расширит их кругозор и облегчит понимание важнейших явлений и процессов далекого средневековья. События средних веков предстают перед юным читателем в ярких, образных картинах. Живая и впечатляющая форма изложения воссоздает выразительные портретные характеристики.

Книга состоит из двух частей.

7-6-3
368-69

9(И) 1

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Редактор *В. Е. Степанова.* Редактор карт *К. А. Коровина.* Художественный редактор *В. И. Рывчин.* Технический редактор *О. Н. Семина.* Корректор *Р. Ю. Грошева.*

Сдано в набор 21/IX 1968 г. Подписано к печати 24/VII 1969 г. 60×90¹/₁₆. Типогр. № 2. Печ. л. 21,5. Уч.-изд. л. 22,40. Тираж 150 тыс. экз. (Пл. 1969 г. № 368). А04158.

Издательство «Просвещение» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Саратовский полиграфический комбинат Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Саратов, ул. Чернышевского, 59. Зак. № 306.

Отпечатано с матриц в типографии изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49. Заказ № 454.

Цена без переплета 56 к., переплет 10 к.

Цена 66 коп.

